

Секреты Лондона



Коррадо
Аугустиас

ТЭЖ

СЕКРЕТЫ БОЛЬШОГО ГОРОДА

АЛЕКСАНДР БУДНИКОВ

CORRADO AUGIAS
I SEGRETI di LONDRA

СЕКРЕТЫ БОЛЬШОГО ГОРОДА

Коррадо Аугиас
Секреты Лондона



РИПОЛ
КЛАССИК

Москва, 2012

УДК 821.131.1

ББК 84(4Ита)6-44

A93

Перевод с итальянского О. Уваровой, Н. Чаминой

Ауджиас, К.

A93 Секреты Лондона / К. Ауджиас ; [пер. с итал. О. Уваровой, Н. Чаминой]. — М. : РИПОЛ классик, 2012. — 528 с. — (Секреты большого города).

ISBN 978-5-386-03481-8

«Секреты Лондона» — необычный авторский путеводитель по английской столице. Сверив часы по Биг-Бену и заглянув на Трафальгарскую площадь, автор ведет читателя по следу Джека Потрошителя, по улицам, где доктор Джекил превращался в мистера Хайда, показывает места, связанные с прерафаэлитами, Вирджинией Вулф, Анной Болейн, принцессой Дианой, — и многое другое.

Коррадо Ауджиас — итальянский историк, писатель и критик, автор детективов, авантурных романов и научно-популярных исследований в области искусства и религии, а также скандально известный журналист.

УДК 821.131.1

ББК 84(4Ита)6-44

© Студия Артемия Лебедева

© 2003 Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano

Published by arrangement
with Elena Kostioukovitch
International Literary Agency.

Издание на русском языке,
перевод на русский язык, оформление.
ООО Группа Компаний
«РИПОЛ классик», 2012

ISBN 978-5-386-03481-8

КРАТКИЙ И СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ПРОЛОГ

Вглядываясь с точки зрения иностранца в этот громадный город, я часто спрашиваю себя: а как же мы, итальянцы (во всяком случае, некоторые из нас), воспринимаем Англию и Лондон? Какими глазами англичане смотрят на нас? Прежде чем начать постигать эту большую столицу, я, пожалуй, отведу несколько страниц теме психологических отношений между итальянцами и англичанами, которые отразились в путевых заметках, малой и большой литературе, полной обоюдных предубеждений.

Профессор Лучо Спонца, венецианский экономист, много лет преподающий в Вестминстерском университете, посвятил данной теме неплохое исследование — «Итальянские эмигранты в Великобритании XIX века: реалии и образы». Кроме прочего, там можно прочесть и следующую ключевую фразу:

«С одной стороны медали находилась Италия, страна красоты и культуры; с другой — итальянцы, племя творческое, но испорченное, ненадежное, распущенное».

Естественно, никто никогда не задавался вопросом, почему же столь испорченное, ненадежное и распущенное племя смогло создать такие важные свидетельства не просто красоты, но красоты гармонической, последовательной и великодушной. Предубеждения хороши (то есть, конечно, плохи) тем, что подпитываются одной и той же логикой и признают только собственную правоту. Разумеется, эта концепция существовала еще во времена Елизаветы I: смесь отвращения и прелести, придававшая понятию «Италия» особую отстраненность, каковой по сути Италия и обладала, хотя бы в политическом смысле.

Похожие по настроению замечания делает, в свою очередь, Марио Прац, наш лучший англовед. В его статье «Открытие Италии» (опубликованной в посвященном ему номере «Меридиана» под редакцией Андреа Кане) можно прочесть, что писали о нас в конце XVIII века некоторые английские литераторы:

«Итальянский народ нечистоплотен, ленив и криминален; те, что из класса попростойнее, — бедны, невежественны и повально склонны к предательству; как плебеи, так и аристократы готовы суеверно пресмыкаться перед тиранами. Венецианцы были способны нанести предательский удар при малейшей провокации, неаполитанцы имели бесовскую природу, и так далее. Неистовый характер итальянской религиозности особенно раздражал англичан той эпохи».

Путешественники по возвращении на берега Туманного Альбиона из Большого Путешествия в один голос заявляли, что полуостров представал перед ними грандиозным музеем в руинах, кишущим жалким и порочным народцем, который шумно живет здесь, забыв о былой славе. Это апокалиптическое описание повторялось с особым упорством по отношению к папским землям вокруг Рима, являвшимся взору как наиболее убогие районы, заселенные бездельниками, зачистую голодными, но резвыми в обращении с ножом.

Однако не только англичан посещали подобные мысли. Марсель Пруст однажды недвусмысленно выразился в отно-

шении Италии, что «настоящая земля варваров не та, что никогда не знала искусства, но та, что, изобилуя шедеврами, не умеет ни оценить, ни сохранить их».

Нельзя отрицать, что и по сей день, в XXI веке, складываются ситуации, подпадающие под это хлесткое суждение.

Нас не может удивлять и то, что Италия зачастую становится излюбленной декорацией для ужасных историй в готическом духе, заговоров и убийств.

Снова Прац:

«Эти скандалы с их сумрачной атмосферой, естественно, не могли не просочиться в „черные“ романы, канву для которых создал Хорас Уолпол в „Замке Отранто“ (1765). Ту же канву мисс Радклиф¹ усовершенствует ближе к концу века, украсив у путешественников их красочно описанные итальянские пейзажи, а у елизаветинской драмы — ее портрет левого итальянского героя макиавеллианского типа».

Великий поэт-романтик Перси Биш Шелли в одном из писем писал об Италии:

«С трудом можно назвать людьми это подобие стаи глупых и заносчивых рабов».

И далее, в отношении женщин:

«Это, пожалуй, самые презренные из существ, живущих под луной, самые невежественные, отвратительные, нечистоплотные, объятые ханжеством...»

Подобные утверждения явно преувеличены, хотя и отражают жалкое моральное и материальное состояние итальянцев того времени.

¹ Радклиф, Анна (1764—1823) — английская писательница, одна из основоположников жанра готического романа. — Примеч. ред.

Другой великий романтик, Байрон, с гораздо большей проницаемостью и поразительной актуальностью следующим образом выразил отказ от предложения написать книгу об итальянских нравах:

«Их нравственность — это не ваша нравственность; их жизнь — не ваша жизнь, и вам не дано этого понять; она — не английская, не французская, не немецкая, где все вещи были бы, наоборот, понятны. Традиционное образование, числительство, образ мысли и взгляды на жизнь здесь совершенно иные, и эти различия становятся крайне явными, когда ты живешь в тесной близости с ними. Поэтому я даже не знаю, как помочь вам постичь народ, сразу сдержанный и распушенный, серьезный по характеру и дурашливый в развлечениях, способный испытывать чувства и страсти, одновременно бурные и длительные (что никогда не случается где-либо еще), народ, который не имеет сложившегося общества, что видно из их комедий; по сути, не существует даже настоящей комедии, даже у Гольдони, именно вследствие того, что нет как такового общества, которое они высмеивают».

Это высказывание, под которым мог бы подписаться кто угодно, на самом деле имеет массу точек соприкосновения с почти современным ему эссе Джакомо Леопарди под названием «Беседа о настоящем состоянии нравов итальянцев», где поэт (а в данном случае он выступает социологом и более того — философом) анализирует причины, по которым Италию можно назвать страной, лишенной «общества»:

«Есть ряд причин, доказывающих друг за другом отсутствие „общества“, но сейчас я не буду искать таковые. Климатические условия, заставляющие итальянцев проживать большую часть дня на открытом воздухе и, конечно, способствующие прогулкам и пр.; жизнерадостность итальянского характера, благодаря которому они отдают предпочтение зрелищам и другим чувственным удовольствиям в ущерб ду-

ховным наклонностям, что ведет их к поискам постоянного развлечения, свободного от любого усилия духа, и порождает нерадивость и лень... Разумеется, праздничатание, зрелища и религиозность не имеют ничего общего с тем обществом, присущим другим народам, о котором мы говорили».

В Англии бытовало (и бытует) мнение об итальянцах как о людях по сути своей сердечных и мягких, но в то же время не слишком надежных, готовых на внезапную ярость и месть. В итоге путешествие на юг в течение долгих лет воспринималось как настоящая экспедиция, не менее опасная, чем те, что совершались в далекие и экзотические страны.

Марио Прац рассказывает о поездке в Италию в начале XIX века лорда Блессингтона с семьей. Границу они пересекли в сопровождении целой дивизии слуг, на повозках, груженных матрацами, подушками, креслами, туалетными принадлежностями, с походной кухней и даже с дорожной библиотекой. Графиня восседала в спальном карете на укрепленных пружинах, из которой наслаждалась пейзажем с мягких подушек, имея в своем распоряжении маленькую библиотеку, кладовую и прочие хозяйственные удобства.

О настроениях большинства таких «скитальцев» повествуется в «Рассказах одного путешественника» американца Вашингтона Ирвинга. Они передвигаются в своих каретах, «заполненных прекрасно одетыми, раскормленными и высокомерными слугами, которые свысока взирают на окружающий мир с выражением презрения, не обращая внимания ни на страну, ни на людей, в полной уверенности, что все неанглийское ошибочно».

Уберечься от стереотипа оценки Италии исключительно по ее ландшафту, часто связанному с процессом ностальгического переживания идеализированного прошлого, которое иногда впускается в роли «живописного фона» в их собственные акварели, способны только отдельные высокодуховные личности. Для большинства путешественников местные жи-

тели существуют только в антропологическом смысле; для прочих это — игнорируемая реальность и если не помеха, то, пожалуй, досадное препятствие в момент посещения развалин («заросших мхом атриумов» и «разрушенных форумов») и созерцания невероятной декорации, созданной природой и окультуренной человеком, которая по вине «итальянцев» приходит в упадок.

С XVIII века путешествие в Италию становится практически образовательным долгом для представителей имущих слоев общества и интеллектуалов Северной Европы. Лоуренс Стерн, Харас Уолпол, Уильям Бекфорд, Джордж Байрон, Джон Китс, Перси Биш Шелли, Вальтер Скотт, Чарлз Диккенс, Уилки Коллинз — не было писателя, который бы этот долг не исполнил. Для большинства паломничество в Италию обретает характер жизненного выбора, и многие находят здесь свою вторую родину, включая приют в мире ином (вспомним английские кладбища). Эти «обытальяненные» британцы (англо-флорентийцы, например) начинают лучше понимать природу принимающего их народа и видеть в итальянцах человеческое начало, а не только неверных предателей, зачинщиков заговоров, скрывающих нож под полой кафтана, согласно стереотипическому образу придворного в духе Макиавелли.

В течение почти всего XIX века и вплоть до начала века XX за итальянцами закрепляется слава продавцов мороженого, поваров, горничных и уличных музыкантов, которые производят невероятный шум игрой на своих (почти всегда механических) инструментах, часто в сопровождении мартышки, а то и более крупной твари, вроде цепного медведя. Эти привычные персонажи лондонских улиц окружаются ореолом человеческой симпатии, граничащей, тем не менее, то с состраданием, то с отвращением. Однако многое внушает и беспокойство: например, следующие за взрослыми дети, вызывающие жалость прохожих, грязь и теснота в жилищах эмигрантов, постоянные стычки, часто из-за пустяков, внешне аморальное поведение.

Эта картина отчасти верна, отмечает Лучо Спонца, в отношении политэмигрантов, начинающих прибывать в Англию. Иногда это были выдающиеся личности, патриоты и либералы, борцы за объединение Италии, вынужденные скитаться по всей Европе в период Реставрации, последовавший за Венским конгрессом. Среди них оказываются Санторре ди Сантароза¹, Джованни Беркет², Габриеле Россетти³, Уго Фосколо⁴, Аурелио Саффи⁵ и, естественно, Джузеппе Мадзини⁶. Зачастую они зарабатывали на жизнь уроками итальянского, посещали столичные кружки интеллектуалов и способствовали развитию в Лондоне патриотических (и романтических) идеалов объединенной Италии. Их идеалы, а также враждебность по отношению к временному папскому господству вызывали глубокую солидарность у каждого англичанина. Благодаря этой совокупности обстоятельств в некоторых англий-

¹ Сантароза, Санторре Аннибале де Росси ди Помароло (1783—1825) — один из руководителей итальянского национально-освободительного движения, был в числе лидеров Пьемонтской революции 1821 г. После 1822 г. эмигрировал в Англию. — *Примеч. ред.*

² Беркет, Джованни (1783—1851) — итальянский поэт-романтик, член эмигрантской организации «Молодая Италия», боровшейся за независимость и объединение страны. — *Примеч. ред.*

³ Россетти, Габриеле (1783—1854) — итальянский поэт, участник Неаполитанской революции 1820—1821 гг. С 1824 года в эмиграции в Англии. — *Примеч. ред.*

⁴ Фосколо, Уго (1778—1827) — итальянский поэт и филолог, основоположник романтической критики. Активный участник национально-освободительного движения. С 1816 г. в эмиграции в Англии. — *Примеч. ред.*

⁵ Саффи, Аурелио (1819—1890) — итальянский политик, демократ. Один из руководителей революционных событий 1848—1849 и 1859—1860 гг. в Италии. — *Примеч. ред.*

⁶ Мадзини, Джузеппе (1805—1872) — один из самых ярких представителей итальянского национально-освободительного движения, основатель патриотической организации «Молодая Италия», сыгравшей заметную роль в борьбе против австрийского гнета и объединение страны. — *Примеч. ред.*

ских кружках зарождается и распространяется поддержка идеи объединенной под общей короной Италии, положившей конец той горстке малых государств, герцогств и феодалов, какой она была до настоящего момента.

Однако в связи с парижским терактом анархиста Феличе Орсини 1858 года Лондон всколыхнула антиитальянская волна. Бомба, предназначавшаяся Наполеону III, не задела императора, но смертельно ранила нескольких прохожих.

Определенное расположение к событиям в Италии, тем не менее, остается довольно ощутимым и достигает своего апогея в 1864 году, в момент приезда в Лондон Джузеппе Гарибальди. Прием, оказанный ему в самых различных сферах, начиная от кружков интеллектуалов до слоев политизированных рабочих, оказался настолько теплым, что королева Виктория испугалась, не подвергаются ли опасности ее связи с Австрией.

Но все же лучшим признанием, когда-либо обращенным к итальянскому политику, в данном случае к графу Кавуру, стала, пожалуй, запись Джона Брайта¹ в его личном дневнике после встречи с означенным лицом:

«Первый министр Королевства Пьемонта и Сардинии производит скорее впечатление благовоспитанного сельского английского джентльмена, нежели утонченного и изысканного итальянца».

Как видим, господин Брайт был свободен в суждениях. А философ Анри Бергсон в отношении графа с уверенностью заявил:

«Кавур все-таки сильно превзошел Бисмарка!»

Мой путь сквозь суждения и предрассудки не претендует на систематичность. В форме кратких экскурсов я стараюсь оживить историю непростых отношений, ход которых нам более или менее известен.

Например, все знают, что Уинстон Черчилль довольно активно симпатизировал Бенито Муссолини. В Риме, в 1927 го-

¹ Брайт, Джон (1811—1889) — английский политический деятель, депутат парламента. — Примеч. ред.

ду, во время визита к дуче, Черчилль недвусмысленно выразил свое отношение к итальянскому диктатору:

«Если бы я был итальянцем, я, несомненно, был бы с Вами с самого начала и до конца Вашей победоносной битвы против звериных appetitov и страстей ленинизма... Италия показала, что есть способ побороть подрывные силы, способ, призывающий народные массы к истинной солидарности во имя чести и интересов Государства».

Можно сказать, что подобное участливое почитание длилось вплоть до объявления войны в июне 1940 года. Черчилль видел в фашистской Италии силу, противостоящую французскому влиянию в Европе, и сравнивал ее со звеном цепи, сдерживающей советскую заразу. К этим соображениям политико-дипломатического характера английский специалист по статистике присовокупил бы оценки из разных источников, которые мне хочется привести, подчеркнув некоторые параллели.

Известно, что Черчилль питал постоянную и глубокую ненависть к Ганди, которого без обиняков называл «презренным факиром». С другой стороны, он выказывал величайшее почтение к британским чиновникам в Индии, поднявшим, по его словам, «тридцать пять миллионов человек до цивилизованного уровня и мирного состояния, установившим порядок и чистоту и приведшим к прогрессу, который в одиночку те никогда бы не смогли достичь и сохранить». Принимая во внимание предыдущий пример, я думаю, что Черчилль отчасти приписал Муссолини роль, сыгранную в свое время чиновниками британского королевства в Индии.

С другой точки зрения, некоторое преимущество итальянцам давал тот факт, что их страна никогда не представляла настоящей военной угрозы для Великобритании. В своего рода классификационном ряду самых неприглядных народностей периода между XVII и началом XIX века отмечены, соответственно, испанцы, голландцы, французы, русские... Итальянцев там нет. Тем не менее, если и существовал когда-либо человек, в высшей степени сомневающийся в военных спо-

способностях итальянцев, так это был именно Черчилль, вынесший следующий саркастический комментарий в отношении злополучной войны в Греции, затеянной Муссолини: «Последняя из европейских армий разбила предпоследнюю». Подобное уничижительное мнение продержалось как минимум до 1982 года, когда командующий британской экспедицией на Фолклендских (Мальвинских) островах на вопрос о действиях аргентинцев при неминуемом столкновении ответил: «Если у них испанские корни — выстоят, если же итальянские — обратятся в бегство». Такая нелестная оценка подтвердилась в дальнейшем, уже в девяностых годах, в статье авторитетного издания «The Guardian», автор которой выступал против слишком жестких европейских порядков, признавая невыносимым то обстоятельство, что британцы вынуждены смешиваться с людьми «никчемными, кичливыми, пожирающими макароны, безнадежными». Портрет бичующий и несправедливый, вновь вскрывающий неискоренимый предрассудок...

Джерemi Паксман в своей прекрасной книге «Англичанин: портрет человека» приводит собирательный список добродетелей, по его мнению, неоспоримых, некоторые из которых все же вызывают жгучее желание оспорить их. Читаем, к примеру:

«[Англичанам] с давних пор свойственны крайнее нетерпение к наблюдению и контролю за собой, любовь к свободе, энергичность; слабая сексуальная активность, во всяком случае по сравнению с соседними народами; яростная вера в ценность воспитания в процессе формирования характера; очень чуткое отношение к чувствам других; сильная привязанность к институтам семьи и брака».

Это чуткое отношение к чувствам других, может быть, и есть в межличностных отношениях, однако гораздо менее ощутимо в отношении к иностранцам.

Приведу один ужасный случай вековой давности, показательный для гипертрофированного склада ума, обращенного

в данном случае на войну. Речь идет о трагедии 2 июля 1940 года на борту «Звезды Арандоры».

Океанский лайнер «Арандора», отчалив от берегов Великобритании, взял курс на Канаду. На борту судна, вмещающего 400 пассажиров, набилось 1564 человека: 1190 заключенных плюс надзиратели и члены экипажа. Большинство пленных были итальянцами, но с ними оказались также несколько немцев и много евреев из разных стран. Итальянцев смешали — фашистов и антифашистов, к ним же определили некоторых евреев, бежавших в Англию после выхода расистских законов 1938 года (одна из гнусных мер Муссолини, безропотно одобренная королем).

Здесь были итальянцы, приехавшие несколько лет назад, а также жившие в Лондоне с начала века, ставшие практически англичанами, женатые на англичанках, с детьми, служившими в королевской армии. Десятого июня 1940 года первый министр Черчилль, человек, несправедливо почитавший Муссолини, дал решительный приказ: «Заберите их всех!» И их всех забрали. Фашистов, основавших в Лондоне кружок имени Муссолини, антифашистов, все еще преследуемых за границей силами ОБРА¹, евреев, скрывавшихся от ужасов концлагерей. Все были схвачены и погружены на корабль, который неожиданно увидел в утреннем бледном свете в глазок своего перископа капитан наряда морского флота Рейха Гюнтер Приен.

Приен командовал подлодкой, возвращавшейся с поискового рейда по Атлантике к дружественной эскадре; на борту оставалась единственная торпеда. Увидев в фокусе видоискателя брюхо лайнера, наскоро вооруженного парой пушек, он дал приказ стрелять. Часовые «Арандоры» заметили стремительно приближающуюся борозду и осознали ужас происходящего, но корабль не мог совершить маневр в столь сжатые

¹ ОБРА (Organo di Vigilanza dei Reati Antistatali, Орган обеспечения безопасности от антигосударственных проявлений) — организация, выполнявшая функции политической полиции фашистского движения в Италии; создана в 1921 г. — Примеч. ред.

сроки. Торпеда поразила цель в самое яблочко, и начался исход.

Пленных забили в трюмы, люки задраили или затянули колючей проволокой, источники напряжения сразу вышли из строя. В темноте, окруженные водой, хлеставшей через пробоину, несчастные старались пробиться к верхним палубам, разрывая в кровь тела, в слепой борьбе за выживание. Утонуло 446 итальянских эмигрантов, но никто даже не удосужился почтить официально их память. Мы сегодня признательны Марии Серене Балестраччи за единственную книгу, посвященную этому событию, вышедшую в 2002 году под названием «"Звезда Арандоры", забытая трагедия».

Английские газеты, вышедшие на следующий день после трагедии, постыдно отнеслись к страшной новости, потопив ее в молчании. Так же повели себя и немцы, которые во время этой необдуманной атаки погубили немало своих. Фашисты Муссолини примкнули к остальным, чтобы не компрометировать отношения с «немецким союзником». А республиканская Италия после войны просто-напросто забыла о случившемся.

А какими же нам видятся англичане? У каждого из читателей, конечно, имеется на этот счет свое мнение. Что касается меня, то я отчетливо помню, как, будучи ребенком в годы уга-сающего и особенно жестокого фашизма, я приглядывался к значку на чьем-нибудь лацкане, где в центре маленького квадрата из покрытой эмалью латуни блестели аккуратные буквы лозунга: «Да проклянет Бог англичан!» Его автором был фашистский писатель Марио Аппелиус, настоящий любитель приключений, впоследствии ставший «рупором режима» благодаря новеньким радиоприемникам. Сегодня память о нем почти угасла — Ливио Спозито описал его жизнь в книге «Вир-тус авантюризма» (2002), хотя в свое время книжки Аппелиу-са с авантурными заголовками расходились с завидной ско-ростью. Я мельком пролистал его автобиографию «От отре-бя до писателя» в библиотеке отца вместе с другими его сочинениями (которые я все время путал с романами Сальга-

ри): «Желтая Азия», «Острова зеленого луча», «Кладбище сло-нов», «Черный сфинкс»...

Представляю, как в провинциальной, полной лишений Италии тех лет приключения, разворачивающиеся по воле Аппелиуса в таинственных и далеких краях, вызывали в ду-шах читателей приятную лихорадку экзотизма.

Для сотен таких, как я, итальянцев этот нагрудный значок стал первым гостем из враждебного мира англичан, превос-ходящих по антипатии к нам даже американцев, с которыми нас объединяло слишком многое, несмотря на войну, и даже выходцев из СССР, бесконечно далеких и по сути незнакомых. Англичан, предстающих на агитационных плакатах в смеш-ных мискообразных шлемах, окрещенных Муссолини с пре-небрежением народцем «пятиразового питания», чтобы не напоминать лишний раз, сколько приемов пищи могли себе позволить мы в те годы.

Я вспоминаю еще одну вещь: полное издевки удовлетворе-ние, сопровождающее отмену карточной системы после освобождения. Мы, проигравшие войну и практически разва-лившие государство 8 сентября, сразу же смогли питаться без ограничений, в то время как англичане, победители этой вой-ны, продолжали получать пайки по годовым карточкам до се-редины пятидесятих годов. Мы, радостный народ, противо-поставляли себя им — народу унылому. Уже тогда мы почти смешивали понятия серьезности и печали.

Только после войны началось настоящее открытие Вели-кобритании в бурном смешении ощущений и фрагментар-ных новостей: литература, одна из прекраснейших в Европе, способная производить кардинальные инновации жанров (а также стилей); великая живопись, включая прерафаэли-тов, которые до такой степени были очарованы итальянским Кватроченто, что задумали воссоздать его; прикладное ис-кусство, ткани стиля модерн, Рескин с его «Камнями Вене-ции»; Черчилль, рисующий акварели на берегах озера, как пятьдесят лет спустя будет делать наследник трона Чарльз. Добавить сюда открытие чувства юмора способного затра-

гивать сферы более утонченные, нежели пищеварительная и половая.

Язык обогатился неологизмами, столь присущими нашему периоду: например, смог, ставший синонимом загрязнения среды, а ранее означавший лишь удушливую смесь дыма и тумана (*smoke + fog = smog*), смесь, подписавшую приговор каминам. А потом — Конан Дойл и Агата Кристи; города-спутники (поселки городского типа); новая психиатрия; «В Темзу возвратились стаи лососей»; первые в Европе случаи городского хулиганства (*Teddy boys*¹); великие театральные актрисы и неподражаемый Гамлет в исполнении Лоуренса Оливье (в дуэте с Джин Симмонс); запрещенные для дам клубы; твидовые пиджаки с заплатками на локтях на местах дырок; прогулки по вересковым пустошам, где в легкой дымке невзначай обнаруживался труп прекрасной незнакомки; тусклые лампочки; выглаженные простыни...

Величайший английский композитор, Георг Фридрих Гендель, оказавшийся немцем; Виндзорская династия, английское название, но данное замку такими же, как Гендель, немцами королевской крови; отопление временными порциями, со скучным звуком пролетающих в счетчике монет; грешная слабость розги при порке нерадивых учеников; пьяные, в субботний вечер блюющие над сточной канавой; абсурдная настойчивость в желании измерить по-своему все расстояния и объемы, как будто никогда не изобреталась десятичная метрическая система; нелепое деление фунта стерлингов, пока Европа (наконец-то!) не заставила разложить его на сто одинаковых монеток, теперь по праву названных центами...

Ну, и раз уж пошел такой разговор, как забыть безумную манию левостороннего движения; необъяснимое отвращение к такому предмету общественной и частной необходимости, как биде; битлов и свингующий Лондон; не только

¹ Молодежная субкультура середины 1950-х годов в Великобритании, несколько раз переживавшая возрождение. В СССР — стилиги. — Примеч. ред.

несуществующую, но и невообразимую кулинарию; гордый отказ от перехода на общепринятое в другой части Европы время; неукротимый и почти дикий нрав под прикрытием лоска формы; весть «Буря над проливом: континент изолирован»; самую ненадежную железнодорожную сеть; главные положения «конституционного права», записанные в Великой хартии вольностей еще в 1215 году; три-четыре ключевых слова: самоконтроль (*self-control*), честная игра (*fair play*), неприкосновенность частной жизни (*privacy*), юмор (*humor*). А затем — толерантность, сдержанность, общество хороших манер (*social civilization*), которые так часто забываются живущими ниже 46-й параллели; и прежде всего — свобода эксцентрических индивидов, неистовых, избавленных даже от тирании идеологии: Адам Смит, Иеремия Бентам, Герберт Спенсер, Джон Локк, Джон Стюарт Милль, Чарлз Дарвин.

Все это и многое другое с течением лет создало в голове у каждого из нас своеобразное лоскутное одеяло из сотен различных кусочков, где отдельно взятая вещь одновременно является и главным составляющим и неким оттенком фона.

Каков же оттенок у фона этого острова и его необъятной столицы? Мне кажется, что это — то место, где чувствуется пульс мировой жизни; место великое, несмотря на утрату прежнего блеска и богатства, населенное людьми, которых непросто полюбить, но которые способны на коллективное отношение, почти всегда близкое к восхищению, где таинственным образом смешались величие и подлость, нетерпимость и толерантность, грусть и юмор.

* * *

В этой книге собраны несколько историй о Лондоне, глубоко и полно воссоздающих облик некоторых его районов. В разнообразной исторической последовательности упоминаются места, события и действующие лица. Все вместе они не только стремятся сложиться в единый портрет удивительного города, но и могут послужить неплохим противоядием

отношении главного убийцы современного путешественника: скептицизма.

Вещи и пейзажи теряют свою ценность без участия памяти или фантазии смотрящего. Об этом, конечно, знал Джакомо Леопарди. В своих записных книжках «Зибальдоне» 30 ноября 1828 года он выражает следующую мысль, которую я уже цитировал в книге о Нью-Йорке, но с удовольствием приведу еще раз, благодаря ее поразительной емкости:

«Для человека чувствительного и впечатлительного, который, подобно мне, прожил большую часть своих дней, ощущая поток времени и фантазируя, мир и предметы в каком-то смысле двоятся. Глаза его видят некую башню, загородные поля, уши слышат удары колокола, но одновременно с помощью воображения он видит иную башню и слышит иной звук. В этом другом качестве вещей и заключена вся их красота и великолепии».

Увиденное мало значит без участия памяти и фантазии, а еще меньше ценится эпоха, в течение которой кажущиеся различия постепенно стираются.

Эти первые страницы претендуют на роль возможного введения и призваны способствовать открытию — среди камней, стекол и призраков Лондона — некой возможности воспоминания или восхищения. Кроме того, они пытаются дать стимул к воссозданию ретроспективы мест и героев, спасающихся от угрожающей мимолетности настоящего.

* * *

Данная книга не появилась бы без устной и письменной поддержки и советов моих друзей, которых хотелось бы здесь упомянуть. Это Эдгардо Бартоли, Ирене Биньярди, Росанна Бонадеи, Аттилио Брилли, Михаэль Кресуэлл, Лен Дайтон, Паоло Фило Делла Торре, Лиа Джакеро, Давид Харрис, Ричард и Виола Ньюбери, Серджо Пероза, Джорджо Руффоло, Фабио Тронкарелли, Алекс Вильсон, Филипп Циглер.

Благодарю также Витторию Каратоццоло, преподавателя кафедры английской литературы университета Ла Сапьенца (Рим), — за внимательную помощь в исследованиях, Nicoletta Ladzari и Валентину Веджетти — за проницательный анализ отдельных частей текста. Спасибо Даниэле Пасти — за терпеливую поддержку на протяжении немалого периода подготовки книги к изданию.

ПРОГУЛКА ПО ИСТ-САЙДУ

Каждому желающему по-настоящему познать Лондон не плохо было бы начать с Ист-Сайда. Это самая бедная зона города, несмотря на некоторые обновленные ее части. Но главная ценность Ист-Сайда не в пресловутом местном колорите, который так часто становится ловушкой для многих туристов, но в смысловом богатстве, представляющем в контрастной череде новейших и ветхих домов и улиц, беззастенчивого изобилия и патетической разрухи. Словно Ист-Сайд демонстрирует городу его истоки, показывая, из какого прошлого выросло то, что сегодня встречается повсюду: бульвары, парки, ярко освещенные отели, величественные чертоги, принадлежащие властям, торговле, финансам, военным делам... Царапинами на полированной поверхности общепринятого образа Ист-Сайд разрушает стереотипное представление о Лондоне, возвращает городу его длинную историю, состоящую из драм и противоречий, славы и денег, гениальности и грандиозного упрямства, а также из рек слез и не меньшего количества крови.

Ощущения, которые большинство из нас получает от путешествия по малознакомому городу, рождаются не только из созерцания одного или нескольких произведений искусства,

а скорее из совокупности случайных впечатлений, приводящих к сложению некоего суждения и воспоминания. Именно благодаря наименьшей (до сих пор) подверженности Ист-Сайда делению на зоны, он сохранил уникальную многослойную и многовременную структуру, созданную из громадных декораций и мелких деталей, секретных уголков и улочек, которые могут показаться тривиальными тем, кому не дано расшифровать их тайное послание. Своими бесконечными сюрпризами Ист-Сайд помогает нам избежать опасной склонности глазеть по сторонам и, по сути, ничего не видеть. Скажем прямо, в Лондоне довольно мест и помимо Ист-Сайда, говорящих об истории. Разумеется, это центр города, да по существу, нет ни одной улицы, которая не повествовала бы нам о прошлом.

То же демонстрируют, пусть и в отсутствии длинной истории как таковой, многие современные зоны и сооружения: такое-то здание высится на месте некоего дома, разрушенного бомбардировками 1940 года, а вон тот паб хоть и древний, но не слишком, поскольку на его месте стоял другой, сожженный до основания буйным пожаром в 1666 году. В столь древней и благородной столице, как Лондон, почти каждый камень цитирует тот или иной фрагмент многотомной летописи, созданной на берегах великой реки.

Как учил рассказчика «В поисках утраченного времени» художник Эльстир, когда ты смотришь на предмет, важнее всего сам взгляд. Именно под воздействием особенностей всматривания — с помощью силы «предвосхищения» — объект преобразуется ради соответствия характеру зрителя. Эльстир выражал, разумеется, точку зрения художника, о чем автор книги, то есть Пруст, писал так:

«Стремление Эльстира изображать вещи не такими, какими они существовали в его сознании, а сообразно с оптическими иллюзиями нашего непосредственного зрительного восприятия привело его к раскрытию некоторых законов перспективы, в то время поистине поразительных, ибо искусство раскрывало их впервые».

Эльстир многое взял от Моне (и других мастеров того времени). В его словах заключено кредо импрессионистов, но их без труда можно отнести к любой «оптической иллюзии», которую наше персональное видение нам и предлагает. Физическое, логическое, материальное движение в путешествии само по себе мало значит. Я сажусь в самолет, останавливаюсь в отеле, щелкаю затвором фотоаппарата, покупаю сувениры, питаюсь в таком-то и в таком-то ресторане, разглядываю витрины... Все эти действия кажутся пустыми и даже угнетающими, если не преобразены общим смыслом, который придает форму и значение открытиям странствий. По-настоящему посетить некое место — значит перепрыгнуть через мнимое и очевидное, попробовать вызвать эхо накопившихся в нем воспоминаний, и прочесть это место, следуя совету Леопарди, нужно не только нашими глазами, но и с той долей воображения, что способна возродить призраки и помогает взгляду прорваться за пределы оболочки вещей.

Я пою дифирамбы Ист-Сайду потому, что в этой части Лондона подобное воззвание к «далеким образам» и процесс придания формы и значения путешествию даются особенно легко. Если знать, куда направить свой взор.

Однако, прежде чем направиться в Ист-Сайд, задержимся ненадолго в центре и рассмотрим характерный пример, позволяющий получше понять мой ход мыслей: Пиккадилли-сёркус. Известнейшая площадь, один из символов Лондона, приобрела настоящий архитектурный облик совсем недавно. В 1819 году она родилась с совсем другой целью — обеспечить переход от Пиккадилли к строящейся Риджент-стрит. Проект принадлежал Джону Нэшу, одному из архитекторов, подаривших Лондону его современное лицо. В дальнейшем выступающие фасады зданий подправили, слегка заглубили и округлили, получив милую, элегантную площадь-ротонду, дожившую примерно до 1885 года, пока местные власти не решили разрушить северо-восточную ее часть для разбивки новой Шефтсбери-авеню. Впоследствии здесь выстроили главное здание Лондонского павильона — концертного зала, затем

служившего театром и кинотеатром. Сегодня мы видим только его фасад.

Гармония дивной площади была бесповоротно нарушена, несмотря на возведение в 1893 году вполне пристойного фонтана Альфреда Гилберта в память о великодушии графа Шефтсбери, фонтана, посвященного как раз христианским добродетелям — Любви и Милосердию, а вовсе не Эросу, богу чувственной страсти, как принято считать.

С триумфальным приходом эры электричества родилась, к месту сказать, «светлая мысль» — установки больших, горящих огнями рекламных щитов для магазинов. В 1923 году весь фасад Лондонского павильона оказался полностью залеплен ими. Далее следует пришествие дам, образно назовем их «цветочницами», которые ласково поджидали своих клиентов у фонтана. Не исключено, что именно благодаря им ангелок на фонтанной верхушке оставил высшие нравственные сферы во имя символики плотской любви. Наконец, на этой площади, уже давно смилившейся со своим значением одной из самых известных дорожных развязок мира, возник обычай праздновать приход Нового года.

Можно порассказать еще много всякого, но, пожалуй, пары штрихов достаточно, чтобы объяснить, как запросто вид городской достопримечательности может обмануть глаз рассеянного туриста, демонстрируя ему только внешне постижимое и скрывая, в свою очередь, те следы прошлого, которые необходимы для воссоздания правильной картины целостного впечатления.

Одно из средств достичь этого — изучить перемены, наложившие отпечаток на настоящий облик места. Другое — искать те районы, где переходные фазы между эпохами и следы произошедшего заметны в большей степени. Вот почему, как уже сказано, я предлагаю начать осмотр Лондона именно с прославленного Ист-Сайда.

В восточной части столицы Великобритании еще несколько лет можно будет «листать» страницы великой истории города, включая криминальные главы. На первом месте —

Коммершиал-стрит, чье назначение отражено в названии. Целый район в непосредственной близости от старых стен города (Лондон-уолл) служил, да и по сей продолжает быть убежищем для тех, кто не хотел подпасть под юрисдикцию Сити. Здесь предпочитали селиться нарушители, эксцентричные типы и изгои, наподобие гугенотов Франции XVII века (искусные ткачи шелка), а затем — театральные актеры, бенгальские эмигранты и евреи, бежавшие из Восточной Европы от погромов. Полагаю, нет нужды углубляться в этимологию названия этого места: Спиталфилдс — Больничные поля. Уже в Средние века здесь располагались приорат и больница Святой Марии (*St. Mary Spital*). Вокруг ютились рыночки и базары, процветала мелкая торговля. До сих пор тут и там видны магазинчики и улочки в духе средиземноморских городков или местечек в Галиции. Кое-где заметны попытки к обновлению, но всюду царит дух запустения, словно район заявляет о своей недолговечности, балансируя между прошлым и будущим и, по сути, лишаясь настоящего.

Даниэль Дефо рассказывал, что Спиталфилдс в свое время был «настоящим городом». Бесспорно, довольно странным городом, если верить следующим его описаниям:

«Улицы были пустынные, грязные, все в выбоинах. Рядом простирались поля с пасущимися коровами».

Но жизнь вскоре пришла и сюда: шумная и взбалмошная, цветная и острая во всех смыслах, в том числе в отношении ароматов и вкусов. В Великобританию, страну, не отличающуюся разборчивостью во вкусах (пищевых я имею в виду), эмигранты принесли свои специи, соусы, кулинарный талант (на самом деле порожденный нищетой), способность превращать скудные кушанья в лакомства.

На окраине Коммершиал-стрит, со стороны Шоредитча, высятся группы зданий под названием Пибоди-билдингз. Джордж Пибоди, американский филантроп (родился в Массачусетсе в 1795 году), провел большую часть своей жизни в Лондоне. Руководимый возвышенными чувствами, он собрал значительную сумму денег, вложив ее в «улучшение условий бедной и

обделенной жизни великого мегаполиса во имя его счастья и благополучия». Как гордо звучит здесь слово «счастье» и насколько точно оно определяет тот период, когда вводилось в оборот! Только что закончился XVIII век, идут первые годы нового столетия. Тогда казалось, что можно получить свою малую толику «счастья» просто с помощью правильного распределения ресурсов. Львиную долю средств потратили на строительство народного жилья — чистого, просторного, достойного. Пибоди-билдингз могут поведать нам частицу истории города. Так же, как и удивительная краснокирпичная постройка под номером девять на Брун-стрит, — *Jewish Soup Kitchen* (Еврейская суповая кухня). Здесь выдавали миски с горячей похлебкой бедным евреям квартала. Центр помощи открылся в 1902 году и гарантировал каждому мизерный рацион, приготовленный в соответствии с канонами кошерного питания. В период Великой депрессии здесь еженедельно получали свой паек до пяти тысяч человек. Потом кухню закрыли, но здание, к счастью, сохранилось. Его архитектурные формы, столь непривычные для периода их создания, — само по себе впечатляющее свидетельство времени.

Здесь сохранился, пожалуй, самый загадочный дом в Лондоне. Обязательно стоит сходить на него посмотреть, хотя бы на фасад, поскольку внутрь проникнуть довольно сложно. В этом доме номер 19 по Принслет-стрит (улица, отходящая от Брик-лейн) располагается Центр наследия Больничных полей (*Spitalfields Heritage Centre*). Здание возвели в 1719 году для одной из множества гугенотских шелкопрядильней. В 1870 году оно стало Объединенной синагогой (третьей из старейших в Англии) и в этом качестве просуществовало до 1980 года.

Одна из тесных комнатенок этого небольшого строения, чьи интерьеры остались практически нетронутыми, стала, кроме прочего, местом рождения одной из самых поразительных легенд современного города.

В 1969 году вдруг исчез Давид Родинский, крайне ортодоксальный иудей и исследователь Торы, который жил в одино-

честве под крышей синагоги. Долгое время его никто не искал и не вспоминал, поскольку ученый вел замкнутый и уединенный образ жизни. В восьмидесятые годы каменщики, проводившие работы в здании, разрушив стену, обнаружили еще одну комнату. Она словно закапсулировалась. Ни тени присутствия хозяина, но наполненная следами его деятельности: каббалистические тексты на иврите и других языках, газеты двадцатилетней давности, путеводитель по Лондону с некоторыми тщательно отмеченными маршрутами, одежда, остатки пищи. Время покрыло предметы толстым саваном пыли, затянувшим также и маленькое окно, некогда пропускавшее немного света. А вдруг Родинскому удалось воплотить каббалистическую утопию и стать невидимкой? Или он пополнил длинный список «скрытых вещей», которыми, согласно Талмуду, полон мир? А может, он просто сбежал или умер? Городской поэт и новеллист Иэн Синклер был настолько очарован этой историей, что создал вместе с Рахель Лихтенштейн одну из своих самых удачных книг — «Комната Родинского».

Синклер остается, вероятно, величайшим из живущих хронистов Лондона. Сам он называет себя «психогеографом». Но в данном случае истинным автором книги все же можно считать Рахель Лихтенштейн. Еврейка, чьи деды в тридцатые годы бежали из Польши, спасаясь от нацистов, за десять лет превратила исследование случая Давида Родинского в дело своей жизни. Поиски таинственного жильца из дома номер 19 по улице Принслет-стрит стало для нее и способом постижения собственных корней (родители британизировали семейную фамилию в Лоренс, а Рахель решила вернуться к изначальному варианту — Лихтенштейн). В маленькой пыльной камерке, замурованной почти на двадцать лет, Рахель чувствовала трепещущее присутствие (или отсутствие) чего-то необъяснимого. Это что-то, однако, не мешало ей задать своим поискам вполне практическое направление. Карты, архивы, свидетельства рассматривались глазами историка и детектива. В результате обнаружилось, что Родинский

тоже бежал из Польши в возрасте десяти лет, чтобы укрыться от нацистов, был усыновлен английской семьей, рос замкнутым и одиноким ребенком, склонным к учебе и медитации. Однажды его даже пришлось лечить в психиатрической клинике. Но, по мнению Рахель, Родинский не сошел с ума. Он просто страдал, чувствуя себя в кольце полного непонимания.

Наконец, в один прекрасный день Рахель обнаружила могилу затворника. В книге читаем:

«Случилось так, как я и ожидала. Никакого надгробного памятника, только низкая насыпь из гальки, окаймленная выщербленным кое-где цементным бортиком, и тонкая табличка с несколькими словами: „Давид Родинский, 5 марта 1969“. Тогда я открыла молитвенник и вместе со своим спутником прочла заупокойную молитву. Обычно такую молитву должен произносить сын усопшего, но поскольку не было никого, кто мог бы исполнить данное действие, я решила произвести его сама. Прежде чем уйти, мы положили на могилу два небольших камня».

Что заставило Давида Родинского покинуть свое убежище? Предчувствие смерти? Или смерть неожиданно каким-то образом настигла его? В любом случае, кто же тогда позаботился о погребении? На эти вопросы, несмотря на исследования, до сих пор нет ответа.

Если повернуть от Принслет-стрит на улицу Брик-лейн, можно увидеть еще одно здание — тоже воплощение целой страницы в истории Лондона. Так ее и следует читать. Вывеска на фасаде гласит: *London Jamme Masjid*. Но это не просто одна из сотен арабских надписей в городе. Перед нами — главная мечеть Больничных полей. В последнее время мусульманская эмиграция достигла столь впечатляющих масштабов, что жители задумываются, не переименовать ли город в Лон-

донистан. Хотя уже тогда, полстолетия назад, при распаде Империи, приток мусульман был довольно ощутим. История мечети доказывает это.

Это не такое уж и нелепое по пропорциям здание было возведено в 1742 году в качестве гугенотской капеллы, но долго в этом качестве не просуществовало. Ближе к концу столетия дом оказался во владении Лондонского общества — ассоциации, провозглашающей своей задачей крещение иудеев. Для каждого иудея, пожелавшего переселиться из еврейского квартала в места более благоприятные, общество выделяло вознаграждение в пятьдесят фунтов стерлингов. Однако эта мера не возымела большого успеха: по завершении кампании выяснилось, что новообращенных оказалось всего шестнадцать. Тогда здание было превращено в капеллу методистов, а затем — в главную синагогу квартала.

В 1976 году его наконец приобрела община бангладешцев и превратила в мечеть. Так в этом здании — феномене городской жизни — отразилось напластование вер, вековая смена религиозных традиций, превратившая район в зеркало мировых пертурбаций.

Всего в нескольких шагах от мечети находится Фурнье-стрит. Там большая часть домов строилась для шелкопрядов-гугенотов, бежавших из Франции после 1685 года, когда с окончательной отменой Нантского эдикта вновь открылась охота на протестантов, — свыше двухсот тысяч человек покинули страну и были приняты в тех уголках Европы, где имелись общины единоверцев. Подняв голову, можно заметить высокие окна последних этажей, обеспечивающие трудолюбивым ткачам достаточное для работы освещение.

Осталась еще одна улица — и две истории, — прежде чем мы (нехотя) покинем эту часть Лондона, столь человечно, красноречиво и щедро позволяющую соприкоснуться с прошлым. Фэшн-стрит объята запустением — то грустным, то глухим. Эти настроения характерны для большей части Ист-Сайда. Некогда улица считалась модной, о чем свидетельствует ее название. В разные периоды тут селились художники и

писатели. Среди самых известных — драматург-комедиограф Арнольд Вескер, один из представителей молодых бунтарей-шестидесятников. В предшествующую эпоху на улице проживал писатель и публицист Израэл Зангвилл, который учительствовал в еврейской школе Больничных полей и был секретарем Всемирной сионистской организации. Его первый роман «Дети гетто» увидел свет в 1892 году. Об американской части жизни Зангвилла я рассказал несколько лет назад в книге «Секреты Нью-Йорка». Здесь же напомним только, что именно он изобрел понятие *melting pot* (тигель), для определения процесса смешивания народностей, из которого рождалось американское общество.

Во дворике между Бевис-Маркс и Хаундсдитч приютилась самая древняя синагога (сефардов) в Англии. Она открылась в 1701 году и находилась здесь три столетия, пока город рос вокруг. Чтобы попасть в храм, нужно зайти за ограждение, отделяющее здание от вторжения уличного движения, особенно активного в этой части города.

За оградой нас подхватывает иное течение времени. Храм словно парит над тихим двориком, обтекаемым бешеной жизнью. Интерьер также не подвергся изменениям: строгая деревянная отделка, религиозная символика, сдержанная позолота, изящный балкон-хоры. Не только для иудея, но для каждого, кто питает уважение к теме неколебимости веры и традиций, синагога на Бевис-Маркс станет важной метой, обязательной для посещения и остановки.

* * *

Поменяем направление. Оставим Ист-Сайд и вернемся в центр. В Лондоне полно мест, славящих, утверждающих или просто напоминающих об истории города и нации. Достаточно задуматься об истинном преклонении и уважении, окружающем двух воинов: адмирала Нельсона, героя Трафальгарской битвы, дважды разбившего французов на море (о нем пойдет речь в следующей главе), и герцога Веллингтона, триумфатора Ватерлоо, человека, низложившего Наполеона. Ес-

ли для многих итальянцев Веллингтон — не более чем просто одна из английских фамилий, то французы, наоборот, вспоминают ее как проклятие. Англичане же еще при жизни чтили (и продолжают почитать) герцога как отца нации, что, по сути, объяснимо для этого в глубине души воинственного народа.

Герцог Веллингтон в тот триумфальный день при Ватерлоо с вершины невысокого холма увидел, как его тяжелая гвардия гренадеров-«краснорубашечников», сомкнувшись в каре, ни на шаг не отступила под натиском французской кавалерии. И не только не отступила, а встретила французов мощнейшими мушкетными залпами, заставив в итоге ретироваться даже самых отважных кирасиров Наполеона.

Сегодня Нельсону помимо прославленной колонны на Трафальгарской площади посвящен роскошный мавзолей в кафедральном соборе Святого Павла. Зато Веллингтону в этом храме принадлежат целых два памятника: один из них, богато (даже слишком) отделанный, находится внутри базилики, другой же покоится в крипте. И конечно же герцогу посвящена триумфальная арка из белого мрамора перед его пышной резиденцией — на знаменитом углу (Гайд-парк Корнер). Именно там высится его величественный Эпсли-хаус, в недрах которого, наряду с сотнями мемориальных вещей и предметами обстановки, хранится один из сюрпризов Лондона, ждущий встречи с терпеливым гостем, который обязательно придет на встречу с ним.

Тот, кто хочет понять значение этого человека для Англии, непременно должен посетить дом-музей Веллингтона. На одной из представленных здесь картин изображен банкет, который в течение всей своей жизни герцог с пунктуальностью организовывал для своих офицеров в годовщину битвы (18 июня 1815 года). Приглашенные (их число иногда достигало 85 человек) должны были явиться между 18.30 и 19.30. У подножия внешней лестницы их приветствовали оркестр гвардейских гренадеров и сам герцог в форме славного полка. Гостя за короля в сопровождении национального гимна

произносился Веллингтоном непосредственно перед десертом, когда герцог стоял напротив сверкающего в центре стола серебряного украшения (его и теперь можно видеть на своем месте), исполненного по рисунку португальца Домингуша Антониу ди Сикейры для правящего принца Португалии. Во вкусовом отношении этот предмет вызывает некоторые сомнения (Бенвенуто Челлини перевернулся бы в гробу). Но с точки зрения политического значения его ценность неколебима: стоит присмотреться, с каким самоотречением четыре фигурки-воплощения континентов (в то время об Океании никто не знал) воздевают руки к небу, торжествуя победу трех союзников (Испании, Португалии и Великобритании) над ненавистным корсиканцем после шестилетней войны (1808—1814 гг., если считать с момента французской оккупации Испании).

Но главная причина визита в этот роскошный особняк и его истинный сюрприз — в другом. Речь идет о колоссальной статуе Наполеона, творении Кановы, расположенной у входа на лестницу, ведущую к верхним этажам. С этим колоссом связана любопытная история. Сам Наполеон, еще будучи в зените славы, заказал скульптуру главному итальянскому зодчему эпохи в 1801 году. В 1806 году произведение было завершено и в 1810-м отправилось в Париж. Но император не нашел времени и предлога, чтобы взглянуть на шедевр немедленно. Когда же наконец в 1811 году он увидел памятник, то, по свидетельствам, пришел в некоторое замешательство. Во-первых, Канова представил героя гигантских размеров, в то время как сам Наполеон, как известно, был велик во всем, кроме роста. С другой стороны, император был запечатлен в камне совершенно обнаженным, за исключением фигового листка в ожидаемом месте. И наконец, политические и военные события последних лет никак нельзя было назвать успешными, и посему триумфальное скульптурное прославление было совсем не к стати. В итоге прекрасное произведение было сослано на хранение в Лувр, откуда однажды, уже в период Реставрации, его извлек Людовик XVIII — на радость

британскому правительству, пожелавшему приобрести статую.

Англичане заплатили запрошенную сумму (66 тысяч франков), и памятник нашел приют в доме герцога в качестве личного дара короля Георга IV. Наполеон умер в 1821 году, Людовик XVIII — в 1824-м, Веллингтон пережил обоих с запасом и до конца жизни наслаждался красотой мраморного изваяния, показывая его гостям до 1852 года.

Но я хотел бы поговорить не об истории, то есть не о «той самой» истории. Позволю себе назвать только несколько мест, ибо в этом заключается замысел книги: взять примечательное место и заставить читателя взглянуть в его материальность, улавливая вместе с тем прозрачность происходящего. Лондон подпитывает фантазию тысячами вещей, которыми владеет, показывает их. Тут и новые кварталы, эмигрантские улицы, языковое вавилонство, остатки города XVIII века и викторианской эпохи. И кроме того, есть Лондон небоскребов и стеклянных дворцов, банков и крупных страховых компаний. Современность врывается в город, отменяя старину и стараясь поддерживать жизнь с помощью финансовых вливаний, — некогда эту роль исполняла «политика канонеров» (так называемая гонка вооружений).

Когда ты идешь по городу, куда ни глянь — встречаешь Историю. В Вестминстерском аббатстве она принимает облик леса статуй, каменных джунглей из фигур в возвышенных позах, красноречиво прекрасных. В частности, в трансепте столпились мраморные изваяния политиков, поэтов, генералов, королей и королев. Среди них на голом полу в величавом одиночестве — могила неизвестного солдата. Надпись на камне гласит: «Под этой плитой покоятся останки Британского Воина, переправленные из Франции, чье имя и звание неизвестны. Он обрел покой среди самых знаменитых мужей страны...». Сказано *воин*, а не *солдат*, то есть *витель*, боец, а не просто солдат. *Ignoto militi* или *Au soldat inconnu* — таковы привычные надписи на надгробии неиз-

вестных солдат. Даже несколько слов, выбитых на пустынном каменном полу старого аббатства, могут внести свою лепту в историю.

Еще один герой британского пантеона находится в соборе Святого Павла, объекте архитектурной гордости Кристофера Рена, который восстановил облик большей части Лондона после разрушительного пожара 1666 года. Вот уже более трех столетий церковь стоит здесь, вознося над городом свой стометровый купол и являясь вторым по высоте храмом после римского собора Святого Петра. Есть фотография, сделанная в трагический момент немецкой бомбардировки: силуэт гигантского купола наполовину скрыт клубами дыма от пожаров и взрывов, но здание чудесным образом остается целым, несмотря на окружающую его разруху. Внутри храма — гробницы, мавзолеи, кенотафы... Только лишь англиканская, то есть национальная, Церковь, а значит — противостоящая католической универсальности, может выдержать такое изобилие мемориальности и подвигов, не рискуя при этом избытком сакрализации военных побед и политических событий. Правящий государь, будучи главой подобной Церкви, не воплощает собой государство, склонившееся перед религиозными убеждениями, а скорее наоборот — это религия, становясь более светской, прислушивается к народному чувству, укрепляя свои позиции на земле.

В соборе нас окружает римская барочная пышность. Есть известное величие в разделении пространства и четкости объемов, превращающее этот храм в идеальное место для церемоний, словно предназначенных для страниц исторических хроник. Здесь, к примеру, проходили похороны Черчилля в 1965 году и венчание принцессы Дианы и Чарльза в 1981-м.

Среди множества памятников отмечу лишь несколько особенно выдающихся: печальное надгробие Джона Донна, для которого поэт позировал лично, пользуясь своим положением настоятеля сего великолепного места; богато украшенный

мавзолей лорда Нельсона в крипте; а также памятная плита с именем Кристофора Рена, зодчего собора. Перед нами — простая мраморная табличка в стене, ничего более. Но скромность ее обманлива, поскольку содержательная надпись гласит: «*Lector, si monumentum requiris, circumspice*» — то есть «Читающий, если ты ищешь памятник — посмотри вокруг». Эти несколько слов вмиг обращают мнимую скромность в самое пышное из восславлений.

Но есть в Лондоне памятник, по-своему еще более странный, если не сказать — более величественный. Речь идет о мумии философа Иеремии Бентама (1748—1832), заказанной им самим.

Будучи просвещенным мыслителем, проповедником единого для всех избирательного права, борцом за распространение образования и последователем Чезаре Беккариа¹, Бентам изъявил желание, чтобы его останки были забальзамированы и выставлены на всеобщее обозрение. Его волю исполнили. Сегодня мы можем наслаждаться видом усопшего, который с достоинством восседает в удобном шкафу со стеклянной витриной в главном здании Университетского колледжа Лондона (в его южной угловой части). Ученый сам указал, в каком положении его увековечить, о чем гласит заветное, выставленное тут же, под стеклом. Тело сохранилось вполне удовлетворительно, но голову пришлось заменить восковой копией, настолько сильно та пострадала от времени. Иногда, опять же по воле философа, тело приносят в профессорскую аудиторию для участия в академических прениях. Ученые утверждают, что присутствие тела в зале крайне понравилось бы его прежнему владельцу, хотя иронический (или пародийный) замысел подобного акта кажется нам довольно очевидным.

Под предлогом любопытного совпадения добавлю, что в музее криминальной антропологии Турина можно увидеть

¹ Беккариа, Чезаре (1738—1794) — итальянский ученый, юрист и публицист, автор известной работы «О преступлениях и наказаниях» (1764). — Примеч. ред.

голову основателя собрания Чезаре Ломброзо. С ленивой грацией медузы голова плавает в спиртовом составе в огромном сосуде.

Есть один паб (как известно это сокращение словосочетания *public house* — общественное место), где прошлое города вырисовывается особенно рельефно. Здесь время будто остановилось. Точнее, это 1667 год, то есть следующий после великого пожара, когда сгоревшее здание отстроили. Называется он «*Ye Olde Cheshire Cheese*» — «Старый чеширский сыр» — и расположен в самом центре города, под номером сорок пять на Флит-стрит, старейшей улице, где издавна находились редакции передовых газет, ныне переехавшие в другие районы, более холодные и далекие. Место это не притягивает туристов, я видел, как многие в неведении идут мимо. (В последний свой приход сюда я обнаружил приличную толпу, подогретую не одним стаканчиком теплого английского пива, с радостью празднующую победу национальной сборной по регби над другим членом Соединенного Королевства.)

Не деревянные стойки, не темные панели и достойное XVII века освещение, то есть крайне скупое — стекла в чугунных переплетах, пропускающие слегка окрашенные потоки света, — и даже не массивные дубовые столы с тяжелыми скамьями делают это место столь привлекательным. А скорее нематериальная черта: чувство временной паузы, погружения в прошлое, которое редко в каком-либо другом месте в Европе бывает настолько острым и неподдельным, недекоративным. Зальчики здесь небольшие, как и прежде, в каждом — свой камин; барная стойка, кажется, с неохотой покинула какой-нибудь из романов Диккенса. За исключением компании подвыпивших болельщиков-триумфаторов, в этом пабе (как и в любом другом) преобладает стиль сосредоточенного и молчаливого питья, что больше кажется выполнением долга, нежели истинным наслаждением. Здесь встречаются грузные типы с несколько замедленной реакцией, но надежные, силь-

ные, с крепкой памятью, вековыми чувствами. Ибо только такие люди способны вынести правление династии, подобной Виндзорам.

В том же духе, столь же несуетливо и немногословно, сюда заглядывали промочить горло Сэмюэл Пипс, описавший в своем «Дневнике» (1660—1669) всю подноготную города; Марк Твен, Чарлз Диккенс. Но особенно любил заскочить на стаканчик пива Сэмюэл Джонсон. Имя этого великого ученого сегодня нечасто вспоминается в Англии и, по-моему, еще реже — в Италии. Тем не менее в последние годы своей жизни (он скончался в 1784-м) Джонсон считался законодателем английской словесности, человеком — повелителем нравов и мод, и не только в литературе. Поражала его мудрость с привкусом ретро, безграничная эрудиция. Менее чем за десять лет, работая практически в одиночку, Джонсон составил первый большой Словарь английского языка, где встречаются зачастую до сих пор непревзойденные, острые и многосторонние формулировки, особенно в отношении политических терминов. Это глубокий и безупречный методологический труд сродни своему исполнителю. Даже король покидал дворец, чтобы пообщаться с ученым в доме прямо за пабом, где Джонсон прожил десять лет (Гоф-сквер, 17), и этот дом достоин нашего посещения. Среди прочего, на небольшой площади напротив, поставлен памятник коту Джонсона. Такое могло произойти только в Лондоне.

В начале своей научной деятельности доктор Джонсон был настолько беден, что даже не имел возможности окончить университет. Быть бедным до такой степени можно быть только в стране, исключительно беспощадной к своим нуждающимся. Зачастую Джонсон был вынужден шататься ночи напролет, поскольку не имел крыши над головой. Чтобы наскрести средства на похороны матери, ему пришлось написать и продать в считанные дни плохонький чувственный роман «Расселас, принц Абиссинии».

Наконец, благодаря правительственной дотации, полоса лишений для него прекратилась, и однажды в библиотеке

произошла судьбоносная встреча ученого с неуклюжим шотландским юношей. В тот момент Джонсону исполнилось 54 года, а Джеймсу Босуэллу едва стукнуло двадцать. Различие в возрасте дополнялось разницей во всем остальном. И все же встреча положила начало дружбе, определившей жизнь обоих. Молодой Босуэлл был честолюбив, слегка трусоват, не без недостатков и настолько скарден, что прибег к помощи денег некой дамы для лечения венерической болезни, которой, по его мнению, она же его и наградила. Этот «пирожок ни с чем» обрел смысл жизни в изложении подробностей бытия своего старшего друга. Произведение получило название «Жизнь Сэмюэла Джонсона». Это доскональный портрет мыслителя, полный мельчайших деталей, точный, как жанровая сцена нидерландского художника. Пожалуй, перед нами — первый пример биографии, которая живописует не только жизнь героя, но и окружающий его город, век и общество. В общем, в библиотеке произошло слияние двух судеб: молодому Босуэллу удалось создать шедевр, а доктор Джонсон счастливо доверил львиную долю своих воспоминаний перу неуклюжего шотландского юноши.

* * *

Еще одно место — галерея. Точнее Национальная портретная галерея. Если в пабе на Флит-стрит время словно замерло, здесь оно, наоборот, летит. Метры стен снизу доверху покрыты портретами: конными и парадными, полуфигурными и во весь рост, одиночными и групповыми, на холсте и в мраморе, — целый парад лиц, мундиров, украшений, оружия, интерьеров, головных уборов, обуви. Из-под покрова нарядов и драгоценностей смотрят на нас короли и королевы, поэты, музыканты и мыслители. Герои и проходимцы. Как писал Дефо в «Чистокровном англичанине»:

«Римляне впервые сплотились под началом Юлия Цезаря. Вместе с ними пришли народы, кого объединило это имя. Галлы, греки, лангобарды и, если не ошибаюсь, рабы и при-

шельцы со всех сторон... Из этой многосоставной и неприятельской толпы родился тщеславный персонаж с дурным характером: англичанин».

Многие из этих господ (и дам) с дурными характерами, но и с великими темпераментами представлены на стенах прекрасного места, которое, как кто-то сказал, «наконец дарит узнаваемые лица бесконечной чередой имен из исторических книг». Среди творцов — Ван Дейк, Рейнгольдс, Гейнсборо, Сарджент. Что же касается героев полотен, то они настолько многочисленны, что позволим себе отметить вскользь лишь некоторых: единственный известный прижизненный портрет Шекспира, карикатуру на Генриха VIII, лежащую статую Томаса Эдварда Лоуренса (Аравийского) в агонии, у его изголовья три книги, что всегда были рядом. Среди них — Оксфордская антология английской поэзии. Большое полотно Джона Сарджента называется «Офицеры», среди лиц узнаем образ молодого Уинстона Черчилля в бытность его первым морским лордом Адмиралтейства¹. Виконт Монтгомери Аламейнский хорошо известен итальянцам. Здесь же — портреты главных профсоюзных лидеров, а также Элтон Джон и Мик Джаггер, модельеры Мэри Квант и Кэтрин Хэмнетт. И наконец, пожалуй, самый любопытный портрет — Пола Маккартни, одного из четверки «The Beatles», — иронично прозванный «Брат Майка». Волею судеб автор портрета Сэм Уолш был другом брата Пола, которого как раз звали Майк, — посему было решено в шутку (а отчасти и всерьез) увековечить этот факт в названии картины.

* * *

Следующее место, о котором пойдет речь, обязательно к посещению для всякого, кто верит, что великий писатель избран своим временем в особые свидетели происходящего или готовящегося произойти, душевного состояния современников. Для Лондона, и не только для викторианского

¹ Военно-морским министром. — Примеч. ред.

Лондона, этим писателем стал, разумеется, Чарльз Диккенс (1812—1870).

Критик Эдмунд Уилсон писал о его творчестве:

«Каков истинный вид приюта для нищих под надзором органов Общественной Благотворительности? Какие мы там найдем запахи, вкусы и ощущения? Каков истинный образ английской буржуазии на каждой из ступеней ее развития? Каков истинный облик праведников и мерзавцев? Какое впечатление они могли бы произвести на вас не просто при мимолетной встрече за обедом, а во время совместного путешествия, совместной работы или жизни бок о бок? Диккенс может дать ответ на все эти вопросы. Одна из главных функций романа или театра нового времени — оставлять подобные свидетельства. Но немногие писатели были способны сделать это столь масштабно. Никто не превзошел Диккенса».

В доме под номером сорок восемь на Дафти-стрит Диккенс прожил три года, с 1837-го по 1839-й. Он писал:

«Сперва особняк показался мне настоящей семейной резиденцией высшего класса, что грозило мне дополнительной тягостной ответственностью».

Это — единственное из жилищ писателя, до сих пор не тронутое переделками, прекрасный образец григорианского стиля, с двумя жилыми этажами над цоколем. Особняк был заново обставлен тщательным образом и превращен в мемориальный музей писателя, с мебелью и подлинными вещами того времени.

С Диккенсом жили его дети, среди которых любимица Кэти, рожденная последней и ставшая довольно востребованной художницей. В первом браке Кэти ее супругом стал художник-прерафаэлит Чарльз Эльстон Коллинз, брат Уилки Коллинза, создателя мистических романов, полуготических-полудетективных. После смерти первого мужа Кэти вышла замуж за итальянского художника Карло Перуджини.

А вот еще одно, последнее место, на которое стоит взглянуть. Это так называемый мост Черных монахов — Блэкфрайерз-бридж. Однажды под его арками, тогда закрытыми металлическими лесами, нашли труп итальянского банкира Роберто Кальви. Несчастье произошло 15 июня 1982 года. Италия переживала расцвет периода, отмеченного криминальным сплетением мафиозных, политических и масонских (ложе Р2) связей в банках, включая ватиканский, под управлением прославленного монсеньора Марцинкуса.

Место для подобного преступления оказалось знаковым, не лишенным определенных аллюзий. Первый мост, переброшенный через Темзу на этом участке, был построен в 1769 году. Создатель проекта Роберт Милн долго работал в Риме, что не могло не повлиять на результат — в архитектурных формах, в аркадах из мощного портлендского камня явно ощущается влияние Пиранези. Мост должен был носить имя Уильяма Питта¹, но людская молва немедленно окрестила его Чернобратским или Черномонашеским — монахи расположенного поблизости доминиканского монастыря часто пересекали здесь реку в характерных темных облачениях. Следы существовавшего в этом месте с XIII века монастыря практически исчезли вследствие разрушений, пожаров и, наконец, забвения. Единственная уцелевшая его часть — фрагмент стены Ирландского двора (Айлэнд-ярд).

Старый мост был разобран и часто перестраивался на разных этапах своего существования. Нынешний вариант торжественно открылся при королеве Виктории в 1869 году.

Расследование, начатое после находки трупа Кальви, который на самом деле был повешен на одной из свай, с карманами, полными камней, чтобы симулировать самоубийство,

¹ Питт-старший, Уильям, граф Чатам (1708—1778) — английский политик; с 1756 г. лидер вигов в палате общин; в 1757—1761 гг. фактически руководил правительством. В 1766—1768 гг. премьер-министр коалиционного кабинета, после пожалования графского титула — член палаты лордов. — Примеч. ред.

бросило тень на силы и возможности Скотленд-Ярда в решении столь запутанного дела, ставшего английским эпилогом событий, в основном затрагивающих область нелегальных финансов Италии. На первых порах британский магистратский суд признал достоверной версию о самоубийстве, несмотря на ее очевидную неправдоподобность и смехотворность. Затем расследование продолжили итальянские прокуроры (Мария Монтелеоне и Лука Тескароли), которые, терпеливо сопоставив различные версии и «признания» представителей мафии, смогли обнаружить истинные причины случившегося.

Данное следствие было отмечено настоящими авантюрами и поворотами, вроде находки через двадцать лет после убийства именного сейфа финансиста в ячейке миланского банка. По мнению одного из членов Коза Ностры Антонино Джуффре, мужчину убили из-за «неаккуратного управления средствами мафии, в особенности миллиардами ее глав — Тото Риины, Бернардо Провенцано и Франческо Мадониа». Джуффре также сказал, что узнал правду при встрече с Пиппо Карло, который в тот момент (в середине восьмидесятых) скрывался от правосудия и находился «под защитой» в каком-то сицилийском поселке. Как бы ни завершилось расследование дела (если оно когда-нибудь подойдет к концу), этот мост с черным именем навсегда будет связан в памяти итальянцев с самым ужасным периодом их истории, который хотелось бы по возможности забыть.

||

АНГЛИЯ ОЖИДАЕТ, ЧТО КАЖДЫЙ ИСПОЛНИТ СВОЙ ДОЛГ...¹

Самый видный памятник, более того, сразу бросающийся в глаза гостю Лондона, — это колонна, посвященная Нельсону на Трафальгарской площади, дальняя родственница римской колонны Траяна. В свое время понадобилось три года (1839—1842), чтобы вознести к небу эти сорок с лишним метров (145 футов) гранита из Девоншира, увенчанного бронзовой капителью из старых пушек. Еще год ушел на воздвижение каменной статуи Нельсона, увеличившей высоту колонны еще на 17 футов (около пяти метров). До 1849 года велась отделка четырех барельефов у основания колонны (изготовленных из пушек, конфискованных Нельсоном). Самая драматическая из сцен представляет смерть адмирала² с почти фото-

¹ Слова Горацио Нельсона, сказанные накануне Трафальгарского сражения 1805 года, которое окончилось полным разгромом франко-испанского флота. Сам Нельсон в ходе сражения был смертельно ранен. — Примеч. ред.

² На самом деле последнее воинское звание Нельсона — вице-адмирал (1801 г.). — Примеч. ред.

графической точностью деталей, известных нам также из хроники. Прошло еще почти двадцать лет, прежде чем в 1867 году ансамбль дополнили четыре гигантские фигуры львов, творение барона Мароккетти, довольно любопытного мастера, личность которого достойна отдельного рассказа в коротком отступлении.

Скульптор Карло Мароккетти (1805—1867) родился в Турине, но долго жил в Париже, где, кроме прочего, участвовал в создании одного из фриз, украшающих Триумфальную арку. В Турине он исполнил в 1838 году статую Эммануила Филиберта¹, за что удостоился титула барона Во (там находился замок его отца). Когда во Франции разразилась революция 1848 года, барон спешно переехал в Лондон. Здесь он проявил себя, создав конную статую короля Ричарда Львиное Сердце с воинственно воздетой саблей наголо (она стоит у здания парламента в Вестминстере).

«Конный король» Мароккетти — один из немногих остатков Всемирной выставки 1851 года, для которой он и был отлит. Героическая поза, театрально воздетая рука, как и вся фигура легендарного правителя, в свое время вызвали бурю критики, но на самом деле это можно объяснить элементарной завистью.

Вернемся, однако, к нашей колонне. Итак, что же за господин застыл на ее вершине в иератическом спокойствии, вливаясь каменными глазами в линию горизонта? Конечно, это Горацио Нельсон. Именно его величайшей победе посвящена площадь, ставшая пристанищем колонны, барельефов и гордых львов барона Мароккетти. Чем же Нельсон заслужил подобную головокружительную честь? Читая суждения современников, замечаешь известное противостояние сторон. Одни называют его Наполеоном на море, но были и те, кто считал адмирала ничтожным человечешкой, лишенным даже ярко выраженных недостатков, чья жизнь состояла из мелких

¹ Эммануил Филиберт, по прозвищу Железная Голова (1528—1580), — герцог Савойский, сын Карла III и Беатрисы Португальской. — Примеч. ред.

грешков и низких слабостей на фоне серой неопределенности.

Главное достоинство этого человека все же заключалось вот в чем. Нельсон освободил свою страну от кошмара под названием Наполеон Бонапарт. Страх перед Наполеоном дожил в сердцах англичан до XX века. Писатель Брюс Чатвин вспоминал одну свою тетку, пугавшую его в детстве призраком Бонапарта: «Если не прекратишь, придет Бони и заберет тебя».

Нельсон дважды побеждал на море французского гения: сначала в заливе Абукир в дельте Нила, затем — при Трафальгаре. Будучи непревзойденным тактиком, пылким новатором, редким организатором людей и событий, английский адмирал победил бурю, охватившую континент и сотрясающую устои европейских монархий. Эти два сражения (не говоря о прочих) ослабили наполеоновскую мощь и укрепили британское могущество на море, делая страну первой морской державой в мире. Вот почему теперь он возносится к небесам выше всех.

В нежном возрасте Горацио обладал не особо крепким телосложением и вполне умеренно интересовался морем, даже был склонен к морской болезни. На протяжении всей своей жизни, проделав стремительный взлет на пост контрадмирала и командующего флотом, он продолжал мечтать, как и большинство его соотечественников, что рано или поздно тихо заживет в одном из загородных поместий, окруженном бескрайними вересковыми пустошами, где плющ скрывает стены, из труб вьется дымок, привычно подвывают собаки, земля не уплывает из-под ног и не раскачиваются люстры.

У Нельсона существовали четкие предпочтения и антипатии в политической сфере, что поможет лучше понять, как мы увидим далее, отдельные его жестокие решения. Преклонение Нельсона перед королем и — шире — перед монархией было настолько сильным, что он приравнивал республиканские воззрения к преступлению.

Нельсон был крайне религиозен, а его отец и брат служили пасторами. Вера в Бога воспринималась им как чувство, укреп-

ляющее дух, подготавливающее перед сражением к неизбежности смерти. Он считал, что атеисты и республиканцы обречены гореть в аду как грешники, что они недостойны человеческого существования (и смерти).

Вслед за институтом монархии (и церкви) на шкале ценностей Нельсона располагалось правительство, противников которого он был готов приговорить к виселице.

К краткому портрету необходимо добавить еще один штрих: ненависть к Франции и французам. Разумеется, это чувство во многом подогревалось действиями Наполеона («корсиканского чудовища»), с которым Нельсон постоянно сталкивался в тех или иных обстоятельствах. Однако и без Наполеона он бы не любил Францию. Адмирал считал эту страну заклятым врагом, нацией изнеженной и почти женственной, весьма посредственной с военной стороны, в массе своей состоящей из католиков и папистов. Заслуги французской учености, лидирующей в Европе, его мало волновали — на первое место ставилось все остальное, чего с лихвой хватало для ненависти.

Какие же достоинства смогли превзойти столь явные недостатки? Вероятно, в первую очередь — быстрая, интуитивная способность понимать суть людей. Если его не ослепляли политические или религиозные предубеждения, адмирал мог на расстоянии уловить достоинства и слабости человека. Именно благодаря интуиции он произвел глубокие преобразования в области маневров, включая самый опасный: построение судов во время боя. Для успешного исхода нужно было установить действительно магнетическую связь с командирами каждого судна. Письменных приказов, данных бортового журнала, циркуляров и прочего явно недостаточно, чтобы объяснить новаторский пыл некоторых его интуитивных решений. Поражает собранность, с которой целая флотилия, как единый организм, исполняла маневр вопреки ветру, волнам и иным сложностям. Хотя бы в этом Нельсон безусловно затмевал своего заклятого врага Наполеона.

Юношей Нельсон плавал на разных судах. Он родился в 1758 году и впервые попал на борт в 1770-м. В 1776-м, в самом начале американской революции, его назначают офицером — корона рискует потерять одну из своих самых важных и прибыльных колоний. Корабли американских пиратов бороздили океан так лихо, что продвинулись почти до вод Ирландии. Франция в пику Англии поддерживала независимость Америки. Ее философы и интеллектуалы подарили новорожденной нации идеологию, генералы во главе с Лафайетом боролись бок о бок с восставшими. Эта страна закрывала глаза на пиратские корабли Америки, и английские моряки воспринимали подобное отношение как вызов. У Нельсона же это вызывало ярость.

На фрегате «Ловестов» Нельсон отплывает третьим офицером к берегам Ямайки. Едва отметив свой девятнадцатый день рождения, он приступает к службе в ужасных для хлипкого здоровья климатических условиях: жара и ливни, повышенная влажность, на берегу свирепствуют желтая лихорадка и малярия. В конце концов командующий войсками адмирал Паркер берет его под свою защиту. Горацио действительно нуждался в ней.

Спустя несколько лет произошел один из эпизодов, раскрывающих склад характера Нельсона. Он был капитаном фрегата «Бореас», крепкого и быстроходного судна. Здесь стоит представить адмирала Ричарда Хьюза, человека с невнятной карьерой, сторонника мира и компромиссов, главнокомандующего на отдаленных островах Вест-Индии. В момент прибытия Нельсона Америка была потеряна окончательно, но жители Карибского архипелага, естественно, продолжали вести активную контрабандную торговлю с землями, на которых впоследствии вырастут Соединенные Штаты. Торговлю с британскими колониями регулировал целый свод законов («Навигационный акт»), которые устанавливал, что перевоз товаров может осуществляться только на судах британского производства и с командой гребцов, хотя бы на три четверти состоящей из подданных британской короны. Однако предприимчивость

новорожденной нации, объединенная с потребностью в торговле у островных жителей, способствовала тому, что большая часть торговых перевозок производилась на судах американского производства с командой из американских моряков.

Адмирал Хьюз охотно смотрел на это сквозь пальцы, опасаясь последствий, которые могло повлечь за собой буквальное подчинение букве закона. Кроме прочего, оживленная американская навигация способствовала процветанию населения, а следовательно, и сохранению мира, который легко было расколоть, о чем адмирал боялся и думать.

Нельсон, в свою очередь, выступил противником данной позиции, и вскоре ему удалось убедить главнокомандующего, что в его, Хьюза, обязанности в первую очередь входит соблюдение закона. В результате Горацио на своем «Бореасе» появился в порту острова Сент-Китс и приказал американским судам немедленно удалиться: торговля была поставлена под запрет.

Естественно, закипают волны протеста. Купцы и их адвокаты толпились в приемной адмирала, жалуясь на практический урон, наносимый действиями британцев, и на нелегитимность принятых решений. Капитану фрегата, заявляют они, не пристало устанавливать законы. Особенно тот закон, что не имеет силы после революции, кардинально изменившей положение вещей.

Генерал Ширли, управляющий Сент-Китса, вступил в переговоры с Нельсоном, пытаясь объяснить ему неуместность его упорства. Ответ Нельсона был краток: не хочет ли управляющий склонить его к нарушению закона, установленного английским парламентом? осознает ли он всю тягость происходящего? догадывается ли о неприятных последствиях, которые возникнут, если в Лондоне узнают о его словах?

«Ничто, ничто не может переубедить этого невыносимого двадцатилетнего капитана, этого маленького упряма», — огорчен генерал.

В те же дни несговорчивый капитан посещает дом зажиточного семейства Герберт, обязанного своим благосостоянием

ем должности председателя Совета острова Невис, которую занимает сам мистер Герберт, глава семьи. Племянница Герберта, молодая вдова Фрэнсис (Фанни) Нисбет, после смерти мужа осталась с пятилетним сыном Джошуа.

Горацио и Фанни встречаются, но нам не известно доподлинно, нравятся ли они друг другу. Кто знает, что за терзания и грустные воспоминания (а может, и одиночество) подтолкнули молодого англичанина на ухаживания за этой вялой барышней, на личности которой биографы не останавливаются скорее из чувства неловкости, нежели из-за нехватки точных сведений.

Между молодыми затеплился огонек помолвки, затем несколько месяцев сдержанных ухаживаний увенчались свадьбой (11 марта 1787 года). Брак этот был отмечен, пожалуй, лишь бесцветным спокойствием, по крайней мере, пока ураган под названием Эмма не развеял угли домашнего очага Горацио.

Нельсон возвращается в Англию с женой и въезжает в родовой дом. Следующее за свадьбой пятилетие его жизнь столь же посредственна, сколь и его юная супруга. Иногда он просит разрешения отправиться в плавание, но безрезультатно. Адмиралтейство упорствует. Нам не известно, вызвано ли это решение резонансом от действий Нельсона на островах или чем-то иным. Но можно ли вообразить себе степень нетерпения этого мужчины, созданного для подвигов? Нужна новая война, чтобы бедный капитан снова обрел палубу под ногами. И такая война была объявлена Франции 1 февраля 1793 года.

Сложно представить, какой эффект произвело в Лондоне данное событие, если не помнить о том, что десятью днями ранее на площади Революции (ныне Согласия) гильотинировали гражданина Капета, то есть бывшего короля Людовика XVI. Вот-вот начнется краткая диктатура Робеспьера и террор. Развязывается война, в которой помимо Англии участвует коалиция Испании, Голландии, Неаполя, Сардинии и Португалии, выступившая против революционной Франции, которая назвала себя «нацией во всеоружии». Однако для

европейских монархов Франция представляла скорее свору злых псов, коих необходимо было уничтожить.

Речь идет не только о предпосылках государственного или правового характера, немалую роль играют и коммерческие причины. Зарождающееся капиталистическое общество Великобритании во что бы то ни стало должно было господствовать на море, поскольку это обеспечивало развитие экономики и товарообмена. Но на пути стояли французы, как, впрочем, и испанцы, несмотря на то что волею судеб и по тактическим соображениям они с англичанами боролись с врагом бок о бок.

Такова сложная серия причин, по которым для нашего капитана наконец закончился период натянутого перемирия и скуки. Ему предлагают командование судном с шестьюдесятью пушками. Предложение немедленно принимается. Великолепному «Агамемнону» суждено будет войти в историю.

В апреле 1793 года «Агамемнон» снимается с якоря. Примерно в середине июня вся эскадра под командованием адмирала Худа начинает осаду города-порта Тулон.

Французский флот на поверку оказался слабоват с точки зрения дисциплины моряков, а также качества вооружения. Укрывшись в порту, французы, казалось, не собирались оттуда выходить. Худ был вынужден всеми силами выманивать врага в открытое море для вступления в решающий бой. У испанцев на тот момент были свои трудности, и они не могли помочь. (На самом деле до конца не ясно, с какой из двух противоборствующих сил они готовились объединиться в удобный момент.)

Речь идет не только о военных проблемах. Беспорядки, порожденные революцией, вызвали в Южной Франции острый продовольственный кризис. Урожай фактически был потерян. В осажденный Тулон провиант не поступал. Народ был взволнован. Объявили всеобщую мобилизацию. Около миллиона мужчин встали под ружье. Национальное войско Франции составило около четырех процентов общей численности населения. Вдобавок ко всему революционное правительство

в Париже решило пустить в ход суровые репрессивные меры. Подобная недалёковидная мера только усугубила ситуацию. В Тулоне вспыхнул мятеж, большинство жителей перешло на сторону монархии, защита порта была снята, и английскому флоту больше не чинилось препятствий. А испанцы? Испанцы держали нос по ветру. Примкнув к англичанам, они тоже прибыли в порт.

Англо-испанские войска, однако, не смогли удержать позиций. Худ, нуждавшийся в подкреплении, послал Нельсона с просьбой о содействии к правителю Неаполя. Так этот город впервые вошел в историю молодого капитана и в наше повествование, где ему уготована, как мы вскоре увидим, роковая роль.

В те времена послом правительства Его Величества в Неаполе числился сэр Уильям Гамильтон, недавно женившийся (после пары лет ухаживаний) на молодой даме невиданной красоты и предприимчивости: Эмме Лайон. В день венчания жениху был 71 год, а невесте — 26. Несмотря на нежный возраст, Эмма вела довольно оживленную (с разных точек зрения) жизнь. Гёте, с присущей ему сдержанностью и галантностью, писал о ее муже:

«Кавалер Гамильтон, после долгого периода увлечения искусством и всестороннего изучения природы, в лице прекрасной женщины обрел величайшую счастливую гармонию того и другого».

Первым министром крайне странного неаполитанского двора с 1789 года был сэр Джон (Джованни) Эктон, баронет, итальянец по рождению, но по происхождению все же англичанин. В характере этого человека в равной степени уживались гениальность и приспособленчество. Среди изменчивых ориентиров его политических установок лишь одно качество оставалось неизменным: ненависть к Франции, к республике, к плебсу. Подобные наклонности снискали нежность со стороны королевы Неаполя Марии Каролины, сестры той самой Марии Антуанетты, которую «мужланы» заключили в темницу в Париже и в октябре 1793 года поведут на гильотину.

Мария Каролина вышла замуж за Фердинанда, короля обеих Сицилий, годного скорее для участия в оперетте, если бы он не перемежал фарсовые выходы с трагическими решениями, скорее продиктованными безрассудством, чем настоящей суровостью.

Об этой оппозиционной и смешной парочке написано много. Они были довольно плодовиты. Несмотря на частое общение с куртизанками, горничными и продажными женщинами, есть основание полагать, что король бывал каждую ночь в постели своей супруги. За двадцать четыре года брака у них появилось на свет шестнадцать (!) детей. Чудовищное количество даже по нравственным меркам той эпохи.

Мария Каролина отвечала на излишества мужа содержанием внушительного штата любовников, не исключая особ женского пола. С тех пор как Эмма Гамильтон, с малых лет имевшая разнообразнейший сексуальный опыт, утвердилась при дворе, прошел даже слух, что ее связь с королевой окрасилась сапфической интимностью. В данной связи историк Жюль Мишле называет Марию Каролину «фурией, извергнутой адом», «склизким монстром». Умереннее, но не менее беспощадно и точно королеву характеризует Бенедетто Кроче:

«Этот дух мрака, без намека на нравственные устремления, пронизательность и благоразумие, разлагаясь, нес разрушение окружающим».

Тот же Кроче оставил отнюдь не лестное свидетельство и о супруге Каролины:

«Он думал об охоте, о женщинах, хорошей еде. Ради наслаждения этими вещами он был готов объявить войну, бежать, давать обещания, лгать, прощать и убивать».

Итак, Нельсон принес в Неаполь весть о падении Тулона и входе английской эскадры в стратегически важный порт. Или, иными словами, о том, что когти революции обломаны. Воздействие новостей было настолько велико, что Фердинанд соизволил оторваться от своих охотничьих баталий и выплыл навстречу Нельсону, а затем пригласил его на свой корабль.

Репорты капитана казались убедительными. Находясь во власти всеобщего энтузиазма, Фердинанд решил немедленно послать в Тулон шеститысячный взвод неаполитанских солдат.

Впервые в жизни он сдерживает слово!

Французская армия тем временем взяла Тулон в кольцо осады. Город был вынужден защищаться силами пестрого гарнизона, состоящего из французов-роялистов, англичан, испанцев, пьемонтцев и неаполитанцев. Вооруженные как попало союзники имели разные политические воззрения и часто были озлоблены друг на друга, что еще больше отдаляло надежду на пополнение запасов. Испанцы, в частности, постепенно пришли к выводу, что содействовать возвышению Англии на Средиземноморье им больше не выгодно — да, все-таки имеет смысл принять господство французское.

Возможно, этих сложностей было бы недостаточно, чтобы взять город, но французская армия, как оказалось, могла рассчитывать на тактические воззрения одного артиллерийского офицера двадцати четырех лет. Именно он выбрал построение пушек, рассчитав на глазок слабые точки противника. Этого офицеришку звали Наполеон Бонапарт. Он родился в местечке Аяччо на Корсике 15 августа 1769 года и был, соответственно, на одиннадцать лет моложе Нельсона. Девятнадцатого декабря Тулон освободили (или «оккупировали», если смотреть на события глазами британцев).

Бегство союзников из порта открывает одну из трагических страниц, которыми полна история. Представьте себе картину. В спешке на корабли грузятся воины вперемешку с беглыми французами, спасающимися от республиканцев, с другой стороны — солдаты-роялисты дезертируют в строй республиканской армии. Груды военных припасов, отчасти загубленных, отчасти еще пригодных, оставлены на молу, масса раненых и, как писали, «семьи без отцов и отцы без семей».

Здесь можно поставить точку в рассказе о первом периоде жизни Горацио Нельсона. Но если бы его военные и морские деяния завершились в декабре 1793 года, на бесславном итоге борьбы за Тулон, в Лондоне не стояла бы знаменитая ста-

туя, а мыс Трафальгар так и остался бы простым географическим названием.

Но нет, истории суждено было продолжиться, и Нельсону опять представился случай столкнуться с юным артиллерийским офицером.

Морское сражение, известное как битва при Абукире (или битва у Нила), состоялось 1 августа 1798 года. Нельсон к этому времени уже потерял зрение на левом глазу из-за ранения в голову при Кальви в июле 1793 года и правую руку на Тенерифе в июле 1797-го. Тогда шальным залпом картечи ему раздробило локоть, и военный хирург принял решение ампутировать всю конечность. Ночная операция, к слову, проходила на палубе «Тезеуса» при тусклом свете корабельных фонарей, без анестезии.

Теперь Нельсон был близок к сорокалетию и состоял в чине контр-адмирала. Его противник — Наполеон, который принял командование военными действиями против Англии и задумал неожиданно нанести ей косвенный удар со стороны Средиземноморья. Корсиканец хотел отобрать у англичан привлекательный по расположению и естественной защищенности порта остров Мальту. С захватом Мальты британские пути сообщения и торговли оказались бы скомпрометированными — такова была стратегическая цель операции. Наполеон бросил по этому поводу (как считается) одну из своих легендарных фраз:

«Европа слишком мала. Истинную славу можно снискать только на Востоке».

Адмиралтейству в Лондоне стало известно, что внушительный французский флот собирается выйти из порта Тулон, возможно, намечая курс на Англию. Командующему английским флотом на Средиземном море адмиралу Джервису (первому графу Сент-Винсенту) приказывают направить контр-адмирала Нельсона во главе эскадры для пресечения попытки вражеского наступления.

Так началось одно из самых гротесковых в истории морского флота преследований. Выйдя из Тулона с тридцатью

тремя боевыми и двумястами транспортными кораблями, с двумя тысячами пушек, тридцатью двумя тысячами солдат, с пестрой компанией из ста семидесяти пяти инженеров, ученых, археологов, художников и писателей, Наполеон стремительно покорил Мальту и оттуда, после пары недель передышки, задумал направиться в Египет.

Пока разворачиваются указанные перемещения, Нельсон прибывает в опустевший порт Тулон и соображает (или догадывается), что французский флот, вероятнее всего, направился на юго-восток. Он решает как можно быстрее устремиться в сторону Александрии. В его ведении силы из тринадцати боевых кораблей, но среди них нет фрегатов и прочих быстрых маневренных судов для разведки. Рывок был столь молниеносен, что, когда 29 июня эскадра приблизилась к Александрии, ее порт также оказался пуст: ни единого француза.

Нервный и неистовый, уже влюбленный в Эмму Гамильтон, Нельсон, тем не менее, осознавал крайнюю важность доверенной ему миссии, причем не только для Англии, но и для самого себя. Он приказывает двигаться в сторону порта Искендерон (Александретта), что на южной оконечности Турции. Но случилось так, что в своей безумной гонке Нельсон нечаянно опередил французский флот. По чистой случайности (или к сожалению) в момент, когда английская эскадра выходила из Александрии к новой цели, французские суда были еще в дне пути отсюда. Не хватило всего нескольких часов, чтобы два флота обнаружили друг друга.

Пока войска Наполеона сходили на берег, Нельсон, снова оказавшись перед пустынными берегами, решает вернуться в Сицилию. Наполеон вступает в первые стычки с мамлюками, а наш контр-адмирал борется со встречным ветром. Девятнадцатого июля он прибывает в Сиракузы. Сицилия считалась нейтральным государством, но благие деяния Гамильтона в Неаполе позволили английскому флоту пополнить запасы. Наполеон уже всю разворачивал свою кампанию, когда 25 июля Горацио снялся с якоря и снова направился на вос-

ток. Наконец, спустя три дня, во время остановки в греческой бухте, он узнал от местных рыбаков, что некая громадная флотилия несколькими неделями ранее была замечена у берегов Крита и, кажется, направлялась на юго-восток.

Гонка продолжилась и длилась четверо суток. Первого августа англичане снова были в Александрии. И снова перед ними пустота. А позади — изнуряющие недели курсирования по Средиземному морю под угрозой неминуемой атаки противника. Хорошо знающий своих людей Нельсон читает на их лицах уныние, в движениях видит душевный упадок... Невзирая на обеденное время, он приказывает организовать обильный ужин, приглашает к себе за стол офицеров. И вдруг в момент перехода к десерту в кают-компанию врывается запыхавшийся гвардейский офицер со следующей вестью:

— Авангард сообщил, что враг находится в бухте Абукира и занимает оборонительную позицию.

Звучит громогласное «Ура!», поднимаются бокалы для тоста. Один из офицеров спрашивает:

— Что скажет мир, если мы победим?

Нельсон смотрит на него единственным действующим глазом и отвечает:

— Слово «если» в этом случае исключено. Мы несомненно победим. Но другой вопрос — останется ли кто-нибудь в живых, чтобы донести эту весть миру?

Французской эскадрой командовал адмирал Франсуа Брюэ д'Эгальер, в чьем распоряжении было тринадцать линейных боевых кораблей и четыре фрегата, растянутые кильватерной колонной вдоль вектора ветра. В центре группировки высилось огромное судно «Ориен», оснащенное ста двадцатью пушками.

Уровень вод в бухте был довольно низок, с частыми отмелями. На счету у Нельсона — тринадцать кораблей, на каждом — по семьдесят четыре пушки, и он решается на крайний шаг: вклиниться в узкое пространство между линией французских кораблей и сушей.

Четыре корабля из английской эскадры продвигались вдоль берега, рискуя в любой момент сесть на мель. Осталь-

ные готовилась атаковать с моря. Чувствуя себя в безопасности, французы даже не потрудились открыть пушечные гнезда со стороны суши. Английские суда чудом втиснулись в узкий коридор, посылая оружейные залпы.

После семи часов вечера корабли Нельсона начали обстреливать центральную группу вражеской эскадры со стороны открытого моря. Осколок ядра рикошетом рассек кожу на лбу контр-адмирала, и теперь она широким лоскутом падала на единственный видящий глаз, заливая лицо кровью. Нельсона на руках унесли под прикрытие, и искусный хирург под непрерывный орудийный гул прочно сшил кожные покровы.

В восемь вечера пять французских кораблей сдались. В девять на борту «Ориена» разгорелся пожар, питаемый неосторожно оставленными на палубе бочками с краской. В девять сорок пять на полыхающем, словно факел, корабле раздался мощнейший взрыв, который слышали в радиусе двадцати километров. Семьдесят французских моряков оказались за бортом — их втащили на английские корабли. Мрак прорезали только огненные всполохи. В темноте три французских судна, сосредоточившиеся с противоположной от атаки англичан стороны, попытались ускользнуть. Двум удалось уйти, а третье прочно село на мель и погибло от пожара, разожженного по приказу капитана.

Восход солнца 2 августа позволили рассмотреть страшную картину: остовы разрушенных и сгоревших кораблей, наполовину погруженные в море. В воде плавали обломки мачт и тела погибших вперемешку с остатками бочек, обрывками веревок и досками. Нельсон, наблюдавший с перевязанной головой за жутким зрелищем, произнес только одну фразу, которую в ту минуту подсказало ему сердце:

— Победа — недостаточно сильное слово для подобной сцены.

В Лондоне Нельсона решили наградить титулом «барон Нила» и определили ему пенсию в две тысячи фунтов стерлингов. По правде говоря, он надеялся на титул виконта, но все же изобразил признательность за оказанную честь.

Его прибытие в Неаполь 22 сентября 1798 года оказалось триумфальным. Король предложил ему во владение графство Бронте на Сицилии, в честь героя были организованы празднества с ярчайшей иллюминацией Неаполитанского залива. Нельсона одаривали комплиментами и лестью; дамы наперебой любезничали с невысоким безруким мужчиной, лицо которого вдобавок ко всему пересекал уродливый шрам. Но единственный глаз контр-адмирала фокусировался только на одной особе по имени Эмма Гамильтон.

История этой женщины, которой суждено было внести свой вклад в Историю, кажется сошедшей со страниц полупристойного романа той эпохи. Эмма — дочь кузнеца и горничной, в четырнадцать лет она перебралась с матерью в Лондон на заработки, сначала — в качестве горничной в различных домах, затем — прислуги в третьесортной гостинице. Там ей и повстречался младший лейтенант Джон Уиллет Пейн, любовницей которого она становится. В шестнадцать лет Эмма родила сына, которого сразу отдала на попечение бабушки с дедушкой.

Лейтенант, столь же блистательный, сколь и легкомысленный, вскоре увяз в долгах. Один из друзей предложил погасить его долги необычным способом — в обмен на Эмму. Офицерик, не долго думая, уступает свою подружку приятно, как товар в сделке.

Эмма обладает живым умом, умеет нравиться. Кроме того, она умеет заинтриговать, возжечь желание в мужском сердце, неслучайно впоследствии знаменитые живописцы запечатлели ее в образе вакханки. И она неплохо зарабатывает, продавая себя то одному, то другому почитателю, совершенствуя искусство обольщения и оттачивая его приемы.

В доме очередного любовника, не столь наивного, как хорошенький лейтенант, она обучилась вести беседу и красиво писать, теперь она может блеснуть манерами, да и вообще превратилась в светскую даму, ничуть не похожую на простушку из Честера.

Эмма встречается с важными людьми, один из которых, Чарлз Гревиль, настолько увлекся, что взял ее в содержанки. Новый любовник Эммы вбил себе в голову улучшить образование девушки и для начала поменял ее имя, а заодно и имя ее матери. Теперь они становятся, соответственно, мистресс Харт и мистресс Кадоган.

У Гревилья был дядюшка, некий пожилой джентльмен и прославленный коллекционер произведений искусства, сэр Уильям Гамильтон, английский посол в Неаполитанском королевстве. Во время одного из своих визитов на родину сэр Уильям знакомится с любовницей племянника и увлекается или, возможно, даже влюбляется, прежде чем увидеть Эмму из плоти и крови, в один из ее провокационных портретов. Судьба идет навстречу желанию Уильяма: молодой Гревиль тоже большой должник. Происходит новый обмен: Гревиль отказывается от избранницы, и она отправляется к сэру Уильяму в Неаполь. Поначалу Эмма думает провести с ним совсем немного времени, видимо не заметив, что приличное имение Гамильтонов в Пемброке одновременно с ее отъездом перешло в управление молодого Гревилья.

Маска отеческого, если можно так сказать, покровительства в отношении Эммы вскоре спадает, и двое открыто становятся любовниками. Изнеженность неаполитанского двора, столь отличная от британской сдержанности, открытость, с какой принимают Эмму, итальянская живость, климат, море, а также все, что нам уже известно, способствуют возведению странной пары в фавориты неаполитанского двора. Не исключено также, что в период заключения Марии Антуанетты в Бастилию и ожидания казни Эмма помогала Марии Каролине каким-то образом поддерживать связь с сестрой. Несомненно одно — Эмма приобрела определенное положение при дворе в Неаполе, о чем не могла и мечтать на родине.

Сэр Уильям был очарован Эммой до такой степени, что решил жениться на ней. Свадьба состоялась 6 сентября 1791 года в Лондоне. Последующие события хорошо известны. Эмма с мужем не только привечали Нельсона, но и помогали ему с

запасами для кораблей. Если вдруг у королевской четы Неаполя возникало препятствие в содействии английскому флоту, эти двое (при содействии сэра Эктона) бросались на его устранение.

В день возвращения Нельсона из Абукира, когда английские корабли зашли в великолепную гавань, Эмма одной из первых поднялась на борт флагмана. Ее волнение (может быть, и искреннее) оказалось настолько велико, что при виде героя она побледнела и упала в обморок. Нельсон с готовностью подхватил даму единственной рукой. В общем, из этой одновременно банальной и поразительной сцены развернулась настоящая истории любви.

И Горацио, и Эмма состояли в браке, но реакция их вторых половинок была противоположной. Пожилой сэр Уильям с поразительной непринужденностью приспособился к роли рогоносца, терпящего все во имя любви к родине. С другой стороны, когда мужчина в преклонном возрасте берет в жены двадцатилетнюю женщину, он предполагает, какой риск кроется за этим.

Фанни между тем с завидным упорством предпринимала попытки вернуть Горацио к семейному очагу. Нельсон посылал ей необходимые средства, но в остальном оставался непоколебим.

В 1801 году Фанни пишет ему с мольбой:

«Мой возлюбленный супруг, давай снова будем жить вместе».

Он отсылает письмо обратно с пометкой «Открыто по ошибке».

Каждый мужчина, проживший, как Нельсон, жизнь, полную боли и лишений, закрывающий глаза на истинные чувства из-за амбиций, чувства долга или любви к родине, человек, который только в сорок лет познал страсть, — верная жертва стрел Амура. Особенно если речь идет о такой очаровательной даме, как Эмма. Контр-адмирал отправляет ей по три-четыре пылких письма в день со словами:

«Я люблю тебя, как не любил никогда других. Никогда до сего я не получал залога любви, пока ты мне однажды не дала

его... О, что я испытываю от одной мысли провести ночь с тобой! Сама мысль заставляет меня пылать. Но еще большее пламя разожжет реальность!»

Дочь этой страсти назовут Горацней.

Летом 1805 года влюбленные причастятся вместе перед алтарем и обменяются кольцами, как при настоящем бракосочетании. Пройдет несколько идиллических недель, а потом, в двадцать два тридцать, в пятницу, 13 сентября, Горацио Нельсон сядет в карету и умчится в ночь, навстречу своей роковой судьбе. Но все это случится гораздо позже. Пока же мы находимся в Неаполе.

В столице Королевства обеих Сицилий Нельсон входит в самые тесные придворные круги, занимая пост королевского советника. К его мнению чаще всего прислушиваются, хотя на фоне высокого положения контр-адмирала в воюющей стране данная роль в королевском совете кажется скорее двусмысленной.

В феврале 1798 года французы поддерживают установление республики в Риме, вынуждая папу бежать. Нельсон предлагает выслать на место корпус из пятидесяти тысяч неаполитанских солдат. Мысль получает одобрение, но поход оканчивается полной неудачей. Против французов выступают бездарные офицеры и неспособные к бою солдаты. Сначала неаполитанцы отступают, а затем пускаются в стремительное бегство. В конце января 1799 года французы под командованием генерала Жана Этьена Шампийонне вошли в Неаполь. Республиканские патриоты снесли головы «оборванцам», преданным Бурбонам, облегчив пришествие «освободителей». Была провозглашена Партенопейская республика.

Здесь было бы нелишним рассказать о сути славной и эфемерной республиканской авантюры, а также о причинах ее блеска и недолгой, но многострадальной шестимесячной истории. Но поскольку данная глава посвящена Нельсону, мне придется ограничиться отдельными сведениями, почерпнутыми из более влиятельных источников. В частности, на-

чиная с фундаментального труда Винченцо Куоко «О революции в Неаполе». Это — показательный труд о том умеренном и демократическом либерализме, который мог бы стать лучшей управляющей доктриной для народов, если бы просвещенная умеренность демократического образца когда-нибудь пользовалась достаточной популярностью.

Главный тезис Куоко заключается в том, что революция провалилась, поскольку революции не делаются без народа; не философия и не великие теоретические вопросы, а повседневные нужды и потребности движут массами. Призывать народ на защиту государства, «не наставляя его, — это все равно что сделать его опасным, заставляя его делать то, что он не умеет делать... Всегда слабо то государство, что не защищено своими гражданами».

В прекрасном романе Энцо Стриано «Остаток от ничтожества», где действие происходит в республиканские месяцы, есть одна жуткая сцена, в которой несколько прсвещенных мыслителей обнаруживают себя в глухом закуте с целью убедить непокорный плебс примкнуть к философии свободы. Выступление прогрессивного аристократа сопровождается грубыми шуточками и кривляниями толпы, пока один из главарей шайки не выгоняет ученого со словами: «Свою свободу оставьте себе! И знаешь, куда ее можно засунуть? В... своей мамочки!» В переводе с неаполитанского диалекта эта сцена с точностью выражает общий ход мыслей Куоко.

В конце концов, даже Бенедетто Кроче развил ту же идею в следующем наблюдении:

«Эта республика, как только прошел первый период эйфории и опьяняющего подъема, оказалась без сил и фундамента. Неаполитанские патриоты были великими идеалистами и плохими политиками. Шаткое положение республики определяли колебания между раздутыми иллюзиями и ничтожными результатами, пылкими предложениями и убогими средствами. Это была жизнь на грани комедии и трагедии, пока не возобладала последняя».

Королевская чета скрылась в Палермо незадолго до того, как французские войска заняли город. Нельсон на кораблях сопровождал беглецов и остановился в доме Гамильтона. Он играет в карты, просаживает и выигрывает деньги, пьет, предаваясь беспутной жизни вместе с изгнанной знатью, кутит в чужих патрицианских домах до рассвета, хотя раньше, как правило, поднимался в пять утра. Однако бессонные ночи и волнующая близость Эммы не мешают ему мечтать об освобождении Неаполя.

Его мечты осуществил кардинал Фабрицио Руффо, одна из тех беспокойных личностей, что время от времени появляются в итальянской истории. Он назвал себя кардиналом, не будучи священником, высадился в Калабрии «во имя Святой Веры» с армией, состоявшей из мошенников и остатков команд сицилийских галер, и стал продвигаться на север, грабя и разрушая все вокруг. В этот смутный период крестьянские восстания «за короля» вспыхивали так же часто, как потом, в 1857 году, будут разгораться протесты против трехсот «молодых и сильных» волонтеров Карло Пизакане в борьбе за объединение Италии (с неколебимой уверенностью народ всегда интуитивно встает не на ту сторону).

Руффо, истинный «глава шайки», по словам Кроче, вошел в Неаполь в июне 1799 года, и за него горой поднялись все прощелыги. Бандиты вершат дикие расправы. Женщины, подозреваемые в симпатиях к республиканскому строю, подвергаются насилию, некоторых патриотов сжигают живьем, некоторых склоняют к каннибализму. Интеллектуальная элита, возглавлявшая республику, решает сдаться. У нее просто нет иного выхода. Кардинал в данной ситуации проявляет мягкость и вступает в переговоры о специальных условиях. В результате по договору защитники республики, засевшие в крепостях, обязались покинуть город без кровопролития и искать убежище за пределами королевства, в основном во Франции.

Когда Нельсону сообщили о принятых соглашениях, он устремляется в Неаполь. Он всем сердцем ненавидит респу-

бликанцев, видя в них непокорные правителю умы. Чета Гамильтон следует за ним. Руффо и капитан Эдвард Фут, английский офицер, вышший по рангу в тот момент, уже подписали все бумаги. Нельсон рвет их, требуя безоговорочной капитуляции, и выстраивает свои корабли в бухте, на случай, если кто-то не уловил беспрекословности его пожеланий. Согласно устоявшейся исторической версии, особую роль сыграло также и давление со стороны Марии Каролины, просившей отмищения за казненную в Париже сестру. Эмма Гамильтон, фаворитка и королевы и адмирала, всячески способствовала свершению правосудия.

Ничего не подозревающие восставшие, принявшие прежние договоры, уступают. Выбор Нельсона и ярость Фердинанда, питаемая бессилием, довершают ситуацию. Сливки неаполитанской просвещенной интеллигенции обречены. На эшафот всходят лучшие люди государства под насмешки и ругань тех самых плебеев, которых они наивно пытались поднять до уровня образованных граждан. Вместе с остальными умирают Марио Пагано, Доменико Чирилло, Дженнаро Серра ди Кассано, Элеонора Фонсека Пиментель, Луиза Санфеличе. Нельсон жестоко обращается с Франческо Караччоло, адмиралом бурбонского флота, перешедшим к республиканцам. Офицера приводят в цепях на борт судна «Фоудройант», где боевой суд в составе неаполитанских военачальников, возглавляемый Нельсоном, всего за день (29 июня 1799 года) обвиняет его и приговаривает к смертной казни через повешение. Во время казни Нельсон присутствует на обеде в обществе Гамильтонов и лорда Нортвика. Стыд превращения корабля в эшафот никоим образом не портит ему аппетит.

Затем Нельсон с возлюбленной проводят несколько недель любви в сельском спокойствии Мертон, близ Лондона. Эта идиллия, вероятно, больше импонирует Горацио, нежели тревожной Эмме. К тому же 13 сентября 1805 года адмирала призывают на очередной бой. Спустя сутки он уже поднимается на борт «Виктории», величественного трехпалубного маневренного корабля, укомплектованного ста пушками. Отчали-

вает он 15-го, а 23-го принимает командование эскадрой из двадцати трех линейных кораблей, лучшей флотилией из всех, когда-либо им управляемых.

Наш герой заметно усох, пожелтел лицом, потерял несколько зубов, правый пустой рукав кителя обвис. Но харизматичность этого человека заставляет команду беспрекословно повиноваться его приказам.

Устав и правила боя того времени предполагали, что атаку должны вести все линейные корабли, доверенные в единое подчинение адмиралу. Но Нельсон нарушил привычные принципы и разработал план командования со смещенным центром, в котором каждый капитан принимал на себя долю ответственности, а также мог использовать выгоду положения. Мысль о разделении кораблей с целью противостоять частям вражеского флота была революционной и опасной. Наставляя офицеров, Нельсон в который раз ставил на карту свою репутацию.

Выйдя из Гибралтара, за несколько недель эскадра пересекла Атлантику, держась на расстоянии примерно пятидесяти миль от испанского побережья. На заре 19 октября капитан ближайшего к берегу фрегата объявил о появлении кораблей франко-испанского флота. Новость передается с судна на судно и к девяти тридцати достигает флагмана. Приказ Нельсона краток: перегруппироваться носом на юго-восток для перекрытия выхода эскадры адмирала Вильнёва, командующего франко-испанским флотом, и пресечения бегства противника в Средиземном море.

Спустя два дня, находясь у мыса Трафальгар, Нельсон пишет Эмме прощальное письмо и делает отметку в бортовом журнале:

«Понедельник, 21 октября 1805 года. На заре был обнаружен флот противника, сосредоточенный в восточном и юго-восточном направлениях. Я отдал приказ поднять паруса и готовиться к сражению. Враг направляется на юг. О, Господь Всемогущий, обеспечь моей родине, во имя спасения всей Ел-

ропы, великую и славленную победу, сделай так, чтобы ни одна мерзкая выходка не омрачила ее. Пусть гуманность станет, наконец, после этой победы отличительным знаком британского флота. Лично я веряю свою жизнь Тому, кто создал меня. Пусть Его благословение просветит мои действия на службе у родины. Аминь. Аминь. Аминь».

Один из офицеров Нельсона записал в своем дневнике, что, проходя мимо каюты адмирала, он видел его преклонившим колена в молитве.

Другое послание передает последние желания нашего героя:

«Я веряю Эмму, леди Гамильтон, заботам моего короля и страны. Надеюсь, что они обеспечат ее так, чтобы она могла жить в соответствии с ее рангом. Я также завещаю милосердию моей страны мою приемную дочь Горацию Нельсон Томпсон и желаю, чтобы она именовалась в будущем только Нельсон. Вот единственные просьбы к моему королю и моей родине в момент перед битвой во имя них».

Посмотрим, каков был исход этих молитв.

Адмирал Вильнёв вышел из порта с дурным предчувствием, сознавая преимущество сил противника. Его собственные корабли выстроились в линию протяженным полумесяцем. Англичане, выступавшие с подветренной стороны, сформировали две колонны (второй командовал Коллингвуд). Во главе каждой из колонн стояли мощные трехпалубные суда. Изначальный план предусматривал, что первая колонна ввяжется в отвлекающий бой с франко-испанским арьергардом, а Коллингвуд атакует центральные позиции неприятеля. Однако Нельсон, повиновавшись некому предчувствию, в считанные минуты сменил тактику. Он передает на корабли приказ о новом построении: главы колонн должны одновременно вломиться в строй противника (в просторечии «пересечь буквой Т») и таким образом еще на приличном расстоянии отре-

зять почти две трети флота врага. Главной целью в этом случае являлась изоляция и уничтожение части вражеской эскадры, путем сосредоточения на этом участке главных сил до прибытия помощи.

Но при таком маневре речь шла о лобовой атаке с неминуемым попаданием под ураганный огонь пушек противника и о невозможности ответного огня до полной перегруппировки строя. Маневр был настолько рискованным, что после смерти Нельсона он был категорически запрещен Адмиралтейством за неимением тактиков, способных достойно осуществить нечто подобное.

Нельсон доверился скорости и мощи лебедек огромных трехпалубных кораблей, осознавая кровавые последствия подобного шага. Стоя на капитанском мостике, он часто подносил подзорную трубу к левому глазу; на нем парадный мундир, и он при орденах. Таков уж обычай адмирала — единственный признак тщеславия, над которым многие посмеивались. Но это было и слабое звено, сыгравшее фатальную роль в судьбе нашего героя.

Адмирал Сент-Винсент писал о Нельсоне:

«Бедный человек! Его снедают тщеславие, слабости и безумие. Облаченный в мундир, покрытый лентами и медалями, он все равно продолжает презирать почет и церемонии, регулярно в них участвуя».

Когда оба флота сблизилась на расстояние выстрела, Нельсон поднял на флагмане два сигнала для эскадры. Первый означал:

«Поднимайте все флаги, что могут выдержать мачты».

Во втором сигнале заключался весь смысл дня, выраженный в одной из самых знаменитых и лаконичных фраз, когда-либо адресованных командиром своим воинам перед боем:

«Англия ожидает, что каждый исполнит свой долг».

На кораблях противника также были подняты флаги, и Нельсон наконец смог понять, на каком из них находится ко-

мандующий франко-испанской эскадрой адмирал Вильнёв, — это «Буцентавр». «Виктория» атакует его на всех парусах. Сплоченность капитанов постепенно приносит свои плоды. Каждый из них на лету схватил смысл незапланированного маневра и действует соответственно. Бомбардиры, срывая с себя рубахи, остаются полуобнаженными. Сначала они аккуратно заправляют снаряды в орудия, но потом, в разгар боя, забывают обо всем. Увы, противник оказался проворнее — заряжает и стреляет гораздо быстрее англичан. Музыканты играют «Hearts of oak» и «Britons strike home», палубы обливаются водой во избежание пожара и засыпают песком, дабы не скользить по крови.

Вильнёв не может придумать ответный удачный маневр. Франко-испанская эскадра защищается изо всех сил, концентрируя огонь на английском флагмане, отражающем удар сразу четырех кораблей; около пятидесяти моряков ранены или убиты. Рулевое устройство на палубе повреждено, обрывки парусов и обломки мачт летят в стороны при каждом залпе. Несмотря на все это, «Виктории» удастся прорваться сквозь линию противника, развернуться и открыть бортовой огонь.

Корабли объаты плотными клубами едкого дыма, стоит чудовищный орудийный грохот, человеческие потери неисчислимы... Французы бьются с завидной отвагой, но уже через несколько часов становится ясно, что они терпят поражение. Сражение распадается на несколько схваток, в которых преимущество англичан очевидно. Тактика раздела вражеских сил обеспечила британцам подавляющее численное преимущество.

Тяжелейший бой длился пять часов. В результате потери франко-испанской стороны составили 7 тысяч убитыми и ранеными, англичане потеряли 450 человек¹.

Среди немногих выживших французов — стрелки командира «Редутабля» Жана Лукаса, научившего нескольких моря-

¹ По официальным данным — 1700 человек. — Примеч. ред.

ков управлять с мушкетами на палубах и мачтовых площадках, выцеливая офицеров и начальников бомбардиров с целью обезглавить команду и склонить ситуацию к выгодному абордажу. Один из таких снайперов и ранил Нельсона.

В тринадцать тридцать пять пополудни с расстояния не более двадцати метров стрелок на средней мачте «Редутабля», прицеливаясь, поймал на мушку адмиральский парадный мундир со сверкающими орденами. Нельсону картечью раздробило плечо и задело позвоночник. Его перенесли на нижнюю палубу, окутанную дымом; грохот непрерывного боя здесь слышался особенно отчетливо. Агония длилась три часа. Капитан Харди доложил, что 15 судов неприятеля спустили флаги и готовы сдаться. Перед смертью Нельсон выразил последнее желание:

— Не бросайте меня за борт. Я хочу, чтобы меня похоронили рядом с отцом и матерью, если король не рассудит по-другому.

В Лондоне о невероятной победе при Трафальгаре и трагической смерти героя первым узнал Уильям Марсден, первый секретарь Адмиралтейства. В ночь с 5 на 6 ноября ему пришлось засидеться за работой допоздна. Около часу ночи он решил наконец задуть свечи и отправиться домой поспать. Но тут в дверях его кабинета появился растрепанный офицер в сопровождении привратника.

— Сэр, — запыхавшись, выкрикнул он, — мы одержали великую победу, но потеряли лорда Нельсона...

Марсден вскочил со стула, не осознавая как следует, на какой из новостей сосредоточиться: на радостной или катастрофической.

Первый лорд Адмиралтейства, восьмидесятилетний лорд Бэрхем, в течение долгих лет проживал в одной из комнат здания. Растерянный Марсден никак не мог найти нужную дверь. Со свечой в руке, в сопровождении только что сошедшего на берег офицера, он осмелился разбудить старика. Открыв глаза без особого волнения, тот безмятежно спросил:

— Что нового, мистер Марсден?

Выслушав с непоколебимым спокойствием драматические сообщения, Бэрхем изрек:

— Сначала нам нужно оповестить первого министра и Его Величество.

Уже на следующий день новость о победе и гибели Нельсона опубликует ежедневная газета «The Times».

Почести, оказанные герою, не коснулись его любимой Эммы. В одном из писем она сообщает:

«Тот, кого я любила больше жизни, ушел навсегда. Ничто не подарит мне толику утешения, лишь надежда вскоре последовать за ним».

Пребывая в крайней нужде, Эмма просит в письме о финансовой поддержке свою давнюю подругу, королеву Марию Каролину. Но письмо так и останется без ответа. Кроме того, Уильям Нельсон не пожелает исполнить завещание адмирала по распределению наследства, в котором, вероятно, содержались предписания и в пользу Эммы.

Жизнь женщины, блиставшей при неаполитанском дворе, становится невыносимо тяжелой. Эмма дважды попадает в долговую тюрьму. Ее женские прелести увяли, больше она ни к чему не способна. Она пробует продать письма своего почти-мужа, но семья Нельсона заказывает экспертизу, и та объявляет их фальшивыми.

Эмма умерла в Кале от алкоголизма и страшной нищеты, 15 января 1815 года, в возрасте пятидесяти лет. Удивительное совпадение: это год Ватерлоо. Нельсон отнял у Наполеона всякую надежду на господство на морях. Другой английский генерал, Веллингтон, нанес корсиканцу сокрушительный удар в июне 1815 года в нескольких километрах от Брюсселя.

Для тех, кто умеет как следует рассмотреть ее, колонна на Трафальгарской площади символически несет в себе рассказ об этой невероятной истории и о человеке, который в своих взлетах и падениях утвердил образец выдержки, достойной подражания.



ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ШЕСТИДЕСЯТЫЕ

Группа «The Beatles», или «Fab Four»¹, воплощает собой образ и звуковую дорожку шестидесятых. Они создали миф, выживший даже после распада группы в 1970-м. Прогулка по следам группы — это еще и удобный случай посетить те места Лондона, которые связаны со временем, когда столица Великобритании диктовала образцы моды и вкуса. Например, можно найти битлов в Музее восковых фигур мадам Тюссо. Там четверка лихо оккупировала диван. Они должны казаться живыми, но тем не менее кажутся застывшими в неожиданных позах — что-то вроде жертв извержения Везувия, обнаруженных в Помпеях. Далее вспомним известные адреса: вокзал Мерилибон с прославленными телефонными кабинками, облюбованными молодыми музыкантами во время съемок фильма «Вечер трудного дня» (*A Hard Day's Night*). Там посиживал Пол Маккартни, скрываясь от поклонниц, с фальшивой бородой, в солнечных очках, под прикрытием газеты; и действительно, его никто не узнал. В доме под номером пятьдесят семь, так называемом доме Эшер на Уимпол-стрит, Пол жил с Джейн

¹ От названия фильма «Fabulous Four» — «Великолепная четверка». — Примеч. пер.

Эшер в начале шестидесятых. В цокольном этаже, видимом с улицы, Пол и Джон Леннон репетировали и сочиняли культовые для эпохи песни, например «I want to Hold Your Hand» или любимую «Yesterday». В те годы улицу всегда наводняли фанаты, ожидавшие выхода кого-нибудь из группы; пронзительный визг поклонниц звучал здесь до поздней ночи.

Примечателен и еще один адрес: Монтэгю-стрит, 34, жилище Ринго Старра. Здесь проживали еще и Джимми Хендрикс, а также, первое время после свадьбы, в поисках более подходящего дома, Джон Леннон с Йоко Оно. В этой квартире пара снялась в совершенно обнаженном виде для обложки совместного альбома «Two Virgins».

Но сакральный очаг битлов находится далеко от этих мест. Нужно направиться к улице Эбби-роуд, что на севере Лондона, в районе Сент-Джонс Вуд, и обнаружить те самые студии, где четверка записала свои лучшие альбомы. Эти студии и по сей день существуют.

Чуть подальше сохранился знаменательный перекресток, увековеченный на обложке альбома с одноименным названием «Abbey Road». Та памятная пластинка вышла в 1969 году и стала последним официальным детищем «The Beatles», чья история завершилась в июне следующего года. Здесь по любому случаю, каким-либо образом связанному с четырьмя великими музыкантами, собираются толпы поклонников. Граффити и посвящения, покрывающие стены, свидетельствуют об этой неугасающей любви.

Без четырех ливерпульских парней шестидесятые годы были бы немymi. Правда, без ряда новшеств знаменательной эпохи четверка, вероятно, осталась бы в той точке, откуда начала, — задыхаясь и угасая в тоскливой среде британской провинциальной буржуазии.

Если бы Джон Леннон так нелепо не погиб в Нью-Йорке от пули убийцы, в 2013 году ему исполнилось бы 73 года. Подумать только! В год его рождения, 1940-м, английская земля дрожала от немецких бомбардировок. Ливерпуль оказался одним из самых пострадавших городов. Родители назвали ре-

бенка Джон Уинстон, в честь человека, воплощавшего в тот момент всю бесконечную отвагу и решимость страны.

Пол Маккартни также родился в Ливерпуле, два года спустя. Он станет главным и незаменимым сочинителем и аранжировщиком музыки для песен группы. Но мне не хотелось бы здесь рассказывать о том, как группа потихоньку сформировалась в своем звездном составе, подключив Ринго Старра и симпатягу Джорджа Харрисона, самого серьезного и, пожалуй, самого «нормального» из членов группы. Первые шаги коллектива интересуют теперь только историков музыки, а не быта и нравов эпохи.

Группа меняет состав и названия, выступает в прокуренных полупустых клубах — привычные скитания людей сцены. В какой-то момент встает проблема определиться с названием раз и навсегда. Согласно одной из самых распространенных (а соответственно, и официальных) версий, некий Стюарт Сатклифф, по прозвищу Стью, в тот момент примкнувший басистом к группе, предлагает «Beatles».

— Нет, «Beatles»! — сразу поправляет Леннон, и группа начинает существовать под именем «Silver Beatles».

Со временем легенда обрастает все большим количеством фантастических подробностей, например: «Почему вы называетесь „The Beatles“? Что это означает?» Ответ: «Нам было видение. В один прекрасный день возник человек на торте со свечками и произнес: „С сегодняшнего дня вас будут звать „The Beatles““, — а мы ответили: „Большое спасибо, мистер“».

Их главная сила заключалась, пожалуй, в исключительной вере в самих себя. Ведь можно было подражать американцам, как это делали почти все. Но они решили не скрывать свои корни: знакомьтесь — четыре парня из Ливерпуля, из пролетарской среды, начавшие играть в сыром и вонючем подвале.

Потом, в один из январских дней 1962 года, появился Брайан Эпстайн, похожий на них, скромный, но амбициозный юноша с четкими представлениями о том, что следует делать в мире музыки. Эпстайн в тот момент возглавлял сеть магазинов грампластинок, которой владел его отец. Короче, он был

тем, кто имел правильные знакомства в фирмах грамзаписи. Действительно, он сразу же предложил квартету записаться на студии «Decca Records». Когда четверка приехала, директор Дик Роу не удостоил их своим присутствием, а послал на встречу ассистента. Запись в любом случае прошла скверно. Битлы безумно нервничали, Роу отказал коллективу в праве на выпуск пластинки, не догадываясь о том, что всю жизнь его будет преследовать слава человека, не распо-
навшего в четверке великих музыкантов.

Первый сингл битлов «Love Me Do» вышел в октябре 1962 года. Спустя четыре месяца, в феврале 1963-го, был записан дебютный альбом «Please, Please Me», который тридцать недель подряд, начиная с мая месяца, занимал первую строчку в хит-параде. Как впоследствии написал Иан Макдональд в своей книге «Революция в голове: записи „The Beatles“ и шестидесятые» (Лондон, 1994): «„Love Me Do“ стала первым ошеломляющим ударом колоколов музыкальной революции. Его значение глубже, нежели простая сумма составляющих. Новый дух распространялся вширь: наивный, нахальный и бесстрашный».

Именно Эпстайн придал имиджу «The Beatles» окончательные черты. В самом начале квартет придерживался тех стереотипов, которые считал наиболее подходящими для группы, наполовину тяготеющей к рок-н-роллу, наполовину — к ритм-н-блюзу, то есть — кожаные черные куртки, волосы неопределенной длины, анонимная эксцентричность. Но на свою первую важную звукозапись битлы явились в одинаковых костюмчиках с шелковыми воротничками, четырехкратно тиражированной улыбкой на лицах и с почти безупречными стрижками каре и челками до самых бровей.

Эпстайн разыграл еще одну важнейшую и необходимую для имиджа группы карту — мир частной жизни. Он по капле цедил для массмедиа рассказы и просчитанные сведения о выходках и привычках четверки, не сомневаясь, что со временем это станет неотделимой частью продукта. Сегодня мы погрязли в сплетнях, даже авторитетные газеты позволяют себе выделить колонку для скандалов и слухов о частной и даже

более того — интимной жизни звезд шоу-бизнеса, для читателей это стало что-то вроде наркотика. А в те годы это было новшеством — таков еще один подарок шестидесятих современному обществу.

Вскоре начался стремительный взлет «The Beatles», состоящий из постоянных успехов и спровоцировавший явление истинной битломании. Предметы, которых касалась рука одного из битлов, немедленно становились реликвиями. Девчонки тянули руки к небесам и собирали эти вещицы с воплями, в состоянии, близком к истерии, готовые от восторга испустить струи кипятка. Так оно и было — в конце одного из концертов зал «благоухал» откровенно мочевыми ароматами. Даже газета «Sunday Times» изменит своей привычной сдержанности и в заголовке большой статьи назовет группу «Лучшими композиторами после Бетховена».

Когда битлы участвовали во время триумфальных гастролей по Америке в телепередаче «Шоу Эда Салливана», 73 миллиона американцев, затаив дыхание, смотрели на экран. По завершению турне газета «The Wall Street Journal» привела статистику, согласно которой одних только товаров, имеющих отношение к группе, было продано на сумму пятьдесят миллионов долларов. Такого еще никогда не случалось в США, стране, считавшей себя лидером по нововведениям. Что ж, на этот раз им пришлось признать, что новшество пришло из старой доброй Англии.

Филипп Норман, биограф «The Beatles», писал:

«В течение четырех недель Америка находилась в состоянии, близком к оргазму, охватившем целый континент».

Рост успеха группы совпал с рождением и развитием поп-культуры. Этот довольно широкий термин объединял крайне разные явления. Попробую объяснить. Для Великобритании, наконец поставившей точку в послевоенном периоде, те годы были, без преувеличения, революционные. К слову или нет, но поэт Филип Ларкин (1922—1985), один из лучших в своей стране, в стихотворении «Annus Mirabilis» заявил, что секс был изобретен где-то в период между запретом на книгу «Любов-

ник леди Чаттерлей» и первой долгоиграющей пластинкой «The Beatles».

Поп, или поп-арт, поначалу был всего лишь сокращением термина «популярное искусство» (*popular art*) и представлял собой художественное направление, возникшее в Лондоне в начале пятидесятых. Поп-арт возносил на пьедестал фетиши потребительского общества. Эта находка оказалась поразительно удачной, концепция быстро разрослась и распространилась на все, связанное с массовыми коммуникациями и тиражированием изображений. Из Лондона поп-арт шагнул через Атлантику и, взбудоражив Нью-Йорк (благодаря, в частности, чутью итальянского галериста Лео Кастелли), покорила всю планету, снискав себе славу «истинно американского» направления искусства.

Как написал французский мыслитель Жан-Франсуа Лиотар, продолжая мысль Оскара Уайльда, «сама жизнь может стать произведением искусства». Повседневная жизнь шестидесятых, ее жесты и уж тем более вещи самого широкого потребления действительно вошли в историю искусства. Свод популярных изображений, отражающий эту жизнь, составляет галерею из кроватей, флагов, тюбиков зубной пасты, банок с супом, сценок из комиксов, жестянок кока-колы, серийных портретов Мэрилин Монро или Элизабет Тейлор.

Однажды выйдя на международный рынок, термин «поп» постепенно отделился от своего изначального значения и был приспособлен для характеристики периода зарождения будущего, периода, переживаемого нами и по сей день. А в то незабываемое десятилетие молодежь впервые получила в свое распоряжение приличный кусок сцены. Энди Уорхол, художник из Нью-Йорка, гуру поп-арта, в своей книге «Философия Энди Уорхола (от А к Б и наоборот)» синтезирует суть феномена следующим образом:

«Контркультура, субкультура, поп, суперзвезды, наркотики, софиты, дискотеки — любые стороны бытия, связанные с „настоящим и молодым“, пожалуй, коренились в том времени».

Поп незамедлительно становится новым стилем жизни, который простирался от первой противозачаточной таблетки (поступившей в продажу в 1961 году) до зарослей на лицах хипарей, поп переживает «холодную войну» и предстает зрелищной метафорой в приключениях с участием агента 007. Поп — это красные книжечки Мао и рабочие стилиги «тедди-бойз» со своими вызывающими набриолиненными коками. Далее следует изобретение знаменитого пиара (PR, от *Public Relations* — связи с общественностью), который также впоследствии пережил мифологизацию. Отдельной строкой — употребление марихуаны и ЛСД, популярный значок с гордым и насмешливым лозунгом поколения — «Не доверяй тем, кому за тридцать» (*Don't trust anybody over thirty*). Как заявит в интервью «The Daily Mirror» Мик Джаггер, лидер группы «The Rolling Stones»: «Молодежь по уши сыта обещаниями безответственных политиков, которые стараются навязать ей свой уклад жизни и образ мыслей».

С этой точки зрения поп становится еще и политическим феноменом, вторгаясь настолько глубоко в повседневную область быта, нравов и социальных отношений, что любая попытка возвращения назад кажется невозможной.

По масштабности социального землетрясения в рамках целого поколения Лондон занимал среднее положение между Калифорнией с ее хиппи («детьми цветов»), парящими в марихуановых облаках, и Парижем и Римом, где поп-движение приобрело ярко выраженные политические черты. И именно Лондон на страницах американского еженедельника «The Time» объявляется в апреле 1966 года «свингующим городом», то есть городом в движении (*London: the swinging city*), — городом, где сосредоточены, сосуществуют и взаимодействуют сотни новшеств: в театре и кино, в мире музыки и моды, в архитектуре и стиле одежды, в питании и сексе, — создавая в совокупности образ жизни, тот самый «стиль». К подобному образу жизни четверка молодых музыкантов добавляет нужный звуковой ряд, дарит ему голос. В названии «The Beatles» к тому же содержится любопытная многозначность, это истин-

ный семантический клубок, поскольку по произношению слово схоже с *beetle*, — жуком, тараканом, но и одновременно напоминает и *beat* — ритм, музыкальный бит.

Но на самом деле термин *beat* можно рассмотреть и в более широком ключе. Как показало исследование Фернанды Пивано, эти четыре буквы обладают бесконечным числом внутренних смыслов. В США Джек Керуак, рассуждая о знаменитом «потерянном поколении» писателей уровня Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, Джона Дос Пассоса, Ремарка и Хемингуэя (*Lost generation*), добавил: «Мы — не что иное, как *Beat generation*». В этом случае *beat* означало безденежье, потерю надежного места под солнцем (вам ведь приходилось слышать выражение «*Man, I am beat*» — «Старик, я потерян?»). С этого момента понятие «*beat generation*», битники, вошло в повседневную речь. С другой стороны, сочетание *swinging city* происходит от слова *swing*, которое в середине тридцатых годов обозначало ритмический танцевальный рисунок в джазовой музыке. Вспоминаются кларнетист Бенни Гудмен, трубач Диззи Гиллеспи и саксофонист Лестер Янг — пожалуй, представители лучшей эпохи в истории джаза, времени его наивысшего блеска. Но термин *swinging*, как отмечают Паола Колаякомо и Виттория Каратоццолю в книге «Лондон эпохи „The Beatles“», встречается еще ранее, в XVII веке, в сочинениях драматурга позднелизаветинского времени Томаса Отуэя — как раз в значении, использованном еженедельником «The Time». У Отуэя оно определяет движение тех групп, которые, не признавая нравственные ограничения современного общества, устремляются против установленных стереотипов.

Единый с битловским «дух времени» питает жизнь еще одной британской группы, «The Rolling Stones». Если битлам удавалось чудесным образом нравиться всем, независимо от социального статуса или возраста, то роллинги стали иконой для самых юных бунтарей, символом тревожной новизны, переросшей в революцию. Если ливерпульская четверка вре-

мя от времени прибегала к наркотикам в качестве естественного средства для спасения от концертного перенапряжения, то роллинги создали культ из регулярного потребления любых видов наркоты. Том Вольф описывал суть этой ситуации так: «Если „The Beatles“ хотят взять тебя за руку, „The Rolling Stones“ готовы сровнять с землей твой город». (Песня четверки под названием «*I Want To Hold Your Hand*» — «Я хочу держать тебя за руку» — долгое время занимала первые строчки хит-парадов как в Великобритании, так и в США.)

Майкл Филипп Джаггер, сокращенно Мик, родился, как и Пол Маккартни, в 1942-м. Другие участники группы, например Кейт Ричардс или Брайан Джонс, были практически ровесниками. Как и в случае с «The Beatles», название группы появилось неожиданно. Музыканты составляли рекламное объявление одного из своих первых концертов, и редактор спросил вдруг по телефону: «А собственно, как вас зовут?» Кейт Ричардс рассказывает: «В тот момент играла пластинка Мадди Уотерса, первой композицией там была „Rollin' Stones Blues“. И Брайан в спешке ответил: „Да... в общем не знаю... пишите „The Rolling Stones“».

Их взлет оказался также довольно быстрым, хотя и несколько осторожным. Первые концерты, данные весной 1963 года в «Кроудэдди-клуб», закрепили за группой славу «рупора хулиганов». По мнению журнала «Record Mirror», роллинги с самого начала играли и пели скорее в стиле чернокожих, чем «белой» группы. Эту черту они сохраняют надолго, отчасти в силу личного темперамента, отчасти из-за требований сцены.

Брайан Эпстайн сотворил имидж «The Beatles», а двадцатилетний менеджер роллингов Эндрю Луг Олдэм как раз хотел, чтобы его музыканты были полной противоположностью ливерпульской четверки:

«Они симпатичные, чистые и холеные, мы станем их антиподами. И чем больше вас будут ненавидеть родители, тем сильнее полюбят их дети».

Простой трюк, опять-таки в духе времени, выражающий инстинктивный поиск всего, что кажется юным и агрессивным.

Начиная с причесок. Если битлы выбрали аккуратные стрижки каре, роллинги отрастили волосы почти до пояса, открывая новую моду, которая захватит весь западный мир и распространится даже в самых строгих колледжах.

Однажды журнал «Vogue» опубликовал разбор фотопортрета Мика Джаггера (автор Дэвид Бейли), без обиняков объявив музыканта самым главным секс-символом:

«Женщины находят его крайне соблазнительным, а мужчины чувствуют в нем угрозу».

Погоня Олдэма за новыми талантами продолжается. Однажды в толпе на вечеринке он замечает очень привлекательную особу. Позже Олдэм узнает, что девушку зовут Марианна Фейтфул, ей всего семнадцать, и она дочь англичанина и немецкой баронессы Эвы Захер-Мазох из династии Габсбургов. Серьезные корни. Молодой менеджер наскоро предлагает записать пластинку, но бесстрашная девушка еще мала для того, чтобы подписывать серьезные бумаги, — этим охотно занимается ее мать. Для песни «*As Tears Go By*» Ричардса и Джаггера Марианна исполнила соло довольно приятным меццо-сопрано. Роман Марианны с Джаггером (ее, естественно, тоже снимал Дэвид Бейли) вскоре перерос в постоянные отношения. Связь продолжалась с переменным успехом четыре года, с 1966-го по 1970-й. Этого времени было достаточно для того, чтобы сделать из Фейтфул настоящую икону поп-музыки, что впоследствии позволит певице уже в 2001 году с успехом выпустить новый диск («*Kissing Time*») после триумфального концерта в лондонском Барбикан-центре.

Чего только не случалось за эти четыре года! Когда роллинги оказались на скамье подсудимых из-за наркотиков, неоднократно упоминалось, как Марианна в момент задержания Мика вышла к копам в шубе на голое тело, неожиданно упавшей на пол. Из уст в уста передавались рассказы о постоянных оргиях, сеансах коллективного куннилингуса, во вре-

мя которых Мик поигрывал батончиком «Марса» в интимном месте Марианны.

Еще один красочный эпизод из бурной жизни Марианны, этого истинного поп-символа эпохи, связан с итальянским художником Марио Скифано. Сама певица рассказывала об этом так:

«Однажды в Риме похолодало, и Марио привел меня в модный магазин. Там он купил мне шубу и оплатил ее рисунком — поставил автограф на листе, и мне выдали покупку. Подобный обмен произвел фурор. Я пришла в восторг, и мне захотелось остаться с ним навсегда».

Это была встреча двух беспокойных судеб, отмеченных наркотической зависимостью. Фраза «остаться с ним навсегда» обернулась формальностью, сама связь оказалась мимолетной, как и многие другие.

Роллинги вскоре стали поп-идолами. Любое их появление на публике сопровождали скандалы и стычки с полицией с применением слезоточивого газа для разгона поклонников. Участников группы неоднократно замечали в драках, нередко они руками и ногами сгоняли со сцены своих фанатов. Кинотеатр в Гааге, где выступала группа, превратился в руины; в Париже полиция арестовала 150 человек за участие в потасовках; в Марселе выявлены случаи сопротивления полиции в черте города; в Монреале — 36 раненых; в Линне, штат Массачусетс, — активные действия полиции... И так — почти повсюду. В те годы роллинги выступали в роли катализатора конфликтных ситуаций. Влияли они и на противоположные явления, например на «черных пантер» и на некоторых представителей «радикального шика»¹, встреча которых однажды состоялась в Нью-Йорке. (Владельцы модных художествен-

¹ В фильме Годара «Один плюс один» (1968) эпизоды о «черных пантерах» и роллингах следуют один за другим, символически выявляя связь группы с цветной блюзовой музыкой. — *Примеч. пер.*

ных галерей могли позволить себе удовольствия — и риск, конечно, — пригласить кое-кого из скандально известной группы.)

Песня роллингов «*Let's Spend The Night Together*» — «Давай проведем ночь вместе» — на фоне современного им ханжеского целомудрия произвела эффект разорвавшейся бомбы. Но роллинги идут еще дальше: они мочатся на публике, оскорбляют инвалидов, провозглашают необходимость и легитимность наркотиков, свободной и групповой любви. Их «*Satisfaction*» становится поп-гимном 1965 года как в Англии, так и в США. Один из биографов группы напишет:

«Впервые популярная песня не просто издали намекала о проблемах юношеского томления, а открыто говорила о сексе».

Но речь идет не просто о сексе ради секса. Занятие сексом представлялось способом выражения протеста против системы. Не случайно в одном из спектаклей театра *Li ing Theater* наиболее часто повторяемым лозунгом был «Нет революции без спаривания!»

Та же «*Sunday Times*», объявившая битлов достойными Бетховена, назвала роллингов «настоящими длинноволосыми чудовищами» после очередного судебного разбирательства. Накачанные наркотой музыканты выстроились лицом к стене и, мочась, орали: «Руки прочь от моего члена!»

Аромат шестидесятых каламбурно начинается со скандального дела Джона Профьюмо, в те годы военного министра в составе кабинета консерватора Гарольда Макмиллана. Для Англии этот скандал равносителен итальянскому делу Монтези о нахождении трупа Вильмы Монтези на побережье Тортейни близ Рима. С дела Монтези началась эпоха, портрет которой блестяще запечатлел Федерико Феллини в фильме «Сладкая жизнь». А в столице Англии дело Профьюмо прове-

ло границу между максимальным аскетизмом послевоенной жизни и динамикой свингующего города потребления. Зарождалась новая эра, похоже, забывшая о типичном вопросе среднего класса: «Могут ли я позволить себе это?»

Джон (Джек) Деннис Профьюмо познакомился с Кристин Килер благодаря совету Стивена Уорда, врача-костоправа с садомазохистскими наклонностями, который давно пользовался услугами страстной особы. Девятнадцатилетняя Килер была моделью и танцующей в ночном клубе, девушкой по вызову. Однако доктор Уорд в своем доме на Уимпол-мьюз предавался не только рискованным сексуальным забавам — он потихоньку содействовал шпионажу в пользу Советского Союза, что было довольно популярным делом в период «холодной войны». (Литературный портрет шпиона подобного типа, с его сложным комплексом мотивировок, можно найти в ранних романах Джона Ле Карре, создавшего лучшие образцы жанра вместе с мастером шпионских историй Леном Дайтоном.)

Со временем оказалось, что Килер перемежала вечера в обществе военного министра Профьюмо с нежными встречами с советским морским офицером (и разведчиком) Евгением Ивановым. Опасная двойная связь не могла ускользнуть от внимания секретных служб, и скандал разгорелся немедленно. Естественно, Профьюмо не мог выйти из него сухим.

Но еще худшие, чем рискованная связь, последствия для Профьюмо имела его ложь перед парламентом. Выступая в свою защиту перед палатой общин 22 марта 1963 года, министр заверил всех, что никаких компрометирующих действий и не думал предпринимать и что он готов подать в суд за клевету на каждого, кто заявит противоположное. Отражая нападки «клеветников», Профьюмо держался еще пару недель, но в первых числах июня вынужден был подать в отставку. Доктор Уорд, обвиненный в сутенерстве, совершил самоубийство. Кристин провела некоторое время в заключении, прежде чем стать иконой шестидесятых благодаря знаменитым снимкам Льюиса Морли: красотка запечатлена нагишом верхом на стуле, чья спинка прикрывает причинное место. Девушка от-

чаянно защищалась и, вероятно, была права, заявляя, что Уорд никогда не использовал ее в своих делах. Это были довольно сложные отношения с участием нескольких партнеров. Среди них — глава MI-5 Роджер Холлис, а также Энтони Блант, впоследствии хранитель Королевской картинной галереи (а тогда его обвиняли в содействии советской разведке).

Как всегда и бывает в подобных ситуациях, истина так и осталась не выясненной до конца. Но именно реальные эротические подвиги Килер наряду с вымышленными приключениями Джеймса Бонда довершили падение сексуальных табу эпохи. В те же дни, когда легкомысленный Профьюмо врал депутатам парламента, четверка поднималась на высшую строчку хит-парадов с песней «Please, Please Me».

В октябре 1963-го из-за последствий скандала в отставку вынужден был уйти Макмиллан, и на выборах победили лейбористы. Новый премьер Гарольд Вильсон провел предвыборную кампанию в основном с помощью телевидения и средств массовой информации. Он снялся с битлами и выдвинул лозунг «Вперед с лейбористами!», перефразируя текст известной молодежной песни. Он же в 1965 году внесет имена четырех парней в список представленных к ордену Британской империи. Сама империя с мудрой поспешностью в основном уже развалилась, но орден Британской империи оставался (и остается до сих пор) в числе самых почетных государственных наград. Действительно, шаг Вильсона довольно спорен. Звучали протесты в рядах ветеранов, заслуживших в свое время награду в боях, «The Times» получала тысячи писем, кое-кто даже пытался возратить награду королеве, но...

В течение пятидесятих лейбористы неизменно проигрывали на выборах, поскольку поддерживали строгость имиджа, опирались на бережливость и воздержанность и в то же время предлагали дорогостоящую для казны и непривлекательную для граждан социальную политику. Вильсон разрушил этот образ, предложив ему на смену картину общества, свободного от тяжести собственных табу, со ставкой на новую силу: молодежь.

Английский язык в духе стремительной эпохи начинает определять молодых людей в возрастной группе от тринадцати до девятнадцати как тинейджеров. Применительно к современному движению рождается и другой необычный термин: *youthquake* — молодежное землетрясение. Тинейджеры живут в своем стиле и во многом в своем мире. У них свой распорядок дня, они едят по-своему, посещают свои, определенные клубы. Молодая армия в несколько миллионов человек впервые стала главным героем на общественной и что особенно важно — на потребительской арене.

Что же покупает этот новый потребительский класс, постепенно меняющий моду и сам состав рынка? Одежду, напитки, сигареты; они ходят в кино и на дискотеки; нарасхват идут пластинки. Это в основном ребята скромного достатка, часто с тяжелой работой, словно застрявшие в сословном промежутке между пролетариатом и мелкой буржуазией. У них нет особой тяги к чтению и какого-либо интеллектуального преимущества. Они не ходят по любимым пабам их родителей, а допоздна сидят по кофейным или молочным барам, где за копейки можно подолгу пить чай или коктейли. Не обладая большими иллюзиями и избегая высоких идеалов, тины охотно укрываются в виртуальном мире новой музыки с ее нехитрыми ритмами и простыми для запоминания словами — это эхо их собственной жизни, запечатленной в мелодиях. Во всех уголках страны создаются музыкальные группы, процветают гитаристы, вокалисты. Зачастую они перепевают американские песни, подражая идолу — Элвису Пресли, издают собственные журналы, имеют верную аудиторию поклонников, но их будущее неопределенно. Битлы также вертятся в этом мощном и сумбурном водовороте, что, кстати, способствует успеху группы.

Среди сотен молочных баров, в которых оседает вечерами английская молодежь, есть особенное место, под названием «Korova Milk Bar». Здесь часами просиживал Алекс, герой романа Энтони Берджесса «Заводной апельсин» (роман во мно-

гом получил известность благодаря одноименному фильму Стенли Кубрика 1971 года).

Берджесс (1917—1993) — странный писатель, из тех людей, что проносят через всю жизнь такие впечатления католического детства, как неясное чувство вины и религиозное благоговение, смешанные с ужасом перед темными сторонами человеческой природы. Он написал однажды, что чувствует присутствие Бога как величины «невидимой и мстительной, Бога, всецело желающего навредить мне». Его «Заводной апельсин» — это едкий и искаженный портрет новой Англии, возвращенной на кратерах от бомб и послевоенных ограничений. Беспочвенная обозленность Алекса повлияет, кстати, на успешность образа Мика Джаггера.

О Лондоне и его бурных преобразованиях повествует еще один автор, Колин Макиннес (1914—1976), выходец из семьи австралийского учителя музыки и писательницы Анджелы Фиркель, внучки известного художника-прерафаэлиты Эдуарда Бёрн-Джонса и двоюродной сестры Редьярда Киплинга. Самый известный его роман «Абсолютные новички» (1959) — это одновременно и портрет Лондона и портрет нового поколения, которое представлено также иммигрантами из Западной Индии и Африки (они в свою очередь меняют облик города).

И Макиннеса, и Берджесса можно отнести течению «рассерженных молодых людей» («*Angry young men*»), название которому дала автобиографическая книга Лесли А. Пола «Рассерженный молодой человек» (1951). Это течение охватывало не только литературу. Еще в середине пятидесятых в Лондоне заговорили о появлении театра «новой волны», яркими представителями которого были такие режиссеры, как Питер Брук, Тони Ричардсон, Джоан Мауди Литтлвуд, в чьи постановках играли Гарольд Пинтер, Норман Фредерик Симпсон, Питер Шаффер... А началось все с премьеры, состоявшейся 8 мая 1956 года в Королевском придворном театре на Слоан-сквер, в богемном квартале Челси. Показывали пьесу Джона Осборна «Оглянись во гневе» в постановке Тони Ричардсона.

Главный герой — Джимми Портер — разочарованный молодой интеллектual, в отчаянии обнаруживший, что все обещания, на которых он основывал свои надежды, оказались иллюзиями. Национальная экономика зашла в тупик, шрамы войны никак не затягиваются, настоящее угнетает, будущее предстает кошмаром.

Один из самых влиятельных в тот момент критиков, Кеннет Тайнен, писал:

«Не уверен, что смогу прилично относиться к кому-то, кто отказался сходить на „Оглянись во гневе“. Действие разворачивается в мерзкой однокомнатной квартирке в одно из типичных тоскливых английских воскресений. Тот, кто помнит замечательную песню Жюльетт Греко „Ненавижу воскресенья“, знает, что если в Париже воскресенье можно „ненавидеть“, то нет ничего более тягостного, чем воскресный вечер в британской провинции. Джимми изливает свое разочарование и гнев на жену, которую взял из семьи колониального чиновника на пенсии. Он превращает ее в мишень для бичевания собственных неудач. Джимми „вспоминает с негодованием“ о некоторых моментах прошлого, но к этому чувству примешивается сожаление о чем-то конкретном и одновременно очень простом, вроде не из области политики, но и не о совсем личном. Речь идет как раз об Англии, которой больше нет, канувшей в небытие вместе с войной и развалом Империи».

* * *

В августе 1960-го Англия завершила эпоху викторианского морализаторства благодаря документу, прочно вошедшему в историю литературы и нравов общества. В конце лета указанного года «скандальный роман» — прославленный «Любовник леди Чаттерлей» Дэвида Герберта Лоуренса (1885—1930) — наконец-то был освобожден от обвинений в непристойности и «разрешен для прочтения».

Позиция британского законодательства в вопросах секса, когда роман впервые увидел свет (он был опубликован в 1928 го-

ду, но готовый тираж изъяти и уничтожили), практически не отличалась от времен Оскара Уайльда. Автор описал довольно расхожую ситуацию: бурную любовную историю аристократки Констанции Чаттерлей и угрюмого егеря Оливера Меллорса, которая, возможно, и не началась бы, не будь муж Констанции инвалидом. Пылкие встречи любовников происходят в лесной хижине и отличаются крайней фривольностью. Воплощаются самые смелые фантазии, какие только могут возникнуть у мужчины и женщины, объятых желанием. Не имея ничего общего, помимо животной страстности, оба говорят только о совершаемом процессе, называя все своими именами.

Здесь следует уточнить, что английское отношение к сексу, практикуемому или описываемому, не всегда было настолько строгим. «Кентерберийские рассказы» Джеффри Чосера (1340—1400) — показательный памятник средневековой английской литературы, вполне красноречиво описывающий плотские приключения, — никогда не подвергался цензурным разбирательствам, вероятно, из-за его «классичности». Первый закон против «непристойных» изданий был оглашен только в 1857 году. До этой даты цензурные ограничения касались исключительно произведений, которые «нарушали покой в Королевстве», или, выражаясь современным языком, общественный порядок.

Описывая в мельчайших подробностях горячие встречи своих героев, Лоуренс нарушил сразу два табу: свел на страницах романа людей из разных сословий и наделил женщину невероятной чувственной свободой. Если бы стороны поменялись местами и аристократ вступил в связь с крестьянкой, судьба произведения была бы иной.

Процесс по делу Лоуренса в 1960 году проходил в стенах суда Олд-Бейли и состоял из шести слушаний. Перед рьяным консервативным Мервином Гриффит-Джонсом (сторона обвинения) стояла сложная задача — проявить себя святее папы Римского. Накануне процесса ходили слухи, что глава лондонской прокуратуры лично настаивал на судебном разбирательстве, чтобы окончательно изгнать морализаторские пред-

рассудки XIX столетия; этот человек был уверен в оправдательном исходе дела.

Показательно, что на слушание не удалось привлечь ни одного свидетеля обвинения. Единственный доступный кандидат, Ивлин Во, ненавистник Лоуренса, был отклонен прокурором, опасавшимся непредсказуемых последствий неистовой эксцентричности этого писателя.

Гриффит-Джонс пустил в ход самые расхожие приемы, он с пафосом обращался к девятерым мужчинам и трем женщинам из суда присяжных (выходцам из третьего сословия): «И эту книгу вы хотите дать почитать жене или слугам?»; он пытался оперировать популистскими доводами: «Может ли подобный роман обладать воспитательной или гражданской ценностью для молоденькой сотрудницы фабрики или конторы?»; он приводил убийственные сравнения: «Нужно углубиться в порочные кварталы Парижа или Порт-Саида, чтобы обнаружить столь же гадкие картины совокупления»; он даже не поленился подсчитать «образцы похоти»: «В романе вы найдете многочисленные сцены соитий. Я насчитал не менее тринадцати». Странно, что юрист высочайшего класса не привел ни одного весомого аргумента, основанного на статье закона. Седьмое совокупление леди Чаттерлей и здоровяка егеря, к примеру, происходило анальным путем, что по английскому законодательству признавалось содомией — преступлением даже в рамках супружеских отношений.

Линию защиты возглавлял Джеральд Гардинер, представитель либеральной школы, один из лучших адвокатов страны. Из предполагаемых семидесяти свидетелей оправдания на суд допустили только половину. Были заслушаны писатели, священники, поэты, даже девушка, только что покинувшая монастырь.

Литературный критик Ричард Хоггарт утверждал, что роман «добропорядочный, пуританский и нравственный», и к тому же достоин защиты за «уважение к мужским яйцам».

— За уважение к яйцам? — в растерянности и волнении переспросил Гриффит-Джонс.

— Именно так, наша честь, — подтвердил Хоггарт. — Утром, когда я шел в зал суда, я выслушал от публики тираду о яйцах трижды за несколько минут. Лоуренс пришел бы в ужас, что это слово используется в качестве ругательства или насмешки. Он хотел вернуть сексуальным терминам их истинный смысл.

Критик Ребекка Уэст обратила внимание на установленные Лоуренсом взаимоотношения языческой чувственности, религиозности и своеобразной экологии *ante literam*¹.

— Муж леди Чаттерлей, — пояснила она, — практически импотент. А Меллорс воплощает собой возврат к более насыщенной жизни, не изобретая ничего нового, но и без омерзения приводя к восстановлению единства с земным духом.

Прозвучали также и важные уточняющие сведения. Дэвид Герберт Лоуренс создал свой роман в трех вариантах, писал он его в Тоскане в период с 1925 по 1928 год. Прототипом жизнелюбивого Меллорса был некто Анджело Равальи, отважный капитан стрелков.

Процесс разрешился оправдательным приговором, как того требовали время и здравый смысл.

Десятилетие «великолепных шестидесятых» привнесло важные изменения и в область психиатрии. В атмосфере свободы и перемен сформировалось направление, известное как антипсихиатрия. Рональд Д. Лэнг уже в 1959 году опубликовал «Расколотое „Я“», исследование, предопределившее целую научную эпоху. Следующая книга, вышедшая в 1967 году, называлась «Политика опыта». Сам Лэнг заявил на Конгрессе по социальной психиатрии в 1964 году следующее:

«То, что мы подмечаем в некоторых индивидах, обращаясь с ними как с шизофрениками или вешая на них этот ярлык, — это лишь внешнее выражение пережитой внутренней драмы.

¹ В дописанной форме. — Примеч. пер.

Подобная драма предстает перед нами в искаженной форме, которую мы усугубляем терапевтическим воздействием».

По утверждению Лэнга, лишь из «политических» соображений мы продолжаем привычно называть шизофренией то, что на самом деле является «путешествием в обратном направлении, в глубины собственной истории, все дальше и глубже, за пределы опыта целого человечества». Этим положением объяснялся призыв к отказу от заключения душевнобольных в клинику и от любых попыток насильственного лечения.

Тезис Лэнга заключался в том, что умственные нарушения невозможно лечить подобно телесным заболеваниям. Ибо в большинстве случаев психические расстройства — не результат частной человеческой патологии, а следствие условий среды или социальных противоречий. Классическая психиатрия на протяжении длительного времени пыталась вмешиваться в этот процесс путем жесткой терапевтической практики (с применением электрошока, инсулиновой комы и смирительной рубашки), что сопоставимо с политико-идеологическими репрессивными мерами, направленными на подавление любого противостояния.

В заявлениях Лэнга, как и в работах американца Ирвинга Гоффмана и итальянца Франко Басалья, довольно много идеологии, навеянной «духом времени», но вместе с тем в них есть и справедливые высказывания о том, что сумасшедший дом давно стал неприемлемым лечебным институтом. Уже тогда новые психотропные препараты показали архаичность, ненужность и антигуманность мер физического воздействия, этого пережитка древних эпох.

* * *

Одним из полюсов, стимулирующих оживление шестидесятых, была Карнаби-стрит, затесавшаяся в сетке улочек в районе между Риджент-стрит и Пиккадилли-сёркус. После войны здесь царил запустение. Об этой неопрятной (хотя и центральной) части города, возможно, никто бы и не вспом-

нил, если бы однажды, в конце пятидесятых, некий Джон Стивен не открыл в районе Карнаби свой первый бутик. Стивен был ловок и предприимчив, он сразу уловил направление ветра: в витрине красовались невиданные доселе в Лондоне броские наряды ярких расцветок, но главное — белье красного и желтого цвета! Кое-кто из модников, в основном из числа кинематографической тусовки, немедленно взял новинку на вооружение. Другие советовали избегать этих тряпок для модников. Но Стивен был настойчив и победил. Спустя несколько лет бутики оформились в торговую сеть. Так Карнаби стала одной из главных точек притяжения свингующего поколения. Среди прочих выделяются два имени: Мэри Квант и Биба. Впоследствии Биба скажет:

«Мы не хотели шиковать, мы хотели только смешно выглядеть».

Мэри Квант удостоилась славы женщины-символа тех лет благодаря изобретению мини-юбки (1966 год). Несколько отрезанных сантиметров повлекли за собой грандиозные сдвиги в индустрии одежды, привычках, нравах, отношениях полов и взглядах на эротику. Достаточно напомнить, что одним из последствий стало упразднение чулок и поясов с подвязками во имя ненавистных (для мужчин) колготок.

Мэри, девушка из мелкобуржуазной семьи, вышла замуж за графского потомка Александра Планкет-Грина. Простушав курс в школе декоративно-прикладного искусства, она начала подрабатывать в одном из тех местечек, где на построй шляпки уходит три дня. Потом Мэри открыла собственное ателье и перевернула с ног на голову производственный процесс, сократив сроки выпуска готовых изделий до минимума. Так же быстро проходили и ее модные показы. По возвращении из триумфального турне по США она скажет: «За 14 минут мы прогнали по подиуму 40 манекенщиц. И каждая минута была наполнена событиями». В этом высказывании она несколько не погрешила против истины. Если раньше модели выполняли роль ходячих вешалок для одежды, то Мэри за короткое время устраивала настоящие спектакли, повыша-

ющие адреналин. Музыка, динамичность, здоровый вкус, заключенные в едином слове: молодость.

Мэри подвижна, весела и обладает потрясающей интуицией. Стилист Видал Сассун специально для нее изобрел стрижку «боб», как нельзя лучше выражающую стиль времени. (В Италии ее введет в оборот миланский парикмахер Челе Висконтини.) Мэри и в дальнейшем будет демонстрировать все свои разработки на себе. Не только в Лондоне, но и во всем западном мире утвердится характерный облик девчонки из Челси (*Chelsea look*).

В своих воспоминаниях Мэри Квант напишет:

«Когда-то одежда была безошибочным знаком социального статуса и уровня достатка женщины. Сегодня все изменилось. Снобизм вышел из моды, и в наши дни графини наравне с машинистками расхаживают в одних и тех же вещах».

Карнаби-стрит сильнее прочих улиц столицы сохранила живость, присущую, к примеру, Трастеве в Риме, Гринвич-Виллидж в Нью-Йорке, Сент-Андре-дез-Ар в Париже. С тех пор, конечно, многое изменилось, и, скажем, римская виа Венето уже не та, что запечатлена (а по сути придумана) Феллини в «Сладкой жизни». Торговые улицы не скрывают желания привлечь как можно больше туристов, предложить покупателям то же самое, что они могут найти в других местах, но в иной атмосфере.

В переплете улочек бунтующего района Сохо вам, однако, предложат совсем другой товар. Осенью 2002 года, когда я приехал в Лондон, чтобы закончить несколько глав настоящей книги, один мой знакомый журналист провел эксперимент. Прикинувшись туристом из провинции, он с праздным видом шатался по кварталу, якобы желая что-то прикупить. Вот неполный список предложенного ему: различные виды и дозы наркоты, от марихуаны и крэка до коки и героина, пистолет «кольт-45» и девица четырнадцати лет (возраст гарантировался посредником, хотя переговоры на этом же и завер-

шились). Все составляющие части картины типичны для кварталов, способных оживить искусственность проторенных туристических троп.

* * *

Теперь шестидесятые — эпоха, растворившаяся в глубинах прошлого века. И все же, если задуматься о чередѣ открытий, произведенных в это бурное десятилетие, можно заметить, что именно там коренятся многие явления, и по сей день определяющие нашу жизнь: сдвиги в политике и вкусах, новизна в отношениях между людьми и поколениями, новые привычки, глубокие и длительные реформы. Приведем только один пример. Не думаю, что в Италии референдум о разводе (он прошел в 1974 году) мог бы завершиться со столь подавляющим преимуществом голосов «за», если бы на десятилетие раньше не обозначились изменения в привычном восприятии брака, включая лозунги феминизма.

Итак, в «великолепные шестидесятые» произошло нечто из ряда вон выходящее. И сперва Лондон, а затем Калифорния стали эпицентром мировоззренческого сдвига. Конвульсивный ком изменений подарил большей части западного мира новое лицо, от которого уже сложно отказаться. Гениальные песни «The Beatles» стали саундтреком для этих трансформаций. Мы привыкли отождествлять их с «шестидесятым восьмым годом», податливой цифрой, словно удобная сумка вмещающей в себя ворох событий. Внутрь можно положить что угодно, и будьте уверены — в какой-то момент среди прочего обязательно найдется необходимое.

IV

ЗЕРКАЛО РЕАЛЬНОСТИ

В названии главы предполагалось заключить в известной формуле (ее использует Гамлет, говоря об актерам¹) вековую, главную функцию театра: ставить перед реальностью, в том числе перед духовной жизнью человека, зеркало, в котором могли бы отразиться и великолепие этой реальности, и — чаще — ужас перед ней. В Лондоне существует копия здания, которое стало таким зеркалом для целой эпохи, получившей название в честь правления королевы Елизаветы I (1533—1603, правила с 1558 г.). Это театр «Глобус», в котором ставились драмы Шекспира, Кристофера Марло, Бена Джонсона — гигантов елизаветинского времени. Круглая в плане конструкция расположена на южном берегу Темзы, ее соорудили лет десять назад близ того места, где ранее стоял шекспировский театр². Стоит отметить, что театр находится на прилич-

¹ «Играйте так, как будто вы перед зеркалом». — Примеч. пер.

² «Globe Theatre» был построен в 1599 г., в 1613 г. деревянное здание сгорело, но затем снова было отстроено, уже из камня, и просуществовало до 1644 г. В 1868 г. «Globe Theatre» разместился в новом здании, возведенном на том же месте архитектором С. Парри. Тот театр, о котором говорит автор, появился в 1996 г., а его официальное открытие состоялось в июне 1997 г. — Примеч. ред.

ном расстоянии от Сити и городского центра. Блюстители закона всегда опасались, что столь востребованное место для зрелищ наверняка будет связано с беспорядками, порочными действиями и дурными выходками. Поэтому лучше открыть его его подальше, если вообще стоит открывать.

В XVI веке представления о театре кардинально отличались от привычного образа, сложившегося позже (театр как излюбленное место отдыха буржуазии). В елизаветинском партере не сидели господа в цилиндрах и дамы в страусовых перьях. Никакого флирта, моноклей и аромата сигар. Театр был народным зрелищем, и довольно любопытно рассмотреть, как он действовал, кто в нем участвовал, каким образом и с каким настроением.

Но вернемся в наши времена. Мысль о том, что в Лондоне должна быть хотя бы одна копия шекспировского театра, пришла в голову американцу¹. Единственными источниками для довольно спорной реконструкции здания стали печатные иллюстрации. В строительстве использовались технология и материалы XVI века: дубовые сваи, отесанные вручную, кровля из плотно спрессованной соломы (*thatch*), минимальное закулисье и прочее. Высота ступеней амфитеатра и вместительность партера, рассчитанного на стоячие места, также воспроизводили особенности оригинала.

Показ спектаклей в современном «Глобусе» идет каждое лето, а зимой там демонстрируются познавательные фильмы. Актеры труппы рассказывают за кадром о том, как сейчас работает театр и как все было раньше.

А действительно, как все было раньше? Давайте зайдём в «Глобус» и присядем на ступеньки амфитеатра. Деревянная крыша предохраняет нас от дождя, поскольку мы сидим на самых дорогих (и по тем временам) местах. Дешевые стоячие места находятся в центре партера, под открытым небом. Сцена абсолютно круглой формы выступает немного вперед и

¹ Актеру и режиссеру Сэму Уэнамэйкеру, который выступал инициатором возрождения «Globe Theatre» с 1970 г. — Примеч. пер.

поднимается примерно на метр над партером. Поэтому, когда актер играет свою роль, его с трех сторон окружает публика. Представим, как, например, в «Юлии Цезаре» Марк Антоний произносит знаменитую погребальную речь над телом убитого диктатора:

— Друзья, римляне, сограждане, внимайте мне. Не восхвалять я Цезаря пришел, а хоронить...

Благодаря особому устройству сцены его слушают не жалкая группка статистов (как было бы в обычном театре), а сотни зрителей, застывших в партере (где не разрешается сидеть). Эффект подобия, возможно, превосходит даже самый захватывающий из современных фильмов.

Театр елизаветинского времени был мощным инструментом для развлечения, познания, чувственного переживания. На этих подмостках создавались самые сильные и глубокие спектакли в истории человечества. Десятки актеров, в том числе несколько гениев, воплощали в сценических репликах пороки и добродетели, потайные мысли и головокружительные философские идеи, рассказывали о поступках и проступках и выносили на суд зрителей самые изощренные фантазии. История и политика, игры воображения и эротические забавы, комедии и трагедии, сказки и пастораль, подчас пугающая истина и игры болезненного безумия — не существовало области или жанра, не затронутого в этом театре. Голые подмостки с парой элементарных декораций — стекла и оловянная станиоль, символические предметы обстановки — превращались в пространство, куда идеально вписывались все страсти, низкие или высокие, все места действия — поля сражений или тронные залы, сказочные острова или потайные кельи, кладбища или замковые башни.

Во времена Шекспира в Лондоне было целых семь театров. Изображение жизни на сцене оказалось популярным, востребованным у публики. Театр, о котором сегодня можно прочитать только в книгах, в тот период играл роль, близкую сегодняшнему телевидению. В тесном зале толпились и простолюдины и аристократы, и женщины (в том числе с сомнительной

репутацией) и мужчины, и старые и молодые — театр с самого начала задумывался как место для развлечения самых разных людей. Позже литература и драматургия предпочли специализироваться, и тексты стали писать либо для народа, либо для двора. Это разделение привело к тому, что театр начал чахнуть, приобретая «буржуазный» оттенок, который сохранился и по сей день. От былого сценического богатства почти ничего не осталось.

Нелепое, варварское, неправильной формы здание «Глобуса» не имеет ничего общего с той грациозной гармонией и любовью к симметрии и пропорциям, что присущи театрам итальянского образца. Восьмигранный башнеобразный елизаветинский театр стоял на мерзком месте, среди грязных канав, но в дни спектаклей над ним поднимался флаг с собственной эмблемой.

Один из фундаментальных трудов по истории елизаветинского театра — «Зрелище мира»¹ — написан Фрэнсисом Йейтсом. Предоставим ему слово.

Представления начинались в два часа пополудни. Все места были платными, цена зависела от расположения: худшие стоячие места в партере под открытым небом стоили один пенс. Если начинался дождь, зрителям лило прямо на голову. Однако в городе, где всего несколько улиц было вымощено, а в канавах постоянно журчала вода, никто особенно не переживал из-за мокрой одежды.

Что за публика ходила в театр? Мясники, торговцы, булочники, матросы, каменщики и кожевники, разномастный рабочий люд. В ожидании начала спектакля мужчины и женщины играли в карты, пили, закусывали ломтями соленого мяса, громко хохотали; зачастую случались потасовки, после которых рукавами утирались кровоточащие носы, а кое у кого под глазом назревал фингал... Постепенно разнородные запахи крепчали — чтобы хоть немного заглушить их, сжигали веточки можжевельника. Ничего удивительного. Только что за-

¹ Yates Frances A. *Teatrum Orbis*. — Amsterdam, 1973.

вершился период, именуемый Средневековьем. Сотни лет человек жил в соседстве с животными, и жилище (в том числе и общественные здания) от стойла почти не отличалось.

Над всей этой массой улюлюкающего возбужденного люда, стоящего, расположившегося на ступенях или прямо на краю сцены, восседали модники, заплатившие за вход не какой-нибудь пенс, а целый шиллинг. Посмотрите на них — они тоже режутся в карты, курят и пьют. Между двумя группами зрителей разгораются шутливые перебранки, идет обмен колкостями и непристойностями, двусмысленными намеками... Господствует грубая народная ирония. Метафоры, которые некоторые драматурги облекут в шедевральные формы (знак времени), в устах простолюдинов звучат, как сказали бы сегодня, вкусно — не в бровь, а в глаз. Ну и, конечно, в воздухе проносятся различные предметы, от которых не так-то легко увернуться.

Подобный образ бушующей толпы, готовой к ярости и смеху, где языки и кулаки рвутся в бой с одинаковой легкостью, точно раскрывает дух времени. И аристократы, с отвращением подносящие к носу платок для защиты от смрада, и плебеи, сопровождающие рукоплесканиями самый раскатистый пердеж, — обе стороны просто исправно играли свои роли.

Актерам (тем, что на сцене) надо было еще постараться, чтобы увлечь по-детски разыгравшуюся публику.

В Прологе к «Генриху V» Шекспир рассказывает о множестве иллюзий, которые способен создать театр:

Но простите,
Почтенные, что грубый, низкий ум
Дерзнул вам показать с подмостков жалких
Такой предмет высокий. И вместит ли
Помост петуший — Франции поля?
Вместит ли круг из дерева те шлемы,
Что наводили страх под Азенкуром?
Простите! Но значки кривые могут
В пространстве малом представлять мильон.

Позвольте ж нам, огромной суммы шифрам,
В вас пробудить воображенья власть.
Представьте, что в ограде этих стен
Заключены два мощных государства...¹

В переводе отлично передан смысл строк. Творец осознает ничтожность средств, которыми располагает, и просит прощения у зрителей за то, что их фантазии придется поработать. Сценический служка появляется на авансцене с табличкой, где начертано: «Рим», «Египет», «Лондонский Тауэр» или еще что-нибудь. И жалкие подмостки сразу становятся этим местом. В наши дни, на фоне разговоров о виртуальной реальности, невольно приходит мысль, что театр как раз и предложил первую мощную виртуальную реальность воображению зрителей. Вот выходят три актрисы и делают вид, что, нагибаясь, собирают цветы, — подмостки становятся лугом. А вот выбегает с полдюжины статистов, обнажая деревянные раскрашенные мечи, за сценой звучит барабанная дробь, — луг стал полем битвы, и эти шестеро — не кто иные, как отряд воинов, готовых победить или погибнуть. Слегка приукрашенное кресло обращается трон, а если к этому добавить занавеску, скрывающую подобие комнаты, то нашему взгляду предстанет великолепный дворец или Божий суд. Тот же трюк с занавеской может сработать и в роли укрытия для Полония, прежде чем его пронзит меч Гамлета. Когда же занавесь открывается, мы видим альков с ложем, а на нем — готовый к действию герой. Пространство под сценой, скрытое тканью, может изображать внутренность корабля, подземелье, тюрьму, часто — ад. Не случайно английское техническое название этой части сцены — *hell* (ад).

Принц и принцесса любят друг друга, женятся, пошли дети, дети вырастают, решают в свою очередь завести детей. За два или три часа перед восторженными глазами толпы проходят истории нескольких поколений. Над сценой есть еще маленький узкий коридор, позволяющий Джульетте появиться на бал-

¹ Перевод Е. Бируковой.

коне для разговора с Ромео, Генриху V — оказаться на башнях Гарфлёра, а Антонию — добраться до дворца Клеопатры.

Что касается декораций, реквизита и особых шумов, то в елизаветинскую эпоху умели создавать вполне реалистические эффекты самыми простыми способами. В Прологе комедии «Всяк в своем настроении» Бен Джонсон выражает свое пренебрежение грубыми театральными приемами и прославляет собственное произведение, в котором:

Нет ни скрипучего трона на забаву детям,
Не рвутся хлопушки, пугая благочестивых дам,
Не слышно перекатов по полу пушечных ядер,
изображающих гром,
Не вертится грозовой барабан, предупреждая о приходе
бури.

О категории времени у Шекспира написаны сотни важных страниц. Уже не достаточно единства времени, прославленного Аристотелем в качестве основного канона трагедии. Елизаветинский автор должен был уметь свободно двигаться во времени и пространстве — с кинематографической (сказали бы мы) скоростью. За один акт происходит около двенадцати смен декораций и мест действия. Между сценами случаются временные и пространственные скачки в десятки лет и сотни километров. На одних и тех же подмостках, с помощью тех же деревянных мечей представляются и походы Юлия Цезаря и Ричарда III. Барабанная дробь сопровождает сражения в Египте и в сердце Лондона.

Чтобы помочь зрителям следить (а точнее, следовать) за развитием сюжета, авторы включают в пьесы ориентирующие реплики. Например, в «Ричарде III» фраза «Тот замок, что внизу, зовется Баркли?» сразу подсказывает нам, что герой вернулся из Ирландии и находится на западном побережье. О пролетевшем времени может рассказать комическая интерлюдия или короткая сцена, в которой второстепенные персонажи при встрече обмениваются новостями или иногда

звучит песенка. Актеры, появившиеся на сцене с зажженными факелами, дают понять, что, несмотря на три часа пополудни (в реальности), на подмостки опустилась глубокая ночь. Великолепны слова Ромео, которые и сегодня, как и в те времена, описывают приход утра:

Нет! жаворонок это — вестник утра.
Не соловей! Взгляни, любовь моя:
Завистливые проблески уж ярко
Край облаков востока золотят...
Сгорели свечи ночи, день веселый
Встал на дыбки на высях гор туманных...¹

В других случаях отсылка к месту действия и атмосфере имеет двойную функцию, подобно этой сцене из «Макбета»:

Дункан. Приятно расположен этот замок;
И самый воздух, ласковый и легкий,
Смягчает ваши чувства.
Банко. Летний гость,
Храмовник-стриж, обосновавшись тут,
Доказывает нам, что это небо
Радужьем веет. Нет зубца, устоя,
Угла иль выступа, где б он не свил
Висячих лож и щедрых колыбелей.
Где он живет, там воздух, я заметил,
Особо чист.²

Описание среды в этих строках создает ободряющий, приятный внешний образ мест, но, с другой стороны, наделяет их драматической иронией, если вспомнить, что речь пойдет о страшных преступлениях, зреющих в стенах замка.

Так как помост, служащий сценой, поднят на значительную высоту над партером, актер предстает перед публикой в трех

¹ Перевод А. Григорьева.

² Перевод М. Лозинского.

разных ракурсах. Располагаясь в центре идеального круга (как в наши дни получается с дирижером оркестра), он видит большинство зрителей перед собой, а остальных — по краям; с ближайшими из них можно обменяться взглядом и поговорить, привлечь внимание, взять в сообщники, вовлечь в действие.

Гамлет делится со зрителями партера самыми сокровенными мыслями, Ричард III и Яго шепчут на ухо ближайшей публике свои сардонические «в сторону», Фальстаф — шутит и потешается, Антоний — убеждает отомстить за смерть Цезаря.

Изобилие монологов елизаветинского театра имеет еще и техническое объяснение: это самый действенный метод продвинуть действие, овладев вниманием слушателя. Для нас, привыкших к абсолютной кинофикции, к ее гладким неуловимым иллюзиям без вкуса и запаха, явленным в магической темноте кинозала, такой путь разжигания воображения может показаться неестественным. Ведь восприятие актера вблизи (запах его пота, грим на его лице, долетающие брызги слюны в особо насыщенных репликах) скорее способно ослабить иллюзию, чем укрепить ее. Но в елизаветинском театре происходит иначе. Между актерами и публикой возникает сильнейшая пульсирующая сопричастность, актер — это источник мощного эмоционального напряжения, и, по словам некоторых, такого эффекта сложнее всего достичь в театре «натуралистического» типа, где актеры играют будто бы и не для зрителя, отгороженные от остального мира воображаемой «четвертой стеной».

От елизаветинцев нас отделяют века изобретений, декораций, костюмов, трюков и технологий. Между нами грандиозная силища кинематографа (где эмоциональная вовлеченность может стать почти всеохватной), между нами ежедневное и ежечасное присутствие телевидения, этого грубого с точки зрения иллюзии инструмента, но с беспрецедентной гипнотической силой. Прошло слишком много времени. Этот разрыв делает практически невозможной расшифровку эмоционального механизма воздействия тех далеких спектаклей. За исключением одной-единственной детали: очарование

строки. Хотя и прошло четыре столетия, строки, вышедшие из-под пера драматурга, вызывают те же чувства. И если драматическую иллюзию можно пригасить, то чувство сопричастности, волнение, вызываемое поэзией, свежи, как прежде.

Публика не всегда требовала условного переживания театрального действия. Повешение, ранения, пытки изображались на сцене с величайшим правдоподобием. Зрители привыкли видеть палачей за делом. Никого не удивлял вид отрубленной головы или кровавого обезглавленного тела перед плахой. Многие были готовы освистать не соответствующий ожиданиям результат. Обезглавливание Макбета, заколотый предателями Юлий Цезарь, ослепление Глостера производились на подмостках с крайним жизнеподобием. Некоторые ремарки с пояснениями к сценам предлагают вместо капель крови использовать «небольшой дырявый пузырь с уксусом», а для иллюзии четвертования «три ампулы крови и внутренности овцы».

Все звуковое сопровождение спектаклей осуществлялось музыкантами — непосредственными участниками действия. Музыка тогда еще не воспринималась фоном для сюжета, как это будет в кинематографе. Ее исполняли на глазах у всех. И даже если звуки проистекали из-за сцены (как в «Антонии и Клеопатре»), то они все равно активно комментировались действующими лицами.

С таким же вниманием относились к деликатному процессу выноса тел «убитых», поскольку еще не существовало занавеса для подобных моментов. Во избежание нелепого «воскресения» и ухода окровавленного трупа был придуман человек, которому автор поручал реплику: «А теперь убирайте мертвецов!» Таким образом разрешалось любое недоразумение.

Зрители не были скованы правилами поведения и речевым этикетом, но и в сочувствии к чужим страданиям мера была весьма условной. Впрочем, сама жизнь подогревала интерес. При дворе, как и в самой захолустной таверне, охотно следили за боями животных. Бойцовые псы терзали друг друга, у медведей или обезьян в схватках вываливались внутрен-

ности, цепные звери гибли на глазах у толпы. Королева Елизавета регулярно хлестала своих горничных за обиды и провинности. Однажды она публично дала пощечину своему фавориту, графу Эссексу, — за то, что он не попросил пощады, уличенный в государственной измене. В 1837 году Гаэтано Доницетти напишет одноименную оперу («Роберто Доверё»), положив в основу либретто трагедию Франсуа Ансело «Елизавета Английская». Бедный Деверё познал и привилегии фаворита, и горечь мести, и невозможно сказать со всей очевидностью, какой характер носил гнев королевы — государственный или личный. «Его любовь приводит меня в блаженство», — поет она у Доницетти. Немного поразмыслив, королева решает обезглавить любимого. Что же, вполне в духе времени.

В елизаветинском театре реакции всегда бурные, идеи — головокружительные, радость — всеохватная, боль — бесконечная, удары «злодейки судьбы» — непоправимы, ярость — испепеляющая, похоть — брутальна. Причем каждая из этих страстей доходит до апогея. Однако любовь (чаще в союзе со сладострастием) достигает не только роковых, но и лирических вершин. На подмостках падшие женщины и девственницы с равным успехом сменяют друг друга. Сила чувств доводит героев до безумия, но сумасшествие не исключает присутствия самого что ни на есть острого ума. Миром правит жадность, стремление обладать всем, что пока недоступно, но благородная щедрость всегда побеждает.

Природа на сцене часто изображается в самых своих диких проявлениях: крутые обрывы, ветер, ливень, всполохи молний, раскаты грома. Из этой галереи жутких видов щедрой дланью будет черпать образы эпоха романтизма.

Один из классических примеров — описание грозы, разразившейся над головой бедного короля Лира:

Дуй ветер! Дуй, пока не лопнут щеки!
Лей дождь, как из ведра, и затопи
Верхушки флаюгеров и колоколен!

Вы, стрелы молний, быстрые, как мысль,
Деревья расщепляющие, жгите
Мою седую голову! Ты, гром,
В лепешку сплюсни выпуклость Вселенной...¹

Актеры тех лет, произносящие подобные слова и на сцене, и в жизни, несомненно, умны, обладают грандиозной энергией, предприимчивы, физически крепки и смелы. Именно благодаря им рождается особый тип английского джентльмена, способного (и сегодня) бросить университет ради охоты на медведя где-нибудь в Сибири или отправиться исследовать земли далекой Патагонии, о чем впоследствии будут написаны не всегда правдивые тома. Некоторые ищут корни неукротимой энергии в наследии древних саксонских народов, бесстрашных покорителей лютых северных морей. Как раз в те века англичане по праву завоевали титул воинственного народа. Кто считает, что самые воинственные в мире — немцы, ошибается. Немцы, кстати, все свои войны обычно проигрывали. А англичане побеждали, даже если речь шла о походе на край земли ради защиты кучки камней на острове, заселенном исключительно дикими козами.

Необузданный нрав, присущий этому народу, сложился из строптивости, упрямства (они говорят — *stubbornness*), смелости, физической выдержки, холодной уверенности. Бенвенуто Челлини писал об англосаксах как о «наивоинственнейшем и диком народе. Кое-кто считал, что их брутальная телесная и духовная крепость преимущественно зависела от мясного рациона: «Непомерное количество бычьих оковалков служит им питанием и подкрепляет силы и свирепые инстинкты».

Подобный народ нуждался в строгой дисциплине, способной обуздать его нрав. Об этом тоже рассказывают театр и нравы периода между правлением Генриха VIII и Елизаветы. Лишь недавно была отменена порка нерадивых школьников, хотя кое-где ее продолжают практиковать, судя по свидетель-

¹ Перевод Б. Пастернака.

ствам. Однако в те годы, о которых мы говорим, телесные наказания являлись скорее нормой, и не только в Англии. Всяческие наказания, вплоть до крайне суровых, хоть и наводили ужас, но в самом восприятии жизни заключалось понимание того, что смерть (и не только от наказания) может наступить в любой момент. Ранения, топор палача, пытка были повседневными спутниками бытия. Лондонский Тауэр поглотил в те годы толпы просвещенных жертв. Среди самых знаменитых герцог Бекингем, королева Анна Болейн и Екатерина Говард, граф Суррей, граф Сомерсет, леди Джейн Грей с мужем, герцогом Нортумберлендом, Мария Стюарт, граф Эссекс... Это были герои, взошедшие на трон или близкие к нему, достигшие высоких государственных ступеней, красавцы и юные прелестницы, таланты и придворные звезды. Все они лишились головы на эшафоте или были повешены. После судорог от стянувшей горло веревки еще трепещущие тела стягивали с помоста, чтобы освежевать, четвертовать, сжечь конечно-сти перед скачущей от возбуждения толпой. Головы на кольях неделями украшают ворота Лондона, подкармливая ворон.

Историк Рафаэл Холиншед (1529—1580) в своей бесконечной «Хронике Англии, Шотландии и Ирландии», увидевшей свет в 1577 году и давшей Шекспиру богатейший фактический и личностный материал, повествует, кроме прочего, как 25 мая 1535 года в соборе Святого Павла обвинили в ереси девятнадцать мужчин и шесть женщин, уроженцев Голландии. На смерть осудили четырнадцать человек — из них сожжению в Смитфилде подвергли мужчину и женщину, остальные двенадцать приняли смерть в других городах. Девятнадцатого июня повесили, а затем четвертовали за отрицание церковной власти короля трех монахов, чьи головы и конечности были выставлены на обозрение в Лондоне. А в двадцать первый день июня за то же был обезглавлен доктор Джон Фишер, епископ Рочестера. Его голову выставили на Лондонском мосту. Папа назначил его кардиналом и послал ему шапочку — знак нового сана. Но голову отрубили до ее прибытия. Таким образом, голова и шапочка никогда не встретились.

Не сказать, чтобы жители Лондона были довольны казнью. Послав на смерть епископа Рочестера, Генрих VIII совершил убийство кардинала Священной Римской церкви. Зеваки, приходившие поглазеть на голову прелата, стали роптать, что король обрек на смерть святого. Кроме того, бедняга, отличавшийся аскетической худобой, прежде чем палач отделил его голову от тела, обратился к толпе со следующими словами: «О, христианская паства, я дошел до этой черты, чтобы умереть за святую католическую Церковь Христа». Больше он ничего сказать не успел.

Через несколько лет в Риме, в священный 1600 год, недалеко от площади Кампо деи Фьори, был сожжен монах, объявленный еретиком уже святой католической церковью. Звали его Джордано Бруно. Жестокие религиозные расправы с подчас полярной подоплекой в те великие и безжалостные века запятнали Европу кровью.

Но вернемся в Лондон. Здесь всюю шли репрессии, начатые Генрихом VIII с целью освобождения от папского владычества и оков Римской церкви. Оставив в стороне Томаса Мора, о котором речь впереди, отметим, что мученичество повешенных, четвертованных и сожженных становится знаковым политическим вызовом, который король бросает Риму, подчеркивая непоколебимость собственных убеждений. Те монахи — первые жертвы длинной череды судебных расправ. К примеру, три арестованных чертозинца вынуждены были ждать приговора стоя, прикованными к стене железными ошейниками, с тяжеленными кандалами на ногах. Две нескончаемые недели несчастные постепенно угасали, не имея возможности ни поесть, ни лечь, поскольку оковы не ослаблялись для отправления естественных потребностей. После подобных мучений огонь явился бесспорным избавлением от мук. В отношении другого, четвертованного живьем после фиктивного повешения, монаха хронист упоминает, что, «когда из груди его вырвали сердце, несчастный издал душераздирающий стон».

К череде земных тягот и казней необходимо добавить свод верований и суеверий, порожденных различными ветвями

Церкви. Епископ Джевел, принятый на аудиенции королевой Елизаветой, отмечал, что число ведьм в его епархии в последнее время значительно возросло:

«Их заклинания толкают людей на смерть и приносят болезни, бледность, угасание чувств. Ведомые Сатаной, они готовят снадобья из внутренностей и членов невинных детей, а затем летают над землей для сотворения своих козней. Если ребенок не крещен и не защищен крестным знаменем, ведьмы могут ночью похитить его прямо из-под бока у матери или вырыть труп, чтобы под паром полностью растворить останки. По их правилам, каждые пятнадцать дней или хотя бы раз в месяц ведьма должна убивать хотя бы одного младенца».

В подобные шокирующие деяния верил не только простак-крестьянин — в них были убеждены серьезные, ученые мужи и прелаты высокого сана.

Но театру, о котором мы ведем речь, сей фантастический эмпирей аномальных и греховных явлений предоставил богатую пищу для вдохновения. Шекспир начинает своего «Макбета» появлением в сполохах молний трех ведьм со словами: «Сколь отвратительна красота и приятно уродство, мы понесем прочь сквозь туман и испорченный воздух», — и публика, толпящаяся в партере, несомненно, улавливает в этих мрачных увещеваниях эхо злодеяний, о которых автор еще только собирается рассказать. Они знакомы ему, часты в жизни и постоянно описываются в жарких проповедях.

В Лондоне того времени (да и во всей Европе) были распространены тысячи легенд о восстающих из могил мертвецах и бесплотных тенях. Каждое приходское кладбище имело собственного призрака, что шатался безлунными ночами меж могил. На местах убийств проходим являлись духи пострадавших в самых ужасающих обликах. Лишь немногие смельчаки решались покидать жилища после заката. Длинными вечерами у очага шептались о каретах, летящих галопом, которыми правили ямщики с отрубленными головами, о лоша-

дях с горящими, как плошки, глазами, о страшных привидениях, поджидающих в засаде неосторожных путников, ступивших ночью на их территорию. Из подобных легенд сложилось начало «Гамлета». Призрак умершего отца является принцу, чтобы открыть тайну своего убийства.

Смерть и тайна загробного мира безраздельно правят в подобных историях. В пьесе «Мера за меру» Шекспир вкладывает в уста молодого дворянина Клаудио следующие слова:

Но умереть... уйти — куда, не знаешь...
 Лежать и гнить в недвижности холодной...
 Чтоб то, что было теплым и живым,
 Вдруг превратилось в ком сырой земли...
 Чтоб радостями жившая душа
 Вдруг погрузилась в огненные волны,
 Иль утонула в ужасе бескрайнем
 Непроходимых льдов, или попала
 В поток незримых вихрей и носилась,
 Гонимая жестокой силой, вкруг
 Земного шара...
 ...И самая мучительная жизнь:
 Все — старость, нищета, тюрьма, болезнь,
 Гнетущая природу, будут раем
 В сравненьи с тем, чего боимся в смерти¹.

Пугает мысль автора, звучащая в вопросе Гамлета:

Кто снес бы плети и глумленье века,
 Гнет сильного, насмешку гордеца...
 Когда бы страх чего-то после смерти, —
 Безвестный край, откуда нет возврата
 Земным скитальцам, — волю не смущал?²

Да, жизнь, похоже, — самый жуткий сон. Жизнь же большинства людей — это постоянный выбор между страстями и

¹ Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

² Перевод М. Лозинского.

безумием, сомнениями и риском. И в завершение всего, пишут английские драматурги Фрэнсис Бомонт и Джон Флетчер в одной из своих драм: «Ничего нет, кроме безмолвной могилы, — ни слов, ни приятных прогулок с друзьями, ни звука голоса возлюбленного, ни советов любящего отца. Не слышно ничего, все исчезает. Все, кроме забвения, праха, крошечной тьмы».

Эти два автора практически забыты, что досадно, поскольку их театр — простой, насыщенный поразительными эффектами и захватывающими сценами — бесконечно нравился современникам. Именно из-за его «простоты», то есть открытости современным вкусам, мы можем постичь *in vitro* дух времени, понять страхи и надежды аплодирующих зрителей.

Возрождение — феномен не только итальянский. Хотя, если сравнить основные формы и темы, присущие Возрождению в искусстве Италии и Великобритании, различия сразу станут очевидными. Когда Гамлет восклицает в своем прославленном монологе: «Умереть, уснуть. — Уснуть! / И видеть сны, быть может...», он в двух словах рисует образ жизни, близкой к кошмару. В фантазиях Шекспира не родилось бы настолько бесспорное (и последовательное) видение мира, если бы умонастроения его современников были иными. Драматург переосмысляет на своем гениальном уровне черты мировосприятия среды, в которой он живет. Сцены его пьес повествуют о тех же страхах, что наводняли улицы Лондона вместе с ночными фантазиями народа.

Сравним светоносность итальянской живописи тех лет с миазмами, страданиями и кровью, льющейся в елизаветинском театре. Правда, итальянские драматурги тоже описывали измены, убийства, похоть, бесконечную жестокость власти. «Мандрагора» Макиавелли не единственная итальянская пьеса того периода. Но тем не менее итальянские дворцы и площади излучают спокойствие, представляют гармонию линий и объемов, не имеющую аналогов в ренессансном мире.

В чем причина подобных различий? Ответов множество, но ни один не кажется убедительным.

Жизнь актера елизаветинской эпохи была непростой. По сути, он балансировал на нижней ступени социальной лестницы. Все задействованные в спектакле вынуждены были искать покровительства аристократов или просто денежных мешков, в противном случае приходилось тянуть лямку бродяги-оборванца. Однако никакая протекция не освобождала актеров от подчинения строгим общественным порядкам. К актерам априори относились с подозрением. Учитывая постоянный риск эпидемий, в том числе чумных, скопления народа боялись, поэтому не так-то просто было пробить разрешение на показ спектаклей. В ряде городов корпорации ремесленников ополчались против театра, который якобы отрывал людей от работы и осуждался Писанием как идолопоклонство.

В Лондоне власти охотно наложили бы табу на представления, если бы не каприз королевы: она возжелала смотреть спектакли при дворе во время рождественских праздников. Когда в 1599 году знать воспротивилась постройке нового театра, королевский совет издал указ: «Не несущий ущерба показ отдельных пьес позволителен при соблюдении благого порядка и умеренности», а поскольку «иногда Ее Величеству доставляет удовольствие развлекаться, смотря и слушая лицедеев, необходимо принять соответствующие меры по содержанию тех, кто способен обеспечить радость и наслаждение Ее Величеству».

Противостояние пуритан, однако, не ослабевает, и в 1642 году, уже при Карле I, парламент, в котором пуритане главенствовали, приказывает закрыть на неопределенный срок все театры. Коснулось это и «Глобуса». На протяжении почти двадцати лет, вплоть до начала периода монархической Реставрации, театр практически был запрещен. Когда спектакли возобновятся — это будут уже иные формы. Но главное — их будет смотреть другая публика. Сословная смесь — их будет смотреть другая публика. Сословная смесь елизаветинских времен (бесспорное достояние английского театра) перестанет существовать.

Пуритане ненавидели театр, потому что в его роскошных декорациях и костюмах им виделись намеки на церковные католические ритуалы. «Чудовищные ткани и римское тряпье», как напишет один из драматургов того времени.

Многие драматурги начинали свою карьеру актерами, и почти все имели более чем скромное происхождение. Бен Джонсон — приемный сын строительного подрядчика, сам был каменщиком, Кристофер Марло — сын сапожника, Шекспир — сын торговца шерстью, Джон Уэбстер — портного, Филипп Мессинджер — слуги. Их жизнь беспорядочна и кипит страстями: пьяные кутежи в кабаках, постоянные драки, греховные истории с легкодоступными дамочками... И все же они с успехом выступают на сцене и пишут пьесы, выводя на подмостки иронически списанные с самих себя пороки. Что еще? Они кое-как сводят концы с концами, поддаются любому веянию, посылая ко всем чертям собственную репутацию. Ими правит неумеренность, которую любой приличный горожанин назвал бы безумием.

Славу Томасу Хейвуду (ок. 1574—1641) принесли, ни много ни мало, двести двадцать сочинений для театра. Действие в его пьесах в основном разворачивается в немыслимых обстоятельствах и невероятных местах: кабаках, борделях, игорных домах. Увы, от этого огромного свода осталось немногим больше двадцати текстов.

Бен Джонсон (1573—1637) за убийство коллеги был арестован и приговорен к виселице, но чудом избежал наказания, возможно, благодаря вмешательству Церкви.

Драматург Роберт Грин (1558—1592) долго колесил по дорогам Испании и Италии. По возвращении в Лондон он, как и другие его собратья по перу, становится кабачным завсегдатаем. О себе он открыто заявляет, разумеется, провоцируя:

«Я был излишне горд, ежедневно упражнялся с потаскухами, а в алчности и пьянстве — мое единственное утешение».

Продолжая в том же духе, Грин промотал не только все свои средства, но и состояние жены. Окружив себя при-

дворными шутами и лицемерами, он все же удерживается на плаву. Грин сквернословит, но при этом пишет краткие нравоучительные сочинения, в которых предостерегает доверчивых юношей от происков и козней подлецов и распутниц.

Гениальный Кристофер Марло (1564—1593) родился в семье башмачника в Кентербери, но сумел получить образование в престижном колледже Кембриджа благодаря щедротам некоего господина, правда, полученным весьма загадочным способом. Вспыльчивый, склонный к распутству, Марло воплощает собой плотскую сторону Ренессанса. Он принадлежит к тому типу людей, что кожей чувствуют новые веяния. Ему удастся почувствовать ауру небывалого вольнодумства, смело толкающего на преодоление бытующих моральных установок, он предвидит крах предубеждений, столетиями сковывавших воображение, и к тому же он обнаружит (это важно для драматурга), что жизненные и сочиненные преувеличения вполне могут сосуществовать.

Как и Грин, Марло объявит себя скептиком, подвергнет сомнению Божественную природу Христа, позволит себе хулить Троицу, нахально заявит, что Моисей — простой шарлатан, и даже попытается доказать, что Христос заслуживал смерти больше Вараввы. Возможно, он служил доносчиком при дворе, а во Франции примыкал к группе сосланных из Англии сторонников католичества. Актерская карьера Марло прервалась из-за хромоты (в драке ему сломали ногу). В любовницы он взял шлюху и однажды дрался из-за нее на дуэли. Хотел ударить соперника ножом, но тот вывернул его руку, и Марло ранил себя собственным оружием. Он погиб во время неизвестной схватки в харчевне, не достигнув и тридцати лет.

Какие же вирши можно создать при подобной жизни? Творчество Марло отличается свободной — почти дикой — театральная интуицией. Его произведения полнокровны, насыщенные, неистовы, многоцветны, всеохватны. В «Мальтийском еврее» христиане относятся к главному герою, Варавве,

как к скоту, что приводит его в безумную ярость. И он дает слуге Итамору следующие заветы:

Ты ремесла не знаешь? Ну, так слушай.
Я научу тебя — тебе ж на пользу.
Во-первых, откажись от всяких чувств —
Любви, надежды, жалости иль страха.
Когда христиане плачут — улыбайся,
Забудь о сострадании, улыбайся —
Но про себя, — коль христиан терзают.
Что до меня, брожу я по ночам,
Больных я убиваю возле стен
И отравляю иногда колодцы¹.

Персонажи Марло лишены психологизма. В его трагедиях место психологии занимают обстоятельства, а действие движется с помощью абсолютной, почти галлюциногенной власти слова. Прежде чем погибнуть в кипящем масле (наказание, уготованное отравителям), Варавва накормил ядовитой похлебкой монахинь некоего монастыря, изготовив «адскую машину», истребил целый турецкий гарнизон, лишил жизни всех воздыхателей своей дочери, а затем и саму дочь.

В финале трагедии «Эдуард II» в предсмертных словах Мортимера Младшего заключается видение жизни, присущее не только персонажу, но в большей степени — его создателю и всему театру того времени:

Теперь я вижу,
О подлая Фортуна, что есть точка
На колесе твоём, к которой люди
Стремятся до тех пор, пока стремглав
Не упадут. Я прикоснулся к ней —
И вижу, что уж выше не подняться.
Что ж горевать мне о моем падении?
Прощайте, королева, и не плачьте
О Мортимере! Мир он презрел. Ныне,

¹ Перевод В. Рождественского.

Как путешественник, край неизвестный
Идет он открывать¹.

Эти строки — крик души на грани смерти, исповедь самого Марло и всех тех, кто бросил вызов уготовленной им судьбе, поставив на карту собственную жизнь.

Но данные строки еще и доказательство того, что авторы елизаветинской эпохи творят, используя проверенные формы и метафоры, соревнуясь друг с другом. Так, аналогичный образ Колеса Фортуны встречается у Шекспира в четвертом акте (сцена III) «Юлия Цезаря», в словах Брута:

В делах людей прилив есть и отлив,
С приливом достигаем мы успеха.
Когда ж отлив наступит, лодка жизни
По отмелям несчастий волочится².

Мировоззрение елизаветинских авторов стало крупнейшим наследием для поколения романтиков. Ведь именно они заново открыли Шекспира и объявили его непревзойденным поэтом и величайшим художником человечества. В сплоченной группе новооткрывателей английского драматурга выделим два имени: Ипполита Тэна и Виктора Гюго. Первый значим благодаря рвению, с которым примкнул к европейскому позитивизму, став апостолом целостного натуралистического видения бытия. Среда, личность, психология, физиология слагаются в его учении в единую вибрирующую массу бытия. А Гюго важен благодаря своему чувственно-натуралистическому восприятию театра, литературы, да и жизни в целом. Это был мастер, способный пересмотреть все избитые представления о чувствах и чаяниях, о несправедливости и позоре в человеческом обществе.

Сегодня кажется немыслимым, что Шекспир, поэт и драматург невиданной мощи, был предан забвению на долгие десятилетия. Во Франции первым за дело возрождения Шек-

¹ Перевод А. Радловой.

² Перевод М. Зенкевича.

жертвенности перед сбродом, в любви к ужасам». Лорд Шефтсбери заявил: «У этого Шекспира варварская душа мужлан».

Перед нами — оскорбление, на котором необходимо остановиться, поскольку обвинение в «варварстве» относится как раз к способности Шекспира раскрывать столкновения контрастных характеров и ситуаций. Любопытно, что качества, привлекающие Гюго, — те же, что привели в ярость Вольтера. Взволнованный драмами Шекспира, французский философ писал: «В Гамлете пьяные могильщики, роющие яму, поют песенки и обмениваются шуточками о собственном ремесле на костях покойников»; заканчивает он следующим восклицанием: «Что за чушь!» «Есть творения человеческого духа, приближающиеся к „Гамлету“, но ни одно не превзошло его», — через век отвечает ему Гюго.

Распаленный своей верой, Гюго призывает к созданию «национального театра, творимого рука об руку с историей, народного в человеческой правдивости, естественного и универсального в страстях, предстающих на сцене». На деле этой мечте не суждено было осуществиться, ибо «народный театр» Гюго пугал буржуазию, а те доверительные отношения с народом, к которым писатель стремился под влиянием идей социалистической утопии, так и не были установлены.

Критик Гарольд Блум в одном из своих очерков отметил, что Шекспир должен быть признан отцом английского языка в той же степени, в какой таковым считается Данте в Италии. Он пишет: «В „Библии короля Якова“ используется восемь тысяч слов, у Данте — двадцать тысяч, у Шекспира как минимум — двадцать одна». И добавляет: «Драматург чувствовал непреодолимое желание создавать новые слова. Из двадцати одной тысячи слов шекспировского лексикона как минимум одно на каждые двенадцать — его изобретение, а в общей сложности таких неологизмов около 1800. Многие из них актуальны и по сей день».

Каким же образом поэт применил свои уникальные творческие и лингвистические способности? Из тысячи ответов ограничусь следующим: может быть, Шекспир и не изменил природу человека, но он хотя бы изменил наш способ представлять ее. И думать о ней.

V

ПРИЗРАК В НОЧИ

«Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», если призадуматься, не столь уж и странная. Даже писателю с таким развитым воображением, как Роберт Льюис Стивенсон, не пришло бы в голову написать этот рассказ, которому суждено было стать образцовым, если бы он не мог почерпнуть сюжет из собиравшихся им историй. И где же истоки этой? Конечно, в литературной традиции, в первую очередь английской. Но и в повседневной жизни, особенно лондонской. Этот достойный восхищения человек, суровый и добрый шотландец, не отправился бы жить на великолепные острова Самоа, когда ему было около сорока, если бы не глубокое чувство отторжения человеческой души, какой ее делала городская жизнь. Его мистер Хайд представляет собой подлинное воплощение этого.

Существует ли до сих пор тот призрачный и зловещий Лондон, из чрева которого родился образ мистера Хайда? Да, существует, и искать его надо на некоторых улочках Ист-Сайда: узенькое замкнутое пространство, полное теней, мрачные задние планы. Но Хайда можно обнаружить и в некоторых особенных местах, хранящих следы эпохи, когда ученых порой охватывал ужас от тех открытий, которые они совершали, копаясь

в человеческой природе: хрупкость нервной системы, двойственность глубоких побуждений, нечеткость границ, отделяющих добро от зла или разум от безумия.

Одно из таких мест официально называется Хантеровский музей Королевского хирургического колледжа (*Hunterian Museum of the Royal College of Surgeons*). Доктор Джон Хантер, имя которого носит музей, был хирургом и анатомом (и тоже шотландцем); жил он в XVIII столетии и уже тогда считался отцом научной хирургии. В годы, когда работу хирурга часто путали с деятельностью кровопускателя, а порой и мясника, это было великой похвалой. Хантер также прославился как великий коллекционер анатомических курьезов. За годы своей работы он собрал тысячи разнообразных фрагментов человеческого тела. Некоторые из них были уничтожены в 1941 году во время бомбардировок; однако осталось несколько сотен, и их достаточно, чтобы дать адекватное представление не только о целях доктора Хантера, но и о строении человеческого организма.

Джон Хантер, вскрывая и препарируя тела, изучал все формы животного мира со свойственной для той эпохи страстью исследователя и систематизатора. Его увлечение классификацией до сих пор способно вызвать в нас ощущение высшего порядка, организующего формы жизни.

Прогулка по музею порождает необычные мысли, хотя в целом скорее умиротворяющие. Эта бесконечная вереница анатомических экспонатов помогает распознать и выделить те немногие действительно важные вещи, которые каждый надеется найти в повседневной суете. Как на полках супермаркета, в музее рядами расставлены сотни емкостей, в которых формалин навечно сохранил бледные останки каракатиц, мышей, воробьев, кротов, гекконов, рыб, птиц, рептилий, четвероногих; здесь же — мозги и сердца, включая человеческие, формирующиеся черепа зародышей и детей на разных стадиях развития, от рождения до восьми — десяти лет. Цель последней экспозиции — показать формирование костной структуры черепа, посте-

пенное закрытие родничков, формирование индивидуальных черт лица человека.

Среди останков людей и животных есть два экспоната, которые привлекают особый интерес знакомого посетителя. Первый — скелет Джонатана Уайльда, знаменитого преступника, который кончил жизнь на виселице и деяния которого привлекли внимание многих писателей. О Уайльде и его преступлениях, столь типичных для столетия, в которое он жил, я расскажу в главе, посвященной Уильяму Хогарту («Художник-буржуа»). Здесь же упомяну лишь о детективной истории, сопровождавшей его кончину. Уайльд был казнен в три часа пополудни 24 мая 1725 года. Его тело было захоронено на маленьком кладбище при церкви Святого Панкратия. Спустя несколько дней было обнаружено, что могилу вскрыли и кто-то похитил останки, — несомненно, для того, чтобы подвергнуть их препарированию с целью изучения. Впоследствии удалось установить извилистый маршрут, который проделало тело легендарного преступника, прежде чем попасть под скальпель в секционной некоего доктора Фредерика Фаулера; в 1847 году этот Фаулер преподнес их в дар Королевскому хирургическому колледжу, сопроводив любезнейшим письмом, начинавшимся следующим пассажем: «Господа, прошу принять скелет знаменитого Джонатана Уайльда, которым я владел...»

Как вы думаете, что искали анатомы, терзая своими инструментами жалкие останки преступника? Они пытались понять, может ли тайна добра и зла скрываться в физическом строении индивида, можно ли свести эту тайну к правилу, которое позволит ее распознавать. Как раз этим спустя много лет пытался заниматься Чезаре Ломброзо. И эта история не закончилась с закатом позитивизма, ведь известно, что в Германии останки террористов из банды Баадера — Майнхоф¹

¹ Речь идет о леворадикальной террористической группе «Фракция Красной армии», действовавшей в ФРГ в семидесятых годах прошлого века под руководством Андреаса Баадера, Ульрики Майнхоф и Гудрун Энслин. — Примеч. ред.

долгое время подвергались исследованию; ведь еще сегодня ищут в ДНК индивида то, что психиатры и анатомы искали в форме мочки или высоте надбровных дуг. И совсем не факт, что они были неправы.

В этом музее есть еще один скелет, вызывающий большой интерес. Он весьма примечательного вида. Тяжеловесный костяк, невероятных размеров бедренные кости, грудная клетка размером с бочку — это все, что осталось от человека ростом выше двух с половиной метров, которого звали Чарлз Бирн. Парень прожил двадцать два несчастных года (1761—1783), на протяжении которых подвергался навязчивому любопытству; его прозвали Ирландский гигант.

Бирн осознавал, что является феноменом, капризом природы, и был охвачен страхом, что после его смерти анатомы начнут бороться между собой за право заполучить еще теплый труп для исследований, ведь это означало выпотрошить и расчленив его. Пытаясь уклониться от ужасной судьбы, он взял с близких клятву кинуть его гигантские останки в море. Но ничего не вышло. Если он и платил за это деньги, то они не помогли, а если речь шла об обещании, то слово не было сдержано.

В 1786 году знаменитый английский художник Джошуа Рейнольдс написал портрет доктора Джона Хантера, на котором мы видим великого хирурга за рабочим столом в прозекторской, в окружении орудий его науки. На заднем плане — необычно большого размера человеческие конечности, от колена до ступни. По их положению мы понимаем, что это часть скелета, подвешенного на стене, и что эти берцовые кости принадлежат бедному Бирну, скелет которого стал украшением кабинета именитого клинициста уже через три года после кончины гиганта. Сегодня скелет выставлен в одной из витрин музея.

Другая часть экспозиции посвящена хирургическим инструментам, использовавшимся в те далекие годы: пилы для костей, долота, пинцеты, скальпели, стальные катетеры, — волосы шевелятся на голове, как представишь, с какой целью

их могли применять. К счастью для нас, хирургия прошлых веков имеет мало общего с современной.

В середине XVIII столетия препарирование трупа было доступным зрелищем. Для удобства в хирургическом колледже был оборудован специальный зал, в помещении, прилегающем к тюрьме Ньюгейт; тела осужденных прямо с места казни попадали в морг. В анатомическом театре присутствовали студенты-медики, но было и много зевак, кстати, их было даже большинство, если принять во внимание, что наиболее серьезные студенты (и наиболее обеспеченные) предпочитали частные школы анатомии.

Здесь мы подходим к главной теме нашей главы и потому вновь вернемся к случаю, связанному со знаменитым рассказом Стивенсона. Некой школе анатомии для проведения вскрытий нужны были человеческие тела. Поскольку живые вряд ли бы согласились отдать собственные, приходилось использовать трупы, которые, однако, тоже нелегко было раздобыть. На рубеже XVIII и XIX веков спрос, превышавший предложение, породил расцвет торговли трупами. Речь шла в основном об осужденных на казнь, которые таким образом оказывали посмертную услугу обществу. Или о быстро и незаметно исчезающих беспризорных бродягах. Этим бизнесом промышляли так называемые *body snatchers*, похитители трупов. На углу Гилтспер-стрит и Кок-лейн (место, известное в Лондоне как Пай-корнер¹), есть позолоченная статуя, прозванная «Толстый мальчик» (*Fat Boy*), в память о том, что именно здесь затих наконец разрушительный пожар, выжегший в 1666 году большую часть города и воспринятый всеми как дело рук папистов. В том месте, где сейчас находится статуя, до 1910 года располагался паб «Форчун-оф-Уор» — там собирались похитители трупов для встреч с клиентами и демонстрации своего товара. На памятной доске написано, что трупы раскладывали на скамьях по периметру заведения. На

¹ На этой торговой улице стояли лотошники с горячими пирогами; дословно — угол пирогов. — Примеч. ред.

каждом было написано имя похитителя. Хирурги и студенты оценивали состояние останков и предлагали сумму, которая включала в себя доставку товара по указанному адресу.

* * *

В середине XIX века Англия была самой богатой страной в мире, а Лондон — самым большим городом Европы. Бурное промышленное развитие, обусловленное изобретениями и открытиями, принесло с собой необыкновенные изменения, однако оборотной стороной медали были нещадная эксплуатация (в особенности детей и женщин), частые эпидемии, рост преступности и бродяжничества, распространение проституции, высокий уровень смертности. Эти глубокие противоречия и сопровождавшее их чувство беспокойства отразились во многих произведениях литературы.

Среди крупнейших аналитиков (и авторов) рассказов в жанре «хоррор» — Говард Филлипс Лавкрафт, ныне культовый писатель, известный по аббревиатуре своего имени: HPL. Согласно Лавкрафту (1890—1937), американскому аристократу, родившемуся в Провиденсе (Род-Айленд), «никто не может писать без эмоционального порыва, а я испытываю его только в том случае, когда выходят на сцену нарушения естественного хода вещей, бросая вызов пространству, времени и законам Вселенной». Англия, и в особенности Лондон, были любимым местом действия для подобных рассказов, которые в определенном смысле мы можем обозначить как произведения в духе доведенного до крайности романтизма. В Германии, во Франции, не говоря уже о Соединенных Штатах, также писалось подобное, но Британия остается избранной родиной этого особого литературного жанра.

Одна из писательниц, основавших жанр, впоследствии получивший название «готический», — англичанка Анна (Энн) Радклиф (1764—1822). В своем самом известном произведении «Удольфские тайны» она использует обширный арсенал устрашающих элементов: старинный зловещий замок в Апеннинах (для многих английских авторов Италия, в которой так

мало пишут истории такого рода, представляет собой естественный театр для «хоррора»); таинственные звуки; скрип дверей; ниши, скрытые мрачной черной портьерой (и ужас, который переживаешь при взгляде на них); заброшенное крыло другого замка, чья владелица скончалась таинственной смертью; комната, где она умерла, с кроватью, до сих пор убранной погребальным сукном; юная девушка, бродящая по этим безлюдным местам, снедаемая необъяснимой тревогой...

Еще один классический пример — «Монах» Мэтью Грегори Льюиса (1775—1818).

Испанский монах Амбросио подвергается искушению дьявола, явившегося ему в обличье очаровательной Матильды и увлекшего за собой в бездну зла. Пока Амбросио ожидает верной смерти в тюрьме Инквизиции, дьявол является ему снова и обещает устроить побег в обмен на душу. Несчастный соглашается, но оказывается, что дьявол в очередной раз обманул его. В книге описываются магические обряды в склепах под монастырским кладбищем, встречи с призраками, оживающие трупы, каббалистические ритуалы, в которых принимает участие Вечный жид, пытки и смерти, включая смерть главного героя.

Избранная жертва — почти всегда молодая девушка. Ее слабость перед лицом нависших над ней опасностей захватывает и волнует читателя и усиливает элемент эротики — еще один почти неприменимый атрибут этих сюжетов. Если она девственница, то подвергается риску изнасилования, что придает повествованию дополнительную напряженность в силу причин, которые нет необходимости объяснять.

Работая над многочисленными сюжетами, подобными этому, HPL, о котором мы уже говорили, создал свой «бreviарий хоррора», насчитывающий почти шестьдесят сюжетных завязок: ненормальная жизнь в доме и аномальные связи между различными людьми; преждевременные похороны; ожидание надвигающегося ужаса; мертвец, диктующий свою волю живым; таинственное и неудержимое движение к фатальному разрушительному исходу; ненормальная жизнь

портрета; перенос жизни от человека к портрету; раздвоение личности; разграбление могилы, во время которого обнаруживается, что покойник на самом деле еще жив; предок, вызванный из гробницы, превращается в преследующую живых сущность; призрак жертвы, выманивающий своего убийцу на смертельную встречу; обнаружение старинного предмета, что вскоре превращается в проклятие для неосторожного открывателя, и тому подобное.

Но настоящий рассказ в жанре «хоррор» состоит не только из физических элементов, сколь бы они ни были устрашающими. В сюжете должна присутствовать атмосфера страха, которую не объясняют ни неожиданные появления кого-то или, скорее, чего-то, ни мрачная обстановка, ни зловещие ночные стоны. Настоящий рассказ в жанре «хоррор» — тот, в котором обычные законы природы нарушены или не действуют или на смену им приходят неизвестные силы. Насыщенный подобными элементами, «хоррор» развивался на протяжении всего XIX столетия, приобретая некоторые четкие формы, актуальные и по сей день.

Я считаю «Поворот винта» Генри Джеймса шедевром среди подобных рассказов: здесь зловещие фигуры, преследующие двоих детей, можно было бы счесть лишь плодом слишком распаленной фантазии. Но Джеймс писал в 1898 году, а «Толкование снов» Зигмунда Фрейда (1900) уже не за горами.

В Англии XIX столетия подобная литература, как вам уже известно, получила название «готической». Как и в Германии, она пронизана различными мотивами, один из которых, романтический, — о преступнике, борющемся во имя высшей справедливости. Большая часть готической литературы все же вращалась вокруг темы несправедливости, будь то по злой воле некоего божества либо по злому умыслу человека. И эта тема будет одной из ключевых на протяжении всего XIX века, легших в основу некоторых социалистических идей и используемых в качестве «справедливого» обоснования террора. В литературе она не нова: вспомним историю Робина Гуда, разбойника, обирающего богатых, чтобы раздать их добро нужда-

ющимся, или Жана Вальжана, главного героя «Отверженных», беглого каторжника, осужденного за то, что украл хлеб.

Благодаря богатству мотивов и разнообразию возможных вариаций, готический жанр является повествовательным инструментом, посредством которого в основу рассказа ложатся невозможное или воображаемое. Но именно эта гибкость превращает его и в средство выражения более сложных забот, чем чисто политические. В состоятельном обществе с передовой промышленностью постепенно зарождается червь сомнения. Возмутитель спокойствия — часто безумный ученый, безудержный исследователь, пытающийся сорвать запретный плод. Возникает образ человека-пленника собственного знания, одержимого научным поиском, подрывающим его духовное здоровье.

В «Острове доктора Моро» Герберт Джордж Уэллс (1866—1946) создает воображаемый образ ученого, пытающегося творить новые формы жизни, расчлняя и сшивая вместе части различных животных. Год публикации «Острова...» (1896) совпадает с открытием в Париже театра ужасов «Гран Гиньоль», в котором вскоре будет осуществлена постановка пьесы по леденящему рассказу английского писателя. Впрочем, начало века было ознаменовано (в 1818 году) публикацией другого рассказа, а точнее, романа, которому суждено будет завоевать будущее: «Франкенштейн, или Современный Прометей» Мэри Шелли, знаменитой дочери не менее знаменитой Мэри Уолстонкрафт, одной из первых защитниц прав женщин, и Уильяма Годвина, экономиста-утописта. Девушка в девятнадцать лет вышла замуж за поэта Перси Биша Шелли, в свою очередь автора «Освобожденного Прометея», который, конечно, не случайно вышел в свет двумя годами позже «Прометея» его супруги.

Во время летнего пребывания в Женеве лорд Байрон подал юным супругам Шелли и доктору Джону Уильяму Полидори идею, чтобы каждый из них написал рассказ в жанре «хоррор». Мэри, польщенная этим предложением, единственная довела забавное соревнование до конца. Она задумывает историю Виктора Франкенштейна, молодого швейцарского ученого,

исследователя натурфилософии, создавшего существо с почти человеческим обликом, соединив части нескольких трупов. Фрагмент повествования, в котором Франкенштейн похищает трупы в моргах и на кладбищах, чтобы создать из их частей своего монстра, на полных правах можно отнести к столь популярному литературному жанру «хоррор».

В рассказе «Похититель трупов» Р. Л. Стивенсон обыгрывает доведенные до крайности жуткие подробности подобной операции:

«К мертвым телам, положенным в землю с радостной надеждой на пробуждение, являлись лопата и мерцающий фонарь, и они поднимались из могил совсем не так, как предполагали схоронившие их. Гроб ломался, погребальные покровы разрывались, и печальные останки, обернутые в грубый мешочный холст, сначала несколько часов везли в тряском экипаже, а потом отдавали в руки юношей».

В своем рассказе писатель частично воспроизводит реальные факты: некий Уильям Берк, убийца и похититель трупов, кончил жизнь на виселице в 1828 году, после похищения внушительного количества трупов из склепов и с кладбищ. Под давлением растущего спроса или в силу ужасной привычки он начал собственноручно убивать людей, сбывая их тела анатомам и в школы медицины. Именно в связи с делом Берка в Великобритании был издан Акт об анатомии, который регулировал деликатный вопрос поставки трупов в медицинские школы.

Однако ни упомянутый рассказ Стивенсона, ни роман Шелли не ограничиваются этими жуткими описаниями, заимствованными либо в хронике, либо в расхожих сюжетах жанра. Несчастный монстр, родившийся в результате анатомической манипуляции Франкенштейна, появляется на свет кроткий, подобно агнцу:

«Когда я проснулся, уже стемнело; я озяб и инстинктивно испугался одиночества... Я был жалок, беспомощен и несча-

стен; я ничего не знал и не понимал, я лишь чувствовал, что страдаю, — и я заплакал».

Всеми покинутое создание превратится в фурию, доведенное до крайности людской реакцией отвращения и ужаса, которую оно вызывало в них. Сам Франкенштейн, видя пробуждение монстра, описывает его такими словами:

«А между тем члены его были соразмерны, и я подобрал для него красивые черты. Красивые — Боже великий! Желтая кожа слишком туго обтягивала его мускулы и жилы; волосы были черные, блестящие и длинные, а зубы белые как жемчуг; но тем страшнее был их контраст с водянистыми глазами, почти неотличимыми по цвету от глазниц, с сухой кожей и узкой прорезью черного рта».

В этих двух противоположных описаниях уже проступает сущностное противоречие: то, что обычный человек думает об «ином», и то, как этот «иной» сам чувствует себя. Монстр в действительности рождается невинным, как Эмиль¹ Руссо, — это обстоятельства и среда вынуждают его превратиться в преступника.

В определенный момент создатель и его детище вступают в спор, и монстр просит Франкенштейна дать ему подругу; ученый отказывается, опасаясь, что мир может наводниться подобными отвратительными существами; рассказ завершается ужасающей сценой противостояния:

«Людам свойственно ненавидеть несчастных. Как же должен быть ненавидим я, который несчастнее всех живущих! Даже ты, мой создатель, ненавидишь и отталкиваешь меня, свое творение, а ведь ты связан со мной узами, которые может расторгнуть только смерть одного из нас».

Пытаясь найти убежище на корабле, ученый погибает от руки устрашающего творения собственной гордыни.

¹ Герой романа Ж. Ж. Руссо «Эмиль, или О воспитании» (1762). — Примеч. ред.

Мэри Шелли черпала вдохновение в той самой готической литературе, которая была одним из воплощений романтизма; но ее рассказ попал в число мифов нового времени благодаря цепочке обстоятельств, возможно не совсем предвиденных. Франкенштейн — ученый, не имеющий ни общественных, ни политических интересов, он считает себя «чистым исследователем истины». Несмотря на это, от него ускользает именно правда о самом себе, как показывает один из трагических эпизодов рассказа. Брата Франкенштейна, Уильяма, находят мертвым. При ослепительной вспышке молнии ученый замечает зловещий силуэт созданного им существа, удаляющегося с места преступления:

«...Передо мной был мерзкий дьявол, которому я даровал жизнь. Что он здесь делал? Уж не он ли (я содрогнулся при одной мысли об этом) был убийцей моего брата?»

В части раздвоении личности роман Шелли и известнейшее произведение Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», как мы вскоре увидим, соприкасаются. Монстр воплощает желания Франкенштейна, подобно тому как Хайд воплощает желания Джекила. И в том и в другом случае читателю предлагается описание синдрома шизофрении. Оба главных героя материализуют в другом существе (или путем изменения себя самих) свою постыдную темную сторону, разоблачают собственную вину.

Персонаж Франкенштейна пронизан той самой смесью страха и надежды, которое вызывало и вызывает научное исследование. Ученый часто предстает в глазах обывателей как обладатель запретных знаний, не слишком отличающихся от тех, что в прошлые столетия были в руках алхимиков: философский камень, умение превращать свинец в золото, тайна бессмертия, полное подчинение природы. Когда открытия и изобретения случаются слишком быстро, человек начинает ощущать себя во власти непонятных ему сил, которые в силу этого становятся угрожающими. Подобная неуверенность яв-

ляется порождением прогресса (или, если предпочитаете, изменений) и формируется на основе его завоеваний. Как если бы люди расплачивались за прогресс науки и техники утратой части своего спокойствия, ростом тревожности. Действительно, многие реакции, вызванные в то время новыми исследованиями в области анатомии и психиатрии, сегодня вновь возникают в том же виде перед лицом первых робких попыток воспроизведения живых существ путем клонирования.

Мы, потомки, живущие на заре XXI столетия, привычные к самым передовым биологическим экспериментам, с ослабленным религиозным чувством по сравнению с веком девятнадцатым, с трудом можем представить, какие ощущения вызвала в 1859 году публикация труда Чарлза Роберта Дарвина о происхождении видов. Эта революционная гипотеза, распространившись в стране с сильной библейской традицией, потрясла умы, впервые посеяв среди широких масс сомнение в той области, где, казалось, устои столь неколебимы. Дарвин долго изучал теории экономиста Томаса Роберта Мальтуса (англиканского пастора и викария в Олбери), который заметил в своем «Опыте о законе народонаселения» (1798), что демографический рост происходит в геометрической прогрессии, в то время как средства к существованию увеличиваются, в лучшем случае, в арифметической. Иными словами: неконтролируемый рост мирового населения влечет за собой чудовищную катастрофу, наступление которой худо-бедно могут отсрочить «природные» причины (эпидемии, голод, войны). Единственным настоящим средством было бы прибегнуть к контролю над рождаемостью. Но если Мальтус вступал в противоречие с библейским учением, выраженным в следующем завете: «Плодитесь и размножайтесь», — то Дарвин с его теорией эволюции поставил под сомнение сам рассказ о сотворении человека, как он изложен в Бытии. Вдруг стало возможно полагать, что человек вовсе не родился *sapiens* и *faber*, получив от Бога искру сознания, а что он развился до современного состояния из примитивного и звероподобного, что его происхождение было результатом мучительного и

долгого завоевания, не говоря уже о способностях интеллекта: ловкости рук, развитии языка, использовании логики. Можно ли понять сегодня, какое потрясение вызвала теория эволюции? В особенности облеченная в форму популярного девиза, согласно которому человек произошел от обезьяны?

Последние годы XIX столетия будоражили призраки, не прятавшиеся в подвалах замков и не появлявшиеся в безлунные ночи, завернутые в саван. Эти призраки и сегодня обитают в подсознании, населяют сны, показывают каждому тайную, постыдную его сторону.

От психиатрии до психоанализа, от наблюдения за преступниками до патологий, описываемых хроникерами, — везде начинает распространяться леденящее ощущение, что доброе и злое начала могут сосуществовать в одном человеке. За несколько лет увидели свет произведения, сюжет которых вращается вокруг этих тем: «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» Роберта Л. Стивенсона (1886), «Портрет Дориана Грея» (1891) Оскара Уайльда, «Остров доктора Моро» (1896) Герберта Джорджа Уэллса, «Дракула» (1897) Брэма Стокера.

Каждое из этих произведений имеет свою историю и развитие, но все они отсылают к нескольким неоспоримым канонам поздневикторианской эпохи. Рассказ Стивенсона не родился бы, если бы общество не потрясла серия оставшихся нераскрытыми преступлений, в которых жестокость и кровавый характер их совершения сочетались со смутной отсылкой к профессии жертв, в большинстве своем проституток. Респектабельный доктор Джекил на самом деле уже в своем имени несет угрозу (по-английски *to kill* значит «убивать»), и угроза эта становится явной, когда он раздваивается в образе мистера Хайда (*to hide* — «скрывать»), который и воплощает его злое начало.

Этот человек бродит по призрачному Лондону:

«Туман по-прежнему дремал, распластавшись над утонувшим городом, где карбункулами рдели фонари и в глухой пе-

лене по могучим артериям улиц ревом ветра разливался шум непрекращающейся жизни Лондона».

Дверь жилища Хайда соответствует облику этого зловещего города:

«...Каждая его черта свидетельствовала о длительном и равнодушном небрежении. На облупившейся, в темных разводах двери не было ни звонка, ни молотка. Бродяги устраивались отдохнуть в ее нише и зажигали спички о ее панели, дети играли „в магазин“ на ступеньках крыльца».

Лондон, из которого выходит в ночь мистер Хайд, это город бездомных бродяг, спящих на ступеньках, детей, занимающихся мелкой торговлей, чтобы заработать на жизнь. А ведь речь идет о Лондоне, который отделяет всего несколько метров от респектабельного города Джекила:

«Но один из этих домов, второй от угла, по-прежнему оставался особняком и дышал богатством и комфортом... хотя он был погружен во мрак».

По мнению некоторых критиков, в омерзительной природе Хайда скрыт намек на непрочность границ (после Дарвина) между миром людей и животных. Если *Homo Sapiens* достиг своего сегодняшнего состояния, с трудом возвысившись из животного состояния, ничто не исключает того, что лестница эволюции может быть пройдена и в обратную сторону, ступенька за ступенькой. Хайд — это человек, который, как представляется, движется в направлении этого позорного регресса.

Дориан Грей также подвергает себя риску, вкусив «ужасное наслаждение» от ведения двойной жизни. Дориан, юноша поразительной красоты, способный на изысканные чувства, считает, что «человек — это существо с мириадами жизней и мириадами ощущений, существо сложное и многообразное, в котором заложено непостижимое наследие

мыслей и страстей, и даже плоть его заражена чудовищными недугами умерших предков».

Аллегория, лежащая в основе романа, известна. Дориан, растлеваемый обществом, в которое он вхож, преследуем идеей возможности остаться навсегда молодым и прекрасным. Лорд Генри, его порочный ангел, восклицает в восхищении: «Молодость! Молодость! В мире ничего нет ценнее молодости!» Дориан вторит ему: «Как печально. Я стану старым, ужасным, страшным, а этот холст останется молодым навсегда. ...Если бы могло случиться наоборот!»

Вот — отправная мысль, начиная с которой Дориан подписывает подобие фаустовской сделки с дьяволом: его облик будет оставаться неизменным, невзирая на преступления и грехи, а знаки растления шаг за шагом будут проявляться на портрете, где художник поразительно похоже запечатлел героя. Но: «Подобно трупным червям, грехи разъедали написанный на холсте образ».

Случай Дориана Грея отличен от Франкенштейна или Джекила — нет никакой науки или специальных операций, открывающих сокровенные тайны, вместо них действует самое возвышенное из искусств — живопись. Однако рассказ на подобную тему не мог бы родиться до того времени, пока не распространился хотя бы слух о том, что человеческая личность обладает темной и неосознанной частью, называемой Фрейдом «бессознательное».

Дориан проживает и видит в мечтах жизнь и выбирает разрушающие общепринятые правила нравственные установки. На деле, как он сам утверждает, такая позиция — «искусство тех, чьи мысли некогда поразила болезнь излишней мечтательности (*rêverie*)», схожая в некотором роде с позицией Дез Эссента, денди и декадента, героя романа Гюйсманса «Наоборот», откуда Уайльд, несомненно черпал вдохновение¹.

¹ Дез Эссент означает отсутствующий пустынный, то есть человек, ушедший от мира, который не может принять, с которым не хочет идти ни на какие компромиссы. — Примеч. пер.

Декадентами считались те, кто анемичен, разиратен, неврастеничен, утончен, обладает бисексуальностью... Обитают они в роскошных и значных апартаментах, в окружении удушающего комфорта, что хорошо иллюстрирует следующий фрагмент из сочинения Уайльда:

«С покрытого персидскими чепраками дивана, на котором лежал лорд Генри Уоттон, куря, как всегда, одну за другой бесчисленные папиросы, был виден только куст ракитника — его золотые и душистые, как мед, цветы жарко пылали на солнце, а трепещущие ветви, казалось, едва выдерживали тяжесть этого сверкающего великолепия».

Таковы типичные декорации, сопровождающие европейское декаденство, от Гюйсманса до Д'Аннунцио.

Денди-декаденты избегают общества и презирают буржуазную мораль, гордясь своим превосходством над предубеждениями большинства. Они мнят себя выше типичных социальных делений и классификаций, от богатых аристократов до пролетариев и последней шантрапы.

Контраст между двумя противоположностями никогда не был столь ярко выражен: с одной стороны, мы видим чертоги, наполненные красками и ароматами, а с другой — враждебный город, утопающий в тумане и газовых испражнениях, серый, пронизанный беспокойством. Эти пространственные крайности могут в равной степени принести смерть. Например, Дориан проходит «по каким-то плохо освещенным улицам, мимо домов зловещего вида, под высокими арками, где царила черная тьма. Женщины с резким смехом хриплыми голосами зазывали его. Шатаясь, брели пьяные, похожие на больших обезьян, бормоча что-то про себя или грубо ругаясь. Дориан видел жалких, заморенных детей, прикорнувших на порогах домов, слышал пронзительные крики и брань, доносившиеся из мрачных дворов».

В начале истории герою около двадцати лет. В конце ему исполняется сорок, несмотря на то что его внешность оstaat-

ся без изменений вплоть до трагического финала. Дориан, опустившийся до убийства, пытается уничтожить портрет, спрятанный на чердаке. На чертах человека, смотрящего с поверхности холста, запечатлелись следы моральной деградации. Грей наносит портрету удары кинжалом. Слуги снаружи слышат страшный крик и звук падения. Когда они заходят в комнату, их встречает портрет в блеске своей нетронутой красоты, в то время как «на полу с ножом в груди лежал мертвый человек во фраке. Лицо у него было морщинистое, увядшее, отталкивающее. И только по кольцам на руках слуги узнали, кто это».

«Остров доктора Моро» Герберта Уэллса продолжает линию произведений, в которых смятение и страх порождаются, как и во «Франкенштейне», телесными трансформациями. Главный герой, некий Прендик, волею судеб попадает на остров, находящийся во власти отрицательного персонажа, доктора Моро, в прошлом — главы преступных опытов медицинского общества, а ныне — нечто среднего между безумным ученым и беглецом. Прендик сначала не понимает, каков предмет экспериментов врача, — несомненно, ужасных экспериментов, ибо остров населен жуткими монстрами: полулюдьми-полузверьями. В первый момент он предполагает, что Моро доводит некоторых людей до животного состояния путем деградации. И только затем начинает понимать, что цель данных действий — как раз противоположна и заключается в сотворении истинных людей, используя части звериных организмов. Попытки превращений осуществляются ценой неопишуемых страданий: проводятся устрашающие операции ампутаций и сшиваний, без использования анестезии. Ночами над островом носятся душераздирающие крики существ, над которыми трудится скальпель доктора. Сам Моро говорит:

«Всякий раз, как я погружаю живое существо в купель жгучего страдания, я говорю себе: на этот раз я выжгу из него все звериное, на этот раз я сделаю разумное существо».

В итоге исстрадавшиеся жертвы операций массово восстают против врача и его ассистентов, и лишь Прендику удается бежать, чтобы рассказать миру о собственном кошмарном опыте.

«Остров доктора Моро» — любопытное произведение для ценителей подобного жанра. Это — очередная вариация на тему фанатичного, с признаками сумасшествия, исследователя, находящегося во власти своего наваждения и забывающего обо всех нравственных законах.

«Дракула», роман ирландца Брэма Стокера, дал жизнь современному мифу, образу вампира, который питается, высасывая кровь своих жертв: «Вампир продолжает жить и не может умереть просто так, с течением времени, он процветает, если ему удастся питаться кровью живых существ».

Конечно, не Стокер создал образ вампира, он как раз часто использует литературную мифологическую традицию, и не только европейскую. В своем «Прометее» Перси Биш Шелли так косвенно говорит о вампире: «Среди людей влачиться, как вампир, / Внося во все своей души заразу»¹. Вампир мертв — и при этом жив, он нуждается в крови других, как правитель нуждался в крови своих подданных, чтобы вести войну, и в крови девственниц, в отношении которых пользовался «правом первой ночи».

Давний прецедент стокеровскому образу — «Вампир», новелла 1819 года, которую Джон Уильям Полидори написал, приняв вызов Байрона годом ранее. Полидори — трагический персонаж: погрязнув в долгах, он лишил себя жизни с помощью яда в возрасте всего-то двадцати шести лет.

«Вампира» от «Дракулы» отделяет около столетия, обстоятельства меняются, но главный герой все тот же. Вампир терзает свои жертвы, но дает им также и извращенное, почти гипнотическое наслаждение, которое невозможно изведать в обычных любовных отношениях. Жертвы не могут его воспринять, потому что Дракула проявляется с той же бессвязной

¹ Перевод К. Бальмонта.

четкостью, что свойственна сновидениям и бессознательным ассоциациям:

«Затем мне смутно помнится что-то длинное, темное, с красными глазами, как раз такими, как тот заход солнца, затем что-то нежное и горькое вдруг охватило меня; потом мне казалось, будто я погружаюсь в глубокую зеленую воду, и я слышала какое-то пение, как это бывает с утопающими, как мне рассказывали; затем все закружилось передо мною, и моя душа как будто покинула мое тело и витала где-то в воздухе. Помнится, мне еще показалось, что Восточный маяк очутился как раз подо мной; затем меня охватило какое-то мучительное чувство и как бы началось землетрясение, после чего я вышла из оцепенения и увидела тебя. Я видела, как ты меня будила, раньше, чем почувствовала это», — признается одна из главных героинь Стокера, и описание это переполнено прозрачными сексуальными метафорами.

Хотя злополучный граф Дракула переселился в Англию, его родовое гнездо, создающее впечатление о персонаже, — страшный семейный замок в таинственных Карпатских горах. Он принадлежит к категории Франкенштейнов, Дорианов Греев, монстров, созданных доктором Моро. Однако среди всех персонажей он наилучшим образом воплощает мир, которому суждено исчезнуть. Дракула — последний аристократ, выходец из мира, окутанного слабым дрожащим светом, где комнаты полны теней и везде душные занавеси, где в силе привилегии, унаследованные от предков, а эротика осложнена различными извращениями. Враг, который его повергнет, — яркий электрический свет, рационализм науки и новые права для простых людей, предоставленные им на заре демократии. Ван Хельсинг, прямой враг Дракулы, воплощает эти качества и излучает ясность ума: «Он философ и метафизик и вместе с тем один из самых выдающихся ученых. Кроме того, это человек большого ума. У него железные нервы, невероятно решительная натура, страшная сила воли». Возможно, слишком много сильных сторон для одного человека, но, много их или мало, нет сомнения, что это признаки позитив-

ного общества, верящего в преимущества прогресса и желающего рассеять мрак прошлого, которое пытается удерживать Дракула.

Облик вампира таков:

«Высокий, худощавый и бледный мужчина с горбатым носом, белыми зубами и сверкающими глазами. Одет он был во все черное... У него было энергичное, оригинальное лицо, тонкий нос и какие-то особенные, странной формы ноздри; надменный высокий лоб и волосы, скудно и в то же время густыми клоками росшие около висков... Рот, насколько я мог разглядеть под тяжелыми усами, был решительный, даже жестокий на вид, с необыкновенно острыми белыми зубами, выступавшими между губами, яркая окраска которых поражала своей жизненностью у человека его лет. Но сильнее всего поражала необыкновенная бледность лица».

Уже в первом описании Дракулы доминируют несколько четких цветов: черный силуэт, белое лицо, красные губы. Согласно Монтагю Соммерсу, который долгое время занимался этой темой, вампир обычно «худой, с пугающим выражением лица, глазами, в которых блестит красный огонь гибели... Он холоден как лед, когда не обжигает, подобно горящим углям; его кожа мертвенно-бледна, за исключением губ, красных и пухлых, зубы исключительной белизны».

Как видим, оба образа совпадают. Впрочем, Дракула — реальное историческое лицо, он жил в период смут в краю мрачных легенд. Его отец Влад II (речь идет о XV столетии), помимо менее значимых титулов, величал себя «великим воеводой и господарем всей Унгро-Валахии, герцогом и господарем банства Северин». В 1430 году Влад II был послан в Трансильванию отвечать за безопасность трансильванско-валахской границы. В том же году родился Влад III, а на следующий год его отец был вызван Сигизмундом, королем Германии и Румынии, в Нюрнберг для посвящения в рыцарский орден Драмынии, в Нюрнберг для посвящения в рыцарский орден Дракона, на эмблеме которого выбит дракон с распростертыми крыльями, свисающий с креста, и надпись «O quam misericors est Deus, iustus et pius» — «О как милосерден Господь, справед-

ливый и благочестивый». С этого момента Влад II стал звать себя Дракул, то есть дракон. Но для румын, находившихся под влиянием своих мрачных легенд, было несложно связать корень этого слова скорее с бесом, по-румынски — *drac*.

Сын Влада II решил называться Дракула, что может означать как — буквально — «сын Дракула», так и, если слегка отойти от лексического совпадения, «сын беса». И опять слова окрашивают смыслом судьбу. В результате сложной череды событий, рассказ о которых я опущу, Дракула в юности попадает в плен к султану Мураду II. В его гареме он знакомится с самой юной из фавориток, четырнадцатилетней девушкой, которая вскоре безнадежно влюбляется в молодого валаха. Она сходится с ним ради наслаждения, которое дарит любовь после омерзительных объятий султана; он же — лишь для того, чтобы оскорбить султана. В один прекрасный день их связь раскрывают, возможно, это делает сам Дракула. Гнев султана безмерен, но девушка, даже под пытками, отказывается открыть имя своего возлюбленного. Мурад, одолеваемый сомнениями, призывает Дракулу, чтобы тот, видя страдания девушки, выдал себя, проявив чувства. Дракула остается невозмутим, даже когда несчастную бросают на заостренный кол и она медленно умирает в муках. Сам Дракула тоже умрет, исчезнув навсегда, если не считать частых появлений на киноэкране. Однако его смерть произошла не столько из-за кола, воткнутого в сердце, сколь в силу того факта, что его время, вопреки мнимому бессмертию, подошло к концу. Ужасы, которые нас окружают ныне, иные и, несомненно, более страшные.

Под впечатлением от атмосферы Хантеровского музея я обрисовал в общих чертах литературу жанра «хоррор», чьим страстным поклонником, должен признаться, являюсь. Я начал с описания леденящей кровь действительности и к ней же возвращаюсь. Возможно, только в Лондоне могло случиться так, что серия преступлений на сексуальной почве стала сим-

волом целого периода. Не Берлин и не Париж, не Нью-Йорк и тем более не Рим — только Лондон мог сделать из серийного убийцы своеобразный символ; я говорю, разумеется, о Джеке Потрошителе. Чем это объясняется? Климатом? Атмосферой? Слишком много пустынных улиц в безмолвии ночи? Слишком густой туман? Там, на углу, неподвижная тень под дождем, едва заметная в желтоватом свете фонаря, — кто это? Полицейский в своем плаще? Или поджидающий жертву преступник? Умалишенный, сбежавший от стражи? Всего понемногу.

Или причиной такой упрямой памяти стала загадка личности таинственного убийцы? Четыре, пять человек, против которых имелись серьезные улики, возможно, даже шесть. Слишком много. В особенности если среди подозреваемых имелись фигуры, близкие к трону королевы Виктории. Сыграло ли это свою роль? Несомненно. Вернее сказать, это сыграло столь важную роль, что исказило — по сути или в памяти потомков — то, что произошло в далекие месяцы 1888 года.

В период с 31 августа по 8 ноября указанного года произошло пять убийств в радиусе нескольких сот метров в квартале Уайтчепел (снова Ист-Сайд!). Все жертвы были проститутками, их тела были вспороты длинным лезвием (предположительно, штыком) и затем изуродованы.

Первое точно датированное убийство (установить время других невозможно) случилось в пятницу 31 августа. В двадцать три ночи извозчик по имени Кросс наткнулся на труп женщины у входа в Олд-Стейбл-Ярд (Старый постоялый двор) в Бакс-роу. Во время осмотра эксперта-анатома выяснилось, что бедняжке Мэри Энн Николс по прозвищу Полли, сорока двух лет, проститутке, перерезали горло и частично выворотили внутренности.

Восемь дней спустя, 8 сентября, Энни Чепмен, сорока семи лет, периодически занимавшаяся проституцией, была найдена мертвой в шесть утра у стены дома 29 по Хенбери-стрит. Ее тело тоже было выпотрошено, убийца вырезал почки и яичники.

Двадцать восьмое сентября: Центральное агентство новостей получает письмо за подписью «Джек Потрошитель», в котором с безумным хладнокровием неизвестный автор пишет: «Я решил преследовать путан; я продолжу, пока меня не поймают». Это письмо настоящего убийцы? Или фальшивка? Зловещее послание публикуют в газетах, за ним следуют другие письма, дело прогремело в Лондоне и во всей Европе.

Вот еще один элемент, который следует принять к сведению.

Тридцатое сентября, час ночи: разносчик товаров Луис Демшуц возвращался с повозкой в гараж на Бернерс-стрит, когда заметил на земле тело женщины. На его крики выбежал народ из расположенного неподалеку рабочего клуба. Жертва — шведка, Элизабет Страйд, сорока пяти лет. Она мертва, но жуткая рана на горле совсем свежая, из нее еще сочится кровь.

Предпоследняя жертва была найдена той же ночью констеблем по имени Уоткинс на Чёрч-Пэседж (переулок между Митр-сквери и Дьюк-стрит). Это была проститутка-алкоголичка сорока шести лет, звали ее Кэтрин Эддоус.

Жертвой последнего убийства была Мэри Дженнет Келли по прозвищу Темная Мери или Джинджер, двадцати четырех лет, тоже проститутка. 9 ноября в десять тридцать утра в ее жалкое жилище явился сборщик долгов, чтобы потребовать уплаты займа. Ответа он не получил и заглянул в комнату через разбитое стекло. Мэри, обнаженная, лежала на кровати в луже крови. Голова была практически отрезана, сердце лежало на тумбочке.

Можно вообразить, какое возбуждение и смятение вызвала эта волна преступлений. Дебаты в клубах и в печати, горячие дискуссии, критика в адрес руководителей сил охраны порядка — столь резкая, что начальнику полиции, и до того не слишком популярному, пришлось уйти в отставку.

Позднее были совершены еще три убийства молодых женщин. Так и не было установлено, совершил ли их все тот же

Джек, исполнитель пяти приписываемых ему «канонических» убийств.

Разумеется, больше всего дискуссий вызывала личность убийцы. Какое-то время в ходу была гипотеза о том, что речь идет о некоем «докторе Стенли», чей единственный сын умер от сифилиса, заразившись от Мэри Келли (последней из убитых). Таинственный Стенли, пустившись на поиски Мэри, якобы убил, чтобы замести следы, одну за другой всех проституток, к которым обращался за информацией.

Следующую заслуживающую внимания версию породил американский врач Томас Крим (тоже убивавший проституток), когда уже с петлей на шее успел прокричать: «Это я Джек...», прежде чем затянувшийся узел заставил его замолкнуть навеки.

Дональд Маккормик в своей книге «Личность Джека Потрошителя» (1959) выдвигает гипотезу, что убийцей был некий русский по фамилии Педашенко. Якобы об этом записал в своем дневнике, найденном посмертно, ни много ни мало, сам Распутин. Этот Педашенко был гинекологом со склонностями к убийству, которого царская охранка вынудила эмигрировать в Лондон, чтобы создать Скотленд-Ярду головную боль.

Среди выдвигавшихся бесчисленных версий есть и та, что убийцей был душевнобольной отпрыск близкой к трону семьи — герцог Кларенс, внук королевы. По непроверенным сведениям, художник Вальтер Сикерт, сняв комнату в Уайтчепел, слышал, как хозяйка дома утверждала, будто предыдущий ее постоялец, тот самый безумный молодой дворянин, и был Джеком. Впоследствии молодого человека отыскивали родители и водворили в клинику для душевнобольных в Аскоте.

В более поздней гипотезе фигурирует другой врач, личность которого была установлена знаменитым медиумом по имени Лиз, который однажды, садясь в автобус, «почувствовал», что человек напротив него — убийца. Лиз шел за ним до дома, после чего оповестил полицию. Так узнали, что речь идет действительно о враче и что даже у его жены вызывали

подозрения ночные отлучки мужа. Этот Лиз якобы получил аудиенцию у королевы, обеспокоенной цепочкой жутких преступлений. Что касается подозреваемого, то им оказался не кто иной, как... личный врач Виктории сэр Уильям Галл.

Последней разгадать загадку взялась в 2002 году американская писательница, автор триллеров Патриция Корнуэлл, создатель такого известного персонажа, как патологоанатом Кей Скарпетта.

Прошло более ста лет после трагических событий, и вдруг Корнуэлл заявила о том, что дело раскрыто, сопроводив свои слова умело организованной кампанией в прессе. Убийцей, по ее мнению, был художник-импрессионист Вальтер Сикерт, ученик Уистлера, друг Дега, высоко ценившийся в свое время, любитель изображать обнаженных женщин, к тому же умерших насильственной смертью; также он был мастером перевоплощений.

Корнуэлл утверждала:

«Мне достаточно было взглянуть на его картины, исполненные насилия, крови и убийств, чтобы понять, что их автор был готовым на все психопатом. Женщины на его картинах — падшие и со следами насилия; кажется, они уже мертвы».

Таким образом вновь на поверхность всплыло имя человека, которого уже указывали как невольного сообщника мажонского заговора с целью отвести от герцога Кларенса подозрения в совершении пяти убийств.

Писательница утверждала, что на расследование она потратила пять миллионов евро. Бесспорный факт — покупка ею тридцати двух картин художника, его рабочего стола, множества писем. Одна из картин была препарирована и разрезана на куски в поисках органических материалов (фрагментов кожи, ногтей, волос), которые можно было бы подвергнуть ДНК-анализу.

Неоспоримых доказательств найти не удалось. На деле Корнуэлл обнаружила лишь значительное сходство между

сюжетами, изображенными Сикертом в 1908 году, спустя двадцать лет после событий, и убийствами в Ист-Сайде. На картине «Убийство в Кемден-Таун» изображена лежащая на постели женщина рядом с одетым мужчиной: положение тела женщины, как утверждает писательница, именно такое, в каком была найдена Мэри Келли. На другом полотне якобы изображено изуродованное лицо Кэтрин Эддоус. Но самая убедительная улика, по мнению той же Корнуэлл, — одно из писем, посланных Джеком полиции и хранящихся в Лондоне: марка и водные знаки — те же, что и у использовавшейся Сикертом бумаги. «При такой улике, — пишет она, — суд присяжных приговорил бы его к смерти». Мотив, согласно американской писательнице, следует искать в пережитых в детстве травмах и в наблюдавшихся в зрелом возрасте проблемах сексуального плана. Когда Сикерту было пять лет, то, избавляя мальчика от свища, врачи больницы Святого Марка частично повредили ему пенис. Художник убивал, потому что был извращенцем-импотентом, дававшим таким образом выход своей ненависти к женщинам.

Несмотря на весь пафос, версия Корнуэлл была воспринята с большим недоверием в среде экспертов. Что касается искусствоведов, реакция Ричарда Шона, который в 1992 году курировал выставку картин Сикерта в Королевской академии, была следующей:

«Уничтожить картину, чтобы получить подтверждение нелепой теории, — чудовищно глупая вещь, было бы несправедливо делать это, даже если бы Сикерт и вправду был Потрошителем».

Одним словом, загадка остается, и вместе с загадкой — тот характер Лондона, что в немалой степени обуславливает его шарм. На стыке литературы и жизни еще возможно ощутить его.

КРОВАВОЕ СВЕРШИЛОСЬ ЗЛОДЕЯНИЕ...¹

Лондонский Тауэр — не просто башня, а целая крепость. Собственно Белая башня (*White Tower*) высится в центре пояса укреплений и представляет собой самую древнюю часть комплекса. Ее строительство началось в 1078 году, при Вильгельме Завоевателе, короле норманнского происхождения. Этот суровый воин, ловкий законодатель, непреклонный в гневе, первым избрал Вестминстер местом для коронаций. На протяжении столетий Белая башня побывала арсеналом, залом для церемоний, монетным двором, тюрьмой, архивом, королевской обсерваторией, последним оплотом в случае осады или опасности. Над ее зубцами испокон веков кружили пугающие стаи черных воронов, пернатых тварей с огромными клювами. Согласно пророчеству, монархии суждено владеть, пока не улетят вороны стаи. Именно по этой причине современным воронам слегка подрезают крылья, чтобы они могли парить в воздухе, но не удаляться от крепости.

¹ У. Шекспир, «Ричард III».

Сегодня Тауэр живет музейной жизнью, в его стенах заключены многочисленные экспонаты, навевающие воспоминания, среди которых самые примечательные, на мой взгляд, ренессансные турнирные доспехи, дошедшие до нас; эта броня, некогда покрывала огромное тело Генриха VIII. Представим себе мощные бедра, крепкий торс обхватом почти в полтора метра, мужское достоинство, убранный в специальный футляр, скорее угрожающий врагу (подобно охранному фаллическим скульптурам-гермам на границах римских владений), нежели защищающий деликатное место.

Здесь же выставлены сокровища короны, например бесподобное собрание драгоценностей с серьезным политическим и символическим значением. Коронация всегда была таинственной и многозначной церемонией — ритуалом, по традиции содержащим как религиозный, так и политико-династический смысл. Высочайшую ценность представляет Государственный меч, покрытый золотом и драгоценными камнями. Взяв его в руки, новый правитель постигал устрашающие свойства клинка и с той минуты символически перенимал их.

В Тауэре хранятся десять королевских корон, некоторые не надевались столетиями. Но одна — *Imperial State Crown* (Государственная корона Империи) — до сих пор венчает королевскую голову в момент обращения британского монарха к обеим палатам парламента с программной речью. Корона изготовлена относительно недавно, в 1837 году, но среди драгоценных камней в ее оправе есть сапфир, некогда украшавший перстень Эдуарда Исповедника, короля — предшественника самого Вильгельма. На королевском скипетре красуется самый крупный бриллиант в мире, под названием «Звезда Африки», весом в 530 карат. Лишь правитель самой могущественной державы мог позволить себе подобное роскошество.

Ряд помещений Тауэра в течение примерно пятисот лет, с 1300 года до начала XIX века, занимал Королевский монетный двор (*Royal Mint*). Любопытные моменты. Первый — англичане научились искусству штамповки и чеканки монет у

римлян. Второй — во главе монетного двора в течение 28 лет, с 1699-го по 1727-й (до своей смерти), стоял не кто иной, как сэр Исаак Ньютон, проявивший себя рьяным преследователем фальшивомонетчиков, разного рода фальсификаторов и «урезчиков» денежной массы (то есть мошенников, которые старались изъять крошечные доли серебра с каждой чеканной единицы, зарабатывая на этом).

Лондонский Тауэр можно считать выдающимся памятником древности, и поэтому он неимоверно популярен. Каждый день здесь бывают сотни туристов, привлеченные славой самой «зловещей» крепости в ряду себе подобных, например римского замка Святого Ангела или Консьержери в Париже. Но можно рассмотреть Тауэр и по-другому. Чтобы сделать это, необходимо узнать о громких, зачастую жестоких событиях, наводняющих его историю.

Вдоль первой линии укреплений проложена короткая каменная лесенка, которая спускается на уровень реки, где в мощной стене прорублен арочный вход. Он носит имя *Traitors' Gate* — Ворота предателей. Именно так, поскольку с реки привозили приговоренных к казни в стенах крепости и по этим ступеням поднимались преступники, прежде чем взойти на эшафот.

В крайней левой части комплекса высится Кровавая башня (*Bloody Tower*), расположенная сразу за вторым кольцом стен на стороне Темзы. Такое будоражащее фантазию название связано с одним из самых гнусных фактов в истории борьбы за наследство, которую веками вели разные династии. В течение XV века, пока трон, с переменным успехом и безжалостной яростью, делили династии Йорков и Ланкастеров, король Эдуард IV умер, оставив корону тринадцатилетнему сыну. После смерти короля его младший брат Ричард, герцог Глостер, был назначен регентом-покровителем малолетнего монарха. Глостер торжественно привез мальчишку в Лондон, а вместе с ним — его младшего брата (Ричарда, герцога Йоркского), а также их мать — Елизавету Вудвиль (тайно вышедшую замуж за Эдуарда IV).

Разумеется, речь шла об обмане. По прибытии в столицу мальчиков разлучили с матерью (которую заключили в Вестминстер) и поместили в Тауэр в двусмысленной ситуации укрытия и заточения. Затем «дядя Ричард» объявил малолетних наследников незаконнорожденными, положив начало их уничтожению. Через некоторое время мальчиков убили.

Ричард Глостер взошел на трон под именем Ричарда III. Шекспир же создал ему *damnatio memoriae*¹ в форме трагедии, где Ричард предстал чудовищем, псом и исчадием ада. Слова приказа Ричарда палачу Тиррелу полны ледянящего реализма (акт IV, сцена II):

Тиррел.

Джемс Тиррел и слуга покорный ваш.

Король Ричард.

Покорный ли?

Тиррел.

Милорд, вы испытайте.

Король Ричард.

Решишься друга моего убить?

Тиррел.

Готов, милорд;

Но предпочел бы двух врагов убить.

Король Ричард.

Ну, ладно. Есть два кровные врага,

Враги покоя и помеха сну.

Я на руки сдаю тебе их, Тиррел, —

Ублюдков тех, что в Тауэре сидят.

Тиррел.

Велите только доступ к ним мне дать, —

И я от страха вас освобожу.

Король Ричард.

Как музыка — слова твои! Стань ближе.

Вот пропуск; подойди и дай мне ухо.

(Шепчет ему на ухо.)

¹ Проклятие памяти (лат.); здесь — посмертное наказание. — Примеч. пер.

Ну, вот и все. Скажи, что все готово, —
Я полюблю и отличу тебя.
Тиррел. Все сделаю, милорд.
(Уходит.)¹

Вскоре нечестивец Тиррел возвращается и оповещает о свершившемся двойном убийстве:

Тиррел.
Кровавое свершилось злодеянье,
Ужасное и жалкое убийство,
В каком еще не грешен был наш край!
[...]
Король Ричард.
Весть добрую услышу ль, славный Тиррел?
Тиррел.
Когда исполненное порученье —
Добро для вас, то радуйтесь: оно
Исполнено.

Кости невинно убиенных наследников нашли в 1674 году во время раскопок под лестницей, ведущей в капеллу Святого Иоанна. Их извлекли на свет и с почестями захоронили в Вестминстерском аббатстве. Прочие останки обнаружили уже в восьмидесятых годах XX столетия.

Слева от Белой башни виден луг с редкими деревцами. Милое на вид местечко на самом деле является самой мрачной частью ансамбля, поскольку именно здесь стоял эшафот, приносивший смерть изменникам королевской короны. Жертв было немало, и речь шла в основном о людях, от которых король по каким-либо причинам хотел избавиться, или о великих мыслителях, неугодных власти, вроде Томаса Мора, чья кровь была на совести убийц. На плахе погибали также неверные жены или те, кто не по своей воле, а из-за происков природы не сумели подарить королю желанного наследника.

¹ Здесь и ниже перевод А. Радловой.

Хочу поведать как раз об одной из таких женщин. Ее звали Анна Болейн, и ей удалось поразить сердце, бьющееся в громадном теле короля Генриха VIII. Печально, но те же причины, что привели ее к победе, легли в основу поражения. Сюжет этой истории и сегодня, четыре века спустя, заставляет сопереживать героине.

В пятницу 19 мая 1536 года, в восемь часов утра, Анна Болейн, которой недавно исполнилось тридцать, вышла во двор Тауэра. Она шла медленно, но уверенным шагом и смотрела прямо перед собой. Яркое солнце подчеркивало ее мертвенную бледность. Анну сопровождали четыре фрейлины (и соглядатаи в период заключения), а также высокопоставленный констебль Тауэра лорд Кингстон. Во время заключения Кингстон отвечал за здоровье подопечной, был ее душеприказчиком и, конечно, шпионом. Перед низким помостом для казни с пятью или шестью ступенями Анну передали шерифу, должностному лицу, сопроводившему ее наверх.

Несколько дней назад Томасу Кромвелю, графу Эссексу, первому секретарю королевства, донесли, что Анна, стоя на эшафоте, может произнести слова в свою защиту, и он распорядился сократить количество присутствующих на казни до минимума. Мы увидели бы здесь мэра города в окружении советников, самого Кромвеля, членов суда, пару сотен зевак, только лондонцев, — и ни одного иностранца. Никто не хотел, чтобы неосторожные заявления, полные фатального пафоса, спровоцировали скандал. Целый взвод солдат в любую минуту готов был перекрыть барабанной дробью голос виновной. Говорят, посол испанского императора Карла V отправил на зрелище своего поверенного, но его вычислили и немедленно удалили.

Анна одета в пурпурную рубашку и темно-зеленое платье дамасского шелка, сверху — горностаевая накидка, волосы покрывает чепец. По правилам, осужденной дозволено пронести миру несколько прощальных слов. Анна кажется

сдержанной, ее речь уверенна и ободряюща для защитников политико-династических интересов:

— Добродетельные христиане, я здесь, чтобы умереть, ибо закон приговорил меня к смерти. Но я не хочу касаться причин этого решения и никого не обвиняю. Когда я умру, то помните, что я чтילה нашего самого доброго и милостивого короля. Вы будете счастливы, если Господь дарует ему долгую жизнь.

Эти слова настолько контрастируют с обстоятельствами, приведшими ее на казнь, что в них может почудиться скрытый сарказм.

Но она еще не закончила. Последний аккорд звучит подобающе общему настроению:

— Ныне я прощаюсь с миром и с вами и всем сердцем заклиная вас молиться за меня. Господь, будь милосерден ко мне, в руки Божии предаю дух мой.

Согласно традиции, Анна раздает милостыню в двадцать фунтов стерлингов, с помощью фрейлины снимает чепец и остается в белой льняной шапочке. Помощник палача завязывает ей глаза и склоняет голову женщины на дубовую плаху. За короткое мгновение перед смертью Анна успевает еще раз пробормотать:

— В руки Иисуса Христа предаю дух мой.

Палач стремительным движением вздымает тяжелый обоюдоострый меч и опускает его столь мощным ударом, что клинок, перерубив шею, вонзается глубоко в дерево.

Затем он берет голову с помоста и поднимает над толпой, как положено, показывая, что приговор приведен в исполнение должным образом.

Кто же такая Анна Болейн? Жена страшного человека, капризного и ненасытного, умеющего привлечь к себе внимание и крайне развращенного, по большому счету — посредственного политика? Или же — холодная, расчетливая интриганка, готовая пойти на риск во имя восхождения на английский престол? Ради достижения этой головокружи-

тельной цели в ход шли любые средства, и Анна, возможно, была лишь пешкой в этой игре.

События, приведшие ее к столь плачевному финалу, настолько запутанны, что спустя столетия трактуются по-разному и часто противоречивым образом. Анна — жертва преследований, Анна — ведьма, способная годами подчинять себе волю и желания одного из самых могущественных властителей мира. Так кто же она?

Томас Болейн, ее отец, к моменту женитьбы на Элизабет Говард был единственным сыном в купеческой семье и племянником бывшего мэра Лондона. Брак оказался его лучшим вложением, поскольку Говарды принадлежали к числу древнейших английских родов (Томас Говард, отец Элизабет, носил титул графа Суррея). У четы было трое детей: сын Джордж и дочери Мария и Анна; со временем юные красавицы заняли место при дворе.

Для сорокапятилетнего Томаса, человека милого, крепкого телосложения, не мелочного, хорошего собеседника, наступили счастливые времена. И его нисколько не смутила новость, что старшая дочь Мария стала любовницей короля. С другой стороны, из дворца постоянно просачиваются слухи, что король не прочь был разделить ложе и с Элизабет, но и это не особенно волновало Томаса.

Генрих VIII Тюдор стал легендарной фигурой во многом благодаря своим недостаткам и ошибкам — крупным, как и все остальное. Доспехи, выставленные в Тауэре (о них мы говорили выше), свидетельствуют о завидном телосложении короля. Ростом Генрих был около ста девяноста сантиметров, обхват груди равнялся полутора метрам, а талии — восьмидесяти сантиметрам. Он неизменно участвовал в турнирах и скачках, виртуозно владел копьем и мечом. Один из гостей двора отмечал: «Когда король идет — земля дрожит под ногами».

Генрих вззошел на трон подростком, в 1509 году, а в восемнадцатилетнем возрасте женился на Екатерине Арагонской, и она была на шесть лет старше его. Эта разница наложила отпечаток на

личную и политическую жизнь монарха. Особенно тяготило то, что из шести детей Екатерины выжила только одна девочка. Она ненадолго взойдет на трон под именем Марии Кровавой (Мария Тюдор).

Карл V, вечный соперник короля, девятью годами младше Генриха, сделался королем Испании и в девятнадцать лет получил императорский титул, то есть возглавил Священную Римскую империю. Поддержка одного из крупнейших европейских банков позволила ему покупать голоса важнейших избирателей¹ (как видим, обычай этот довольно древний), в том числе и племянника Генриха, поскольку мать Карла (Хуана Безумная) и первая жена Генриха (Екатерина Арагонская) приходились друг другу сестрами. Карл — воинствующий правитель, обладающий проницательным умом и физической силой, что с удивительной точностью подчеркнуто в известном портрете Тициана из Прадо. Его владения простираются от земель Фландрии до американских колоний, от габсбургских наследных земель до Неаполя и Сицилии.

Чтобы замкнуть круг, необходимо назвать последнего персонажа: Франциска I, короля Франции, рожденного в 1494 году, среднего по возрасту из трех монархов, который также юным, в двадцать один год, взойшел на трон. По сути, Франциск всю свою жизнь потратил на борьбу с Карлом, поскольку боялся его власти, а Генрих, в свою очередь, лавировал, стараясь поддерживать то одного, то другого. Франциск — еще и король, который сформировал культурный облик своей страны, пригласив ко двору Леонардо да Винчи и Челлини. Этот факт толкает на мысль, что из всех трех королей Генрих Английский, несомненно, не самый рьяный поклонник искусств и литературы.

Даже по этой краткой сводке заметен сложный характер родственных сплетений, линий интересов и расчетов, связывающих разных исторических героев и определяющих их

¹ Императоры Священной Римской империи германской нации не наследовали права, а избирались правителями земель, входящих в империю. — Примеч. ред.

действия. (Судьба Анны будет зависеть от подобных запутанных отношений.) Среди любопытных данных можно вспомнить и то, что эти люди, с такими разными жизненными линиями, умерли практически в одном возрасте. Пятидесятишестилетний Генрих скончался в 1547-м, Франциск умер в тот же год в пятьдесят три, а Карл — в 1558-м, в пятьдесят восемь. Они жили на износ, и уже в ту эпоху подобные смерти считались преждевременными.

Анна разыграла свою партию на основе отношений с этими тремя правителями, перекроившими карту Европы и мира и руководствовавшимися, по большей части, логикой силы (иногда на грани с капризом).

Однако и женщины, каково бы ни было их положение, могли позволить себе некоторые капризы, особенно любовные. И своего они добивались ценой невероятного риска. Муж, заставший свою благоверную в момент адюльтера, мог в равной степени даровать ей жизнь или обречь на смерть. Пронзив жену на том самом ложе кинжалом, он не только избегал порицания, но и обретал славу человека, способного смыть позор с должной неколебимостью.

С другой стороны, еще каких-то несколько десятилетий назад во всех основных судебных кодексах Европы фигурировали уголовные обстоятельства, обозначенные как «преступление чести» и предусматривающие смехотворные меры наказания за убийство супруги, застигнутой в момент измены. В Европе XVI века заходили еще дальше, и угроза супружеского гнева становилась для женщин настоящей манией преследования. Муж мог принудить неверную жену к заточению в монастырь либо запереть ее в секретной камерке собственной резиденции, со скудным пайком и бичеванием слугами. Связь с человеком, с которым ты не связана супружескими узами, представлялась самой страшной опасностью, сопоставимой с риском солдата или моряка на полях сражений и в море.

Это подтверждает один французский писатель, который, по правде говоря, создал свои строки спустя несколько десятилетий после описываемых выше событий, говоря в основ-

ской изворотливости — и не в последнюю очередь женской красоты. Прелестницы проводили большую часть времени в пустых разговорах, обсуждая (если позволяли обстоятельства) вкусы и преимущества особ мужского пола, сопровождая каждую новость заговорщицкими смешками, грациозными ужимками или хитрыми недомолвками.

Чтобы сохранить красоту или подчеркнуть ее, существовал целый арсенал. В моде была светлая кожа, и это толкало многих женщин на использование сока лимона и сублимата ртути; это средство называлось «сок святого Эльма». Сильнодействующий яд сглаживал морщинки (прообраз современного пилинга), но побочные эффекты грозили серьезной опасностью: частое применение «сока» приводило к ожогам, чернели зубы, дыхание становилось зловонным. Были и полезные процедуры, например, в воду для купания добавляли молочную сыворотку или вино. Лицо и область декольте готовили к гриму предварительным наложением слоя белил, которые просвечивали сквозь румяна. Квасцы придавали щекам красноватый оттенок. У квасцов (вяжущее средство) было и другое применение — они использовались в слоновьих дозах для симуляции девственной чистоты там, где ее и след простыл. Для придания губам цвета сочной вишни применялся экстракт кошенили или ртутная сера. Все бы неплохо, но использование подобной «косметики» приводило к тому, что к определенному возрасту многие дамы казались восставшими из гроба.

Пышные платья дам, где надо открытые, где надо утянутые до полуобморочного состояния владелицы, несомненно, были красивы, но белье... Белье смердело застарелым потом, ибо о личной гигиене всерьез никто не задумывался, в том числе во время критических дней у женщин.

Дворцовые помещения, не в меньшей степени чем дома простолюдинов, отличались чудовищной загрязненностью. Кровати кишели паразитами, слои грязи на полах, кругом — остатки пищи и помои. Нередко во время королевских пиров под столами вертелись псы, выискивая упавшие куски, и

изящная ножка (чаще грубый сапог) могла с размаху пнуть какого-нибудь бедолагу.

От женщин никто не требовал ума, выражаясь современным языком, они были статистками в мужском шоу — но статистками, выполняющими определенные функции. Вокруг центральной фигуры мощного властителя кипели нешуточные страсти. Замужем дама или нет — большого значения не имело. Конечно, мужа ревновали, и говорили, одна из фрейлин даже рисковала жизнью, когда была застигнута с любовником. Но если бы ее любовником был сам король, то ярость самого ревнивого из мужей была бы спущена на тормозах. Какому-нибудь камергеру достаточно было намекнуть рогоносцу, что лучше прикрыть рот, — и дело тут же улаживалось, поскольку дальнейшее упорство могло обернуться крахом карьеры, а часто и жизни.

Подобную нравственную гибкость предполагал сам институт брака. И в высших, и в низших слоях широко практиковалось обручение двенадцати-, тринадцатилетних девочек со стариками, если это было выгодно семьям. Когда Генрих VIII выдавал свою сестру Марию замуж за пятидесятилетнего Людовика XII, девушке едва исполнилось девятнадцать. Самая красивая принцесса Европы, как ее называли, согласилась на жертву во имя политических связей, однако пообещав, что в следующий брак вступит по своему выбору. Людовик и вправду вскоре скончался (через три месяца после свадьбы), а Мария вышла замуж за Чарлза Брендона, герцога Саффолка, — по любви.

Но это скорее исключение, чем правило. Влюбленность рассматривалась как отягчающее обстоятельство, а замужество по любви и вовсе считалось непростительным. В истории европейских обычаев вплоть до второй половины XIX века оставались глубокие следы подобного разделения брака и любви. А в некоторых районах (включая Италию) они были сильны до середины XX века. В половом влечении видели худшую основу для длительных отношений, поскольку сожительство фатально ослабляло начальный пыл и выявляло

массу разногласий. Кроме того в браке, с одобрения Церкви, прежде всего ценили экономическую выгоду, чтобы хоть как-то держать его в рамках некоторых правил. Вскоре мы увидим, какими отчасти гениальными сюрпризами оборачивались некоторые из подобных правил при Генрихе VIII, сначала использованные против первой жены Екатерины, а затем — против Анны.

Принимая во внимание, что брак строился на мужской власти, каждый мужчина, в период ухаживаний неосторожно проявивший себя слишком «пылким слугой», рисковал со временем (когда чувства остынут) стать рогоносцем. Брак Генриха и Анны оказался под угрозой из-за подобных ошибок.

Таковы, соответственно, среда, мировоззрение и восприятие чувств, в которых была воспитана Анна. При английском дворе (она вернулась около 1527 года) ее заметили благодаря черному цвету волос и смуглой коже, отличным от анемичных идеалов английских красоток.

Она не была особенно красива. Портрет Анны, честно говоря, не слишком впечатляет:

«Среднего роста, с темной кожей, длинной шеей, широким ртом, без груди. Ее очарование состоит не в чем ином, как быть отражением страсти короля. Черные и прекрасные глаза производили сильное впечатление на тех, кто служил королеве в период правления».

Безусловно, Анна обладала жизнелюбием, с лихвой покрывающим не только посредственные данные, но и два существенных недостатка: большую родинку на шее, которую она скрывала высокими воротниками и ожерельями, и... отrostок шестого пальца на левой руке, из-за которого ее впоследствии часто обвиняли в колдовстве.

Красавица или уродина, как бы то ни было, Анна излучала явный чувственный призыв, присущий некоторым женщинам независимо от красоты, и она, надо сказать, прекрасно осознавала это с раннего возраста.

Екатерина Арагонская, в конечном счете, обладала еще меньшей красотой. Это — низкорослая крепышка, старше, если вы помните, своего супруга Генриха. Всю жизнь она проговорила по-английски с сильнейшим испанским акцентом. Многочисленные беременности деформировали до неузнаваемости ее фигуру. В начале двадцатых годов Екатерина уже утратила всякую физическую притягательность, превратившись в тучную испанскую матрону.

До Генриха она была замужем за его старшим братом Артуром. Станный, краткосрочный брак, если учесть, что жениху на момент его заключения (заочного) было одиннадцать лет. И это, и то, что Артур всегда отличался особой хрупкостью, впоследствии дало почву молве (опровергаемой Екатериной в момент династических споров), будто супружеский долг так и не был исполнен. В пятнадцатилетнем возрасте Артур скончался.

Беременности Екатерины подтверждают почти навязчивое желание Генриха занять наследника. Тюдоры занимали трон всего тридцать лет, и если бы Генрих не обрел сына мужского пола, над династией нависла бы угроза исчезновения.

До сих пор ведутся споры, когда именно венценосные супруги перестали разделять ложе. Один из иностранных послов при английском дворе утверждал, что в 1528 году король и королева еще спали вместе. С другой стороны, кардинал Кампеджо, папский посланник, писал в своем отчете в Рим, что королева «не почивала со своим властительным супругом (королем) более двух лет». В пользу тезиса о воздержании говорит свидетельство другого кардинала о том, что королева Екатерина начиная с 1526 года якобы страдала половой болезнью, неблагоприятно повлиявшей на совокупление.

Именно в этот период в жизнь Генриха, утомленного краткими связями с фрейлинами, вошла страсть к Анне Болейн. Линии любовных безумств всегда непоследовательны, поэтому бесполезно, за неимением надежных источников, пытаться понять, что же расшевелило в сердце монарха ураган стра-

сти. Нам известно лишь, что ему — тридцать пять, а она на десять лет младше.

В письмах рисуется портрет глубоко влюбленного человека, жаждущего наслаждаться прелестями своей избранницы. Соблюдая правила придворного этикета в части ухаживаний, Генрих не избегал открытых чувственных намеков: «С предъявителем данного письма посылаю вам оленя, которого я собственноручно убил прошлой ночью, в надежде, что, наслаждаясь его мясом, вы вспомните об охотнике». Либо он дерзко заявляет: «Теперь я шлю вам браслет с моим портретом в оправе. Как мне хотелось бы оказаться на его месте, если он понравится вам». Или еще смелее: «Желая оказаться в объятиях своей любимой, чьи прекрасные груди надеюсь скоро расцеловать».

Вскоре Генрих предлагает Анне принять место (и обязанности) «официальной любовницы». На старофранцузском языке это звучит так: «Не соблаговолите ли вы исполнить долг (обязанности) истинной и законной любовницы и подруги»¹. Во фразе содержится двойственность, начиная со слова *mestres*, предшественника французского *maîtresse* (фаворитка), и английского *mistress* (содержанка). Думаю, мы можем перевести его как «любовница», хотя в то время это слово не имело четкого сексуального оттенка.

С того момента, как стало ясно, что Анна — не просто фаворитка, но женщина, на которой король желает жениться, разгорается нешуточная борьба между соперницами — Анной и Екатериной. Ради брака с Анной, возможной матерью будущего долгожданного наследника, Генриху требовалось избавиться от прежней супруги. Кое-кто, скорее всего его исповедник, предлагает следовать строкам *Левита* (20, 21), согласно которым, женившись на вдове брата, Генрих совершил поступок против воли Божией: «Если кто возьмет жену брата своего, это гнусно; он открыл наготу брата своего». Последствия: «Бездетны будут они». На основе данного пророчества

¹ Si vous le plet de faire l'offyce de une vray loyal mestres et amy.

вырастают целые дебри толкований. Генрих и Екатерина имеют ребенка, девочку Марию. В латинском варианте Библии не говорится о детях мужского пола (*Filiis*), а говорится вообще об отпрысках (*Liberiis*), но король был убежден, что речь шла об ошибке перевода, и на место истинного смысла поставили второе значение.

Под мудрым руководством Уолси, архиепископа Йорка, который также был папским легатом с обширными полномочиями, Генрих разрабатывает гениальный в своем роде план. Если, женившись на вдове брата, он погрел закон Божий, то кардинал, блюститель нравственности, должен зачитать приговор перед советом судей. Возлегая с вдовой собственного брата, Генрих тем самым возложил на себя вину, и даже папская милость не в силах искоренить подробный грех. Вы поняли, к чему он клонил?

Уолси еще более сгустил краски (и сжал сроки), призывая государя к страху перед Божественным возмездием в случае, если он немедленно не одумается.

Поскольку Екатерина уверяла, что вступила в брак с Генрихом девственницей, вся интрига разворачивалась вокруг истинности данного обстоятельства. Диспут продолжался долгие месяцы и годы, в течение которых Анна с завидным терпением ждала, что Генрих наконец освободится, чтобы жениться на ней.

Король между тем лицемерно заявляет: «Женись я вновь, я бы избрал среди всех женщин [Екатерину]. Но если рассудят, что наш брак попирает Божественные законы, я буду горько сожалеть о разрыве со столь благородной госпожой и любящей подругой».

Екатерина тем временем вынуждена была повторить перед придворными, что юный Артур не исполнил свой супружеский долг ни в первую ночь, ни в последующие, и посему она перешла в объятия Генриха *Virgo intacta* (нетронутой девой). Бедная королева, обессилив, умоляет лишь об одном — чтобы ее дело рассматривали не в Англии, хоть и в присутствии высоких прелатов из Ватикана, а непосредственно в

Риме, перед папой. Она не без основания боится, что в Лондоне слишком сильно влияние Генриха и делу уготован заранее предсказуемый финал.

История принимает наиболее унижительный оборот в тот момент, когда выслушиваются показания с целью установить, произошел ли между Екатериной и Артуром в первую брачную ночь *Copula carnale* (плотский грех) или нет. Пожилой граф Шефтсбери говорит, что юный Артур «смог исполнить свой долг, взяв в жены девочку пятнадцати с половиной лет». Якобы он лично сопровождал Артура к брачному ложу, где на перинах возлежала Екатерина. Наутро государь вышел из спальни с просьбой дать ему кружку пива, чтобы освежиться, «ибо сегодняшнюю ночь я провел в самой Испании». В скандальном пасквиле 1532 года эта фраза прозвучала в форме диалога: «Почему господин испытывает столь сильную жажду?» — «Если бы вы съездили в Испанию столько раз, сколько я за эту ночь, поверьте, вы бы испытывали жажду побольше моей».

Снова и снова, в отсутствие прямого опровержения самим Генрихом, королева клялась в своей девственности — до тех пор, пока на публичном слушании в июне 1529 года не произошла легендарная сцена. Екатерина внезапно вскочила со своего кресла и, рассекая толпу зевак, бросилась в ноги королю. Этой сорокатрехлетней женщине, по словам очевидцев, можно было дать все шестьдесят. На своем ломаном английском она произнесла перед всеми отчаянную и сокрушительную речь:

— Во имя любви, что была между нами, я умоляю вас, привлечите на мою сторону правосудие и справедливость, сжальтесь надо мною, ибо я — несчастная женщина, иностранка, рожденная за пределами вашего королевства... Беру в свидетели Бога и весь мир, утверждая, что была для вас верной супругой, скромной и покорной, всегда готовой исполнить любые ваши прихоти и желания...

В финале этого страстного монолога вновь звучит болезненная главная мысль:

— Призываю Бога в свидетели, что, когда вы взяли меня в жены, я была девственницей, никогда раньше не знавшей

мужчину. Будь то правдой или ложью, я взываю к вашей сознательности!

Эффект, произведенный подобным заявлением, оказался настолько сильным, что в зале воцарилось гробовое молчание. Спустя почти столетие Шекспир (в сотрудничестве с Джоном Флетчером) создаст из этой ситуации одну из самых поразительных сцен драмы «Генрих VIII»: «Сэр, о правосудьи умоляю» (акт II, сцена IV). Если Ницше действительно утверждал, что в боли кроются истинные истоки человеческой памяти, то в этой могучей и унижительной сцене нам явлен архетип отчаявшейся жены, наблюдающей, как муж оставляет ее ради другой. За этими словами не стоят короли или королевны, но лишь люди, поглощенные собственными страстями и интересами.

А что же Анна? Когда наконец суд вынесет решение о разводе (в январе 1533 года), пройдет уже более пяти лет с начала ухаживаний. Некогда цветущая девушка за это время превратится в даму в возрасте. Но роду Тюдоров и Англии нужен наследник, и следует поторопиться. Анна изо всех сил старается поддерживать привязанность короля, позволяя ему все, что могло разжечь желание, но при этом не теряя ни одной из завоеванных позиций.

По большому счету, Анна Болейн — один из тех многогранных персонажей истории, в которых каждый найдет интересный его аспект. Это — женщина на пике карьеры, как бы мы сегодня сказали, рассудочно отдающая свое благорасположение в зависимости от возможных выгод, и, конечно, грозная противница каждого, кто встанет на ее пути. Все это так, но лишь отчасти. Прямолинейные характеры лишены глубины и присущи посредственностям. Анна же, наоборот, всегда держалась на высоте предложенных жизнью драматических обстоятельств. Она могла в одиночку встать во главе двора, бросив ему вызов. Нам ли не знать, что такое придворный мир в любую эпоху и какой прозорливостью и изворотливостью надобно обладать, чтобы не погибнуть. В этой среде достаточно единожды оступиться, чтобы быть навсегда растоптанным.

Младшая дочь Томаса Болейна годами занимала одновременно и очень сильное и крайне уязвимое положение. Особенно если учесть, что двор стоял на стороне Екатерины, как и большинство жителей Лондона.

Даже во время коронационного шествия (1 июня 1533 года) Анна подвергалась оскорблениям во время прохода от Тауэра к Вестминстерскому аббатству. Улицы украшали сложенные из гирлянд инициалы Н. и А. (Генрих и Анна), но кое-кто из толпы превратил декорации в насмешку: «*Ha-ha!*» Когда Генрих спросил новоиспеченную жену, понравился ли ей празднично убранный город, Анна ответила: «Да, но я видела слишком много покрытых голов и болтающих языков». Народ решительно не признает ее, прозывая «великой блудницей», «потаскухой с вытаращенными глазами», «шестипалой ведьмой», «скандальной шлюхой», «злодейкой Болейн».

Анна привыкла отвечать ударом на удар. Признаем, что перед нами темпераментная особа. Но это еще и женщина, изнуренная слишком долгим ожиданием. Она ненавидит Екатерину, но еще больше Марию, в то время единственную легитимную дочь Генриха. Она заботится о том, чтобы у Марии отняли слуг, чтобы ее отлучили от двора и лишили отеческой заботы. Она не упускает случая унижить девушку, призвав ее к себе в качестве прислуги. В дальнейшем Мария станет служанкой новорожденной дочери Анны, Елизаветы. Вся жизнь Марии пройдет под знаком страданий от подобного оскорбительного отношения и жестокости. Суровость ее краткого правления явится результатом переживаний этого периода.

В день Рождества 1530 года Анна приказала вышить на ливреях своих слуг дерзкий девиз собственного сочинения: «*Ainsi sera. Groigne qui groigne*» — «Да будет так, пусть ропщет, кто желает». А Генрих желал ее, и в этом была ее сила. В начале декабря 1532 года Анна беременеет, как можно заключить из факта рождения ребенка 7 сентября, ровно через девять месяцев. Увы, это не мальчик, как жаждал Генрих, но новорожденную ждет блестящее будущее, если учесть, что речь идет о Елизавете I. Некоторые хотят видеть в стремлении Ели-

заветы навсегда сохранить девственность изощренную сублимацию мести отцу, объятую желанием иметь наследника, сына, обезумевшему настолько, чтобы истреблять жен, неспособных удовлетворить его требование, и ради этого пойти на разрыв с папой Римским.

На запрос Генриха об аннуляции брака с Екатериной Арагонской папа отвечал уклончиво. Генрих, подстрекаемый нетерпением, считал оскорбительными отговорки Ватикана. Его по-юношески кипучая отвага постепенно угасала. Ему едва исполнилось сорок, но силы уже на исходе, к тому же незаживающая язва на левой ноге причиняла страшную боль. Генрих ходил, опираясь на трость, и, скрывая недуг, заставлял молодых придворных делать то же самое. Пишут, что он прятал под головным убором с перьями «лысину, как у Цезаря». (Хольбейн Младший запечатлел для нас его образ на портрете поразительной психологической глубины.)

О разрыве Генриха с католической Церковью написано так много, что добавить к этому практически нечего. Разумеется, причины разрыва коренились в ярости, переросшей в фанатичное упорство, с которыми король хотел покончить со старым браком и жениться на Анне, утолив не только корыстное желание Анны стать королевой, но и собственное — обзавестись наследником. Естественно, план бы рухнул, не сыграй Генрих на нетерпимости англичан в отношении папы и Римской церкви. Действуя в своих интересах — или, если хотите, потакая своей прихоти, — король хотя бы в этом прислушался к гласу, идущему из народных глубин.

Генрих был католиком, и даже более того — один из его трудов на религиозную тему в 1521 году принес ему титул Защитника веры (*Difensor fidei*), но к началу тридцатых годов его нетерпение взяло верх. Немаловажным было и то, что многие из его подданных устали от несправедливостей священников: налоговые махинации, плохая организация, открытое допущение внебрачного сожительства... Выводил из себя заметный рост численности братьев и сестер, которых считали паразитирующей кастой. Крайне раздражали и мето-

ды религиозных судов в вершении правосудия — когда разбирались дела о скрытой ереси, в рамках юридического процесса, называемого *римским*, свободно принимались анонимные обвинения и сомнительные доказательства, к тому же римское право противостояло нормам общественного права Англии.

Европа в смятении, проповеди Мартина Лютера (начатые в 1517 году со скандальных «95 тезисов» в Виттенберге) бичуют распущенность католического духовенства. В Риме ведется торговля высочайшими привилегиями, пасторы содержат любовниц, продают индульгенции и зарабатывают на мессах по усопшим. Целые семейства погрязли в долгах за возможность облегчения мучений умерших родных в чистилище. Лютер — не только религиозный реформатор. Он становится народным героем в немецких городах и представляет угрозу для католического мира наравне с наступлением турок на Запад под предводительством Сулеймана I Великолепного.

В мае 1527 года голодные войска императора Карла V, выйдя из-под контроля, грабят Рим. Убитые священники, изнасилованные монахини, разграбленные церкви... Папа Климент VII пробует укрыться в замке Святого Ангела, но немедленно попадает в заточение. Ни одно из варварских нашествий V века не наносило Риму подобного ущерба.

Именно в те годы и в том драматическом контексте разворачивается история Генриха и Анны. Можно представить, с каким настроением и раздражением папа воспринял очередную ссору с королем. С другой стороны, встав на этот путь, Генрих мог двигаться только вперед, любой ценой.

Когда папе сообщили, что английский король все-таки женится, несмотря на его запрет, немедленно была выпущена папская булла с приказом удалить Анну от двора, потому что каждый рожденный в этом союзе ребенок будет считаться незаконным. Генрих был предан анафеме, хотя в какой-то момент отлучение объявили приостановленным.

Папское проклятие в ту эпоху имело страшные последствия. Если оно приводилось в исполнение, то затрагивало и

управление государством. Король без благословения лишался властительных прав. Подчиненные освобождались от обязанности повиновения. Если бы Карлу V взбрело вдруг в голову напасть на Англию, — это был бы лучший момент. К счастью для Генриха, императора волновали совсем другие дела.

В мае 1533 года архиепископ Кентерберийский Томас Кранмер объявил брак между Генрихом и Екатериной «лишенным юридической силы», и 1 июня 1533 года Анна была коронована. На первом же созыве парламента 1534 года серия постановлений освободила английскую Церковь от папской юрисдикции и признала ее главой короля (Акт о супрематии). Отныне король призван был управлять Церковью в той же мере, что и своим королевством. Духовенство также находится под его юрисдикцией.

Да, это так, Лютер создал проект новой Церкви, даже шире — новых отношений между Богом и человеком, но англичане выбрали самый короткий путь. В случае с Генрихом сразу же стали заметны следующие изменения: налоги больше не шли в римскую казну, и Рим потерял компетентность в разрешении судебных разбирательств.

Одним из немногих, осознавших, куда ведет избранный путь, был английский гуманист Томас Мор. За отказ присягнуть королю как новому главе Церкви, согласно правилам церковного раскола, он был заточен в Тауэр. Там Мор провел год, а затем подвергся казни. Экзекуция состоялась 6 июля 1535 года, спустя две недели после того, как лишился головы епископ Фишер. Оба впоследствии были признаны католическими святыми за приверженность истинной вере. Кроме прочего, как главный и единственный светский противник издания Библии на английском языке, Мор встал на сторону епископов, заявив: «Стало необязательным издавать Писание по-английски и отдавать в руки простых людей, с тех пор как разрешение или запрет на упомянутое Писание начал полностью зависеть от действий первосвященников».

Возможно, великий мыслитель недооценил, что изобретение книгопечатания способно было произвести революцию в

распространении идей, однако важность этого нововведения не ускользнула от короля. Английская Библия (в переводе Майлса Ковердейла) увидела свет в 1536 году, в один год с казнью Анны Болейн.

Летом 1534 год Анна, беременная во второй раз, теряет ребенка по неизвестным нам причинам. Генрих разочарован, Анна подавлена, поскольку половиной своих привилегий и, главное, занимаемым местом она обязана роли матери будущего наследника престола. Если она не справится с этой ролью, то все остальное, в основном сводимое к удовлетворению чувственных прихотей короля, рискует сойти на нет.

С тех пор она пыталась во что бы то ни стало снова забеременеть, но безуспешно, в том числе и по той причине, что Генрих теперь далеко не всегда откликался на ее зов.

Для Генриха ослабевание страсти означало раннее увядание мужчины, который в юности не пренебрегал лишним раз поупражняться в искусстве плотской любви (*droit du seigneur*), вырывая жен из объятий мужей. Анна все чаще жалуется на отдельные случаи несостоятельности мужа. Одной из своих фрейлин она по секрету сообщила, что король больше не обладает *ni vertu ni puissance* (доблестью и могуществом), подразумевая, что ему не хватает ни любовной изощренности, ни должного напора. Возможно, эти слова были оправданием неудачной попытки стать матерью наследника. К слову, и король не всегда был доволен пылкостью жены, он даже обвинял ее в собственных осечках.

Седьмого января 1536 года Екатерина Арагонская умирает, достигнув пятидесятилетнего возраста. Ее агония была ужасна, бедную женщину сотрясали приступы рвоты, не дававшие есть, пить и спать. «Слава богу, что ты освободила нас от военной опасности», — произнес Генрих, когда получил весть от гонца. Долгое время считалось, что Екатерина умерла не от сердечного приступа, а от отравления.

Анна снова была на сносях, и весть о кончине соперницы ее, конечно, обрадовала. Но именно с этого дня начинается отсчет ее падения.

Спустя две или три недели, возможно 29 января, у Анны случается выкидыш трехмесячного плода мужского пола. По ее словам, это стало результатом перенесенного страха: Генрих упал с лошади и несколько часов провел в коме. Она клянется, что причина потери ребенка — ее любовь к мужу.

Генрих не верит супруге — либо верит, но все равно меняет к ней отношение по другим причинам. Истина в том, что стареющая женушка уже порядком надоела ему. То дуется, то дерзит, и вдобавок ко всему дурнеет на глазах от переживаемого напряжения — ведь ей приходится переживать ситуацию, очень похожую на ту, главной героиней которой она и сама была совсем недавно. Только теперь Анна — нежеланная жена.

У Генриха новое увлечение — бледная английская красавица по имени Джейн Сеймур. По сравнению с Джейн, Анна — тягостный груз, каким некогда была Екатерина. Джейн молода, красива, целомудренна, что отдает старомодностью либо чванством. Иногда начинает казаться, что она готова разыграть ту же партию, что в свое время затеяла Анна. Ненависть двора, направленная на Болейн, словно подталкивает Джейн на ложе Генриха. После выкидыша король уже открыто заявляет, что Бог отвергает его сына, потому что Анна заколдовала, потому что она обманула и соблазнила его, заставив заключить брак силой чар и волшебства.

Истина же в том, что смерть Екатерины, в которой Анна видела свой окончательный триумф, возымела роковые для нее политические последствия. Один из самых злостных пап, Климент VII, скончался. Его преемник Павел III подтвердил недействительность брака Генриха и Анны. В итоге Генрих предстал перед лицом Рима вдовцом, свободным жениться в любой удобный момент. Против Анны сыграло еще одно обстоятельство: Карл V дал понять через сотни намеков и тысяч посланий через своего представителя в Лондоне, что не был бы против новой свадьбы английского короля. Кромвель сообщал государю, что император счел бы отдаление Анны дружественным жестом. Эти две причины были довольно

значимы. Выкидыш и зреющая страсть Генриха к Джейн довершили картину.

Сто раз задавался вопрос: нельзя ли было просто сослать Анну в монастырь или заточить в каком-нибудь далеком замке? Зачем понадобилось убивать ее? Однако эти вопросы не выдерживают проверку фактами. Для короля подобные решения были бы неосмотрительными. Необузданный нрав предыдущей испанской королевы показал, как много сложностей может создать недовольная жена, даже в ситуации изоляции. Сосланная в монастырь Анна, обладавшая тем еще характером, могла бы здорово насолить мужу, неслучайно в последние месяцы Генрих называл ее «ядовитой шлюхой». Анна Болейн закончила жизнь на плахе, потому что только так государь мог обеспечить себе максимальное спокойствие.

Дело против Анны можно отнести в разряд государственных преступлений, замаскированных под акт правосудия. Анну заточили в Тауэр. Согласно законам высшей и жесточайшей иронии, ей были выделены те же апартаменты, что и в год коронации. Ее содержали в достойных условиях, окружив фрейлинами-шпионками, готовыми в любой момент донести слова узницы констеблю Кингстону, а тот, в свою очередь, Кромвелю, а тот — сами понимаете кому. Анна, конечно, обо всем догадывалась и звала фрейлин «надзирателями».

Пункты обвинения были достаточно пространны. Анна и сама не могла четко определить их, пока не предстала перед судом. Она знала, что по обвинению в любовных связях с ней были арестованы несколько человек: сэр Фрэнсис Уэстон, сэр Генри Норрис, оруженосец короля Уильям Бреретон, Марк Смитон и ее давний поклонник поэт Томас Уайет (вскоре отпущенный). Всех четверых арестованных мужчин объединяла общая слабость: каждый из них имел постоянный доступ в покои королевы и многократно лично общался с ней. То есть при желании все они могли оказаться идеальными мишенями для обвинения в измене.

Четверых подсудимых приговорили к самому жестокому наказанию: кастрации, четвертованию заживо и последу-

ющей рубке на куски. Затем по воле милосердного короля избранная мера претерпела «смягчение» — пытки заменили простым повешением.

В понедельник 15 мая 1536 года судили Анну и ее брата Джорджа. Для размещения громадной двухтысячной толпы зрителей, теснящейся между Грейт Холлом и Тауэром, были возведены специальные трибуны. По некоторым данным, не исключается, что Анна действительно имела внебрачную связь с Марком Смитоном, молодым придворным музыкантом, почти несомненно влюбленным в нее.

Во время короткого судебного процесса Анна вела себя спокойно и на абсурдные обвинения реагировала без особых эмоций. Ее брат, лорд Джордж Рошфор, был обвинен в кровосмесительной связи с сестрой, в вину ему вменялось даже отцовство одного из нерожденных детей Анны. Самые яростные нападки, как ни странно, прозвучали из уст жены лорда Рошфора, которая свидетельствовала, что ее муж постоянно посещал спальню сестры. Вполне вероятно, считают историки, что Джейн Рошфор просто хотела показать свою причастность к лагерю победителей.

Важно сказать, что и Анна, и ее брат с надеждой отдали себя в руки королевского правосудия. Для них это был способ допустить единственную, хоть и призрачную возможность помилования.

Но нет... В среду 17 мая пятеро мужчин, включая Джорджа, были казнены на тауэрском холме на глазах у большой толпы. В тот же день заверяется документ, аннулирующий брак Анны с Генрихом VIII. Его составляет Кранмер, архиепископ Кентерберийский, приложивший руку к упразднению первого брака Генриха с Екатериной. В этой жуткой истории, в которой нет уцелевших и каждое чувство подвергается циничному пересмотру, фигура архиепископа, как мне кажется, доминирует благодаря гнусному пресмыкательству.

В восемь утра 19 мая Анну вывели из Тауэра. За день до казни ее исповедовал все тот же архиепископ Кранмер. Для казни был выбран палач из Кале, искусно владеющий мечом.

Известно, что его доставка в Англию стоила двадцать пять фунтов стерлингов. Считалось, что смерть от меча наступала быстрее, нежели от топора, и, соответственно, была милосерднее.

Анна прошла ровным шагом пятьдесят метров, отделяющих казематы от сада. Говорят, у нее был почти довольный, даже «очень радостный» вид. В отличие от мужчин, казненных на холме, для ее казни отвели закрытый уголок сада, из-за уже известных вам соображений осторожности.

Анна произнесла несколько сдержанных слов. Затем одна из дам сняла с нее головной убор. Льняная шапочка сдерживала тяжелую массу темных волос, оставляя обнаженной тонкую шею. Когда Анна опустилась на колени, палач допустил милосердную хитрость. Он прокричал, словно обращаясь к кому-то: «Эй, ты, меч сюда!» Анна инстинктивно повернулась, и благодаря этому голова легла самым удобным образом.

Стремительным жестом палач выдернул приготовленный меч из вороха сена около плахи.

Взмах.

Струйка крови.

Содрогание тела.

Как только палач показал голову толпе, одна из фрейлин обернула отрубленную голову белой материей, другие подняли обезображенное тело и перенесли его в соседнюю капеллу Святого Петра в цепях (*St. Peter ad vincula*).

Анне было 36 лет. Царствование ее длилось три с половиной года. Она умерла через четыре месяца после своей соперницы. На следующий день, 20 мая 1536 года, Генрих обручился с Джейн Сеймур, своей третьей женой.

VII

ЭЛЕМЕНТАРНО, ВАТСОН!

Каким бы невероятным это ни могло показаться, но в Лондоне существует и дом отца всех современных детективов: Шерлока Холмса, разумеется. Он располагается, следуя канону, в доме номер 221-бис по Бейкер-стрит, на углу с Риджентс-парком — именно там, где читатель романов Конан Дойла и ожидает его обнаружить. То, что вымышленный литературный герой имеет настоящий дом, — чисто английская находка. И, принимая во внимание количество посетителей в обычный серый лондонский день, находка еще и выгодная. Читая в юности приключения прославленного сыщика, я представлял его жилище именно таким, а именно: комфортным, не много тесным, с темными обоями, обилием мебели. Впрочем, как и все дома викторианской буржуазии, ценившей благосостояние и стремившейся обильно наполнить дом предметами мебели и безделушками.

Музей был открыт для публики в 1990 году, иначе говоря, почти век спустя после того, как экстравагантная пара — Шерлок Холмс и преданный ему доктор Ватсон покинули это место, прожив в нем более двадцати лет, с 1881 по 1904 год.

Внутри посетителей встречает молодая хозяйка, одетая, как и экономка Холмса, по моде Викторианской эпохи. В семидесяти историях, принадлежащих перу Конан Дойла (повести и рассказы), содержится столько деталей и точных описаний, что мы можем передвигаться по дому практически с закрытыми глазами. На втором этаже расположены кабинет, который Холмс делил иногда со своим другом-врачом, и его спальня. Комнаты Ватсона и миссис Хадсон расположены на третьем этаже. Мы также знаем (и находим этому подтверждение), что кабинет выходил двумя большими окнами на Бейкер-стрит.

Конечно же это игра. Тем более что и сам номер дома — 221-бис — несуществующий. Посетитель, который оспаривает существование Холмса, может придаться, что номер 221 находится явно не на своем месте, так как расположен между домами 237 и 239. Но дабы придать материальность мифу, можно этим и поступиться. Дом был возведен в 1815 году, с 1860-го по 1934-й в нем размещался частный пансион, так что самые стойкие, не поддавшиеся очарованию великого сыщика, могут зайти сюда, чтобы увидеть пример типичного лондонского жилища начала XX века. Тот же, кто принимает правила игры, должен признать, что весь этот спектакль основывается на психологическом манипулировании читателем, верящим в реальное существование любимого героя. Особенно когда речь идет о произведениях и персонаже, определивших для нас целую эпоху. Шерлок Холмс для Лондона Викторианской эпохи — это как Филип Марлоу для Калифорнии пятидесятых, Мегрэ для Парижа, комиссар Монтальбано для Сицилии¹. Абсолютная идентификация с местом и временем.

Характерными образами Лондона, по распространенному мнению, являются: желтые фонари в тумане, кареты со злоеющим скрипом рессор, длинные черные, блестящие от дождя ограды, темные переулки, в которых таится опасность, доки

¹ Герой детективов Андреа Камиллери, действие которых происходит в придуманном городке Вигата на крайнем юге Сицилии. — Примеч. пер.

на Темзе, заполненные приплывшими издалека и неведомым грузом кораблями. Если и сегодня Лондон вызывает подобные ассоциации, то обязаны мы этим лондонцу Холмсу, хотя и не числившемуся никогда в городском реестре, но более настоящему, чем многие реально существующие личности.

По мнению историка детективного романа Альмы Элизабет Марч, в литературе есть герои, обладающие столь яркой и неповторимой индивидуальностью, что «их имя и черты знакомы тысячам людей, возможно, никогда не читавшим произведений, где они встречаются. Шерлок Холмс — один из них».

Чему же обязан Шерлок Холмс своей яркой индивидуальностью? Есть два обстоятельства. Попробую объяснить. Первое заключается в том, что Холмс, как искусный врач, лечит общество от его главной болезни — преступления. Характер нашего сыщика-консультанта прописан с такой полнотой, что выходит за рамки литературы, демонстрируя, как принцип рациональности может помочь в решении многочисленных жизненных проблем. Его поступки, ясность воззрений утешали и успокаивали, проливали бальзам на душу тем, кто чувствовал в этом необходимость.

В своем эссе «Детективный роман» (1984) Зигфрид Кракауэр¹ пишет, что ум сыщика, занятого решением загадки, — это применение на практике кантовского интеллекта, просвещающего мир светом Разума. Кракауэр, последователь Лукача² и Бенямина³, друг Теодора Адорно⁴, возможно, слег-

¹ Кракауэр, Зигфрид (1889—1966) — немецкий социолог массовой культуры, теоретик кино и кинокритик, писатель, публицист. — Примеч. пер.

² Лукач, Дьердь (1885—1971) — венгерский философ-неомарксист, литературный критик. — Примеч. пер.

³ Бенямин, Вальтер (1892—1940) — немецкий философ, теоретик истории, эстетик, историк фотографии, литературный критик, писатель и переводчик. — Примеч. пер.

⁴ Адорно, Теодор (1903—1969) — немецкий философ и социолог, сфера научных интересов которого распространялась на изучение изменений в характере человека в так называемом управляемом обществе. — Примеч. ред.

ка преувеличивая суть понятий, попробовал связать детективный роман с философией и даже теологией. Он разработал своеобразную теорию вокруг понятия «Ничто»¹, в которой детектив — почти всегда холостой, как священник, обычно склонный к меланхолии и одиночеству — в некоем холле отеля, на железнодорожной станции, в кабинете адвоката или затаившийся в тени подворотни под дождем служит черную обедню (оргию) Разума, непогрешимого и непобедимого. Сам Холмс, соглашаясь со своим предшественником Огюстом Дюпеном², утверждает (в «Вампире в Суссексе»), что «если оказались неверны все ваши предположения, кроме самого невероятного, то именно оно и будет истинным».

В отличие от официальной полиции, частный детектив занимается своим ремеслом, чтобы поупражняться в искусстве дедукции, и — по закону жанра, — несмотря на трудности (а может, и благодаря им), никогда (почти) не ошибается. В этом Холмсу помогает его ангел-хранитель, он же его создатель, Конан Дойл.

Шерлок Холмс — герой четырех повестей и пятидесяти шести рассказов, опубликованных с 1887 по 1927 год и признанных экспертами-холмсоведами каноническими. Сведений, рассеянных о нем сэром Артуром Конан Дойлом, достаточно, чтобы породить человека из плоти и крови, при этом столь щедро одаренного и добродетелью, и слабостями, что порой кажется, что мы с ним знакомы лично.

Внешне Холмс выглядит так: ростом — выше метра восьмидесяти, но при своей необычайной худобе кажется еще выше. Мы практически не видим его за трапезой, а если и видим, то за столь скудной, что готовы заподозрить у сыщика

¹ В начале двадцатых годов Кракауэр сформулировал чувство современного человека, погруженного в бессмысленную действительность, как чувство «брошенности в холодную бесконечность пустого пространства и пустого времени». — Примеч. пер.

² Огюст Дюпен (англ. C. Auguste Dupin) — литературный персонаж, созданный известным американским писателем Эдгаром По. — Примеч. пер.

анорексию. Известно, что Холмс очень любил утренний завтрак, терпеть не мог овощи и обожал устрицы. У него решительные черты лица, глаза темные, взгляд — пронизывающий; тонкий, слегка крючковатый нос, придававший лицу грозное выражение. По словам его друга и биографа доктора Ватсона, руки Холмса всегда «запачканы чернилами и химическими реагентами, несмотря на то что Холмс обладал определенным изяществом, — я заметил это по тому, как он управлялся со своими хрупкими инструментами».

Тесные отношения между двумя героями дали повод заподозрить гомосексуальный подтекст. То, что он присутствовал, пусть и в латентном состоянии, очень похоже на правду, даже если Холмса нельзя назвать женоненавистником, как считают некоторые. Есть, по крайней мере, одна женщина — Ирэн Адлер (оперная певица, бывшая любовница короля Богемии), которую Холмс любил и которая в ходе приключения «Скандал в Богемии» превзошла его в проникательности. Именно к ней Шерлок питал глубокое восхищение, заявляя, что «женская интуиция может быть более ценна, чем умозаключение аналитика». С другой стороны, можно смело утверждать, что его отношения с женщинами на этом заканчиваются. Нигде далее мы не видим или не можем заподозрить Холмса в любовных, а тем более сексуальных связях. Ни любви, ни секса, и в довершение картины надо добавить, что рядом с восхищением одной женщиной граничит недоверие ко всему женскому полу как к носителю смятений, которые грозят нарушить практически монашеский образ жизни героя.

Чем занят Холмс, когда не уходит с головой в раскрытие очередного преступления? Каждый хорошо знающий его читатель наверняка задавался этим вопросом. А может быть, даже хотел найти объяснение внезапным музыкальным порывам, загадочным моментам меланхолии и слабости. Закутавшись в длинный халат мышиного цвета, Холмс брал в руки скрипку, был может работы Страдивари, купленную за гроши у старьевщика, и, расхаживая по комнате, принимался играть щемящую душу мелодию. В другой

раз у Холмса обнаруживается неожиданная тяга к наркотикам. Рассказывает Ватсон:

«Шерлок Холмс взял с камина пузырек и вынул из аккуратного сафьянового несесера шприц для подкожных инъекций. Нервными длинными белыми пальцами он закрепил в шприце иглу и завернул манжет левого рукава. Несколько времени, но недолго, он задумчиво смотрел на свою мускулистую руку, испещренную бесчисленными точками прошлых инъекций. Потом вонзил острое и откинулся на спинку плюшевого кресла, глубоко и удовлетворенно вздохнул»¹.

Дабы оправдать «бесчисленные точки прошлых инъекций», следует уточнить, что практикуемое Холмсом употребление семипроцентного раствора кокаина подкожно (а не внутривенно) в то время не было запрещено: до 1884 года кокаин (в такой пропорции) рассматривался как лекарство, и сам Фрейд прописывал его некоторым своим пациентам. Холмс употребляет наркотик только в моменты безделья, а стало быть, для него это не способ уйти от ответственности, но некое средство для восстановления душевных сил и придания остроты взгляду, становящемуся невыразительным и тусклым в паузах между расследованием дел. Мы можем сказать, что Холмс, как и большинство людей, рожденных в индустриальном обществе, страдает от привычки работать, он — трудоголик, человек, с головой уходящий в любимую работу и начинающий страдать от ее отсутствия.

Так что же за мысли витают в голове Холмса, когда он не занят расследованием? Разумно предположить — конечно, не без определенной доли сожаления, — а чем, собственно, он еще мог бы заняться, какие качества в себе развить, не стать детективом? Известно, что в его библиотеке в уютной квартирке на Бейкер-стрит можно было обнаружить подшивки старых газет и альманахов, газетные вырезки, отчеты о раскрытых делах,

¹ Конан Дойл А. Знак четырех. Перевод М. Литвиновой.

известия о пропавших людях, расписания поездов, тексты по ботанике, многотомную американскую энциклопедию. Одним словом, рабочие материалы, достойные журналиста, инструменты, с помощью которых можно быстро, не вдаваясь в подробности, найти любую интересующую информацию.

Все тот же Ватсон, пытаюсь — скорее для себя, чем для читателя — описать портрет этого загадочного человека, составляет список познаний Холмса, из которого явствует, что они сколь широки, столь и бессвязны. Холмс просвещен в области химии, права, анатомии, ботаники, геологии, уголовной хроники. Знания же в области литературы, философии, астрономии, садоводства и политики скупы, если вообще присутствуют.

Прочтем вместе письменный отчет доктора Ватсона:

«Знания в области литературы — никаких. Знания в области философии — никаких. Знания в области астрономии — никаких. Знания в области политики — слабые. Знания в области ботаники — неравномерные. Знает свойства белладонны, опиума и ядов вообще. Не имеет понятия о садоводстве. Знания в области геологии — практические, но ограниченные. С первого взгляда определяет образцы различных почв. После прогулок показывает мне брызги грязи на брюках и по их цвету и консистенции определяет, из какой она части Лондона. Знания в области химии — глубокие. Знания в области анатомии — точные, но бессистемные. Знания в области уголовной хроники — огромные. Знает, кажется, все подробности каждого преступления, совершенного в XIX веке. Хорошо играет на скрипке. Отлично фехтует на шпагах и эспадронах, прекрасный боксер. Основательные практические знания английских законов»¹.

Определенно, и сам Холмс в курсе, что его знания хромают. Однажды, счастливый после удачного окончания расследования, он признается:

«Мои знания обрывочны и не систематизированы, но очень практичны для моей работы».

¹ Конан Дойл А. Этюд в багровых тонах. Перевод Н. Тренивой.

А вот и непосредственное применение на практике его метода, заключающегося в умении разглядеть даже в остатке сигары улику.

Ватсон описывает метод расследования своего друга, показывая нам его за работой:

«Он вынул из кармана рулетку и большую круглую лупу и бесшумно заходил по комнате, то и дело останавливаясь или опускаясь на колени; один раз он даже лег на пол. Холмс так увлекся, что, казалось, совсем забыл о нашем существовании — а мы слышали то бормотанье, то стон, то легкий при-свист, то одобрительные и радостные восклицания. Я смотрел на него, и мне невольно пришло на ум, что он сейчас похож на чистокровную, хорошо выдрессированную гончую, готовую броситься за добычей... В одном месте он осторожно собрал щепотку серой пыли с пола и положил в конверт»¹.

Эта тщательно собранная щепотка пыли стала одним из первых действий «научной полиции», зафиксированных в детективном рассказе.

Таков Шерлок Холмс: лучше химика разбирается в ядах, но ничего не понимает в литературе. С одного взгляда, как геолог, распознает свойства земли, но не в состоянии отличить премьер-министра от лидера оппозиции. Прекрасно играет на скрипке и ничего не смыслит в садоводстве. И если все это не играло большой роли для континентального европейца, то для англичанина, особенно тех лет, было существенным изъяном.

О себе самом и о своем методе Холмс высказывается следующим образом:

«Вы знаете мой метод — он основан на внимании к мелочам».

В том числе и поэтому — чтобы привлечь внимание к мелочам — гениальный детектив сам написал несколько сто-

¹ Конан Дойл А. Этюд в багровых тонах. Перевод Н. Трениной.

ящих специализированных монографий. Одна из них, к примеру, называется «О различии между пеплом разных сортов табака». В ней описываются и приводятся иллюстрации ста сорока сортов сигарного, сигаретного и трубочного табака с перечислением пепла, который каждый из них оставляет. Сумасшедшая, прямо скажем, работа. Холмс оправдывает ее маниакальной важностью деталей — основой собственного успеха:

«Для опытного глаза разница между черным пеплом трихинопольского табака и белыми хлопьями „птичьего глаза“ так же велика, как между картошкой и капустой».

В другой раз Холмс сообщает, что каталогизировал «семьдесят пять типов запаха, которые эксперт-криминалист должен уметь отличать один от другого». Он не без гордости заявляет, что ему известны «сорок два отпечатка шин». И еще: «Я серьезно подумываю написать небольшую монографию о пользе собак в сыскной работе... Видели вы когда-нибудь игривого пса в мрачном семействе или понурого — в счастливом? У злобных людей злые собаки, опасен хозяин — опасен и пес».

То, что Холмс называет вниманием к мелочам, привлекает наше любопытство к одной характерной черте времени. Карло Гинзбург в своей заслуженно ставшей известной работе «Приметы: уликовая парадигма и ее корни» проводит параллель между историком искусства Джованни Морелли (1816—1891) и Шерлоком Холмсом. Каким же образом мы можем говорить о столь разных дисциплинах и сравнивать реально существовавшего человека с вымышленным героем? Морелли разработал собственный метод атрибуции полотен старых мастеров, утверждая, что не следует брать за основу, как это обычно делается, наиболее броские и потому воспроизводимые в первую очередь особенности полотен: устремленные к небу глаза персонажей Перуджино, улыбку моделей Леонардо или задрапированные фигуры у Тициана и т. д. Следует, наоборот, изучать второстепенные детали: мочки ушей, ногти, форму пальцев рук и ног. Подобные детали, аргументировал

Морелли, писались быстро и бесконтрольно, а следовательно, именно в них легче обнаруживается художник: «Личность следует искать там, где личное усилие наименее интенсивно».

Гинзбург отмечает: «Знатор искусства уподобляется детективу, выявляющему автора преступления (полотна) на основании мельчайших улик, незаметных для большинства».

Поразмыслив (что и было сделано) над этой удивительной схожестью методов, можно обнаружить, что и Фрейд, который как раз в те годы работал над своей теорией, закладывает основы психоаналитического метода по аналогичной схеме: дать пациенту выговориться ассоциативно, не перебивая его, разместив в удобной позе, позволяющей расслабиться физически, — для того, чтобы среди потока сознания разглядеть произвольно возникший просвет, через который врач сможет заглянуть глубже.

Известно, что Фрейд, теории которого становятся известными после 1895 года, проявил перед одним из пациентов («человеком-волком») свой интерес к приключениям Шерлока Холмса. О Морелли же он сказал следующее: «Уверен, его метод роднится с техникой медицинского психоанализа».

Чем же объяснить эту удивительную методологическую близость? Разумеется, влиянием времени. Наука внушает страх, но вместе с тем и заряжает энтузиазмом, как это происходит и сейчас. Начиная с середины XIX века, она становится неотъемлемой частью английской и европейской мысли. Дает о себе знать и увлечение позитивизмом, вера в то, что правильно примененный разум может решить или хотя бы облегчить мировые проблемы. Частично это произошло, даже если старые проблемы подменились новыми. Но есть и более определенные причины. Фрейд был врачом; Морелли окончил медицинский факультет; Конан Дойл работал врачом, пока не посвятил себя окончательно литературе. По мнению Карло Гинзбурга, во всех трех случаях явственно просматривается модель «медицинской семиотики» — дисциплины, которая позволяет, опираясь на поверхностные симптомы, диагностировать болезни, недоступные для прямого наблю-

дения. И не случайно конечно же, что помощник и биограф Холмса тоже был именно врачом. Правда, врачом скромных способностей — как заметил ему Холмс, «вы — лишь врач общего профиля с ограниченным опытом и посредственными оценками».

Эпоху, в которую живет и работает наш гениальный детектив, характеризует крайне противоречивое отношение к науке: смесь очарования и смятения, влечения и отторжения, — которое мы наблюдали в предыдущих разделах и которое касается всех новых открытий, включая изучение человеческих патологий, физических и ментальных. Наука, понимаемая как рациональное постижение мира, становится необходимой основой любого знания. Все, что не поддается здравому объяснению, причисляется к области суеверий отжившего прошлого, от которого технологические завоевания удаляются с бешеной скоростью.

Зло тоже приобретает научный облик. Доказательством этому является внешний вид смертельного врага Холмса — угрюмого (что проистекает из самого имени) профессора Мориарти:

«Он очень тощ и высок. Лоб у него большой, выпуклый и белый. Глубоко запавшие глаза. Лицо гладко выбритое, бледное, аскетическое, чем-то напоминающее профессора. Плечи сутулые — должно быть, от постоянного сидения за письменным столом, — а голова выдается вперед и медленно, по-змеиному, раскачивается из стороны в сторону»¹.

Холмс верил в наследственность Зла и именно в отношении Мориарти сказал однажды, что свой криминальный уклон тот, должно быть, унаследовал по крови. Из рассказа «Последнее дело Холмса»:

«Есть деревья, которые вырастают до определенной высоты, а потом вдруг в них развивается некий губительный изъян.

¹ Конан Дойл А. Последнее дело Холмса. Перевод Д. Лившиц.

То же часто происходит и с людьми. По моей теории, человек выражает в своем развитии наследие предков».

Вопрос соотношения наследственных и приобретенных факторов в формировании характера индивида и сегодня до конца не решен. Несмотря на это, все же среди генетиков преобладает мнение, что наклонности человека не могут приписываться исключительно наследственности, как верил Холмс.

Наш детектив и сам пользуется медицинскими методами и демонстрирует почти научную рациональность, к которой не брезгует добавить элемент искусства и магии. Театральность, с какой он представляет свои логические умозаключения, напоминает театральность врачей, пытающихся поразить своих пациентов, магов и прорицателей.

Всем известно, что прототипом Холмса был учитель Конан Дойла, профессор Джозеф Белл из Королевского госпиталя Эдинбурга. Несколько раз писатель повторяет, что если бы старина Белл стал не врачом, а полицейским, то «превратил бы эту профессию, очаровательную, но дезорганизованную, в подобие точной науки». Сам Белл подчеркивал, что «распознавание болезни основывается в большой степени на быстрой и тщательной оценке мелких деталей, которыми, собственно, болезнь и отличается от здоровья. Врач должен уметь их замечать. Так что Холмс, в своем роде, врач в обществе, в котором преступление — это болезнь».

Наблюдать, доискиваться, то есть уметь разглядеть суть там, где невнимательный глаз ничего не различает или, в крайнем случае, видит лишь невыразительную поверхность вещей. «Мир полон очевидных вещей, которые никто, ни при каких обстоятельствах не может разглядеть», — утверждает Холмс, оставаясь внимательным и к так называемым «негативным очевидностям», или, другими словами, отсутствию того, что должно было существовать. В рассказе «Серебряный» есть диалог Холмса с инспектором Грегсоном, который спрашивает: «На что, по-вашему, надо еще обратить внимание?» — «На любопытный ночной эпизод с собакой». — «Но

собака же не подала ни звука в ту ночь». — «Это-то и заслуживает внимания», — отвечает Шерлок Холмс. Исключительность — практически всегда улика. Холмс уверен, что заурядное преступление, совершенное в самом обычном месте, раскрыть гораздо сложнее.

В свое время Умберто Эко и Томас А. Сибеек представили трехстороннее сравнение Холмса, Огюста Дюпена и великого американского логика Чарлза Сандерса Пирса (1839—1914), основоположника прагматизма и семиотики, науки о знаках¹. Пирс полагал, что часто люди чувствуют правду, «даже не имея конкретных ее подтверждений». Пирс, без сомнения, был любителем детективных рассказов, хотя нет доказательств того, что он читал произведения Конан Дойла. Зато известно, что он знал и любил рассказы Эдгара По, особенно «Убийство на улице Морг», где главный герой Огюст Дюпен сообщает: «Мне кажется, что эта загадка считается неразрешимой на том же основании, которое может заставить думать о ней как о легко решаемой». Пирс замечает: «Проблемы, которые на первый взгляд кажутся абсолютно неразрешимыми, получают при тех же условиях ключи, которые лучше всего подходят для их решения».

Наука? Способность логически мыслить? Интуиция? Везение? С помощью каких ключей Холмс испытывает свои способности? Без сомнения, он чемпион дедукции. Очевидно также, что, как многие профессионалы, он часто полагается и на свою интуицию. Дар, который можно определить как «инстинкт догадки».

Когда Холмс занят расследованием, он настолько сконцентрирован на работе, что даже меняется внешне. Доктор Ватсон в «Тайне Боскомской долины» описывает его так:

«Шерлок Холмс весь преображался, когда шел по горячему следу. Люди, знающие бесстрастного мыслителя с Бейкер-стрит, ни за что не узнали бы его в этот момент. Он мрачнел,

¹ Знак трех: Дюпен, Холмс, Пирс. — Блумингтон, 1983.

лицо его покрывалось румянцем, брови вытягивались в две жесткие черные линии, из-под них стальным блеском сверкали глаза. Голова его опускалась, плечи сутулились, губы плотно сжимались, на мускулистой шее надувались вены. Его ноздри расширялись, как у охотника, захваченного азартом преследования. Он настолько был поглощен стоящей перед ним задачей, что на вопросы, обращенные к нему, или вовсе ничего не отвечал, или нетерпеливо огрызнулся в ответ¹.

Многие разглядывают в этой почти карикатурной трансформации ищейку, оскалившуюся легавую, готовую схватить свою добычу. Именно так Холмс аккумулирует все свои способности для наблюдения и дедукции.

Еще одна черта Холмса — это способность перевоплощения. Много раз в ходе своих приключений наш герой меняет внешний облик: стареет, начинает заикаться, становится ниже, до неузнаваемости изменяет черты лица, очень правдоподобно изображает смертельно больного. Раскрыв дело, он смывает грим и объясняет Ватсону, как он это делает:

«Вазелин на лбу, белладонна, впрыснутая в глаза, румяна на скулах и пленки из воска на губах — все это производит вполне удовлетворительный эффект. Симуляция болезней — это тема, которой я думаю посвятить одну из своих монографий»².

В другой раз он доходит почти до раздвоения личности. Ватсон и Холмс сидят в засаде в заброшенном здании напротив их дома. Оттуда они следят за окнами собственного кабинета, так как подозревают покушение на Холмса. Вот что рассказывает Ватсон:

«Я посмотрел на знакомое окно, и у меня вырвался возглас изумления... тень человека, сидевшего в кресле в глубине

¹ Конан Дойл А. Тайна Боскомской долины. Перевод М. Бессараб.

² Конан Дойл А. Шерлок Холмс при смерти. Перевод В. Штенгеля.

комнаты, отчетливо выделялась на светлом фоне окна... Это была точная копия Холмса. Я был так поражен, что невольно протянул руку, желая убедиться, действительно ли сам он стоит здесь, рядом со мной. Холмс трясся от беззвучного смеха»¹.

Рассказы Конан Дойла отличаются почти полным отсутствием элементов, внушающих ужас. Писатель ведет себя как По, который практически разделил «ужастики» и рациональные рассказы, где главным героем выступает Огюст Дюпен. Исключением является рассказ «Низвержение в Мальстрём», в котором два эти элемента сочетаются.

Кроме канонических рассказов о Холмсе, Конан Дойл писал также рассказы, в которых появляются призраки, монстры, существа со сверхчеловеческими возможностями, то есть играл со сферой сверхъестественного или относящегося к умственным патологиям. Писатель так увлекся оккультизмом, что даже стал последователем некой спиритуальной доктрины и верил, уже в старческом возрасте, что может общаться с умершими. Детективный рассказ и рассказ ужасов — два совершенно разных жанра; и лучше, чтобы таковыми они и оставались.

В заключение хочу привести еще один пример неожиданных корней аналитического метода Холмса. Этот эпизод описан Томасом Де Куинси в коротеньком эссе с ироничным названием «Убийство как одно из изящных искусств». Де Куинси (1785—1859) всю жизнь питал нездоровый интерес к криминальным историям, был ими околдован и знал, как впоследствии Достоевский, все об убийстве, его ужасе и священном озарении. Слегка затуманенным взглядом «англичина, употребляющего опиум»², Де Куинси созерцает вторжение Зла на мировую сцену и ужасается, пока его не поражает одна парадоксальная мысль, вследствие чего он начинает не-

¹ Конан Дойл А. Пустой дом. Перевод Д. Лившиц.

² Название его автобиографического произведения. — Примеч. пер.

произвольно различать в ужасе элементы черного юмора. В подобном настроении писатель выделяет у Шекспира одну сцену, достойную самого настоящего детективного романа. Речь идет о второй части «Генриха VI» (акт III), где герцог Глостер, любящий дядя простоватого и слабоумного короля, найден в постели мертвым. Вспыхивает спор: разбившиеся на два лагеря, придворные пытаются разобраться, был ли герцог убит или умер собственной смертью. Граф Уорик придерживается версии убийства. Вот как он иллюстрирует чудовищные изменения, произошедшие в облике герцога после кончины:

Его ж лицо, смотри, черно от крови,
Глаза раскрыты шире, чем при жизни,
Как у задушенного, смотрят жутко.
Раздуты ноздри, дыбом волосы,
А руки врозь раскинуты, как будто
За жизнь боролся он, и сломлен был.
Смотри, пристали волосы к подушке,
Окладистая борода измята,
Как рожь, прибитая жестокой бурей.
Что он убит — не может быть сомненья:
Здесь каждый признак — тяжкая улика¹.

Попытка определить разницу между естественной смертью и насильственной приводит Уорика к логическим заключениям, столь точным с анатомической точки зрения, что они могли бы прекрасно фигурировать в отчете современного судебного врача.

Шестого мая 1891 года «Journal de Geneve» публикует заметку о смерти Шерлока Холмса, перепечатанную уже на следующий день всеми английскими газетами. Великий сыщик погиб в схватке с главой лондонского преступного мира, профессором Мориарти, у Рейхенбахского водопада в Швейцарии.

¹ Перевод Е. Бируковой.

рии. Эта новость расстроила читателей, привыкших и любивших ежемесячные отчеты о приключениях Холмса в «Стрэнде». Конан Дойл же уже начал испытывать к своему детективу «чувства, схожие с тем, что испытывают к печеночному паштету те, у кого от него изжога». Несколько лет он отказывался писать новые рассказы.

В августе 1901 года он наконец частично сдается. Новая серия — «Собака Баскервилей» — представляет собой воспоминания доктора Ватсона, но не возвращение знаменитого сыщика. Только в октябре 1903 года Холмс воскресает по-настоящему. Точнее, он возвращается из длительного путешествия: «Два года пропутешествовал по Тибету, посетил из любопытства Лхасу и провел несколько дней у далай-ламы». Более подробной информации об этой поездке в канонических рассказах, изданных Конан Дойлом, нет. Один тибетский писатель, Джамьянг Норбу, попытался заполнить нехватку информации в своей книге «Мандала Шерлока Холмса» — отчете от первого лица о годах, отсутствующих в официальной биографии сыщика. Такова сила мифа, подхваченного многочисленными апокрифическими романами и фильмами о Шерлоке Холмсе, выходившими в течение всего XX века.

В конце настоящей главы скрепя сердце мне придется оставить консультанта-детектива. В сложной английской душе, не лишенной, разумеется, неприятных аспектов, он воплощает лучшую ее сторону. Профессионализм, а также спокойствие, четкая жизненная позиция и сформировавшееся мировоззрение, человеколюбие... В Холмсе меня привлекают загадочная меланхолия, гордость, умеренная сознанием того, что человеческая жизнь ничтожна: «И это ли не патетическая и ничтожная жизнь? Мы цепляемся за нее. И что нам, в конце концов, остается? Тень или того хуже — нищета». Какой урок всем тем, кто не к месту делает из собственных способностей предмет огромной гордости! К ним направлено еще одно наставление Холмса: «От гротескного до ужасного — один лишь шаг». Есть в нем и горькое осознание жизненных правил, когда он утверждает, что «важно не то, что мы делаем в жизни, а вера в то, что сделали».

Холмс кружит по переулкам Лондона, стараясь видеть в темноте, ожидая обнаружить за каждым углом какую-нибудь персонификацию Зла и страдания. В зрелом возрасте он уезжает в Суссекс, на юг Англии, где занимается разведением пчел и дышит свежим деревенским воздухом. По мнению современной американской писательницы, одной из множества, сочинивших о нем книги или снявших фильм, Холмс должен встретить женщину своей жизни, некую Мэри Раселл, и жениться на ней.

Я же считаю это неосуществимым. Пребывание в деревне могло ослабить его печаль, но беспокойный человек не меняет свой темперамент от местонахождения. Еще труднее представить, чтобы Холмс мог подпасть под лицемерное сельское очарование. «Мой опыт говорит мне, что самый нищий лондонский двор не поведает более страшную хронику грехов, чем эта веселая и радостная деревня».

«Элементарно, Ватсон!» Можно было бы завершить главу этой фразой, если бы Шерлок Холмс хоть раз произнес ее.

VIII

КОРСАРЫ. ПИРАТЫ.
БУКАНИРЫ

Самый любопытный лондонский музей представляет собой корабль. Это настоящий легкий боевой крейсер, прекрасное горделивое судно, стоящее на якоре близ Лондонского моста, напротив Тауэра. Имя ему — *HMS «Белфаст»*. Три первые буквы означают *Her Majesty's Ship* — Король Ее Королевского Величества. Девиз команды: «*Pro tanto quid retribuamus*» — «Мы должны отплатить за многое». С характерным для англичан вниманием к прошлому крейсер сохранили в том виде, в каком он закончил службу в 1965 году.

Внутри с помощью фигур в натуральную величину воссоздан ряд сцен, воспроизводящих жизнь на борту.

В камбузах коки готовят дневной рацион (пища тогда была, по общему признанию, однообразной и неудобоваримой, зато обильной); в прачечных отсеках китайцы загружают громадные стиральные машины; на капитанском мостике происходит драматический диалог (прокручивается запись) между капитаном, штурманами и командирами орудийных расчетов, как будто корабль попал в зону вражеского обстрела.

В одном из помещений рядом с камбузом слышны кошачья возня и отчаянный писк (также в записи) — это корабельный кот поймал свою жертву.

Спускаемся на нижнюю палубу. Здесь, в операционной, хирурги борются за жизнь раненого (на столике перед ними скальпели, зажимы и прочее). В воздухе улавливается легкий запах эфира. В другом отсеке дантист сверлит зуб моряку.

Проходим дальше. Там и сям развешаны гамаки: на вентиляционных трубах, в хранилище торпед, над столами в столовой и даже в артиллерийских рубках. В некоторых местах, чтобы залезть в гамак, надо проделать поистине акробатический трюк.

Жесткая дисциплина на корабле напоминала времена Нельсона: об этом свидетельствуют отсеки для наказания. Капитан мог держать взаперти провинившегося вплоть до двух недель. Среди самых жестоких проступков — сон или пьянство во время несения вахты. Суровейшие условия жизни сплавивали моряков (всего на борту было 950 офицеров и матросов).

Капитанская каюта отличается аскетической скромностью.

В годы Второй мировой войны «Белфаст» нес патрульную и разведывательную службу в Атлантике, конвоировал караваны с военными грузами; затем, после ремонтных работ, успел поучаствовать в Корейской войне.

Крейсер, довольно быстрое судно по тем временам, развивал скорость до 32, 5 узла в час, потребляя при этом 26 тонн горючего.

Британия — морская страна, но в организации морского дела проявляла некоторую консервативность. К 1938 году (в этом году «Белфаст» был спущен на воду со стапелей верфи «Harland & Wolff») в жизни матросов почти ничего не изменилось со времен адмирала Нельсона. Английские моряки начинали службу с восемнадцати лет, срок службы равнялся двенадцати годам; платили ничтожно мало — чуть больше фунта стерлингов в неделю. Помимо низкого заработка моряк имел

право на надбавку в размере двенадцати шиллингов и шести пенсов за каждого сына. Когда моряк был в плавании, его семье каждую неделю выплачивали по восемнадцать шиллингов (из заработка).

Лондон невозможно понять вне связи с великой рекой, несущей свои воды к Северному морю. Ширина Темзы в черте города достигает двухсот пятидесяти метров. Стоит сесть на автобус и доехать до Гринвича, где находится Национальный морской музей. Гринвич вообще удивительное место. Там находилась одна из любимых резиденций Генриха VIII, в которой, кстати, родилась Елизавета I. В 1675 году Карл II Стюарт основал здесь Королевскую обсерваторию с целью вычисления координат, нужных для мореплавания. В 1884 году нулевой Гринвичский меридиан был принят за начальный для отсчета долгот и исчисления поясного времени. В Гринвиче возвышается так называемый Куинс Хаус (Queen's House, 1616—1635), изящное творение архитектора Иниго Джонса. Но прежде всего там можно насладиться видом парусника «Катти Сарк».

Этот знаменитый чайный клипер имеет любопытную историю и еще более курьезное название, поскольку «Катти Сарк» означает «Короткая рубашка» (Cutty Sark). Возможно, на выбор названия повлияла легенда, изложенная в балладе «Тэм О'Шентер» Роберта Бёрнса (1759—1796).

Тэму, пьянчуге-крестьянину, однажды ночью пересекавшему болота верхом на кобыле, помешались ведьмы, танцующие под музыку самого Сатаны внутри церкви. Тэм в страхе устремился прочь, но молодая ведьмочка Нэнни в коротенькой рубашонке побежала вдогонку и схватила кобылу по имени Мэгги за хвост. Хвост так и остается в ее руке, а Тэму вроде бы удалось спастись.

Одноименный клипер (65 метров в длину, грузоподъемность 960 тонн, с мощной системой парусов общей площадью до четырех тысяч квадратных метров) был спущен на воду

в 1869 году. В начале своей полной приключений жизни судно предназначалось для перевозки чая из Китая (считалось, что железо вредит аромату чайных листьев, поэтому предпочтение отдавалось деревянным парусникам). От Шанхая до Ла-Манша, огибая мыс Доброй Надежды, можно было добраться за сто двадцать дней. Однако с открытием Суэцкого канала (в тот же год) маршрут значительно сократился. На смену парусникам пришли пароходы, рейсы стали регулярными, поставки — надежными, расценки подешевели.

И все же красавица «Катти Сарк» не осталась без дела — теперь в ее трюмах перевозили шерсть из Австралии. Из Нью-касла (на юге Нового Уэльса) до Ла-Манша — восемьдесят два дня пути. Неплохо, но... Ближе к концу века стало ясно, что корабль с подобной грузоподъемностью, сколь бы быстрым он ни был, особой прибыли не принесет.

Теперь клипер встречает гостей Гринвича. Он, как и раньше, прекрасен и по-прежнему воплощает британскую предприимчивость на морях.

Но вопрос вот в чем: о какой предприимчивости идет речь? Как англичане завоевали успех в море? Рассказ об этом полон головокружительных поворотов и затрагивает судьбы выдающихся людей своего времени, людей, творивших историю, зачастую перекраивающих границы мира. Прочитайте еще раз название главы: «Корсары, пираты, буканиры». Именно о них я и хочу поговорить.

Корсар (или капер) строго говоря, являлся капитаном корабля; от государства он получал «каперское свидетельство» (лицензию) с полномочиями атаковать неприятельские суда, а также суда нейтральных стран, если те занимались перевозкой грузов для государства-противника. По сути, капер командовал военным судном, укомплектованным на частные средства.

Корабли, оснащенные пушками, бороздили моря в погоне за «легальной» трофейной добычей — в военный период. В мирный же владельцы ограбленных судов могли справедливо возмутиться и предъявить иск государству, под чьим фла-

гом шел каперский корабль. Поэтому каперы обязаны были вносить залог в государственную казну на случай убытков. Корабли в море подвергались «досмотру» по определенным правилам (которые часто нарушались). Захваченное судно приводилось в порт государства, выдавшего каперское свидетельство, и специальная комиссия производила разбирательство законности действий капера. Если каперского свидетельства у капитана не было, его считали корсаром — пиратом.

Всякое действие, как известно, имеет противодействие. Купцы, перевозившие товары, могли получить так называемую лицензию на репрессалию, разрешавшую возмещать убытки, понесенные по вине пиратов. Другими словами, держатель сей бумаги был уполномочен обворовывать тех, кем он в свое время был ограблен.

На подобных тонкостях и двусмысленных основах жила в те времена регламент, сегодня именуемый международным правом. Но в конце XVI века о нем и понятия не имели. Помимо действующих законов, отсутствовала сама идея военного флота, то есть комплекса вооруженных государством судов, с обученным экипажем, выполняющим задачи защиты или нападения. Исключение составляла Венеция, и в этом деле стоявшая в авангарде Европы.

Выдача полномочия на «войну преследования», по сути, означала возложение на частных лиц задач агрессии, лишь со временем ставших прерогативой государства. И действительно, английский термин, соответствующий каперу или каперскому (корсарскому) кораблю, — *privateer*. Как видим, на первое место выходит понятие частной собственности.

Уже сама по себе запутанная ситуация становилась и вовсе проблематичной, если представить, что суда, груженные товаром, заведя на горизонте незнакомый корабль, старались поднять флаг по ситуации, а не свой собственный, моля Бога, чтобы Всевышний подсказал принадлежность встречного судна. Изредка, правда, каперы уважительно пропускали суда, курсирующие под нейтральными флагами и уж тем более под флагами дружественных стран. Но чаще, заметив судно,

похожее на торговое (а вдруг там золото или драгоценные камни?), каперы сразу шли на abordaj, превращаясь из каперов — в корсаров, или пиратов, то бишь в обыкновенных в морских грабителей.

Слово «буканир»¹ имеет иное происхождение. Изначально его употребляли по отношению к беглецам-оборванцам, которые собирались в банды и промышляли охотой на диких коров и свиней на Антильских островах, в особенности на Эспаньоле (ныне Гаити). Эти охотники имели обыкновение готовить свою добычу на углях или на огне. *Boucaner* по-французски как раз и означает «коптить мясо», а *boucanée* — мясо, приготовленное на углях. Со временем термин обрел свои границы и начал относиться непосредственно к антильским пиратам. (В своих жизнерадостных полуанархических общинах они использовали копчение для консервации припасов.) Таковы корни экзотического понятия «буканир».

История названия «флибустьер» намного проще, хотя и вызывает больше памятных образов и литературных ассоциаций. На фламандском наречии *vrjbuiter* — человек, собирающий трофеи, а по сути — мошенник и авантюрист. Флибустьеры стекались со всех концов Европы: из Гаскони, Фландрии, Нормандии, направляясь к своей главной цели — островку Тортуге в Карибском море. Там зародилось своеобразное общество, получившее название «береговое братство». Картина деяний флибустьеров, часто основанная на выдумке, дает пищу для наиболее популярных эпопей и по сей день.

Великобритания обрела господство на морях в первую очередь благодаря всем этим людям. Естественно, у истоков стоит самый ловкий, самый смелый и удачливый из всех — Фрэнсис Дрейк.

Он родился около 1540 года в миле от Тавистока, в графстве Девоншир, недалеко от Плимута. Происхождение более чем скромное — из семьи крестьян, несмотря на то что отец

¹ Искаженное английское от фр. *буканьер*.

Фрэнсиса, Эдмунд, тип взбалмошный и склонный к поножовщине, вероятно, был сельским священником и главой прихода. Сан, однако, не помешал ему *настрогать* около дюжины детей в нагрузку несчастной жене. В какой-то момент, то ли из-за охоты к перемене мест, то ли по зову службы, Эдмунд оставил дом и семью. Его старший сын Фрэнсис, чтобы не быть обузой, поступил пажом к богатому родственнику Хокинсу.

Мы располагаем довольно интересным описанием уже знаменитого Дрейка, принадлежащим перу испанца дона Франсиско де Зарате, капитана корабля:

«Английский генерал — племянник Джона Хокинса. Он же пять лет назад ограбил порт Номбре-ди-Диос. Зовут его Фрэнсис Дрейк (*sic!*). Это мужчина примерно тридцати пяти лет, низкого роста, со светлой бородой, и он же — самый великий моряк из когда-либо бороздивших моря в качестве матроса или капитана. Он командует четырехсоттонным галеоном великолепной маневренности. В экипаже числится около ста человек с огромным опытом мореплавателей... каждый из которых содержит собственную аркебузу в чистейшем состоянии. Капитан относится к подчиненным с большой привязанностью, а команда глубоко уважает его. Рядом с ним всегда находятся девять-десять джентльменов, кадетов из лучших семей Англии, составляющих его военный совет, созывающийся, однако, по любому поводу, в частности по незначительным причинам. Но, по правде говоря, он не считается ни с чьим мнением. Ему нравится быть в центре внимания и слушать их с прилежанием. Затем он командует, и прочие ему подчиняются».

То была эпоха, когда торговля, или, точнее сказать, эксплуатация новых колониальных территорий (ныне известных как Вест-Индия, или Западная Индия), бурно развивалась. Поскольку в части колонизации доминировала Испания, Англия (вместе с Голландией и Францией) включилась в борьбу.

Несмотря на то что в 1571 году Томас Грешем основал Лондонскую биржу, традиционным товаром острова оставалась шерсть. Ее экспортировали в необработанном виде и доводили до ума за рубежом.

Совсем другими были доходы Испании. Историк экономики Карло Чиполла взялся подсчитать «карманные деньги» конкистадоров. В течение XVI века Испания получила от колоний более 16 тысяч тонн серебра, в следующем столетии — 26 тысяч, в XVIII веке — более 39 тысяч. Это море серебра обеспечило всему Старому Свету колоссальную свободу и дало столь мощный импульс к развитию экономики, что, вероятно, теми годами стоит датировать рождение крупной межконтинентальной торговли.

Между 1519 и 1533 годами испанская колониальная империя достигла размеров, каких доселе не достигало ни одно государство в истории. Благодаря двум великим событиям: завоеванию Мексики Эрнаном Кортесом и разгрому империи инков под предводительством Франсиско Писарро.

Когда Писарро оккупировал город Куско, он приказал выкрасть из храма семьсот золотых пластин, в Боготе в слитки превратились искусно украшенные золотые врата другого храма. Став инженерами горной промышленности, испанцы начали разрабатывать (между 1545 и 1562 годами) некоторые богатейшие месторождения серебра.

Целые реки серебра и золота стекались в порты. Богатство грузилось на корабли и под надзором нескольких вооруженных галеонов отправлялось в Испанию. Но и к завоевываемым землям торговые суда не шли пустыми. Нам известно, к примеру, что в 1594 году купец Гаспар Гонсалес погрузил на свое судно ложки, канделябры, снасти, бритвы, кожи, ожерелья из стекла, ткани, рубашки, голландский холст, фландрские гобелены, тесьму, носовые платки, ковры, тафту, медные светильники и прочее.

Из колоний везли кошениль или индиго, лекарственные растения, вроде сассапарили, канафистолы и ликвидамбара (амбровое дерево), которое, как считалось, помогало против

сифилиса и, естественно, было востребовано в Европе. К тому же на корабли грузили специи, сахар, табак, какао и, наконец, китайский шелк, импортируемый из Филиппин через Акапулько. Но самыми ценными товарами, разумеется, были благородные металлы, жемчуг и драгоценные камни.

Антонио Домингес Ортис в книге о золотом веке Испании («*The Golden Age of Spain*») пишет:

«Сформировался особый вид монетарной кастильской империи, основанной на изобилии серебра и золота, получаемых государством из Индии, а также на великолепном качестве монетной чеканки, известной во всем мире. Эта денежная империя оказалась прочнее и долговечнее политической системы. Золотые дублоны и монеты с содержанием восьми частей серебра (называемые также дурос, песос и пиастры) принимались в любом конце мира и высоко котировались, как сегодня доллар и фунт стерлингов».

Однако английские моряки превзошли в ловкости испанцев. Карло Чиполла подсчитал, что за пятилетие, с 1587 по 1592 год, английские пираты перехватили более пятнадцати процентов золота, предназначавшегося для Севильи. И Фрэнсис Дрейк, конечно, сыграл в этом не последнюю роль.

Нам известно, что он взобрался на борт юнцом в качестве юнги, а впоследствии женился на некоей Мэри Ньюмен. Детей у них не было. В 1585 году Дрейк во второй раз женился на Элизабет Сайденхем, моложе его на двадцать лет, также без детей. К тому времени Дрейк уже разбогател и прославился, и супруги переселились в поместье Бакланд Эбби, приобретенное корсаром и ныне хранящее память о нем.

Интересно проследовать за Дрейком в некоторых из его самых рискованных приключений.

Двадцать четвертого мая 1572 года два его корабля (на семьдесят и пятьдесят тонн) снялись с якоря в Плимуте; экипаж составлял 73 человека, все поголовно моложе тридцати лет. Командование судами взяли на себя Фрэнсис и его брат

Джон. Через месяц корабли, подталкиваемые хулиганскими пассатами, достигли Антильских островов. Увидев обнадеживающую песчаную линию вдалеке, Дрейк направил к ней корабли. Команда наконец могла сойти на берег, выпить свежей воды, пополнить запасы мяса и зелени. Необычной целью экспедиции являлся Номбре-де-Диос, порт восточнее Панамы, где сосредотачивались сокровища перед отправкой в Испанию.

Хорошо продумав детали предстоящего нападения, Дрейк приказал снарядить две небольшие шлюпки. Под прикрытием темноты они проникли в испанский порт. Но там их обнаружили. Дрейк, однако, не растерялся. Он оставил двенадцать человек на страже шлюпок, а остальных поделил на две колонны, приказав двигаться в город.

Вскоре в руках англичан оказались береговые пушки, но испанцы уже подняли тревогу: слышатся крики и барабанная дробь, портовые колокола отчаянно звонят.

Ошибка испанцев состояла в том, что они, вероятно, приняли атакующих за чернокожих рабов *cimarrones*¹. Вооруженные мужчины сосредоточились в районе рыночной площади, где легче было устроить баррикады. Но Дрейк сумел предусмотреть такой поворот событий. Он повел своих людей в лобовую атаку, в то время как его брат ударил по испанцам с тыла.

Сообразив наконец, с кем имеют дело, испанцы пустились в бегство. Дрейк собрал своих людей в доме губернатора. В одной из комнат они нашли серебряные слитки, однако Дрейк приказал оставить их: нужно искать золото. Откуда ему было знать, что золото уже отправили морем в Севилью несколько недель назад...

В самый разгар грабежа к капитану подбежал запыхавшийся посыльный: испанцы обнаружили шлюпки, и надо отступать. Дрейка шатает, брючины его намокли от крови, в пылу борьбы он даже не заметил, что ранен. Капитана несут

¹ *Cimarrones* (maroons) — мароны, дикари. — Примеч. пер.

на руках, и в последнюю минуту команде Дрейка удается уйти.

Вы думаете, он отказался от своих планов? Нет, Дрейк никогда не отступал от своего. В Номбре-де-Диос к англичанам примкнул раб по имени Диего. Именно он подсказал дальнейший план действий: не следует атаковать порты — лучше нападать на караваны, перевозящие золото с западной оконечности Панамского перешейка. Хитрый Диего шепнул еще кое-что — англичан слишком мало для самостоятельных атак, а объединившись с маронами, они смогут добиться победы.

В феврале 1573 года Дрейк предпринимает новое наступление. Мы можем проследить буквально каждый его шаг, благодаря описаниям самого капитана и кое-кого из его команды, включенным в отчет.

Представьте длинную череду засад, набегов и затяжных ожиданий, комары и болота, девственные джунгли, длительные переходы, бессонные ночи... Один из самых волнующих моментов связан, тем не менее, с открытием совсем другого рода:

«На четвертый день мы поднялись на вершину большой горы: Педро взял нашего капитана за руку и попросил следовать за ним, чтобы показать что-то интересное. Он привел его к огромному дереву, в стволе которого были вырезаны ступени, ведущие к верхушке. Там, на смотровой площадке, могли спокойно уместиться десять или двенадцать человек. Педро взобрался туда с капитаном. Тот пребывал в глубоком потрясении, мы увидели, как он упал на колени, и услышали, как он молился вслух, прося Господа однажды ниспослать на него благодать и вывести английские суда в это море. Затем он знаком пригласил взойти и нас. Тогда мы увидели поразительное зрелище: вокруг нас простиралась заросли, подобно зеленому океану, теряясь на горизонте у моря, похожего на серебряную ленту. За нашей спиной лежал Атлантический океан, а перед нами, в закатном зареве, — Тихий. Ни один англичанин до нас его ни разу не видел...»

Однако корсары пришли сюда не за прекрасными видами, а за добычей. От маронов они узнали, что караваны с золотом выходят из Панамы после заката, чтобы пересечь жаркие прерии в ночную прохладу. Поклажу сопровождают солдаты — значит, время и место нападения надо выбирать внимательно.

После долгих дней пути, добравшись до атлантического берега, головорезы Дрейка переживают великий момент:

«К вечеру мы подошли к Номбре-де-Диос и остановились в предназначенном на выруб лесу примерно в миле от дороги. Там мы провели ночь при непрерывном стуке топоров и визге пил дровосеков, которые трудились над сооружением галеонов. Днем невыносимая жара мешала их работе. Когда первые лучи утра постепенно осветили путь, мы слышали вдалеке звон колокольчиков на упряжках мулов... От кромки леса мы могли обозреть всю дорогу. Три каравана, два — по пятьдесят мулов и один — из семидесяти, продвигались, нагруженные мешками и ящиками. Капитан приказал одновременно атаковать голову и хвост колонны. Так мы разделились и напали на начало и конец каравана. Животные в центре внезапно застыли, а затем растянулись на земле, согласно их инстинктам. Военный конвой из сорока пяти всадников предпринял попытку короткого противостояния, заряжая мушкеты... Мы тем временем бросились к самой крупной поклаже, разорвали мешки и вскрыли ящики с золотом, серебром и драгоценными камнями. Мы связали ветки и, соорудив носилки, собрали драгоценные камни в ящики, рассчитав, сколько каждый из нас сможет унести. Увы, этого было ничтожно мало по сравнению с тем, сколько мы вынуждены были оставить».

Окончив дело, Дрейк и его люди захватили один из кораблей и, подгоняемые ветром, взяли курс на Англию. Девятого августа 1573 года они вошли в Плимут. Вся экспедиция продолжилась пятнадцать месяцев.

По словам испанского посла, предъявившего жалобу английскому двору, трофеи Дрейка составили четверть миллиона песо, то есть около ста тысяч фунтов стерлингов. Из семидесяти трех членов команды вернулся тридцать один человек, — вполне сносно, принимая во внимание, что потеря половины состава считалась привычной для долгих морских путешествий.

Другая экспедиция состоялась через несколько лет и вписала имя Дрейка в историю географических открытий.

Даже план путешествия выявляет грандиозность замыслов капитана. Маленькая флотилия, по большей части оснащенная на средства королевы Елизаветы, отбыла из Плимута 13 декабря 1577 года. К Рождеству она уже была у берегов Марокко, где сделала кратковременную остановку. Затем корабли прошли вдоль берегов Африки (в трюм, безусловно, погрузили чернокожих рабов) и продолжили путь на юг. Десятого марта 1578 года флотилия достигла бразильянской Баии (ныне город Сальвадор).

Двадцать первого августа Дрейк направляет корабли в пролив длиной в пятьсот кошмарных километров, продуваемый изменчивыми ветрами, затрудняющими маневрирование; скалистые обрывы опасно близки и покрыты иглами льда, острыми, как ножи. Ранее только один человек смог преодолеть этот путь — португальский мореплаватель Фернан Магеллан, давший этому месту свое имя на карте.

Шестого сентября Дрейк выходит из пролива в океан. Архаичные карты, которыми он пользовался, ничем не могли ему помочь и только вносили путаницу в маршрут. Дрейк вынужден подолгу кружить, отчего экипаж теряет присутствие духа, прежде чем определиться с направлением, и все же к концу октября его корабли достигли западного побережья Южной Америки.

Пятого декабря 1578 года Дрейк достигает Вальпараисо, по пути разорив ряд испанских кораблей. Девятнадцатого января 1579 года корсар снимается с якоря в Баия-Салада и бе-

рет курс на север. Он продолжает лавировать, уклоняясь от испанцев, и ему удается избегать нежеланных встреч.

В конце августа Дрейк взял курс на Молуккские острова. Восьмого января 1580 года он появляется у острова Целебес, а через неделю добирается до Явы. Плавание продолжается. Дрейк обходит Индию и Аравийский полуостров. Как только он огибает мыс Доброй Надежды и начинает подниматься вдоль восточной оконечности Африки, настроение команды меняется — здесь моряки уже чувствуют себя как дома. В конце сентября 1580 года «Золотая лань» Дрейка вошла в порт Плимута.

Добыча этой экспедиции, длившейся почти три года, грандиозна: три миллиона дукатов, четыре тонны золота, алмазы, изумруды, рубины, жемчуг, ценные специи. Королева выгодно вложила свои средства.

Чтобы обмануть испанского посла, Елизавета приказала распространить слухи, что экспедиция якобы обернулась провалом, а Дрейк вернулся с пустыми руками. Ввиду несостоятельности этой лжи с испанцами завязалась бесконечная тяжба. Английские дипломаты того времени предложили свою формулу: как только будет найдено хоть одно доказательство незаконного присвоения сокровищ командой Дрейка, государство немедленно возместит недостачу, но не ранее, чем самой Англии возместят ущерб, причиненный испанцами в католической Ирландии. Филипп II мог бы возразить, что Англия поддерживала протестантскую революцию во Фландрии, но общая тактика была слишком прозрачна: Елизавета желает досадить католическому монарху. И это ей удалось. Что же до Дрейка, то королева снизошла до восшествия на борт его корабля, чтобы сообщить приятную новость: капитану присваивается титул баронета — теперь он сэр Фрэнсис Дрейк.

Последнее предприятие Дрейка, достойное, среди прочего, нашего внимания, — его вклад в уничтожение «Непобедимой армады», чьими силами Филипп II попытался вторгнуться в Англию в 1588 году. Целью испанцев являлось возобновление

контроля над морскими путями, который постепенно отбирали англичане. Исход этой кампании ужасен, ибо английский флот был оснащен гораздо лучше испанского и имел тактическое преимущество, а корабельные команды, благодаря муштре офицеров, отличались завидными умениями. Испанцы все еще традиционно атаковали корабли путем abordaja, а англичане делали ставку на артиллерию, что давало преимущество в сражениях на расстоянии. И вдобавок ко всему, корабли армады разметала страшная буря.

В 1596 году не достигший шестидесятилетия сэр Фрэнсис Дрейк подхватил у Антильских островов тропическую лихорадку. Эта коварная болезнь, отнимающая все силы, свалила большую часть его команды. *El Draque* — Дракон, как называли Дрейка испанцы, — метался в бреду в своей каюте. Двадцать седьмого января он уже был близок к смерти. Предчувствуя это, капитан продиктовал своему брату Томасу завещание, затем попросил молодого родственника Уильяма Уайтлока принести доспехи, изъявив желание «умереть как солдат». Уайтлок исполнил его волю и помог Дрейку облачиться в броню. Тот с трудом встал, сделал несколько шагов и упал замертво.

* * *

О приключениях корсаров рассказывают сотни романов и фильмов. К этой теме обращались великие писатели — Вашингтон Ирвинг, Эдгар Аллан По, Джеймс Фенимор Купер и, конечно, Роберт Льюис Стивенсон, с его незабвенным «Островом сокровищ». Эмилио Сальгари и Даниэль Дефо писали о суровых и храбрых пиратах-героях, о бурях и схватках на abordaj, о черном флаге с черепом и скрещенными костями под названием «Веселый Роджер», неизменном на мачте пиратского корабля. В литературе в красках рисуются картины пирушек на каком-нибудь тропическом побережье, ныне служащем фоном для рекламы массового туризма. Наконец, в XIX веке «пиратский» жанр влился в огромный поток романтических историй, окутанных притягательностью противоза-

кония: красавцы корсары, капитаны-авантюристы, бандиты со всего света... Все они отмечены любовью к приключениям, готовы порвать с рутинной и правилами здравого смысла, но при этом обладают щедростью, великодушны к слабым, с насмешкой относятся к власти имущим и, если можно так выразиться, в своем поведении обнаруживают зачатки «классовой борьбы».

А были ли на самом деле таковыми люди, какими их рисует легенда? Неоспоримо одно — каждый из них готов был оставить свое, пусть убогое, жилище, оставить жену и детей и примкнуть к предприятию с неясными сроками и еще более смутным исходом. Из путешествия по морям можно было вернуться через пару лет с богатой добычей, а можно — и с пустыми руками либо вообще не вернуться. В любом случае, подобный выбор предполагал сведение жизни к порой примитивным условиям братства, к неизбежному нарушению законов (только не действующих внутри братства), или, иначе говоря, к преступлениям.

Среди корсаров преобладали два типа людей: те, кто видел в пиратстве равное прочим средство для быстрого обогащения (получив свое, такие стремились поскорее вернуться домой и приобрести кусок земли, — подобная логика впоследствии будет срывать с мест миллионы иммигрантов), и те, кто воспринимал жизнь в море как бегство от тягот семейной кабалы, а то и просто от себя самих. Вторые не возвращались. В ближайшие к нам годы память о них возродится в мифе о странствующем легионе — *Légion Etrangère*.

Джеймс Босуэлл в биографии своего героя, прославленного доктора Сэмюэля Джонсона, приводит следующее высказывание:

«Ни один человек, умудрившийся угодить в тюрьму, никогда не станет моряком, поскольку жизнь на корабле уже означает тюремное заключение, вдобавок с риском утонуть... Узник тюрьмы имеет больше пространства, лучшую пищу и зачастую лучшую компанию».

Даниэль Дефо добавляет:

«Посылающий сына на заработки в море сделал бы более выгодный выбор, отправив его в помощники к палачу».

Жизнь на пиратском корабле была невероятно тяжелой, но на военном — еще сложнее. Наказания отличались крайней суровостью, на грани смерти. Ослушаться капитана было немыслимо, и в этом отношении пираты находились в лучших условиях. Капитаны пиратских кораблей также требовали безоговорочного подчинения, но в некоторых вопросах (в том числе и выбора наказаний) все же предпочитали советоваться с командой, по крайней мере с некоторыми ее членами. Опыт стариков ценился наравне с властью капитана.

О процедуре выбора капитана имеется отчет из «Всеобщей истории пиратов» Даниэля Дефо. Избранный эпизод касается капитана Норта:

«Церемония выбора капитана такова: команда доверяет командиру управление единогласно или большинством голосов, торжественно приносит ему шпагу, поздравляет и просит вступить в командование, будучи лучшим из всех. Его просят занять каюту-зал на корме, и, как только он принимает назначение, его с большими почестями сопровождают в зал и усаживают за стол с двумя стульями по торцам: один — для капитана, другой — для интенданта матросов. Когда оба садятся, интендант коротко докладывает капитану, что команда, испытав твердость его руководства и смелость решений, оказывает честь избрать его своим предводителем... затем берет у капитана шпагу и сжимает ее в руке со словами: „Вот — права, во имя которых вы должны действовать, да сопутствует вам и нам всем удача“».

Все члены команды априори соглашались с установкой «No prey, no pay» — «Нет добычи, нет оплаты». Существовали также четкие правила дележа награбленного. Прежде всего

подсчитывалась общая ценность трофея и из нее вычитались затраты на дорогу. Остаток делился по следующему принципу: капитану — тридцать пять долей, прочим высшим чинам — больше одной доли, матросам — одна целая доля, нанятым и юнгам — половина доли. Первый, заметивший добычу, имел право на особое вознаграждение в сто песо. Если кому-то удавалось утаить что-нибудь для себя, он терял право на участие в дележе. Свои права на долю утрачивал и тот, кто предательски не принимал участие в abordage или во время атаки был мертвецки пьян. В случае ранений существовала система компенсаций: потерянный глаз или конечность стоили шестьсот песо. Смерть на службе покрывалась сотней фунтов стерлингов, отсылаемых родным в любом случае.

Непослушание каралось телесными наказаниями, от карцера до бичевания провинившегося у мачты и протаскивания под килем. Не исключалось, разумеется, и повешение — за серьезные преступления — перед всей командой. Для бичевания использовался простой хлыст или так называемая «кошка-девятихвостка» (хлыст из девяти кожаных ремней со свинцовыми шариками на концах). Примечательно, что оружие обычно изготовлялось наказуемым. Серия точно направленных ударов оставляла глубокие раны; шрамы не проходили до конца жизни. Протаскивание под килем — еще одно изощренное наказание. Виновного бросали в море с одного борта и вылавливали с противоположного. От быстроты протяжки зависело состояние жертвы к концу экзекуции. При крайне медленных действиях матроса могли вытащить на борт уже мертвым.

Некоторые капитаны считали своим долгом выпустить правила поведения на корабле в письменном виде и требовали от вступивших на борт клятвы на Библии. Приведем лишь некоторые, дошедшие до нас:

виновный в краже высаживается на необитаемый остров с бутылкой воды, ружьем и несколькими пулями;

свечи и прочее освещение гасится строго после восьми часов вечера;

кто желает выпить после указанного часа — обязан делать это на открытом воздухе;

пистолеты, сабли и ружья необходимо держать в идеальной чистоте и готовыми к бою;

кто приведет на борт переодетую женщину, приговаривается к смертной казни;

аналогично караются бегство с места сражения и дезертирство.

Кубрики пиратских кораблей всегда были забиты до отказа. На каждый гамак или соломенный тюфяк приходилось по два человека и более. Матросы спали по очереди. Естественно, скученность способствовала распространению всевозможных болезней.

Во время плавания не занятые на вахте могли отдохнуть на нижней палубе, покуривая трубку или играя в кости. Шумная задиристость, как ни странно, поощрялась — капитаны скорее опасались напряженной тишины, возникающей вследствие долгого бездействия в замкнутом пространстве. Внезапные потасовки пресекались, только если они грозили членовредительством. В случае непрекращающихся разборок между двумя членами команды, случалось, обоих высаживали на каком-нибудь острове или давали возможность провести дуэль (на суше).

На пиратских кораблях не было униформы. Каждый одевался, как ему заблагорассудится, посему общий вид команды был довольно живописным. Одежда быстро изнашивалась вследствие воздействия соли и из-за тяжести работы. В тропиках к тому же ткани разлагала влага. Когда пиратам удавалось напасть на торговое судно с дорогими тканями, их медленно пускали на пошив камзолов и головных уборов.

В момент отплытия на судно грузилось «живое продовольствие»: коровы, свиньи, куры и гуси, которых постепенно забивали. О том, чтобы содержать животных в чистоте, никто не заботился, поэтому не трудно представить, какая вонь стояла на палубе, особенно в безветренную погоду. Когда кок яла на палубе, особенно в безветренную погоду. Когда кок ошипывал последнюю курицу, дневной рацион сводился к

тонкому ломтику солонины, сухарю, покрытому плесенью, и несколькими глоткам воды, в которой плавали личинки насекомых. Во время долгих плаваний пищевой рацион настолько оскудевал, что пойманные в трюмах мыши становились изысканным лакомством даже для офицеров.

Самыми частыми болезнями на кораблях были лихорадка, оспа, дизентерия и тиф. Почти поголовно матросы страдали цингой. Больные члены команды редко (почти никогда) получали медицинскую помощь. Черный флаг, «Веселый Роджер», изначально поднимался для сообщения о мертвеце на борту. Однако в большинстве случаев от умершего старались сразу избавиться — по гигиеническим причинам. Труп помещали в мешок, сшитый из парусины, в ноги закрепляли пушечное ядро и, после парочки коротких молитв за упокой души, усопшего бросали в морскую пучину.

Если пиратский корабль брал на борт невольников, то им доставались самые тяжелые и унижительные работы. Например, чтобы поддержать судно на плаву, когда в днище образовывалась пробоина, надо было выкачивать воду насосами (вручную, естественно). Занятие крайне изнурительное, если представить трюм, кишасый крысами, и понятное дело, что в трюм отправляли рабов. Еще одно унижительное занятие для рабов — охота на мышей, наводняющих корабли. А самое «почетное» — разжигать трубку «белому господину», даже если этот «господин» занимает последнее место в иерархии матросов.

На протяжении долгих месяцев плавания моряки вынуждены были сносить половое воздержание. Королевский флот строжайше карал мужеложство, а на пиратских судах, наоборот, царила определенная свобода в отношении гомосексуальных связей. Разумеется, если среди рабов оказывалась женщина — удовлетворять потребности команды приходилось ей.

Известно, что Фрэнсис Дрейк во время кругосветного плавания взял себе в любовницы красивую темнокожую девушку Марию. Однажды она забеременела, и Дрейк, не желавший

иметь незаконнорожденных детей, согласно одной из версий, отдал свою любовницу экипажу, призывая матросов воспользоваться удобным случаем. Есть и другая версия, не столь жестокая, а потому менее достоверная. Якобы Мария имела множество связей, и ярость Дрейка вытекала из замешательства по вопросу определения отцовства. В итоге раздраженный корсар распорядился высадить будущую мать с запасами необходимой утвари и двумя рабами на так называемом Крабовом острове в Филиппинском архипелаге.

Во время сражений лучшим оружием корсаров были отвага и опыт, особенно в момент настоящего испытания, то есть при abordage. Нужно было попасть на корабль противника, пользуясь баграми либо узкими и ненадежными веревочными лестницами, раскачивающимися под тяжестью тела в разные стороны. Во время атаки десятки людей дрались на теснейших пятачках. Огнестрельное оружие в основном использовали с высоты парусов, а в ближнем бою в ход шли ножи, крюки и булавы. Судьба победы или поражения решалась за секунды, результат мог зависеть от одного лишнего шага, от внезапного ранения, от ноги, застрявшей в пробоине... После схватки палуба была скользкой от крови, раненые кричали и стонали; самых тяжелых всегда приканчивали, чтобы избавить от страданий. Трупы выкидывали за борт, вслед за ними часто отправляли и пленников. Такие пираты, как Дрейк, позволявшие себе великодушие по отношению к пленным (это исторический факт), скорее исключение, чем правило. Самые ловкие из пиратских командиров, прежде чем идти на abordage, давали пару пушечных выстрелов по мачте атакуемого корабля. Лишенный мачты, корабль не мог маневрировать и становился легкой добычей.

Касательно жестокости тот же Даниэль Дефо в «Всеобщей истории пиратства» приводит следующий эпизод:

«В то же время другой негодяй, замахнувшись на пленника, ошибся с целью и со всего маху заехал в челюсть капитану Лоу, оказавшемуся в тот момент под рукой, обнажив тому все

зубы. Так называемый хирург немедленно зашил рану. Однако Лоу пожелал переделать операцию, и хирург, порядком набравшийся по своему обыкновению, ответил Лоу столь мощным ударом, что порвал все швы и посоветовал капитану самому подлатать челюсть и отправляться к дьяволу, посему Лоу некоторое время имел весьма жалкий вид».

О жестокости самого Эдварда Лоу Дефо повествует в другом эпизоде. Взяв корабль на abordаж, пират желает выяснить, где же скрыты сокровища:

«Лоу пытал многих членов команды, чтобы выяснить, где спрятаны деньги. Таким образом он узнал, что капитан во время преследования вывесил за окном своей кабины мешок с 11 тысячами песо. Когда же судно попало в плен, он обрезал веревку, и мешок угодил в море. Услышав, какая добыча упущена, Лоу разразился тысячью проклятий и приказал обрезать капитану губы и зажарить на его глазах. Затем он порешил капитана и всю команду, всего тридцать два человека».

Корабли пиратов, имея на борту от восьми до тридцати пушек, значительно уступали в оснащении галеонам. Пушки часто устанавливались на стационарные деревянные лафеты и потому могли стрелять только прямо перед собой. Классический маневр заключался в расположении корабля параллельно атакуемому судну — это давало возможность первым открыть бортовой огонь. После залпа важно было перестроиться под прикрытием дыма и повернуться к противнику противоположным бортом, ударив из пушек уже с другой стороны. Пушки часто заряжали сцепленными ядрами — то есть из одного ствола одновременно вылетали два ядра, связанные цепью; такой удар действовал разрушительно на мачты противника.

В большинстве случаев после описанного маневра корсарский корабль разворачивался носом к врагу, чем сводил до

минимума уязвимую для ответного огня поверхность. И вот наступает час abordаж...

Дефо и другие хронисты воспроизводят атаку прославленного пирата Эдварда Тича, шире известного как Черная Борода. Хронисты рассказывают, что Черная Борода «во время боевых действий оборачивал торс широким поясом с тремя парами пистолетов в кобурах, наподобие португези», кроме того, он скрывал под шляпой обрывки фитилей и, «зажигая их при атаке, являлся перед врагом окутанный облаком огня и дыма». «Глаза его горели гордым огнем, и все его существо производило столь сильное впечатление, что сложно описать адское пламя ярости в более жутких красках».

Однажды Черная Борода встретил в водах у берегов Виргинии корвет «Ренджер» под командованием наместника лейтенанта Майнарда. На первый взгляд судно казалось пустым, но это была ловушка — Майnard спрятал команду под палубой.

«Окутанный дымом из бутылки с зажигательной смесью, Черная Борода и четырнадцать его людей вскочили на борт, перескочив через нос корвета Майнарда, которого, правда, он не разглядел, пока дым не рассеялся. Но внезапно наместник дал знак своей команде, и все, как один, мгновенно вошли на палубу и атаковали пиратов с великой смелостью. Черная Борода и Майnard сразу выстрелили друг в друга. Пират оказался ранен. Они перешли на клинки и дрались до тех пор, пока, к несчастью, сабля Майнарда не переломилась. Пока Майnard отступал, пытаясь выстрелить, Черная Борода из готовился нанести удар, но также был тяжело ранен в шею и горло одним из людей наместника. Благодаря этому Майnard отделался простым порезом пальцев. Бой был к тому времени в самом разгаре. Наместник с отрядом в двенадцать человек бился против Черной Бороды и четырнадцати пиратов. Вода вокруг корабля обагрилась кровью. Черная Борода получил еще одно ранение от выстрела из пистолета Майнарда, но не сдался и продолжал сражаться с великой яростью, пока не получил двадцать пять ранений, из которых пять — огнестрель-

ных. В итоге, во время перезарядки одного из своих многочисленных пистолетов, он испустил дух».

Доблестный английский лейтенант Майнард «приказал отрубить голову Черной Бороде и повесить ее на рее своего судна, а затем на всех парусах отправился в Бат-Таун, чтобы вылечить раненых».

Дефо оставил нам достойное описание схватки. Я же хочу еще раз подчеркнуть, в корабельных битвах не использовалось остроконечное оружие, вроде шпаги или рапиры, — в ход шли крепкие клинки, ятаганы или шашки, и никаких правил боя, разумеется, не существовало. Побеждал тот, кому за короткое время удавалось нанести противнику большее число ударов. Крепость клинков была столь высока, что ими можно было прорубить двери кают, где скрывались пассажиры или члены экипажа. Таким образом, нападение на корабль зачастую оборачивалось массовой бойней. О подобной жестокости писал даже Эмилио Сальгари, чей Черный Корсар предстает романтически-декадентским героем, объатым настроением «меланхолической неопределенности».

Вот картина форта Маракайбо после разорения Черным Корсаром и его солдатами:

«Горы тел, обезображенных ударами сабли или тесака, были повсюду, с отрубленными руками или рассеченной грудью, с перерубленными черепами и с прочими страшными ранами, из которых все еще хлестала кровь, стекая по выступам и лестницам казематов и застываясь в выбоинах, источающих едкий запах. В некоторых телах все еще торчало оружие, лишавшее их жизни, другие продолжали сжимать противника, впиваться зубами в горло того или иного врага, иные сжимали с последним усилием саблю или шашку, которая мстила за них».

Имена пиратов и корсаров, часто неразличимых по свершенным деяниям, вписывались в хроники на протяжении

двух с лишним столетий. Сэр Уолтер Рейли и Франсуа Олоне, сэр Генри Морган и капитан Синглтон, Сэмюэл Беллами, Томас Тью и Генри Эвери, уроженец Девоншира, как и Дрейк. А также сэр Генри Мейнуэринг, крайне удачливый пират, о чем свидетельствует прежде всего его благородный титул. Среди них встречаются даже пиратки, годами умудрявшиеся жить в мужских командах, скрывая свой пол. Например, Энн Бонни из банды Джона Рэкема по прозвищу Калико-Джек (Коленкоровый Джек) и Мэри Рид, способная на удивительные поступки. И они не были единственными авантюристками в этой морской эпопее. Фантазия Сальгари породила, помимо сотен других персонажей, решительных дам, способных подчинять себе мужчин и обстоятельства. Анна Хилл, юная дочь капитана, сильная и независимая, спокойно пробирается по палубе корабля среди тигров и каторжан; на события она влияет по-мужски или даже лучше. Еще известны Иоланда, дочь Черного Корсара, а также мисс Энни Клейфорт и маркиза Долорес, командирша военного парусника «Юкатан».

* * *

В завершение главы и темы, которая, надеюсь, столь же вдохновила читателя, сколь и меня, хочу сказать несколько слов о Уильяме Киде, знаменитом капитане Киде, чье имя, как писал Дефо, «лучше известно нам, чем кому-либо другому, чья история представлена здесь; капитан Кид, который после суда и приговора к смертной казни стал предметом всеобщего обсуждения и чьи приключения растеклись по улицам в песнях бардов».

Почему Дрейк и Рейли стали баронетами и прижились при дворе, а Кид окончил дни на виселице? Хороший вопрос. Кид родился в Шотландии, в Гриноке, около 1645 года и был повешен в 1701 году в возрасте пятидесяти шести лет. Он женился и проживал в Нью-Йорке после того, как в 1664 году город сменил правительство и название. На место голландцев, давших городу имя Нью-Амстердам, и администрации

Питера Стейвесанта пришли англичане, создавшие здесь колонию.

Кид мог бы остаться и заняться торговлей, открыть лавку в этом городе, уже тогда начинавшем жить за счет нелегальной деятельности. Но он выбрал море, а в море — пиратство.

О характере Кида можно судить по следующим свидетельствам:

«Будучи командиром, Кид иначе, чем другие пираты, демонстрировал свою власть, поскольку заработал свою каперскую лицензию благодаря уважению и достойному управлению; к этому стоит прибавить физическую мощь. Он — сильный человек, но часто впустую вступающий в стычки со своими людьми, приказывая принести ему пистолеты и угрожая выбить мозги каждому, кто станет перечить его воле».

Говорят, однако, что он не был великим пиратом. Естественно, он грабил, насиловал, убивал, делал все так же, как и ему подобные. Но среди его жертв попала одна особенная. Однажды в приступе ярости он запустил деревянным ведром в голову Уильяма Мура, бортового канонира, в ответ на оскорбление. Хирург Брединхем бросился к пострадавшему и заставил перенести его на нижнюю палубу. Однако на следующий день бедняга скончался от перелома черепа. Кид был порывистым человеком, не склонным к тонким переживаниям. Возможно, долгое пребывание в море помешало ему уловить признаки изменений отношения к пиратскому миру. Свое влияние имело, несомненно, и раздражение от допущенных ошибок. В феврале 1698 года Кид захватил прекрасный парусник «Кведаг Мэчент», чей груз оценивался в 700 тысяч фунтов стерлингов. Это была такая крупная удача, что Кид не захотел высаживаться в Нью-Йорке. Он причалил неподалеку от порта, чтобы зарыть большую часть добычи на острове Гардинер. Таков один из достоверных фактов, придающих реализм литературному образу пирата, который при тусклом

свете луны прячет в глубокой яме перетянутый железом сундук, доверху наполненный золотом.

Против Кида ополчилось слишком много врагов, но он, всецело сосредоточенный на своем деле, не обращал внимания ни на что. В итоге его арестовали. Он впустую пытался опереться на помощь влиятельных людей, прежде не отказывавших ему за щедрое вознаграждение. Но те, чувствуя смену обстановки, предпочли держаться подальше. Новость о поимке Кида пришла в Лондон как раз во время заседания палаты общин. Ассамблея приняла весть к обсуждению и приказала перевезти пирата в Англию. Был сформирован высший комитет, в который вошли (можно представить, с какими намерениями) торговцы и экспортеры.

Переезд длился месяц. В Лондоне Кида заточили в одиночную камеру тюрьмы Ньюгейт. Условия заключения там были настолько ужасны, что доктора боялись ступить на порог.

Когда весной 1701 года созывается новая парламентская сессия, тори, пребывавшие теперь в большинстве, объявили о готовности простить вигам предполагаемое содействие пиратам. Процесс против Кида длился два дня, 8 и 9 мая, в зале, украшенном символикой Адмиралтейства. Над головой пирата и нескольких его союзников висело обвинение в пиратстве, но прежде всего — в преднамеренном убийстве канонира Уильяма Мура. Смертный приговор через повешение (а другого и вынести не могли) должны были привести в исполнение в пятницу, 23 мая.

Шествие обреченных, во главе которого несли серебряное весло — эмблему Адмиралтейства, двигалось через весь город в окружении плотной толпы. Казнь должна была состояться на берегу Темзы, и зеваки не могли упустить возможности поглазеть, как пираты будут болтаться в воздухе, прежде чем испустить дух. В первом ряду собрались друзья и родственники обреченных. Иногда случается, что веревка слишком коротка или узел некрепко завязан, и преступник обречен на долгую агонию. В таких случаях родственники тянут тело вниз, стараясь пресечь мучения переломом шейных позвонков.

звонков. В случае с Кидом, кажется, порвалась веревка, поэтому палач был вынужден снова втаскивать его на эшафот и снова сталкивать с помоста.

Посмертная судьба Кида также оказалась уникальна. Его труп, затянутый в железный корсет по размеру, чтобы не раздувался, еще долго болтался на виселице вместе с другими. Все эти разлагающиеся тела, предоставленные во власть ветра, наглядно демонстрировали, что Высший суд Адмиралтейства намерен строго относиться к подобным делам.

Итак, Кида повесили, хотя кое-кто писал, что многие из его деяний вполне могли сравниться с подвигами Робина Гуда. И действительно, элемент, связывающий этих героев, существует. Пираты и корсары были не просто морскими ворами, но прежде всего людьми, наделенными кипучей жадой приключений. Пиратство — это явление, обладающее, помимо житейской, и другими сторонами: экономической и политической. Фрэнсис Дрейк заработал себе титул баронета еще и потому, что львиная доля награбленного добра отправлялась в казну королевы. Прошел век, и ситуация изменилась. Среди тех, кто желал вздернуть Кида, фигурируют представители Восточно-Индийской компании — тринадцать человек, чьи интересы были глубоко связаны с предприятиями пирата. Они представляли самое могущественное экономическое учреждение королевства. Но речь не идет о мести, скорее — о нанесении удара человеку, который нарушал законы свободной торговли. Страхователи также должны защитить свои профессиональные интересы. На протяжении всего XVII века главные сделки по морскому страхованию вершились в двух местах — Амстердаме и Роттердаме. К концу века господин по имени Эдвард Ллойд превратил свою лондонскую кофейню в биржу ценных бумаг. Как известно, ей было уготовано большое будущее.

В этот период, кроме того, крепла идея, что государство — единственное образование, имеющее право на применение силы. Так постепенно обретал силу военно-морской флот. Историки экономики подчеркивают следующее нововведе-

ние: Лондон на протяжении XVII века сохранял центральную роль в процессе финансовой революции, сделавшей его самым серьезным соперником Амстердама. Еще больше торговцев, да и вообще тех, кто движет финансами, хотят окружить себя социальным спокойствием. Деньги как самое конкретное воплощение блага оказываются более всего подверженным эмоциональным колебаниям.

Дрейк остался уникальным символом свободы торговых отношений, в которые вкладывалось все, включая жизнь, вопреки папским запретам и монополистической власти католического короля. Кид стал отрицательным символом времени, когда мировая торговля во имя развития и процветания выразила потребность в издании ограничительных правил, превратившись из авантюрного предприятия в настоящую торговую капиталистическую систему.

Известно, что у истоков многих исключительно удачливых судеб стоят преступления. Стало практически неписаным законом утверждение, что невозможно скопить первоначальный капитал, не обойдя правосудие. Опыт пиратов и корсаров Англии подкрепляет гипотезу, что подобное правило действует и на судьбу нации. Такие люди, как Дрейк, помогли оздоровить народные счета, сформировать капиталы, развить мануфактуры и, соответственно, способствовали развитию необходимых технологий и промышленной революции. Именно поэтому авантюры и приключения в наших глазах оказываются типичными как для той эпохи, так и для лишенных предрассудков английской отваги, которые лежат, по сути, в основе современного капиталистического духа.

Историк Эрик Хобсбаум пишет: «Социальный бандитизм — универсальный и практически неизменяемый феномен». Легальная экономика почти всегда существовала параллельно с экономикой, построенной на обмане, питаемой вливаниями полуправовых сред и средствами криминальных кругов. Так обстояло и в XVI веке, поэтому никто не должен удивляться, что процесс продолжается, но в более крупных масштабах, и по сей день.

ПРЕКРАСНЫЕ ПРИЗРАКИ (ГОРДОН-СКВЕР)

За Британским музеем расположена прекрасная площадь — Рассел-сквер. По существу, это центр квартала Блумсбери, знаменитого своими площадями и садами, где, помимо прославленного музея, находится также и Лондонский университет.

Туманным вечером, когда едва колышутся потемневшие с наступлением осени листья платанов, когда бледные фасады домов омывают остатки дневного света, когда, одно за другим, зажигаются окна, здесь, как нигде, приходит ощущение возвышенного уединения. Спешка и смятение, вечный хаос дорожного движения, уличное насилие и жестокость, все более захватывающие мир, остаются за пределами этого места.

Расположенная в центре Рассел-сквер статуя посвящена Фрэнсису Расселу, пятому герцогу Бедфорду (1765—1802), нонатору в области сельского хозяйства (вот почему он увековечен с початком кукурузы в руках). Сам квартал представляет собой не просто точку на карте в самом сердце Лондона:

можно сказать, это обитель духа, вызывающая в памяти одну из легенд европейской цивилизации.

Квартал Блумсбери населяли самые яркие таланты, жившие в английской столице на рубеже XIX и XX веков. Его дома были отлично знакомы людям, направившим по иному пути развитие науки, литературы и экономики. Литтон Стрейчи, великий биограф Викторианской эпохи; Джон Мейнард Кейнс, человек, изменивший понятие экономики как науки; Роджер Фрай, художественный критик, благодаря которому англичане узнали о современной живописи; но более всех она — Вирджиния Вулф, женщина, своими романами и примером собственной жизни подарившая Лондону и всей Англии зеркало, в котором британцы узнали самих себя.

Под номером шесть на Рассел-сквер возвышается любопытное белое здание, слишком высокое и слишком современное, резко контрастирующее со своим окружением; и действительно, его так и называют — *Big House in Bloomsbury* — Большой дом в Блумсбери. Благодаря своей необычности оно и получило известность. Речь идет о здании Сената, спроектированном Чарлзом Холденом, постройка которого завершилась в тридцатые годы XX века. В настоящее время в нем расположены административные офисы Лондонского университета, но во время последней мировой войны там было Министерство информации, место, куда стекались журналисты в поисках новостей о ходе конфликта. Там же работал и писатель Грэм Грин, пребывавший в вечном раздражении из-за броского облика здания. Дошло до того, что в знак протеста он отправил письмо в журнал «Spectator», опубликованное под заголовком «Маяк Блумсбери». Грин писал, что белая громада здания и его яркая подсветка по ночам стали «полосой света, наводящей немецкие самолеты на Кинг-Кросс и вокзал Сент-Панкрас-стейшн».

К этому зданию имел отношение и Джордж Оруэлл. Масштабность, наводящая на мысль о советской архитектуре, по-

дала ему идею разместить здесь Министерство правды из знаменитого романа «1984»:

«Министерство правды сильно отличалось от всего, что было доступно взору. Огромное сооружение в форме пирамиды из ослепительно белого цемента, устремившееся на триста метров вверх, этаж за этажом, к самому небу. Крепкая конструкция, которую ничто не в силах было сдвинуть с места, которую не сотрясла бы и тысяча бомб».

Чуть дальше, под номером девятнадцать, заслуживает внимания фасад (а при желании и интерьер) «Рассел-отеля», открытие которого состоялось в 1900 году. Возможно, это самое красивое здание в Блумсбери, образец того стиля, который сами англичане называют слегка напыщенно — Викторианское возрождение. В некотором смысле оно напоминает как здание парламента в Вестминстере, так и формы расположенного поблизости вокзала Сент-Панкрас, свидетелем бомбардировки которого опасался стать Грин.

В период между 1888 и 1893 годами в доме, где впоследствии был открыт отель, проживала Эммелин Гульден Панкхёрст с дочерьми Кристабель и Сильвией. Кем же были это дамы?

Эммелин и ее дочери — зачинательницы того движения, которое в наши дни называется феминизмом, а тогда оно было известно как движение суфражисток. Эммелин, родившаяся в Манчестере 14 июля 1858 года, в 1903 году вместе с дочерью Кристабель дала жизнь Социально-политическому объединению женщин, девиз которого — «Право голоса — женщинам». Суфражистки организовывали митинги, даже били камнями витрины, чтобы промелькнуть в газетных заголовках, пусть и с негативными отзывами о своих деяниях. Их протест был силен, но и наказание за него — не меньшим. Суфражисток заковывали в наручники и арестовывали, а если в тюрьме они объявляли голодовку, их кормили насильно. Ослабевших от голода временно освобождали на основании

закона, иронически прозванного «Акт кошки — мышки»; официальное название этого акта звучало следующим образом: «Закон о временном освобождении заключенных из-под стражи по состоянию здоровья», но как только здоровье позволяло вернуться в тюрьму, их снова водворяли в камеру.

В 1912 году Эммелин, которой на тот момент исполнилось пятьдесят пять лет, была заключена в тюрьму в двенадцатый раз. Ей принадлежит высказывание: «Борьба мужчин на протяжении веков потопила мир в крови. Борьба женщин поставила под угрозу жизни только тех, кто сражался за свои права». Писательница Ребекка Уэст, в те годы совсем молодая девушка, описала выступление Эммелин на митинге: «Дрожа как тростинка, она обратила к нам свой голос, нежный и хриплый. Но эта тростинка была выкована из стали, и сила ее была безгранична».

В 1914 году, когда разразилась Первая мировая война, Эммелин была выпущена из тюрьмы и, забыв о феминизме, посвятила себя вместе с дочерьми и другими женщинами оказанию помощи фронту.

Прожив некоторое время в Канаде, в 1926 году она вернулась в Англию и на пороге своего семидесятилетия стала весьма почитаемой фигурой.

Эммелин умерла в 1928 году, как раз в то время, когда собиралась выставить свою кандидатуру на выборы в парламент (от партии консерваторов).

Один из законов, за который она так долго боролась, наконец открыл женщинам право заседать в высшем представительном учреждении. Первой женщиной — депутатом парламента стала в 1918 году Констанс Маркевич, однако она, как и другие члены парламента, входившие в организацию за освобождение Ирландии Шинн Фейн, отказалась заседать в Вестминстере. Собственно в залах парламента женщина впервые появилась лишь в 1919 году. Ею стала депутат Нэнси Астор. Первой женщиной-министром была назначенная в 1919 году Маргарет Бэнфилд, а первой женщиной-главой государства — Маргарет Тэтчер, в 1979 году.

* * *

В Блумсбери есть еще одна прекрасная площадь — Гордон-сквер, более уединенная и тихая по сравнению с другими. В центре этой площади — изящный сад, один из тех английских садов, что так отличаются от ухоженных итальянских и французских парков, где природу укрощают, превращая в нечто искусственное, симметрично соединяя ее цвета по воле человека. Английский сад (перенятый американцами) — это едва тронутый рукой человека клочок земли, поросший травой и деревьями, с превосходными дорожками, где ритмы тротуарной бровки исполнены, я бы сказал, военной строгости.

На Гордон-сквер берет свое начало то, что сегодня мы подразумеваем под словом «Блумсбери», — группа, общество, названные в честь этого района.

Все началось с четырех братьев и сестер Стивен: Ванессы, Тоби, Вирджинии и Адриана. Их мать Джулия умерла еще до наступления нового века, а отец, Лесли Стивен, выдающийся литературный критик, скончался в возрасте семидесяти лет в феврале 1904 года, после тяжелой болезни. Две сестры, о которых в основном и пойдет речь, восприняли это событие по-разному. Для двадцатипятилетней Ванессы (старшей дочери) смерть отца стала почти освобождением, для двадцатидвухлетней Вирджинии — трагедией. Именно у нее были самые близкие отношения с отцом, можно даже сказать, что она почерпнула свою любовь к литературе у этого меланхоличного, скромного человека, добившегося немалых заслуг на поприще культуры и образования, среди которых последнее место занимает создание и редактирование значительной части Национального биографического словаря.

Вирджиния столкнулась с опустошающей болью, хотя позже она напишет в своем дневнике:

«Если бы он прожил дольше, он разрушил бы мою жизнь. Что бы со мной было? Ни писательства, ни книг; невозможно себе представить».

Одним из самых значимых практических последствий кончины господина Стивена стал переезд всех четверых его детей. До этого они жили в доме номер двадцать два по Гайд-парк-гейт в районе Кенсингтон, — огромном, с гнетущей атмосферой из-за плохого освещения, битком набитом мрачной мебелью. В этом доме в 1895 году скончалась их мать, в нем же было решено отправить в приют для умалишенных сводную сестру четверки Лауру, рожденную в предыдущем браке Лесли с Харриет Мэриен Теккерей, дочерью писателя Уильяма Теккерея.

Оставшись без родителей, молодые люди приняли решение переехать в район подешевле, чтобы добавить к своему доходу деньги, которые намеревались выручить от сдачи родительского дома. (Следует уточнить, однако, что по причине неспособности молодых Стивенсов вести хозяйство дом долгое время простоял без дела.)

Решение о переезде вызвало сильное неодобрение в их кругах, в том числе потому, что выбранный район Блумсбери не отличался хорошей репутацией и казался недостаточно изысканным для отпрысков столь уважаемой семьи.

Ванесса рассказывает в своих «Записках» о неудобствах и одновременно чувстве облегчения, связанных с переездом:

«Я до сих пор помню чувство дискомфорта из-за отсутствия удобств, грязи, из-за книг, посуды и кухонных принадлежностей, которые нам нужно было вытащить сразу же, но мысль о том, что нам придется есть и в первые дни после переезда, несколько нас не волновала, и прошли недели, а то и месяцы, пока жизнь не вернулась в обычную колею... Но я помню любопытство, возбуждение, связанное с началом новой жизни, непривычный простор после старого викторианского дома, из которого мы съехали, сад в центре площади».

В новом доме происходит то, чего никто не ожидал. Это четырехэтажное здание с фасадом из красного кирпича стало местом встреч друзей Тоби по Кембриджскому университету. Именно там они собирались по четвергам, с десяти вечера до

полуночи, и эти встречи вскоре превратились в своего рода ритуал.

Кембидж, в отличие от Оксфорда, в те годы демонстрировал значительную склонность к антиклерикализму, доходящему до полного отрицания веры в Бога. Студенты колледжей собирались в культурные кружки, в которых с пеной у рта обсуждали самые неожиданные верования и пристрастия. Впрочем, мало где в мире к таким вопросам относятся столь же до абсурда серьезно, как в английских университетах. В Кембридже, среди прочих, сформировался кружок так называемых «Апостолов», к которому примкнули, помимо Тоби, Клайв Белл, Литтон Стрейчи и Джон М. Кейнс. Все они были людьми очень умными, крайне эксцентричными, а самым эксцентричным из всех, пожалуй, был Стрейчи: высокий, неуклюжий, нескладный, он иногда подолгу молчал, а в другое время, напротив, разражался молниеносными тирадами. Кому-то, кто в споре с ним однажды заявил о неоспоримом существовании Бога Творца, он ответил: «Творец? Да он же создал человека по своему образу и подобию!» Дискутируя на более светскую тему игры в гольф, Стрейчи высказался так: «Гольф? Какая сексуальная игра. Там все крутится вокруг шариков и дырок». Нужно отдавать себе отчет, какова была мораль тех времен, чтобы понять, насколько шокирующими были подобные заявления.

Этих пылких юношей объединяло несколько крайне важных моментов: признание центральной роли культуры в качестве гаранта цивилизованного сосуществования; уважение к свободе каждого человека (начиная с самого себя), даже в том случае, когда свобода переходит в эксцентричность; нарушение норм действующей морали; гордость от того, что они являются студентами (выпускниками) престижной школы, а также пыл ума, любовь к театральности, сила молодости. И нередко страстные гомосексуальные отношения. В своем утонченном цинизме Кейнс утверждал: «Даже те, кому нравятся женщины, ведут себя как содомиты, из-за боязни, что их сочтут недостойными уважения». То, что в исповедовании «грешеской любви» была доля «работы на публику», мож-

но заключить со слов Фрэнсиса Партриджа после легализации гомосексуальных отношений: «Я спрашиваю себя, не будут ли немного разочарованы те, кого подталкивала к этим отношениям мысль о том, что они восстанут против правил».

Остроумные реплики, эксцентричность, любовь к юмору «со вкусом», утонченность — все это также было неотъемлемой частью группы. Молли Маккарти в шутку окрестит их словом *bloomsberries*¹, построенном на тонкой иронии. Именно на эту кажущуюся легкость и упирали клеветники, определяя группу то как «тайное сборище виртуозных сплетников», то как «клику литературных тиранов». Творчество членов группы опровергают эту клевету; но ее дух (почему бы и нет?) наиболее емко отразился в некоторых остротах. Например, Кейнса: «Против глупости бессильны даже боги. Здесь нужен Господь. Но ему пришлось бы спуститься к нам собственной персоной, а не отправлять Сына: недетские сейчас времена».

Кое-какие эпизоды действительно подтверждают, что участники группы любили поразвлечься. Однажды группа задумала подшутить над флотом Ее Величества, организовав визит мнимого императора Абиссинии на военный корабль — дредноут-броненосец, грозу морей.

Один из друзей Адриана отправил липовую телеграмму из Министерства иностранных дел командующему флотом, в которой сообщалось о предстоящем визите императора Абиссинии. Распределив роли, шестеро участников предприятия выехали с вокзала Пэддингтон в сторону Уэймута. В последний момент была завербована и Вирджиния, которая, вне себя от радости, спряталась за тюрбаном и шутовскими черными усами. Для маскировки было нанесено небольшое количества грима; нашли также некое подобие костюмов; пришлось также выучить несколько слов на невнятном суахили. Прибыв на место, молодые люди с ужасом обнаружили, что капитан корабля — не кто иной, как Уильям Фишер, кузен Стивенсов. Не смотря ни на что, проделка удалась: «императора Абиссинии»

¹ Цветочки и ягодки. — Примеч. пер.

приняли со всеми почестями, адмирал не узнал родственников, а когда маленький запас слов на суахили подошел к концу, переводчик, он же Адриан, начал монотонно напевать на латыни стихи Вергилия, и все шестеро в итоге вернулись домой целыми и невредимыми.

Однако слухи об этой проделке просочились в прессу; газеты по-разному комментировали произошедшее — как негодующе, так и с юмором, а друзья считали проделку отличной шуткой. Одни только родственники чувствовали себя оскорбленными.

Среди друзей, которые собирались вечером по четвергам на Гордон-сквер, Клайв Белл (позже он женится на Ванессе), Леонард Вулф, будущий муж Вирджинии, Литтон Стрейчи, Джон Мейнард Кейнс, писатель Эдвард Морган Форстер, Десмонд Маккарти и его жена Молли, художественный критик Роджер Фрай, художник Дункан Грант, у которого будет запутанная связь с Ванессой...

Некоторые из них были учениками философа Джорджа Эдварда Мура (1873—1958), который принадлежал, вместе с Бертраном Расселом, к новому аналитическому течению, финальный вклад в которое внесет через некоторое время Людвиг Виттгенштейн. Самое известное произведение Мура — «Защита здравого смысла», написанное в 1925 году. Сила и величие его преподавательского таланта — в попытке разогнать туман идеализма, снова вернув философию на землю. В этом Мур остается верен англосаксонскому эмпиризму, который именно в здравом смысле искал для себя надежную опору. В своей работе «Принципы этики» (1903) он пишет: «Самые долговременные ценности — это радость человеческих взаимоотношений и удовольствие от красивых вещей. Именно в этом и есть наивысшая рациональная цель человеческого развития».

Мур считал, что этика поведения должна быть в большей степени обусловлена тем, что выбирает собственная совесть человека, нежели что подсказывают авторитетное мнение и предписания официальной морали. Воззрения этого филосо-

фа могут быть восприняты как протест против царящего лицемерия, как переоценка ценностей, на основе которых благо больше не представляет собой конкретный предмет, диктуемый здравым смыслом, но понимается как состояние сознания, ответственность за которое каждый несет сам. Целью его «философии с человеческим лицом» являлось «достижение счастливых взаимоотношений в личной жизни».

Когда Кейнс опубликовал главный труд своей жизни — «Общую теорию занятости, процента и денег» (1936), стало очевидно, что его экономическая гипотеза берет свое начало в этике Мура. Как и Мур, Кейнс считал, что не существует единой истины, определяющей, что такое благо и где его искать. Но каждому дано прожить достойно и разумно, потому что каждый человек интуитивно чувствует, что есть благо. У каждого есть возможность выбирать из «неопределенного множества вероятно рациональное поведение».

О чем спорили блумсберийцы на своих вечерах? В «Записках» Ванесса дает прямой ответ на этот вопрос:

«Обо всем, что приходило в голову. Конечно, у ребят, которые учились в Кембридже, голова была забита вопросами о „смысле блага“. Я не читала труды их пророка — Дж. Э. Мура... Сами юноши не имели на этот счет определенного мнения и потому не возражали против обсуждения этого вопроса с девушками, которые, возможно, рассматривали сей вопрос с других позиций».

За внезапными взрывами горячих споров следовали моменты затяжного молчания. Попытки направить разговор на обычные темы чередовались с абстрактными диспутами, которые должны были доказать истинность той или иной философской концепции.

В светском обществе Лондона того времени никто не требовал от двух девушек на выданье из верхушки буржуазии, какими были Ванесса и Вирджиния, слишком напрягать свои извилины. Приветствовалось умение с изяществом поддер-

жать разговор (ни о чем), сыграть что-нибудь на рояле, еще более — умение ездить верхом (в женском седле), умение одеваться — в общем, умение преподнести себя, выставить в выгодном свете. Ванессу с Вирджинией также готовили к этой роли в родительском доме на Гайд-парк-гейт. Но на собраниях молодежи все было иначе. Присутствующие юноши не заботились о хороших манерах (в смысле, привычном для начала прошлого века), и в пылу спора критике подвергались любые доводы, даже если их выдвигала женщина. Как мне кажется, значимость группы прежде всего проявлялась на уровне нравов, а не литературы или науки.

Можно представить, сколь скандальным нарушением приличия было непринужденное общение девушек со своими ровесниками на любые темы, включая тему секса. Один из самых известных эпизодов, который неизменно приводят в летописях группы, произошел в один из вечеров весны 1908 года. Ванесса, которая к тому времени уже вышла замуж за Клайва Белла, собиралась заняться шитьем в гостиной дома на Гордон-сквер; Вирджиния беседовала с друзьями, когда в комнату неожиданно вошел Литтон Стрейчи и, указав на пятно на белом платье, громко спросил: «Сперма?» Запретное слово имело столь сильный психологический эффект, что темы дискуссий изменились раз и навсегда. Вирджиния пишет: «Раздался взрыв смеха. Этого слова оказалось достаточно, чтобы разрушить барьер умолчания и скромности. Казалось, нас увлекло потоком священной жидкости». С этого момента секс становится постоянным предметом обсуждения.

Одно из писем Ванессы показывает, как далеко зашла эта раскованность. Весной 1914 года, незадолго до того, как разразилась война, Ванесса и ее муж Клайв гостили у Кейнса в загородном доме в Суссексе. Кейнс был открытым гомосексуалистом, что в те времена было сопряжено с риском. Вернувшись домой, Ванесса напишет:

«Дорогой Мейнард, ты приятно провел день, занимаясь содомской любовью с одним или несколькими из тех молодых

людей, которых мы тебе оставили? Должно быть, было очень изысканно заниматься этим среди холмов, под лучами полуденного солнца. Я много раз хотела заняться этим на природе, но мои возможности и желания никогда не совпадали. Предлагаю, как твои обнаженные члены сплетаются с его членами, вижу ваши полные экстаза предварительные ласки затягивающей содомии... должно быть, это было божественно».

Композиция и предложения подобраны идеально, детали выставлены напоказ...

Помимо всего прочего, участникам группы были свойственны и запутанные сексуальные отношения. К примеру, Дункан Грант, художник, любил Дэвида Гарнетта, красивого юношу чуть за двадцать, портрет которого он со всем пылом написал. Позже у Гранта будет связь с Ванессой, у которой к тому времени уже родятся двое детей (Джулиан и Квентин) от ее мужа Клайва Белла. От Гранта у Ванессы родится дочь Анжелика, которую великодушный Белл признает своей. Со своей стороны, красавец Дэвид Гарнетт еще раньше предал Гранта, женившись на Рэйчел Элис Маршалл. У Кейнса также была связь с Грантом, и этим он наставил своеобразные рога Литтону Стрейчи, который так никогда его и не простил. Далее. В возрасте пятидесяти лет Гарнетт влюбляется в дочь Гранта Анжелику. Оставив первую жену, он соблазняет девушку, женится на ней, и они производят на свет четверых детей. Через много лет Анжелика расскажет в своей книге «Сладкий обман» о том, какой нелегкой была ее жизнь.

Еще один непростой многоугольник, участники которого по очереди сменяли друг друга, сформировался вокруг пары Ральф Партридж — Литтон Стрейчи. Эти двое, любившие друг друга, жили вместе, а с ними жила и Дора Керрингтон, которая, в свою очередь, любила Литтона. Однажды, в 1923 году, Ральф познакомился с Фрэнсис, девушкой, работавшей в библиотеке, влюбился в нее и ввел в эту своеобразную коммуны. Это единственное в своем роде (но плодотворное, если судить по результатам) сожителство продолжалось

на протяжении десяти лет, пока Литтон, которому едва исполнилось пятьдесят лет, не отошел в мир иной. Вскоре Дора покончила с собой, а Ральф и Фрэнсис, оставшись вдвоем, наконец поженились.

В свою очередь Кейнс, поднявшийся так высоко, что ему было поручено вести от имени Англии переговоры о создании монетного фонда и заключать соглашения на Бреттон-Вудской конференции¹, в конце концов оставил свои головокружительные гомосексуальные приключения и женился на Лидии Лопоковой (Лопуховой), русской балерине, перебравшейся в Лондон в начале двадцатых годов со знаменитой труппой Дягилева.

Через несколько лет, в 1924 году, в своем эссе «Мистер Беннет и Миссис Браун» Вирджиния, размышляя на тему революции «человеческих отношений», в которой участники блумсберийской группы одновременно были и участниками, и зрителями, напишет:

«Где-то в декабре 1910 года смысл понятия „человек“ изменился. Не скажу, что люди вышли из своих домов, как выходят в сад и видят, что расцвела роза, что курица снесла яйцо. Перемена не была столь неожиданной и радикальной. Но, тем не менее, перемена произошла; и, учитывая, что нам остается только судить о ней, скажем, что она произошла в 1910-м... Изменились человеческие взаимоотношения — отношения между слугами и господами, мужьями и женами, родителями и детьми. А когда человеческие взаимоотношения меняются, вместе с ними меняется и религия, и поведение, и политика, и литература».

Доказательство того, что подобная вседозволенность в отношениях не свалилась как снег на голову, при желании мож-

¹ Бреттон-Вудская конференция, или Валютно-финансовая конференция ООН, состоялась в июле 1944 г. в США. Целью конференции было урегулирование международных валютных и финансовых отношений по окончании Второй мировой войны. — *Примеч. пер.*

но найти и в романе Генри Джеймса «Что знала Мейзи», написанном в 1897 году. Даже такой моралист, как Джеймс, рисует картину несчастного брака глазами ребенка — целую паутину взаимоотношений, череду мимолетных союзов, в которых любопытство и выгода одерживают верх над любовью.

Личная жизнь двух сестер — Ванессы и Вирджинии — также была беспорядочной и бурной. Вирджиния с подросткового возраста страдала от нарушений психики, она почти фригидна. Ванесса — женщина более живая, у нее множество желаний, в том числе сексуальных. Как по-разному они восприняли смерть отца, так же по-разному они воспринимали и сексуальные домогательства, имевшие место в семье. Лесли и Джулия, родители Ванессы и Вирджинии, поженились, уже имея брак за плечами. От первого союза у Джулии было трое детей — Джордж, Стелла и Джеральд, — которые после нового брака матери стали сводными для Ванессы и Вирджинии. Сначала Джеральд, а затем и Джордж домогались Вирджинии, когда той было тринадцать лет, а Джорджу — двадцать шесть. До какой степени дошли эти домогательства, так и осталось неясным, несмотря на то, что о них неоднократно говорила и писала сама Вирджиния, однако она всегда старалась избегать деталей. «Мой кровосмесительный брат», — называет она Джорджа в одном из писем в 1936 году. Квентин Белл, биограф Вирджинии Вулф и ее племянник, также пишет об этом со слов мужа Вирджинии, Леонарда, и датирует «безобразия» Джорджа годом смерти матери. В зрелые годы Вирджиния напишет, что ее сводный брат Джордж сломал ей жизнь, прежде чем она успела начаться, лишив ее возможности получать наслаждение от своего тела: «Я не помню, чтобы когда-либо получала удовольствие от своего тела». Другая вероятная причина фригидности Вирджинии заключалась, по ее собственному признанию, в невыясненных ожиданиях, которые возлагал на нее отец. Молодая женщина чувствовала себя раздавленной этим грузом, не смотря на то что в будущем она докажет своими романами, что смогла забраться гораздо выше, чем отец мог мечтать.

В отличие от сестры, у которой была бурная и страстная личная жизнь, Вирджиния никогда не скрывала собственной фригидности. Она честно призналась будущему мужу в тот момент, когда собиралась принять его предложение: «Будет ли для нас важна интимная жизнь? Как я тебе уже говорила, хоть это и жестоко, я не чувствую к тебе никакого физического притяжения. Бывают такие моменты — один из них выпал вчера, когда ты целовал меня, — в которые я чувствую себя не больше, чем камень».

У Вирджинии было множество крепких дружеских отношений с другими женщинами, некоторые из которых, возможно, переходили в сексуальные связи, однако прямое подтверждение этому есть только об одном из таких случаев. О том, что у нее с Вирджинией два раза были сексуальные контакты, говорила писательница Вита Саквиль-Уэст. В письме своему мужу, Гарольду Николсону, она пишет: «Я очень боюсь вызвать в ней физическое притяжение, помня о ее безумии. Я не знаю, к чему это может привести, понимаешь? Я не имею ни малейшего желания играть с этим огнем».

Вероятно, сама Вирджиния также не имела желания играть с огнем. В теории она старалась выглядеть раскованной до такой степени, что описывала в письме к подруге ночную поллюцию (*wet dreams* — мокрые сны) своего мужа, но на деле отдавала себе отчет, что ее поведение можно назвать «трусостью».

Что касается Виты (которая послужила Вирджинии прототипом героини знаменитого романа «Орландо»), то наиболее известны ее продолжительные отношения с Вайолет Трефусис, страстной поклонницей лесбийской любви, однако это не помешало Вите выйти замуж за Гарольда Николсона и произвести на свет сына Найджела. После смерти Виты в 1962 году Найджел, обнаружив в чемодане длинное и полное деталей признание матери, без малейших колебаний опубликует его в книге «Портрет одного брака», повествующей о своеобразной истории его родителей (оба были бисексуальны).

На нарушения психики, от которых страдала Вирджиния, безусловно, оказала влияние наследственность. В семье ее ма-

тери были известны многочисленные случаи психических расстройств. Брат Вирджинии Адриан (впоследствии вместе со своей женой Карен он станет психоаналитиком) в детстве также демонстрировал признаки слабой нервной системы. От острой депрессии страдала и Ванесса — в 1911 году, в возрасте тридцати двух лет, после выкидыша. Склонность Вирджинии к меланхолии проявлялась скорее по линии отца. Сэр Лесли слыл человеком эксцентричным; о себе самом он говорил так: «Я отчаянный мизантроп» (не знаю, есть ли тут связь, но он был отважным альпинистом — редкость по тому времени). Дед Вирджинии, сэр Джеймс, великолепно справлявшийся с управлением колониями, перенес несколько нервных истощений, одно из которых случилось с ним после смерти сына от тифа. Кузен Вирджинии, Джеймс К. Стивен, открытый гомосексуалист, прославился в Итоне благодаря своим спортивным достижениям; некоторое время он был наставником герцога Кларенса в Кембридже (в определенном смысле). По достижениям двадцати лет Джеймс также демонстрировал признаки нервного расстройства, выразившиеся в резком переходе от радостного возбуждения к депрессии. Психиатр Джордж Саваж, который впоследствии будет лечить и Вирджинию, посоветовал поместить его в сумасшедший дом, где юноша уморил себя голодом. Из-за короткой связи с герцогом Кларенским выдвигалась гипотеза, что именно Джеймс и был загадочным серийным убийцей, известным под именем Джек Потрошитель, тем более что в одной из юношеских поэм Джеймса фигурировали путанные фантазии об убитых проститутках.

В 1912 году Вирджиния вышла замуж за Леонарда Вулфа, которого в прошлом упрекала в том, что он не дал ей совершить самоубийство. В действительности Леонард посвятил немалую часть своей жизни попыткам облегчить страдания жены, и из тех письменных свидетельств, которые сохранились, можно заключить, что мало кто, а то и вообще никто не смог бы сделать для нее больше, чем он.

В момент заключения брака молодые планировали зарабатывать себе на жизнь литературным трудом, но Леонард,

написавший в молодости пару романов, вскоре предпочел заниматься политикой и журналистикой, а также редактированием подробной автобиографии.

Вирджиния опубликовала свой первый роман «Путешествие» через три года после свадьбы.

Если оценивать жизнь Вирджинии с позиций обычного человека, казалось бы, все складывалось наилучшим образом, но каждый сложный момент существования вновь повергал ее в пропасть безумия. В таких случаях врачи прописывают отдых, хорошее питание, покой, минимальное умственное напряжение. Поскольку бурная лондонская жизнь относилась к числу факторов, вредных для здоровья, семейство колесило между городом и деревней. В конце 1914 года чета Вулф переехала в Ричмонд, место, расположенное достаточно близко к столице, чтобы Леонард мог продолжать свои занятия, и достаточно далеко, чтобы давящая суэта внешнего мира не ухудшала состояние неуравновешенной психики Вирджинии. Официальным адресом, указанным на почтовых конвертах, становится Хогарт-хаус, Парадиз-роуд, Ричмонд-на-Темзе, Суррей.

Жизнь за городом, особенно поначалу, давалась им непросто. Постепенно дом обустроивался, но Вирджиния жаловалась в письмах на вечный туман, на необходимость постоянно держать включенным свет. Будучи подавленной, она напишет одному из друзей: «Не заговаривай со мной о деревне...»

Идея приобрести типографский пресс, претворенная в жизнь в 1917 году, частично была терапевтической мерой: Леонард был убежден, что ручной труд пойдет жене на пользу. Кроме того, их привлекала возможность самим печатать собственные произведения.

В те годы Зигмунд Фрейд был почти не известен в Англии, и Вирджиния на протяжении долгого времени будет скептически настроена по отношению к революционным гипотезам венского психиатра. Несмотря на это, принадлежащее супругам издательство «Hogarth Press» в двадцатые годы опубликует труды Фрейда на английском языке (в качестве переводчи-

ка и редактора выступит брат Литтона Джеймс Стрейчи). Впоследствии, глубже изучив идеи отца психоанализа, Вирджиния начнет относиться к его работам без скепсиса. Примерно в 1939-м она совершит поразительное открытие, что Фрейд предвидел и проанализировал те двойственные чувства, которые она испытывала по отношению к своему отцу.

Психологические срывы преследовали Вирджинию на протяжении всей ее жизни; первый случился с ней в возрасте тринадцати лет. На протяжении двух лет — с 1913-го по 1915-й — срывы происходили настолько часто, усугубляясь попыткой самоубийства, что Вирджиния опасалась безумия. Молодая женщина страдала от того, что мы бы назвали маниакально-депрессивным психозом, все это сопровождалось дрожью, головной болью, дисменореей. В обширной переписке, которую Вирджиния вела со своими друзьями, постоянно всплывали отзвуки этой депрессии. Впечатляет, к примеру, приведенный ниже короткий отрывок ее письма от 13 ноября 1918 года к сестре Ванессе.

Только что закончилась Первая мировая война, и Лондон, как и все остальные европейские столицы, праздновал окончание бойни. Эта безудержная радость производит на Вирджинию ужасное впечатление:

«Одного мальчика чуть не задавили в метро у меня под ногами; набилось столько народу, что нам едва удалось вытащить его из-под ног; люди вели себя как полупьяные; бутылки с пивом переходили из рук в руки, женщины целовали всех раненых солдат подряд; никто не имел представления, куда идти и чем заняться; шел непрекращающийся дождь; толпа текла по тротуарам, размахивая флажками и кидаясь на омнибусы, но все это происходило настолько беспорядочно, бесцельно и жалко, что тоска охватывала меня все больше и больше. Человеческая раса казалась мне совсем безнадежной. Лондонские бедняки, полупьяные и крайне сентиментальные или полностью безразличные, со своими страшными голосами, одеждой, щербатым ртом, заставляют усомниться в том, что

существует достойная жизнь и что на самом деле есть разница между войной и миром».

Периоды болезни резко сменялись периодами здоровья. В такие моменты Вирджиния становилась веселой, демонстрируя себя прекрасной собеседницей, остроумной, любопытной, любящей посплетничать. Однако она сохраняла трезвость мысли и во время болезни, нередко находя именно в собственных страданиях идеи для романов.

К примеру, 16 февраля 1930 года Вирджиния делает запись в дневнике:

«Целую неделю пролежала на диване. Сегодня проснулась с обычным ощущением отсутствия жизненных сил. Хуже обычного, но с судорожным желанием писать, а затем подремать. Сегодня прекрасный холодный день... но сомневаюсь, что смогу написать что-то дельное. В голове моей туман. Я слишком хорошо знаю свой организм и слишком выбита из колеи, чтобы возвращаться к роману».

Два года спустя, 17 августа 1932 года, она наслаждалась приятным летним днем в чьем-то обществе, как вдруг неожиданно с ней случается приступ:

«Мы наблюдали, как холмы постепенно с изяществом погружались во мрак, отгорев в течение дня, как насыщенный изумруд. Теперь их окутывала нежная, изящная дымка. [...] Вдруг мое сердце забилося и остановилось, снова забилося, и я почувствовала странный горький привкус в горле; пульс отозвался у меня в голове, стуча и стуча, все резче, все быстрее. „Я теряю сознание“, — произнесла я, соскользнула с кресла и упала на траву. О нет, я не потеряла сознание. Я была в сознании, но была захвачена в плен парой агонизирующих лошадей, несущихся быстрым галопом у меня в голове... смогла бы я доползти до дома? Я добралась до своей комнаты и упала на кровать. Затем боль, как при родах, затем и она при-

тупилась, и я осталась лежать, наблюдая за поцарапанными, трясущимися членами собственного тела».

Драма усугубилась за несколько месяцев до смерти. Леонард пишет, что Вирджиния начала утрачивать контроль над сознанием в начале 1941 года. В этот период Англия героически (по-другому не скажешь) сопротивляется бесконечным атакам нацистской авиации. Страна потрясена, никто не исключает возможности высадки немецких войск. Лондонский дом Вирджинии и Леонарда пострадал от бомбардировок. В том случае, если произойдет высадка немецких войск, они планировали вместе покончить жизнь самоубийством: «Мы договорились, — пишет Леонард, — что, если наступит такой момент, мы закроемся в гараже и покончим с собой».

Писатель Джон Леманн, который в те месяцы выполнял некоторую работу для «Hogarth Press», отмечает, что в то время Вирджиния все чаще становилась нервной и напряженной. Иногда ее руки охватывала безудержная дрожь, и пусть речь ее была связной и вразумительной, тоска этой женщины росла. «Я потеряла всякую власть над словами, — пишет Вирджиния, — не знаю, что с этим делать».

Семейным врачом Вулфов была Октавия Уилберфорс, у которой имелся небольшой опыт работы в приюте для умалишенных. Вулфы жили поблизости и часто виделись с этой женщиной, иногда пересекаясь случайно. Двадцать шестого марта 1941 года Леонард вызвал врача на дом. Вирджиния переживала, что болеющей гриппом Октавии ради прихода к ней пришлось встать с постели. Она выдержала расспросы Октавии, но просила пообещать, что та не потребует поместить ее в психиатрическую лечебницу.

Двадцать восьмого марта 1941 года, в возрасте пятидесяти пяти лет, Вирджиния Вулф покончила жизнь самоубийством, бросившись в реку Оуз с большим камнем в кармане пальто. Ее тело было обнаружено лишь 18 апреля мальчиком, гулявшим по берегу. Заключение судмедэксперта гласило: самоубийство в состоянии помутненного сознания. Останки кре-

мируют 21 апреля. Прах Вирджинии будет развеян под вязом на лугу Монк-Хаус, недалеко от города Льюис.

Перед тем как покинуть дом в районе полудня, она написала два письма. Одно адресовано сестре Ванессе, второе — Леонарду:

«Мой дорогой, я уверена, что снова схожу с ума. Но я не чувствую в себе сил пройти через еще один из этих ужасных периодов. И на этот раз я не хочу ложиться в больницу. Я начала слышать голоса и не могу сосредоточиться. Поэтому я собираюсь сделать то, что будет лучше всего. Ты дал мне счастье, насколько это вообще было возможно. День за днем ты во всем был тем, кем должен стать каждый человек. Думаю, что не было людей счастливее нас до того момента, пока не проявилась эта ужасная болезнь. У меня больше нет сил с ней бороться. Я знаю, что ломаю твою жизнь и что без меня ты снова сможешь работать».

Пусть в этой книге не предполагается рассуждать на такие заслуживающие внимания темы, я все же хочу коснуться вопроса, породившего множество споров: почему англичане, обладающие различными талантами в сфере искусств, в особенности тех, что строятся на диалогах и беседе, испытывают недостаток в талантах в музыке и живописи. В этом наблюдении есть доля истины. Ближе к концу XIX века, в то время как на континенте шли ожесточенные дебаты на тему, что же должна изображать живопись после открытия фотографии, в Великобритании единственным направлением, противопоставленным академическому, стало движение прерафаэлитов. Зародившееся в середине столетия и связанное с такими именами, как Уильям Холман Хант, Джон Эверетт Милле, Данте Габриел Россетти, это направление противопоставило себя условностям викторианского общества. Оно предлагало излечить болезни зарождающегося индустриального общества с помощью искусства, черпающего основное вдохновение в природе, а в качестве идеальных образцов вы-

брало итальянских художников, творивших вплоть до Рафаэля (откуда и взято название направления). Предметы и темы искусства прерафаэлитов — от интимных до неопределенно-социальных, от исторических до религиозных, включая Средневековье, пересмотренное сквозь призму романтизма. Направление, которое в наши дни не может не очаровывать благодаря своему неповторимому стилю и тому, что во многих относящихся к нему произведениях заметны первые признаки того, что со временем перерастет в модерн (ар-нуво) и символизм.

Но для чего мы затрагиваем эту тему в главе, посвященной группе Блумсбери? Именно один из членов этого кружка, Роджер Фрай, в 1910 году организовал в Лондоне первую крупную выставку французских импрессионистов. Пока гордая Британия пыталась вернуться, как она считала, к живописи Италии эпохи, предшествующей гуманизму, в Париже зародилось новое движение, перевернувшее само понятие живописи. Даже в юной Италии, созданной усилиями Кавура и Джолитти приблизительно в то же время, когда зародилось движение прерафаэлитов, появляется направление маккьяйоли, члены которого в кафе «Микеланджело» во Флоренции пропагандируют неакадемическую живопись, воспроизводящую, по словам Фаттори¹, «впечатление настоящего».

Роджер Фрай был введен в кружок блумсберийцев Ванессой, которая и сама была художницей. И именно Фрай, человек крайне энергичный, организует выставку, названную «Мане и постимпрессионисты» (хотя кое-кем и было замечено, что это словосочетание не вполне корректно). В галерее Графтон были выставлены картины Сезанна, но также и работы Ван Гога, Гогена, Сёра, Синьяка, Пикассо, Мане, Вламинка, Матисса, Руо. Все немного хаотично, слишком много картин одного, слишком мало другого; слишком много из одного периода и слишком мало из предыдущего или последующего.

¹ Фаттори, Джованни (1825—1908) — итальянский художник, последователь «свободного письма» маккьяйоли. — Примеч. ред.

дующего — но в целом это была смелая попытка, имеющая важное культурное значение. Настолько смелая, что Десмонд Маккарти, один из друзей группы Блумсбери, напишет во введении к каталогу:

«Нельзя отрицать, что произведения постимпрессионистов озадачивают. Они даже могут показаться смешными тем, кто не признает, что симпатичная лошадка-качалка зачастую больше похожа на настоящую лошадь, чем фотография коня, выигравшего дерби».

Осмотрительно, как мы видим. Осторожность доходит до такой степени, что директор Национальной галереи сэр Чарлз Холройд требует, чтобы его имя не упоминалось в связи с выставкой. Картины французских художников были настолько далеки от главенствующих вкусов, что казались бесстыжими, безумными, написанными кое-как, приблизительно, вызывая мысли о «продукте сумасшедшего дома», как написал один из живописцев старой школы в «The Pall Mall Gazette». Критик из «The Times», пожелавший предложить читателям анализ направления, написал еще более обидные (в наши дни мы можем так сказать) и смешные слова:

«Это искусство исповедует простоту и для этого избавляется от всей той техники, которую наработали и увековечили художники прошлого. Они начинают все сначала и достигают результатов, сравнимых с детской мазней».

Действительно, складывается впечатление, что кто-то отправил Фраю рисунки своих детей, спросив, с целью провокации, не хотел бы он выставить их на своей следующей выставке. Единственными, кто полностью поддержал выставку, были блумсберийцы. Во главе с художниками Ванессой Белл и Дунканом Грантом.

Несмотря на все критические отзывы и гримасы, экспозицию посещали в среднем около четырехсот человек в день.

Писательница Кэтрин Мэнсфилд, которой в то время было двадцать два года, была настолько впечатлена картинами Ван Гога, что решила впредь сосредоточиться на современности. Все та же Вирджиния, которая в 1940 году напишет биографию Роджера Фрая, признает, что выставка оказала на нее огромное влияние. Ее сестра Ванесса скажет:

«Я думаю, что ни одна другая выставка будет не в силах оказать на целое поколение такое же влияние. Замешательство и ярость старшего поколения сделали ее еще более интересной».

А что Роджер Фрай? Он удивлен реакцией публики, которая обычно равнодушна к картинам. Однако его возмущает поведение самых образованных посетителей, восставших против выставки, как будто ее открытие нанесло личное оскорбление культуре, которую они считали прерогативой привилегированной части общества. Для Фрая этот снобизм был невыносим.

На вечерах, организованных в честь второй выставки постимпрессионистов (она состоялась в 1912 году), светское общество Лондона и художники оказались лицом к лицу. Ванесса и Вирджиния наряжаются как женщины с картин Гогена, благодаря чему скандал в очередной раз обеспечен. Но это направление живописи теперь признано модным. И поскольку молодые английские живописцы не могут прокормить себя собственным ремеслом, неутомимый Фрай решает им помочь. Если у них не получается продать свои картины, возможно, они смогут заработать себе на жизнь, раскрашивая стулья и фарфор, ковры и вазы. «Так они смогут рисовать картины, как поэты пишут стихи, ради собственного удовольствия, а не ради денег», — заявляет Фрай. Он считал, что необходимо отстоять свободу искусства, освободив его от мещанства и любых капризов.

В июле 1913 года Фрай открывает «Мастерские Омега», опять же в Блумсбери, в доме номер тридцать три по Фицрой-сквер. Несмотря на всевозможные сложности (от финансовых проблем до склок внутри мастерской) и в особенности несмо-

тря на мобилизацию, из-за которой многие его друзья вынуждены были отправиться на войну, эксперимент удался: Фрай обеспечил художникам небольшой заработок и иногда предоставлял работу тем, кто из-за своих воззрений отказывался идти в армию.

Страшная война 1914—1918 годов стала очередным испытанием для блумсберийцев. В середине июля 1914 года, за две недели до того, как война охватила весь континент, канцлер Казначейства Дэвид Ллойд Джордж (он станет премьером только к концу 1916 года) предупредил население о критическом положении Соединенного Королевства. Бастуют железнодорожники, требуя сорокавосьмичасовой рабочей недели и признания своего профсоюза. В Ирландии столкновения между протестантами и католиками почти что переросли в гражданскую войну, тысячи людей взялись за оружие. В Индии и Египте вспыхивают национальные восстания. Убийство в Сараево австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда и его жены Софии 28 июня стало той самой искрой, которая привела к разрушительным последствиям.

Великобритания объявила войну 4 августа, и первые недели сражений явились для нее полной катастрофой. Поражение воинского корпуса, отправленного на континент, поставило под угрозу фунт стерлингов, и потребовалось резкое вмешательство Казначейства, чтобы спасти национальную валюту. Английские войска вынуждены были отступить как от Ипра, так и от Монса, и только отчаянное сопротивление французов на Марне помешает австрийским и немецким войскам вступить в Париж в третий раз после 1815 и 1871 года. Шествие воинов Рейха по Елисейским Полям перенеслось на 1940 год. Хотя раз «лягушатники» (как англичане и американцы пренебрежительно называют французов) преподнесли урок если не военного мастерства, то, вне всякого сомнения, стойкости, которая привела к провалу молниеносного плана войны.

Но поражения длились недолго. После первых адских недель британская закалка взяла верх. Забастовки прекращают-

ся, мобилизуется вся страна. Ллойд Джордж в одной из своих пафосных речей, на которые англичане мастера (и которые, будучи произнесенными на итальянском языке, зачастую кажутся голой риторикой), заявил, что речь идет о войне за либеральные принципы, скорее даже о крестовом походе в защиту небольших стран, таких как Бельгия, куда дерзко вторглись немецкие войска. Действительно, война поставила на карту ценности и твердые убеждения, искажая саму идею прогресса.

На следующий день после начала войны Генри Джеймс написал своему другу:

«То, что цивилизация падает в пропасть крови и мрака... отрицает все, во что в течение долгого времени мы верили, — что мир, несмотря на некоторые отклонения, постепенно станет лучше. Принимать то, чего долгие годы добивались предатели, принимать то, чего они в действительности хотели, — это невыразимая трагедия».

Великобритания заплатила невыразимо высокую цену: 750 тысяч убитых и более двух с половиной миллионов раненых, многие из которых навсегда остались инвалидами. Лакуны, образовавшиеся после этой мясорубки, демонстрирует один простой факт. В начале войны, чтобы пойти на фронт добровольцем, нужно было иметь рост не ниже метра восьмидесяти. Через несколько месяцев, в октябре, этот порог был снижен до одного метра семидесяти двух сантиметров. В ноябре, после того как число погибших достигло почти 300 тысяч, этот порог в очередной раз сократили до метра шестидесяти семи сантиметров.

А что же группа Блумсбери? Когда война разразилась, ее участники отреагировали по-разному: кто-то отказался идти на фронт из-за убеждений, кто-то поступил на военную службу, кто-то стал служить своей стране другим способом. Постоянные встречи прервались, тем более что многие переехали из Лондона за город. Группе грозит исчезнуть, «как утренний

туман». Никто из них «не верит» в войну и не принимает религию национализма и шовинизма, ненависти к врагу, которого пропаганда рисует как воплощение Зла.

Когда в 1916 году вводится обязательный призыв, молодежь из Блумсбери оказывается перед альтернативой: сражаться за то, во что они не верят, или оказаться перед трибуналом, который, оценив искренность их намерений, может отправить работать на благо фронта или в тюрьму, или же — во вспомогательные войска, где риск не меньше, чем в боевых частях.

Блумсберийцы снова вместе: Литтон Стрейчи, Клайв Белл, Дункан Грант считают войну ужасной, бессмысленной и абсурдной. Литтон, которому по состоянию здоровья не грозит преследование военных властей, завязывает спор с членами суда прямо в зале военного трибунала. На стандартный вопрос, задаваемый всем, кто отказывался от службы из-за своих убеждений: «Как ты поступишь, если немецкий офицер попытается изнасиловать твою сестру?», Литтон отвечает знаменитой фразой: «Постараюсь втиснуться между ними». Такое поведение становится предметом насмешек и провоцирует выпады тех, кто, напротив, считает, что воевать необходимо. Герберт Уэллс, к примеру, считал пацифистов умными и утонченными людьми, но в целом способными только закрывать глаза и затыкать уши перед лицом реальности. А Д. Г. Лоуренс, не знакомый почти ни с кем из блумсберийцев, относился к ним, мягко говоря, с антипатией. В одном из своих писем 1915 года он пишет:

«Разговоры этой молодежи наполняют меня слепой яростью: они болтают без конца и никогда, никогда не говорят ничего хорошего или стоящего. Они ведут себя дерзко и оскорбительно. Все они закрылись в собственной скорлупе, из-за которой бросаются словами. Нет ни следа чувства или уважения, ни капли уважения. Я этого не выношу. Я ненавижу таких людей, предпочитая одиночество. Прошлой ночью мне снился гигантский таракан, который кусался, как скор-

пион. Я раздавил его, и он убежал, но я снова настиг его и убил. Не выношу этих отвратительных маленьких копошащихся существ».

Именно через неуважение и осквернение блумсберийцы ведут свою войну против истеблишмента, как, впрочем, всегда поступала не только передовая молодежь, но и все те, кто борется против официальных властей. «С самого детства мне казалось, что, кто бы ни вел себя авторитарно, он лишь делает себя мишенью для насмешек», — написал Адриан Стивен в своем отчете о проделке на дредноуте. Там же он добавил: «Если бы все разделяли те чувства, которое вызывают во мне армии всего мира, обитатели земли могли бы быть счастливы».

Когда в 1918 году были опубликованы «Знаменитые викторианцы», книга, принесшая известность Литтону Стрейчи, читатели обнаружили, что на ее страницах культ прошлого сочетается с упражнениями в иронии и неприкрытым обсуждением слабостей — вплоть до насмешек — множества личностей, считающихся «героями».

После мясорубки войны восхваление героизма потеряло всякую привлекательность — на его место пришли отрезвление и скептицизм, сменившие славные убеждения прошлого. Публика начинает глубже проникать в мотивы легкомысленного поведения блумсберийцев.

Была ли у блумсберийцев идеология? Среди бесконечных разговоров о литературе и сексе, среди философствований и фривольностей временами проступали темы политики и идеологии. Стивен Спендер, один из немногих из поколения английских поэтов тридцатых годов доживших до наших времен (он умер в 1995 году), в молодости недолго был коммунистом. Эти убеждения толкнули его принять участие в Гражданской войне в Испании вместе со сторонниками республиканской Франции, захваченной франкистами. Вместе с ним в Испании сражался (и погиб в возрасте двадцати девяти лет) Джулиан Белл, сын Ванессы. Впоследствии Спендер скажет, что в то

время «единственной возможностью быть антифашистами» означало стать коммунистами. «Мы выкарабкались из кризиса 1929 года; казалось, капитализм умирал, так как не мог больше предложить адекватных решений». В эту систему воззрений укладывался и гомосексуализм, «так как в определенном смысле это был канал для завязывания межклассовых отношений, выход из сепаратизма, навязанного миром привилегий, в котором мы живем. Думаю, что в Оксфорде редко завязывались интимные отношения между разными полами. Женщины в определенном смысле были далеким и загадочным континентом».

С теми, кто в то время примкнул к коммунистам, Англия продолжала сводить счеты вплоть до шестидесятых и семидесятых годов, когда стало известно о шпионской сети, существовавшей на протяжении всей «холодной войны» и работавшей на СССР. Но среди блумсберийцев коммунисты составляли подавляющее меньшинство.

Если мы хотим определить, к какому политическому течению относились участники группы, стоит скорее обратиться к традициям либерализма, которым Кейнс приписывал значительные заслуги в интеллектуальном и гражданском прогрессе Британии: «Традиция, связанная с именами Локка, Юма, Адама Смита, Дарвина и Милля, традиция, отмеченная любовью к истине и благородной трезвостью мысли, здоровым иммунитетом к сентиментализму и метафизике и безмерным самоотречением».

Именно здесь рождается различие между религией и этикой, убеждение, что можно действовать в соответствии с моралью, не нуждаясь в религиозной дисциплине. Для многих кульминацией такого подхода станет агностицизм, понимаемый как предпосылка к светской и личной религии. Не догмы, навязанные верой, но императив обязательств перед обществом (*social obligation*). Не «спасение души» через гипотетическую связь с Богом, но достоинство каждого человека, способного на свободные и цивилизованные отношения. «Правдивая теория этики», защищающая, по словам Кейнса, «право судить каж-

дый конкретный случай сам по себе, рассчитывая только на собственную мудрость, опыт и самоопределение».

В заключение я хотел бы рассмотреть, какие чувства испытывал этот кружок по отношению к Южной Европе, в особенности к Италии. Как я уже говорил во вступлении, у северного романтизма всегда были неоднозначные взаимоотношения с Югом, из-за его ослепительной яркости, но также из-за того, что это земля интриг, предательства, кровопролития. Смесь влечения и отторжения, которая, начиная с Шекспира, означала восхищение живописностью и экзотикой — и в то же время стремление набраться опыта в различных областях, в том числе в области секса. Джон Уильям Полидори в биографии молодого Байрона открыто это признает:

«Наш герой предупредил опекунов, что пришло время отправиться в Большое путешествие, которое на протяжении многих поколений считалось неременным условием для завершения образования молодого человека. Действительно, считалось, что молодые должны познакомиться с пороками, чтобы высоко держать голову перед стариками и не считаться дураками».

Интриги, пороки, приключения, риски — Большое путешествие по Средиземной Европе было наполнено интересными неожиданностями и опасностями, и именно так к нему нужно было относиться. Когда летом 1906 семья Стивенсов решает предпринять поездку в Грецию, Тоби и Адриан перед отъездом даже составили завещание. В их багаже, помимо неременных костюмов из белого шелка и панам с широкими полями, защищающих от солнца, лежали продукты и медикаменты. Меры предосторожности были ненапрасны: Ванесса заболела почти сразу, вслед за ней — ее подруга Вайолет Дикинсон, присоединившаяся к группе. Но самое страшное несчастье поджидало Тоби, который вернулся в Англию больным тифом и умер в ноябре. Ему было всего двадцать шесть лет, перед ним открывалось блестящее будущее.

За два года до этого, в 1904-м, незадолго до кончины отца, четверо младших Стивенсов предприняли продолжительную поездку в Венецию. В ноябре 1849 года, через три месяца после завершения осады города австрийцами после восстания под руководством Даниеле Манина, в Венеции побывал Джон Рескин. Когда в Венецию прибыли Стивенсы, колокольня у собора Святого Марка была разрушена и вот уже два года представляла собой груду камней. Понадобилось еще восемь лет, чтобы ее отстроили «как было и где было». В обоих случаях, пусть и по разным причинам, Венеция предстала перед путешественниками одним из самых красивых и грустных городов Европы. Шелли, который любовался Венецией с Эуганейских холмов, ее башни показались «Могилою, где род людской / Как червь, кормящийся гнилью / Цепляется за былое величие, / Что ныне мертво и лежит в развалинах»¹.

Мрачная ширь лагуны, топи, заброшенные дворцы, камни, хранящие следы древней, ныне порушенной красоты, — и повсеместно запах смерти. Чего еще могли желать четверо молодых викторианцев, трепещущих от возвышенных мыслей?

Но Италия приготовила и сюрпризы другого рода. Анжелика Гарнетт, дочь Ванессы, рассказывает об отвратительном происшествии, произошедшем во время путешествия на юг Италии через несколько лет:

«Думаю, это было где-то недалеко от Казерты. Мы остановились на ночь в гостинице, мало заслуживающей доверия... Там не было никаких удобств. Простыни были скорее серыми, чем белыми. Я проснулась посреди ночи и при слабом свете луны увидела, как она, полуголая, боролась с клопами. Она казалась портретом кисти Караваджо».

Эта сцена не становится менее отвратительной от того, что в ней упомянут великий художник. Впрочем, и Кейнс, по-

¹ Перевод Н. Чаминой.

бывав в молодые годы в Неаполе, дал ему такое определение: «Убогий город».

«Разговоры, беседы, обмен мнениями... как это было здорово!» — воскликнет один из блумсберийцев, когда редкое ощущение близости и избранности начнет покидать участников группы. Вспоминая те времена, Кейнс говорил: «Мы были как водомерки, которые, едва касаясь, скользили аккуратно, легко и рассудительно по поверхности потока». И это тоже было в характере блумсберийцев. Мне кажется, ничто не сможет отделить тех людей из плоти и крови, которыми они были, от икон, в которых со временем превратились, лучше, чем последние слова из дневника Вирджинии Вулф. Они были написаны 8 марта 1941 года, за двадцать дней до того, как она покончила с собой в Англии, раздавленной бомбардировками. Это заметка из нескольких строк, которая заканчивается так:

«Я хочу пойти ко дну с развевающимися знаменами. Я знаю, что дальше заглядывать в себя нельзя; я на краю, но я пока еще держусь. Допустим, я запишусь в библиотеку, буду каждый день ездить на велосипеде и читать книги по истории. Допустим, я выберу самую значимую личность каждой эпохи и напишу про нее. Человек должен быть чем-то занят. И вот сейчас с определенным удовольствием я замечаю, что уже полвосьмого и мне пора готовить ужин. Треска и сардельки. Я верю, это правда, что, написав о треске и сардельках, ты некоторым образом обретаешь над ними власть».

Власть над треской и сардельками — определенно, да; гораздо труднее обрести власть над самим собой, бедная Вирджиния.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПАРЛАМЕНТА

Панорама Лондона немыслима без здания парламента с его узкими готическими зубцами на стенах и двумя башнями по краям, одна из которых, с северной стороны, — знаменитая Часовая башня, в которой помещается не менее знаменитый четырнадцатитонный колокол, именуемый Биг-Бен.

Это место столь насыщено символами и воспоминаниями, что они, кажется, хлещут через край. Парадоксально, но в стране со старейшими парламентскими традициями парламент заседает в здании относительно недавней постройки.

К чему, спросите вы, разговор о парламенте в книге, названной «Секреты Лондона»? Что может быть тайного в здании или в самом политическом институте, который по тем или иным причинам постоянно находится на виду у всего света? В этой главе мы попытаемся дать ответ на вопрос, в действительности совсем не такой простой, как можно подумать.

Там, где теперь высится здание парламента, раньше находился старый дворец, бывший одновременно и королевской резиденцией — при Генрихе VIII переехавшей в Сент-Джеймский дворец, — и местом заседаний ассамблеи пред-

ставителей провинций. В 1834 году здание постиг пожар столь разрушительной силы, что сохранился один лишь Вестминстер-холл — внушительный, с окнами, занимающими целую стену, с поддерживающими потолок могучими балками из гемпширского дуба.

На реконструкцию парламентской резиденции был объявлен конкурс, и выиграл его Чарлз Берри, представивший проект здания в стройных готических формах, вписывающих его в гармоничную композицию с находящимся позади Вестминстерским аббатством. Следовательно, перед нами готика XIX столетия, и это особенно бросается в глаза в интерьерах: богатая позолота, нагромождение декора, навязчивое стремление заполнить каждый дюйм поверхности интарсией или гобеленом, фреской или картиной, мозаикой или лепниной.

В Зале Королевской мантии, где монарх надевает церемониальные облачения и корону перед тем, как держать тронную речь на объединенной сессии парламента, все блистает золотом — от стены, где стоит трон, до той, что занята гигантским камином. То же можно сказать и о Королевской галерее, по которой монарх шествует в палату лордов. Высокие потолки, мощные балочные перекрытия, тяжелые светильники, великолепия позолоты, две огромные картины с изображением решающих моментов истории страны (подобное в Лондоне на каждом шагу): с одной стороны — гибель Нельсона при Трафальгаре, с противоположной — встреча герцога Веллингтона и прусского генерала Блюхера под Ватерлоо.

Из двух залов заседаний палата лордов имеет более роскошный вид: позолота, фрески, канделябры, строгие статуи; в высоких окнах сюжетные витражи, как в соборах. Лордов, или пэров, в королевстве насчитывается чуть менее семисот; девяносто два из них носят высокий титул по наследству, они не могут участвовать в законодательных реформах, касающихся государственного бюджета, и многих из них правительство Тони Блэра лишило как права голоса, так и права

выступать с трибуны. По этому поводу авторитетный обозреватель английской жизни высказался так:

«Блэр действовал противоположно Гепарду¹, считавшему, что необходимо изменить все, чтобы ничего не поменялось. Блэр, наоборот, поменял многое, делая вид, что ничего не меняет».

За историю Англии многие из лордов прославились в различных сферах деятельности: от политики до искусства, от наук до предпринимательства и религии. Лордами являются и епископы англиканской церкви, начиная с главного из них, архиепископа Кентерберийского. Некоторые изредка бывают на слушаниях, другие не появляются почти никогда, и отсутствие части членов верхней палаты помогает решить проблемы с местами в зале, которых в противном случае не хватило бы на всех.

Председатель верхней палаты — лорд-канцлер — должен восседать (не испытывая, полагаю, большого комфорта) на большой красной, как и все остальное, подушке, называемой *woolsack*², — первоначально это и был настоящий мешок с шерстью в напоминание об одном из основных источников богатства нации.

С давней историей связан еще один любопытный факт, положивший начало традиции, сохранившейся до наших дней. В 1605 году католик-фанатик по имени Гай Фокс заложил тридцать шесть бочек с порохом в подвалах под залом заседаний. Для подобного протеста, несомненно, имелись веские основания: в стране было запрещено служить мессу даже в частном порядке, нельзя было ни крестить детей, ни хоронить покойников по римскому обряду. «Пороховой заговор» преследовал цель разом избавиться и от парламента, и от короля. Заговорщиков вовремя разоблачили, Фокса схватили, под-

¹ Герой одноименного романа Джузеппе Томази ди Лампедузы.

² Мешок шерсти (англ.).

вергли пыткам и казнили. По прошествии четырех столетий каждый год 5 ноября страна вспоминает о нем: повсюду разжигаются огромные костры и устраиваются фейерверки — отмечается казнь покушавшегося на короля героя.

Палата общин (депутатов — сказали бы мы) имеет более сдержанный вид. Диваны обиты зеленой кожей и так же расположены симметричными рядами, как кресла в хорах. Вдоль передних скамей на полу прочерчены линии, расстояние между которыми немногим больше суммарной длины двух шпаг. В случае, если в пылу дебатов кто-то терял голову и хватался за оружие (а раньше в парламент можно было приходиться вооруженным), эти линии служили напоминанием о необходимости поумерить пыл (переступить за них запрещалось).

Председателя палаты общин называют спикером, и когда-то в его обязанности входило докладывать монарху о ходе заседаний. Но при этом он докладывал лишь о том, что считали нужным сами депутаты (заседания палаты были секретными).

Парламентских хроникеров еще не было и в помине; на заседания их стали пускать лишь в 1770 году, и одним из первых и самых блистательных репортеров был Чарлз Диккенс; в тридцатые годы XIX века он часто сидел в зале, составляя заметки для газеты «Парламентское зеркало».

В новом здании Викторианской эпохи, возведенном после разрушительного пожара 1834 года, для представителей прессы было отведено специальное место на галереях. «Журналистское лобби», — сказали бы мы сегодня.

В английском парламенте 659 депутатов, избираемых, соответственно, в 659 одномандатных округах. На открытии каждого заседания спикер входит в зал через центральный коридор и Зал посетителей (*Central Lobby*). Перед ним идут полицейские, приказывающие всем посторонним снять шляпу: «Hats off, strangers!»

Для палаты общин также актуальна проблема сидячих мест: кресел немногим более четырехсот, поэтому отсутствие части депутатов только на руку остальным. Несколько раз вы-

двигалось предложение увеличить количество мест, но, поскольку аншлаг на заседаниях, когда обсуждаются важные вопросы, случается сравнительно редко, пришлось выбирать меньшее из зол: или вынуждать кого-то стоять во время действительно значимых сессий, или наблюдать полупустой зал на обычных заседаниях. Было выбрано первое. К тому же депутаты голосуют не с мест, а проходят по коридору перед специальными служащими, называя им свое имя, в одну из двух комнат: для голосующих «за» (на староанглийском *Aye*) — слева от зала заседаний, для голосующих против — справа. По окончании поименного голосования председателю представляют результаты подсчета голосов.

Срок полномочий английских парламентариев составляет пять лет. Партии, получившей на парламентских выборах наибольшее число голосов, поручается формирование правительства. В кабинет обычно входит два десятка министров и около восьмидесяти заместителей министров.

Политические партии в современном понимании родились во времена Карла II Стюарта в середине XVII века. Разногласия во мнениях, особенно по остро стоявшим на тот момент вопросам власти и религии, заставили вигов принципиально и бескомпромиссно отказаться видеть на престоле короля-католика и паписта, тори же не исключали такую возможность. Разумеется, разногласия у двух группировок имелись и по другим вопросам, но это был главный камень преткновения. Со временем тори, сохраняя свое название, превратились в Консервативную партию, какой мы ее знаем сейчас, а виги в тридцатые годы XIX века стали партией либерального толка. Лейбористы, аналог социалистических партий континентальной Европы, появились в Великобритании только в 1906 году. Они станут основной оппозиционной партией, а в 1924 году монарх впервые поручит им формирование правительства.

Десятого мая 1941 года во время немецких бомбардировок Зал палаты общин серьезно пострадал. Депутаты были вынуждены перебраться в палату лордов, последним же при-

шлось временно найти другое место для собраний. При восстановлении зала в 1950 году Черчилль распорядился, чтобы одна из стен была оставлена как есть; так и сделали.

Стены зала заседаний не блещут позолотой, в отличие от палаты лордов; они обшиты темными деревянными панелями от пола до высоких окон. Древесину для обшивки принесли в дар страны Содружества: Новая Зеландия, Канада и Австралия.

В холле стоят статуи двух премьеров, управлявших страной во время двух мировых войн: Дэвид Ллойд Джордж справа и Уинстон Черчилль слева. Черчилля скульптор изобразил в непринужденной позе: он устремлен вперед, пиджак расстегнут, руки уперты в бока. На одном из столиков в арке вы найдете шкатулку с нюхательным табаком — традиция, со временем ставшая забавным курьезом.

В коридорах парламента много картин. Одна из них изображает, как на иллюстрации к детской книжке, «отцов-пилигримов», поднимающихся на корабль, что вот-вот отплывет в колонии Новой Англии. «1620 год» — можно прочесть в правом нижнем углу. 1620-й? Это время жарких баталий между парламентом и короной при Стюартах¹. Кульминацией этого драматического периода стало событие, которое сами англичане называют *The Glorious Revolution* — «Славная революция». Она произошла в конце века, принесшего жителям Туманного Альбиона столько испытаний: чума, великий пожар 1666 года, уничтоживший значительную часть Лондона; века, когда король взошел на эшафот; века

¹ Королевская династия Стюартов правила в Англии в 1603—1649 и 1660—1714 гг. Правление Якова I Стюарта (в 1603—1625 гг.) и особенно его преемника Карла I Стюарта (в 1625—1649 гг.) было отмечено непрекращающимися конфликтами с парламентом. В 1629 г. Карл I распустил парламент и до 1640 г. правил единолично. Дальнейшие события вошли в историю как Английская буржуазная революция XVII века. В 1660 г. Стюарты вернулись на престол в лице Карла II (сын Карла I), которого в 1685 г. сменил его брат Яков II. «Славная революция», о которой пойдет речь дальше, косвенно связана с именем Якова II. — Примеч. ред.

беспощадной борьбы за выяснение того, кому принадлежит власть; века, когда Великобритания достигла конституционального равновесия, на котором до сих пор зиждется ее политическая система.

Англичане — исключительно консервативная нация, и поныне терпящая наследников конституционально бесполезной монархии (нередко к тому же подающей пример достойного порицания поведения) — первыми в Европе поняли, что власть короля следует ограничить рядом противовесов, чтобы никакой монарх не смел принять королевский скипетр за жезл тирана.

Почему же тогда о «Славной революции» так мало говорят за пределами Великобритании? История, которую я намерен вам поведать, — это переплетение кровавых событий и высоких интеллектуальных спекуляций, коварных предательств и гордых идеалов свободы; это реализация очень современного представления о равновесии власти, но и упрямое отстаивание кастовых и имущественных привилегий.

Многие великие державы Нового времени родились в революциях. Всем известны революции в странах Южной Америки (хотя бы по героическому фольклору). До сих пор говорят об относительно недавней китайской революции; она породила немало надежд, однако сопровождавшие ее жестокости (маоистский «удар по штабам»), возможно, привели к фиаско в финале. Еще больше говорят о русской революции, закончившейся известно как после семидесяти лет авторитарного советского режима. Особняком стоит Революция с большой буквы — французская революция 1789 года, которая, несмотря на кровь и террор, утвердила в народах Европы идею гражданских свобод и заложила основы современного человеческого сообщества.

Но никогда или почти никогда в перечень революций не попадает английская. Некоторые историки, уж не знаю, большинство или нет, склонны рассматривать события 1688 года скорее как дворцовый переворот, нежели как настоящий переход общественной и политической власти от одного класса

к другому, чем, строго говоря, и является революция. Один из них, Франсуа Фюре (в работе «Две революции»), выдвигает гипотезу, что английская и американская революции не были «формами искоренения» прошлого, а скорее, «формами воссоединения» с традицией, ее возрождения или даже реставрации. Если эта гипотеза верна, становится понятна причина, по которой «Славная революция» не так на слуху по сравнению с революциями 1789 и 1917 года.

Первый кризисный эпизод восходит к 1642 году, к эпохе Карла I Стюарта, короля слабого и именно по причине своей слабости грешившего абсолютистскими замашками. Карл сложил голову на плахе 30 января 1649 года, не дожив даже до пятидесяти лет, — это единственный обезглавленный монарх в истории Англии.

Карл однажды явился в парламент в сопровождении оруженосцев и придворных с намерением арестовать пятерых «депутатов», по его заявлению, виновных в измене. Спикер палаты Лентхолл преградил ему путь со словами:

«С позволения Вашего Величества, у меня нет ни глаз, чтобы видеть, ни языка, чтобы говорить в этих стенах, но поскольку палата пожелала назначить меня...»

Речь Лентхолла была довольно длинной и витиеватой, и нет никакой необходимости приводить ее полностью, суть в том, что Карлу не позволили осуществить свое намерение. С тех пор ни один король не осмеливался ступить ногой в палату общин. Даже сегодня, когда монарх выступает с ежегодной речью (в начале ноября), он идет в палату лордов, или палату общин направляется герольдмейстер палаты лордов, или Черный Жезл, как его еще называют (*Gentleman Usher of the Black Rod*). Стоит ему появиться, как дверь захлопывается буквально у него перед носом. И лишь после того, как герольдмейстер трижды постучит, она снова открывается (такова церемонии!), и «члены уважаемого собрания» приглашаются в ремонию!). Спикер поднимается и ведет за собой депутатов. Там, в палате лордов, кто сидя, кто стоя на специально отведенных местах, все слушают *The Gracious Speech* — трон-

ную речь, в которой излагается программа правительства (составленная премьер-министром).

Злополучный Карл I был женат на Генриетте Марии, дочери короля Франции Генриха IV, ревностной католичке. Для многих его подданных уже только это было поводом для недовольства, но Карл еще более усугубил ситуацию, пытаясь сблизить англиканскую церковь с Римом.

По-видимому, стремясь сбалансировать свою политику, в 1628 году Карл пытался оказать помощь осажденным в Ларошели гугенотам, но этот его противоречивый шаг не встретил понимания. Наибольшую же враждебность вызвали обременительные налоги, которыми он вынужден был обложить подданных, чтобы получить средства на ведение войн.

Прежде чем сложить голову на плахе, Карл I испытал на себе, что значит для суверена отдать приказ и встретить неповиновение, попытаться навязать свою точку зрения и увидеть, как противостоящие силы отмечают ее. Постоянные разногласия между короной и парламентом, как это часто бывает, когда на троне сидит заносчивая, но слабая личность, привели к гражданской войне.

Растущая сила парламента ограничила королевскую власть; отсутствие уверенности в действиях Карла повлекло за собой неудачи на полях сражений.

Невиданный позор: место Карла I занял не суверен, а тиран, тот самый Оливер Кромвель, лидер пуритан, который в 1649 году провозгласил республику (*Commonwealth*), а в 1653-м принял титул лорда-протектора Англии, Шотландии и Ирландии.

Однако, когда с диктатурой Кромвеля было покончено, на трон снова взошли Стюарты, сначала Карл II, затем Яков II, сыновья покойного Карла I.

Следовательно, когда говорят, что «Славная революция» была быстрой и бескровной, это не совсем точно. События, которые разыграются вокруг Якова II, явились развитием конфликта, начавшегося сорока годами раньше, во время печального и беспокойного царствования его отца.

И Яков II повторил большую часть ошибок отца. Он выставил напоказ свое католическое исповедание, что тотчас же настроило против него влиятельнейшие англиканские круги. Он открыто бросил вызов протестантам, отдавая везде, где только можно (правительство, армия, университеты), важные должности католикам (что никак нельзя отнести на счет молодости и неопытности — Яков взошел на трон в пятьдесят два года). Он простер свою власть вовне двора, заменив в городах и округах представителей джентри (местного мелкого дворянства) на своих людей. Впервые с 1558 года были восстановлены дипломатические отношения со Святым престолом в Риме, и это выглядело совсем уж вызывающе, тем более что Яков, хоть лично и исповедовал католицизм, будучи королем, являлся главой англиканской церкви. Как бы мы сказали сегодня, явный конфликт интересов.

Парадокс в том, что, несмотря на столь явную прокатолическую политику, число обращений в католичество не выросло, да и католическое меньшинство не оказывало Якову достаточной поддержки. Многие предпочли не выдавать себя ради сохранения добрых отношений с протестантским большинством.

Но дело не столько в отдельных досадных эпизодах и ошибках, а в том, что суверен не смог уловить настроения, владевшие обществом. После казни Карла I и диктатуры Кромвеля страна была охвачена глубоким желанием порядка и законности. Уставшая от религиозных войн Англия готова была ответить на призыв Джона Локка и других просветителей, отстаивающих религиозную терпимость (или недопустимость навязывания какой бы то ни было веры сверху), утверждая, что людей можно направлять в лоно Церкви, но неопытно силой толкать их туда. Постулаты, диаметрально противоположные тому, что в эти годы проповедовал папа Иннокентий XI.

Ко всем этим сомнительным действиям добавился глубокий разлад между Яковом и его венценосной супругой, Марией Беатрисой д'Эсте. Родом из Модены, католичка, Мария

оказалась вовлеченной — неизвестно, насколько осознанно, — в заговор против мужа. Яков был увлекающейся натурой, о нем говорили *a lusty and amorous man* («человек чувственный и влюбчивый»). Он имел не одну любовную связь, как, впрочем, почти каждый суверен. Так случилось, что роман с одной из них, некоей Екатериной Седлей, был особенно долгим, она даже стала его официальной фавориткой. Мария Беатриса не потерпела такого оскорбления и сумела прогнать соперницу, спровоцировав скандал такого масштаба, что даже в преклонные годы Яков был убежден: истинной причиной его низложения явился этот бесстыдный адюльтер.

Но дни его омрачали не только религиозные или личные проблемы. Отношения с Людовиком XIV, королем Франции, хуже некуда, папа Иннокентий XI не оказывает ожидаемой помощи; внешняя политика отличается неустойчивостью: с каждым днем становится все более реальной перспектива войны с Голландией, и трудно предугадать, пойдет ли речь о новой торговой войне или же о масштабном вооруженном конфликте...

В качестве возможного кандидата на замену беспомощного Якова многие англичане рассматривали статхаудера (наместника) Нидерландов Вильгельма III Оранского. Не в последнюю очередь — из-за сложного сплетения родственных связей, столь характерного для европейских монархий. В 1677 Вильгельм Оранский женился на Марии II Стюарт, дочери Якова (и одновременно своей кузине), которой к тому времени исполнилось пятнадцать лет.

Чувствуя, что земля уходит у него из-под ног, Яков решил исправить положение новыми выборами. Однако ему дважды пришлось переносить их дату.

В мае 1688 года в Голландию из Англии направилась делегация влиятельных граждан, чтобы официально просить Вильгельма о вмешательстве. Он ответил, что если от него ждут высадки на английских берегах (читай — военного вторжения), то для оправдания подобного шага ему бы хотелось получить документ, подписанный значительным числом

представителей английской знати. В последний день июня статхаудер получает приглашение, под которым стоит некоторое число подписей, хотя и не того уровня, на который он рассчитывал. Однако разворачивающиеся события вынуждали его к действиям.

Десятого июля Мария Беатриса родила сына, которому дали имя Джеймс Фрэнсис Эдуард, младенец также получил традиционный титул «принц Уэльский». Теперь у Якова появился наследник. Вильгельма это поставило перед выбором: или действовать безотлагательно, или отказаться от своих интересов в Англии. Для протестантов рождение невинного младенца усиливало опасность католического наследника на английском троне.

Еще сильнее усложнили ситуацию почти детективные обстоятельства появления младенца на свет. Во время беременности королева почти не появлялась на людях, и лишь немногие могли воочию убедиться в том, что она действительно ждет ребенка. Сами роды состоялись без свидетелей и на месяц раньше ожидаемого. Вскоре пошли слухи, что Мария Беатриса вовсе и не была беременной или ее беременность окончилась выкидышем, а младенец, представленный двору как сын короля, на самом деле — чужой ребенок, взятый, чтобы обеспечить Стюартам законного наследника. Кое-кто даже утверждал, что Яков не мог произвести потомство из-за застарелой венерической болезни. В определенных кругах в этих толках увидели политические выгоды: если бы удалось доказать, что новорожденный не является законным, репутации Якова был бы нанесен еще один удар. Нашлись и такие, кто воспользовался рождением наследника, чтобы подтолкнуть Вильгельма к конкретным действиям.

Положение Якова продолжало ухудшаться. Архиепископ Кентерберийский и значительная часть священников не подчинились приказу короля прочесть с кафедры новую редакцию Декларации о веротерпимости, по которой все подданные признавались равными перед законом независимо от религиозной принадлежности. Король в ярости, он требует суда

над непокорными епископами, но его отговаривают от этого: в случае, если епископы будут оправданы (что весьма вероятно), слабость положения суверена станет еще более очевидной. Но король настаивает, и процесс, завершившийся вердиктом о невиновности представителей клира, как и предполагалось, обернулся для него позором. Некоторые историки именно с этого приговора начинают отсчет заключительного этапа падения Якова II.

Еще одним промахом (а по сути, конвульсивной реакцией на события) стала угроза приостановить действие «Habeas Corpus Act»¹, действовавшего с 1679 года. Этот документ стоял на страже прав обвиняемого в уголовных процессах. По жалобе лица, считающего свой арест незаконным, судьи, согласно этому акту, обязаны были проверить мельчайшие детали дела. Иными словами, речь идет об очень важном юридическом институте, отражающем британское представление о правах личности, революционном в эпоху, когда по прихоти короля или другого могущественного лица люди могли просто-напросто исчезнуть. Нет необходимости объяснять, какую чудовищную ошибку совершил Яков, покусившись на эту основополагающую гарантию.

Предупрежденный об опасности вторжения, король, неожиданно для многих, заявил о своей уверенности в том, что Вильгельм, его зять, не осмелится на подобный афронт: Мария не позволит мужу совершить этот шаг.

Яков слепо верил и в другую гарантию своей безопасности: католические союзники воспротивятся планам высадки статхаудера.

И наконец, в такой момент, когда в Европе веет войной, разве может Вильгельм задействовать войска и средства, нужные ему в гораздо более серьезных конфликтах? Яков не знал, что Вильгельм, помимо англо-голландских полков, уже обзавелся наемной армией, состоящей в основном из немцев

¹ Акт о лучшем обеспечении свободы подданного и о предупреждении заточений за морями. — Примеч. ред.

и датчан, под командованием герцога Шомберга. Что касается переброски войск, эскадрой должен был командовать Артур Герберт, опытный флотоводец, которого Яков (еще одна его ошибка) разжаловал годом ранее.

Самому Вильгельму предприятие казалось не лишенным рисков. Пролив не слишком широк, но речь шла о том, чтобы вывести навстречу осенним штормам караван из двухсот двадцати пяти парусных судов в сопровождении пятидесяти военных кораблей. По плану на английский берег предстояло перевезти двенадцать тысяч человек плюс лошади, провиант, снаряжение и боеприпасы.

Когда Яков осознал драматизм сложившейся ситуации, он попытался спасти положение: и католикам, и протестантам были даны обещания, что правительство не окажет никакого влияния на выборы в парламент. Если в предшествующие недели король показал себя вялым правителем, то теперь он демонстрировал панику, что еще хуже.

Тридцатого октября 1688 года армада Вильгельма снялась с якорей и отплыла в западном направлении. Корабли Якова ждали ее появления в устье Темзы, но Вильгельм, отчасти пользуясь попутным ветром, отчасти чуя опасность, приказал пройти пролив Довер и следовать еще далее на запад. Для высадки он выбрал небольшое селение Торбей в графстве Девон, где и пристал 5 ноября.

Впервые с 1066 года на английском берегу с враждебными намерениями высадились военные силы. Первые шаги осторожны, Вильгельм ограничился тем, что завоевал Эксетер, городок в юго-западной части острова, и распространил заявление, в котором обещал свободные выборы в парламент. Также было обещано расследовать странные обстоятельства рождения принца Уэльского.

Яков толком не знал, что делать: выдвинуть войска навстречу Вильгельму, оставив столицу оголенной, или же неизвестно сколько дожидаться появления зятя в самом Лондоне, притом что время будет играть против него? Зажатый между этими рискованными альтернативами, он выбрал тре-

тью. Король распорядился послать войска в Солсбери (это примерно на полпути между Лондоном и Экстером), объявив, что сам он прибудет в лагерь в ближайшее время.

Действительно, 19 ноября Яков появился в Солсбери, где задержался на несколько дней. Тем временем несколько его лучших генералов присоединились к англо-голландскому войску. Единственные офицеры, на которых еще можно было положиться, — католики, однако они, вопреки тому, что говорили в народе, занимали не более десяти процентов командных должностей.

В такой ситуации Яков вернулся в Лондон, надеясь разыграть последние остававшиеся у него политические карты. Вильгельм располагает большими силами, это так, но правда и то, что юридически его положение ничем не подкреплено. Никто не мог бы сказать, по какому праву статхаудер идет с войсками на законного короля и его столицу.

Яков был напуган. В разговорах с французским посланником и папским нунцием он несколько раз упоминал об участии Ричарда II Плантагенета и Генриха IV Французского, расставшихся с жизнью не по своей воле. Вильгельм гарантировал супруге, что личность ее отца неприкосновенна, но все знают, сколь мало значат обещания власть имущих. А вдруг какая-нибудь горячая голова пустит в ход кинжал, в полной уверенности, что исполняет самое заветное желание Вильгельма?

Король также опасался, что у него отнимут новорожденного, чтобы вырастить его в протестантской вере. Поэтому он приказал одному из немногих верных ему людей, графу Лозену, вывезти ребенка и его мать, Марию Беатрису, во Францию, где они были бы вне опасности.

Странная троица выехала в сторону Парижа 10 декабря. Яков выждал ровно сутки, давая им фору, а затем ночью, приказав распустить войско, бежал сам. Проезжая через Кент, он бросил в реку государственную печать. До этого момента его ночное бегство не было лишено определенного трагического величия. Но последовавшие дальше события обратили все в

фарс. Увы, английский король не единственный из сильных мира сего, на долю которых выпало столько злосчастий; мы, итальянцы, хорошо это знаем.

Принятого за священника, Якова задержали в пути. Далее обстоятельства сложились так, что он вынужден был вернуться в Лондон.

Вильгельм, уже ведущий с членами парламента переговоры о передаче власти, воспринял эту новость с немалой досадой. Возвращение Якова спутало все карты. Чтобы прояснить свое положение (и чтобы принять судьбоносное решение — быть или не быть королем), Вильгельму не хватало самой малости — свободного трона. Так что Яков получил совет (или приказ) немедленно оставить город и выехать за границу, куда пожелает.

Двадцать третьего декабря распространилась весть о том, что король «бежал». Пэры и депутаты парламента просят Вильгельма созвать совместное заседание обеих палат для решения вопроса о будущем страны. Вильгельм выполнил просьбу, возложив на себя «временное ведение государственных дел» и обеспечение порядка.

Вкратце хроника событий «Славной революции» такова. Вильгельм Оранский высаживается в Англии 5 ноября; Яков бежит 23 декабря; парламент собирается во второй половине января; 13 февраля 1689 года Вильгельму Оранскому и его жене Марии фактически была преподнесена английская корона.

Конечно, нельзя сказать, что события были совсем уж мирными, однако факт остается фактом: «Славная революция» не сопровождалась жестоким кровопролитием, как 1789 год во Франции или 1917-й — в России. Отражать атаки сторонников низложенного короля с оружием в руках пришлось, однако, в Шотландии. Еще хуже дело обстояло в Ирландии, где жертв было так много, что память о них и поныне играет важную роль в местных конфликтах.

Низложенный монарх попытался вернуть себе трон именно с этого острова, отделенного от Туманного Альбиона Ир-

ландским морем, проливом Святого Георга и Северным проливом. Яков высадился в Ирландии с немногочисленными преданными войсками, подкрепленными французскими полками Людовика XIV, в которых католики были в большинстве. Новому королю Вильгельму пришлось проявить жестокость; его репрессии были столь суровы, что слово «оранжисты» и по сей день означает сторонников английского суверенитета над Северной Ирландией. Предприятие Якова не увенчалось успехом: вновь разбитый, он отправился искать убежище во Франции.

Таковы эпизоды, сопровождавшие смену династии: были сражения, были погибшие и раненые, но, учитывая величину ставки, можно утверждать, что насилие было умеренным. В литературе «Славную революцию» даже называют бескровной.

В январе 1689 года в Лондоне по инициативе пэров королевства созывается *Convention Parliament* — во Франции это назвали бы Национальным конвентом или Законодательным собранием. Уже первые прения показали, что депутаты склонны к компромиссу. Да, изгнание Якова II Стюарта было незаконным или, если угодно, революционным актом, но теперь... но теперь необходимо ввести в границы законности то, что родилось вне их. Собрание обвинило низложенного короля во всевозможных грехах и объявило трон вакантным. Далее принимается конституционный Билль о правах, ограничивающий власть короны и гарантирующий основополагающие гражданские права. В этом и состоит величие момента: парламент, в определенной мере представляющий английский народ, сместил акценты власти. Права короны были значительно урезаны, а права парламента, коллегиального органа власти, наоборот, значительно возросли. Парламент присвоил себе законодательную власть, заложив принцип, который очень скоро унаследуют все конституции Нового времени.

Одним словом, у депутатов появилось желание прийти к компромиссу, но этот компромисс создал правовой прецедент, за которым — будущее. С другой стороны, не так уж

смело будет утверждать, что этот компромисс спас институт монархии, вернее, сделал его приемлемым, сократив полномочия главы государства.

В апреле 1689 года Вильгельм III Оранский и Мария II Стюарт были торжественно коронованы. Консерваторы, конечно, предпочли бы, чтобы на троне восседала одна Мария или чтобы власть от имени ее отца Якова исполнял регент. Но Вильгельм, уже обязавшийся соблюдать Билль о правах, заявил, что согласен только на полноправный титул короля.

Противодействие новому королю оказывали некоторые представители Церкви, которые сочли, что передача власти произошла «не по Божьему произволению». Однако за разногласиями все отчетливее проглядывала та «воля нации», которая очень скоро вместе с «Божьим произволением» будет наделять монархов полной легитимностью. Напомню, все это происходило в эпоху, когда абсолютизм многим казался единственной возможной формой монархии (в соседней Франции это активно демонстрировал Король-Солнце). Но в Англии уже зародился эмбрион парламентской монархии. Кстати, среди отданных в ведение парламента была и такая важная функция, как контроль за бюджетом — подлинный инструмент управления страной.

Собственно, до 1688 года английскую монархию вряд ли можно назвать по-настоящему устойчивым институтом. Начиная с 1066 года на острове не было истинно английского правящего дома: Вильгельм Завоеватель был норманном, Плантагенеты — французами, Тюдоры — валлийцами, Стюарты — шотландцами, Ганноверы (они появятся позже, в 1714 году, и будут править до 1900 года, а на смену им придут Виндзоры) — немцами. Вне всякого сомнения, это обстоятельство (отсутствие единой династии) упростило передачу важных прав парламенту. Ротация династий облегчила переход к новой форме власти, точно так же, как и решение Якова II наделить привилегиями католическую сторону (ведь он пошел наперекор глубинным чаяниям народа, которые Генрих VIII так чутко в свое время уловил).

В Англии католики были в небольшом количестве и особым почетом не пользовались. Некатолики, в свою очередь, как и сейчас, делились на две условные группы (представлявшие и две социальные категории): протестанты-англикане (большинство) и протестанты других церквей (на них также распространялся ряд ограничений).

Даниэль Дефо (создатель «Робинзона Крузо») написал в 1702 году памфлет «Самая короткая жизнь с инакомыслящими», в котором предложил решить проблему радикальным способом, уничтожив всех инакомыслящих. Разумеется, это саркастическая провокация, но она озвучивала столь широко распространенные настроения, что ее приняли всерьез. Дефо осудили за клевету, некоторое время продержали в тюрьме и трижды ставили к позорному столбу.

И все же протестантские конфессии в Англии были разрешены, хотя не все пользовались одинаковыми правами; а вот католики в различной степени подвергались самой настоящей дискриминации. Речь идет об очень деликатном вопросе, сохранившем актуальность и в наши дни.

В 1689 году философ Джон Локк представил общественности свое знаменитое «Письмо о веротерпимости», в котором развил программу религиозной политики, положения которой отчасти были приняты в ходе «Славной революции». Чтобы освободить веру от политической составляющей (и от политических искушений), Локк объявил религиозное credo личным делом каждого индивидуума. Многие авторы задавались той же проблемой, понимая, что споры религиозного характера легко вызывают кровавые конфликты. Спиноза, Гоббс, Бейль, Вольтер, Эразм и другие пытались найти и обозначить границы, в которых политическая власть может допустить свободу веры, не ставя под угрозу общественный порядок. В научных трудах приводятся тонкие аргументы для различения свободы мысли, свободы слова и свободы действий. У каждого свой рецепт, некоторые отдают предпочтение идее веротерпимости, другие — правам. Теория Локка родилась из конституционных и религиозных дискуссий, вле-

кущих за собой защиту англиканской церкви как оплота гражданских свобод от вмешательства папистов и опасностей абсолютизма, наметившегося при Стюартах. В основе его учения лежит идея о том, что вера отдельных граждан не должна интересовать государство до тех пор, пока не представляет опасности для общества.

Этот принцип впоследствии будет взят на вооружение в Соединенных Штатах Америки. Когда Джеймс Медисон, один из основателей Соединенных Штатов, примет участие в разработке американской конституции 1787 года, он будет стоять на том, что никакая религия не должна принимать официальный характер. По его мнению, религиозная вера не является истинной, если не выражает добровольный выбор, основанный на «акте разума и убеждения». Религиозная свобода — до такой степени «естественное и неотъемлемое право индивидуумов», что включает в себя свободу не верить. Медисон высоко ценил Вольтера и дух французского Просвещения, но не забывал и о принципах английской «Славной революции». Он был убежден, что, стоит одной вере обрести официальный статус, она тут же начинает превалировать над остальными. В таком случае сама религиозная свобода, включая свободу верить или не верить, ставится под угрозу.

Даже Томас Гоббс, «Левиафан»¹ которого никак нельзя назвать пропагандой толерантности, и тот счел важным для существования государства выведение религии из сферы политики. Этот постулат разделяли многие мыслители XVIII века, и он позволяет лучше понять еще один противоречивый аспект вопроса: дискриминация в отношении католиков.

Джон Локк не распространяет на них принципы веротерпимости по ясной причине: «Поскольку там, где они [католики] пользуются властью, они считают своим долгом отказываться в толерантности другим... До тех пор пока они будут сле-

¹ Полное название «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского» (1651). — Примеч. ред.

на поясе ключи от их совести... я думаю, веротерпимость по отношению к ним недопустима».

Таким образом, дискриминация порождена не теологическими аргументами, а соображениями прагматического свойства, в которых соединились политические интересы и свобода веры. Почему католиков лишают равноправия? Потому что их подозревают в том, что они в своем роде служат двум господам, смешивая то, что отводится кесарю, с тем, что полагается Богу (или папе, представителю Бога на земле). Следует заметить, что Локк написал это в то же время, когда Исаак Ньютон опубликовал «Математические принципы натуральной философии», свою фундаментальную работу, в которой огласил закон всемирного тяготения, а Бернар де Фонтенель — «Историю оракулов», обличающую всякую форму религиозных предрассудков. Весь этот корпус сочинений пронизан духом времени, и в них можно углядеть первые проблески великого движения, кульминацией которого станет революция 1789 года. Именно в Париже, на развалинах Бастилии, признание свободы вероисповедания пойдет дальше того, что было достигнуто в остальной Европе. Вольтер увидит в этом основополагающий момент для развития свободного общества.

Логическое следствие изложенного Локком постулата можно резюмировать следующими словами: «Законы защищают не правоту мнений, а безопасность и неприкосновенность достояния каждого гражданина и всего общества в целом». Но есть и другие концепции, сторонники которых склонны считать, что индивид обретает себя в полной мере только в духе свободы. Таким романтикам государство видится как органическая общность народа, подлинный субъект общественной жизни и истории.

Позже эту мысль развивал Гегель, когда писал об «объективном духе», охватывающем сферу социальной жизни и проявляющемся через различные связи и отношения людей. Идеальное государство Гегель рассматривал как высшую ступень развития свободы.

Вернемся, однако, в Англию. Англия — консервативная страна, ни фашизм, ни коммунизм не завоевали там особенной популярности. Столкновения, вызванные событиями 1688 года, были первым проявлением извечного конфликта между гражданином и государством, между центральной властью и свободой отдельной личности. В каждом человеческом обществе этот конфликт всякий раз проявлялся в формах, диктуемых временем. То, что произошло в дни «Славной революции», остается близким и понятным и человеку сегодняшнего дня.

Последний раз на теоретическом уровне этот вопрос поднимался в 1968 году. А если иметь в виду социальный кризис во Франции, вылившийся в массовые беспорядки, то можно сказать и о практических попытках его решения. По прошествии стольких лет после тех событий можно выделить две фигуры, воплощающие в себе две диаметрально противоположные позиции: Карла Поппера и Герберта Маркузе.

Доктрину Карла Поппера, теоретика «открытого общества» и несомненного поклонника «Славной революции», великолепно резюмируют слова его итальянского экзегета Дарио Антисери:

«Открытое общество — это правовое состояние, характерное для наших западных демократических обществ. Открытое общество открыто различным философским и религиозным мировоззрениям, различным ценностям, различным партиям; это общество, открытое максимальному числу идей и идеалов, разнообразных и порой противоположных друг другу. Открытое общество закрыто только для нетерпимости и насилия».

Слышится далекое эхо локковского духа...

Поппер был сильным полемистом, готовым опровергнуть то, что, как ему казалось, предает дух философии и истины. Он любил цитировать следующие слова Канта, разделяя его мысль:

«Просвещение — это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться

своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого. Несовершеннолетие по собственной вине — это такое, причина которого заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке решимости и мужества пользоваться им без руководства со стороны кого-то другого. Sapere aude! — имей мужество пользоваться собственным умом! — таков, следовательно, девиз Просвещения»¹.

Так писал Кант, выражая идею самоосвобождения через познание, и Поппер с энтузиазмом воспринимал это.

Герберт Маркузе, знаменитый автор «Одномерного человека» (1964), — одна из ключевых фигур 1968 года. Уже в своей работе «Эрос и цивилизация» (1955) он рассматривал теорию Фрейда, согласно которой цивилизация основана на перманентном подавлении инстинктов. Фрейд заключал, что не может быть прогресса без подавления индивидуума. Полемизуя с этим тезисом, Маркузе пишет, что не следует считать конфликт между принципом наслаждения и принципом реальности имманентным человеческому обществу.

Подавление как плата за цивилизацию — не навсегда. Технический прогресс второй половины XX века, рассуждает Маркузе, мог бы сделать возможной радикальную трансформацию общества: больше свободного времени, меньше отчуждающего труда, меньше репрессий. Но «система» не желает этого допускать, и, хотя в brutальных событиях прошлых столетий уже нет потребности, она продолжает подавлять индивидуумов, отчуждая их от самих себя, сводя к «одномерному» состоянию.

Резюмируем тезисы. Поппер верил в возможность постепенного прогресса, Маркузе, наоборот, отстаивал необходимость революционных преобразований для того, чтобы человечество стало свободным. Каждый волен выбрать первый или второй тезис, но для этого надо ответить самому себе на некоторые классические вопросы: возможно ли исправить

¹ Цит. по: Кант И. Собр. соч. в 6 т. — М., 1963—1966. — Т. 6. — С. 25.

человеческую природу? возможно ли исправить недостатки общества и угрозы, им представляемые? возможно ли придать власти человеческое лицо?

Поразителен (и внушает беспокойство) тот факт, что люди третьего тысячелетия по-прежнему ставят перед собой те же вопросы, что поднимались в Афинах в V веке до н. э. или в Англии времен Якова II. Закрадывается ужасное подозрение, что они возвращаются потому, что на них нет ответа. Одно не вызывает сомнений: политические (и религиозные) идеи о том, как сделать людей совершенными и счастливыми, — предпосылка ада на земле.

Критика общества увенчалась успехом лишь там, где люди научились ценить мнения других и быть трезвыми и скромными в своих политических задачах.

XI

ПРАХ ИМПЕРИИ

Если вы ищете в Лондоне место, несущее память о временах Империи, первым делом следует направиться в музей, название которого говорит само за себя: Имперский военный музей. С систематичностью, характерной для английских музеев, там представлены личные вещи, униформы, воззвания, фотографии, кадры кинохроник, реконструкции знаменитых сражений, оружие различных эпох в великом множестве, включая самолеты, подводные лодки и танки. Среди последних производит впечатление подлинный танк песочного цвета, в котором маршал Монтгомери в 1942 году сражался в Эль-Аламейне — месте, с которым у нас, итальянцев, связаны самые печальные воспоминания.

Об имперских свершениях напоминают также разбросанные по Лондону статуи, арки, кенотафы, мемориальные доски, небольшие обелиски, а также отделы музеев, повествующие о военных событиях, имевших место за морем, на других континентах.

Сразу за городом расположен еще один своеобразный мемориал — Сады Кью (*Kew Gardens*), без сомнения, самый красивый ботанический сад в мире. Многие столицы, да и горо-

да, столицами не являющиеся, имеют свои ботанические сады. Собрания растений создавались параллельно с зоосадами с целью изучения, классификации, экспериментов, да и просто для приятного времяпрепровождения.

Сады Кью следует посетить не только ради ласкающей глаз театральной красоты паркового ландшафта, но и из-за бесконечного разнообразия цветов, деревьев и кустарников со всех уголков земного шара. Именно это делает сады косвенным свидетельством об эпохе Империи; тысячи растений всевозможных размеров (от микроскопических до гигантских), собранные воедино, указывают на склонность к коллекционированию, на горячую любовь к царству флоры, на широкие возможности в плане перемещения по планете — то есть на типично британские черты.

Другой поразительный осколок Империи — любопытный экспонат отдела индийского искусства Музея Виктории и Альберта, вещьца добротного качества, но мрачного содержания, известная как *Tipoo's Tiger* (Тигр Типу). Игрушка Типу Султана, злейшего врага английских оккупантов, выполнена из дерева, раскрашенного в реалистической манере. Вы видите тигра, вонзившего клыки в горло британского солдата. Внутри скрыт механизм, и, если покрутить ручку, конечность несчастного начнет дергаться, а конструкция из трубок и мехов заставит тигра издавать громкий торжествующий рык.

Бедному султану, посмевавшему бросить вызов британской мощи, торжествовать пришлось недолго. В 1799 году англичане завоевали Серингапатам, столицу княжества Майсур. Типу погиб, а его игрушка оказалась в стенах лондонского музея. Трон занял другой раджа, гораздо более покладистый и готовый исполнять веления Ост-Индской компании.

Думать о Британской короне отдельно от ее имперской роли практически невозможно. Среди всех европейских держав Великобритания первой создала свою Империю и последней рассталась с ролью сюзерена. Если корсары и пираты заложили основы Империи, то окончательное завоевание совершили королевские вооруженные силы, а умелое (и дальновид-

ное) управление позволило до последнего сохранять за собой обширные территории. И по сей день, спустя десятки лет после окончания войны, фунт стерлингов и Лондонская биржа пользуются в Европе уникальным положением именно благодаря долгому владычеству англичан.

Территориальные приобретения Британии были закреплены в последней четверти XIX века. Когда из разных европейских стран начался массовый исход эмигрантов, многие англичане отправились за границу, чтобы внести свой вклад в управление самыми обширными владениями на земном шаре. Если многие итальянцы приезжали в Соединенные Штаты (да и в саму Англию), готовые взяться за работу, от которой отказывались местные жители, то британские *civil servants* — государственные чиновники — покидали родину, не только лелея надежду на заработки, но и в убеждении, что участвуют в цивилизаторской миссии чуть ли не планетарного масштаба.

Хотя эпоха великих колонизаторов, таких как Сесил Родс, давший свое имя целой стране (Родезии), давно прошла, английский флаг по-прежнему развевается на всех континентах. Этому есть объяснение. В Африке британское господство распространялось на Египет и Судан, Нигерию и страны Африканского Рога, Кению и Берег Слоновой Кости, Уганду и Капскую колонию на крайнем юге, а жестокая победа над бурами позволила аннексировать Трансвааль и Оранжевую республику. В Азии Британский Радж удерживал прочные позиции на всех индийских территориях, от Бирмы до Малайзии и Афганистана. На Ближнем Востоке в конце Первой мировой англичане еще контролируют Палестину, Ирак, Иорданию и Саудовскую Аравию. Австралия, колонизировавшаяся начиная с 1788 года как место ссылки осужденных, в 1901 году получает статус доминиона; так появилось на свет Австралийское Содружество, объединившее шесть британских колоний...

В 1800 году в Европе насчитывалось 180 миллионов жителей, в то время как общее население земного шара состав-

ляло около 900 миллионов. Но европейские державы контролировали почти 85 процентов земной поверхности. В 1890 году две трети кораблей дальнего плавания ходили под английским флагом, и половина мировой морской торговли пользовалась судами, построенными в Великобритании. На протяжении почти четырех столетий существования колониализма как политического инструмента Великобритания удерживала за собой свои владения благодаря превосходству на море. Торговля торговлей, сила же Англии заключалась в способности за несколько недель доставить войска и снаряжение в любую точку земного шара. Одним словом, присутствие Великобритании на всех пяти континентах объясняется попросту тем, что она — единственная страна в мире, обладавшая для этого военными возможностями.

* * *

«Британская империя» — спорное наименование. Датой ее рождения можно считать 1603 год, когда Яков I «объединил» Шотландию с Англией и Уэльсом; или 1620-й, когда сотня английских диссидентов-пуритан, пересекших Атлантику на борту судна «Мэйфлауэр», высадилась на берегах Массачусетса и основала там христианскую колонию избранных душ; или 1707-й, когда официально прозвучало название «Великобритания». Какова бы ни была дата рождения, даже после потери Великобританией американских колоний в 1776 году, к концу XIX века ее флаг развевался над территорией в 13 миллионов квадратных миль с населением 320 миллионов человек.

В ноябре 2002 года министр иностранных дел Джек Строу заявил, что многие проблемы, которые до сих пор требуют участия Великобритании — от Ближнего Востока до Ирака, от Кашмира до Зимбабве, — являются «наследием нашего прошлого». Многие британские историки сегодня признают ошибки, допущенные королевскими дипломатией и армией. Строу сетовал на заключение необдуманных альянсов, на

противостояние интересов не было так явно выражено с самого начала. С одной стороны — торговцы опиумом (уже внутри Китая), опиравшиеся на сообщничество одной из самых развитых стран мира. С другой — китайские власти, обеспокоенные распространением отравы.

Чтобы дать представление о масштабах наркоторговли, достаточно сказать, что продажи опия в Китае повысились с 200 ящиков в 1729 году до 2300 в 1788-м; в 1835 году — 17 200 ящиков; в 1858-м — 70 тысяч... Все это тянуло на миллионы фунтов стерлингов. Генерал-губернатор Индии писал: «Мы принимаем меры к расширению посадок мака, чтобы в адекватной мере повысить поставки опия». Уже один этот подход оправдывает расхожее представление об Англии середины XIX века как о самой крупной криминальной организации, когда-либо существовавшей в наркоторговле.

Предпосылки к первой «опиумной», или англо-китайской, войне 1839—1842 годов легко прочитываются в этих цифрах. Неоднократно императорское правительство обращалось к британской администрации и к самой королеве с просьбой прекратить пагубную торговлю. Но ответа из Англии не поступало. Напротив, огромное количество наркотиков, выгружаемых с английских кораблей в портах Южного Китая (в особенности в Кантоне), сделало курение опиума широко распространенным. Чуть ли не целое поколение китайцев превратилось в наркоманов, живущих в полубессознательном состоянии. Практически все мужчины моложе сорока лет прочно сидели на сонном маке. Опиум курили целыми армейскими подразделениями, государственные чиновники также баловались этим зельем.

Официально импорт опия стал нелегальным с 1836 года, но английские торговцы с легкостью обходили запрет, подкупая таможенных чиновников и офицеров. Бич опиумной торговли тяжело ударил на экономике, обратив в минус торговый баланс между Китаем и западными странами. Ранее страна компенсировала европейский импорт товарами, высоко ценившимися на Западе, такими как шелк, фарфор и в

особенности чай. Но при регулярном ввозе опиума традиционных товаров уже не хватало и приходилось платить серебром высокого качества. Однако интенсивная эксплуатация серебряных рудников усугубила обеднение страны и еще больше ослабила и без того слабое правительство.

Пытаясь положить конец опиумной торговле, китайцы пошли на крайние меры. В марте 1839 года центральное правительство направило в Кантон энергичного и неподкупного чиновника Линь Цзэсюя, наделив его широкими полномочиями. Он предпринял действенные меры, на грани экстремальных. Целые партии только что разгруженного товара подлежали конфискации, сам опиум уничтожался: двадцать тысяч ящиков полетели в воду, запольхали склады с наркотиком, пепел демонстративно развеивался над морем.

Опьяненный эффективностью своих действий, Линь Цзэсюй пишет проникновенное письмо королеве Виктории, умоляя ее принять меры к прекращению незаконной торговли. Но не только опиум — камень преткновения между Китаем и Англией. До сего времени между двумя странами не было заключено никаких соглашений, англичане отказывались подчиняться действующим на территории Китая законам, эту же позицию занимали и другие европейские страны. Англичане считали (и не без оснований) судебную и пенитенциарную систему Китая коррумпированной и варварской. Китайцы же апеллировали (тоже резонно) к *Jus soli*¹, в том смысле, что всякий совершивший преступление на территории их государства подлежит суду согласно местным законам.

В этом непримиримом споре и кроется суть противостояния. Вот что пишет мистер Уильямс:

«Необычна была сама завязка этой войны, спровоцированной торговыми недоразумениями; необычен ее ход, когда сильная сторона воевала со слабой стороной, осознанное чувство превосходства — с варварской гордостью; необычен ее

¹ Право почвы (лат.).

финал, поскольку слабейший был вынужден заплатить за распространение опиума на собственной территории вопреки всем положениям своих законов, парализовав таким образом остатки морального авторитета, которым слабое правительство еще располагало для защиты своих подданных».

Иначе говоря, война, вошедшая в историю под названием «опиумной», в действительности имеет ряд сопряженных причин, цепную реакцию которых вызвал конфликт с опиумом, драматичный сам по себе.

В своих решительных и безоглядных действиях Линь Цзэ-суй не ограничивался уничтожением опиума — он также предпринял юридические действия против наркоторговцев — английских подданных. Беспрецедентный шаг. В ноябре 1839 года китайские военные джонки заставили несколько британских торговых судов покинуть территориальные воды Китая и выйти в открытое море. Однако в июне следующего года англичане с явным вызовом отправили свои корабли патрулировать китайские порты. Историки назовут это «политикой канонерок», и эта политика станет фитилем, от которого разгорится жестокий и неравный по силам конфликт. (С одной стороны — стальные военные корабли Британии, с другой — деревянные джонки; такое же неравенство наблюдалось и в артиллерии.)

С моря конфликт перекинулся на сушу, где при неравенстве сил столкновения почти всегда заканчивались бойней.

Корреспондент британской «India Gazette» писал по поводу разграбления Чжоушаня:

«Невозможно представить грабеж ужаснее этого. Каждый дом был выпотрошен, опустошен каждый ящик, на улицах горы мебели, картины, столы, стулья, мешки с зерном. Еще большую драматичность картине придают мертвые или еще живые тела тех, кто не сумел покинуть город по причине ранений, нанесенных нашими смертоносными ружьями... Погром закончился только тогда, когда уже нечего было уносить или ломать».

Сценами ужаса изобилуют и другие отчеты. Вот, скажем, пишет «Morning Herald»: «Никогда, даже в темные варварские времена, не было совершено преступления ужаснее бомбардировки Кантона». Корреспондент «The Times» фиксирует, что за десять минут половина оборонительной линии в десять тысяч человек утонула в водах реки при попытке отступления.

В этой стремительной и яростной войне англичане вытащили из праха даже пиратство. Британские суда поднимались вверх по Янцзы, захватывая джонки, поставляющие в столицу поступления от налоговых сборов. Из-за этого центральное правительство оказалось лишенным большей части своих доходов.

Война закончилась в августе 1842 года подписанием Нанкинского договора. Потерпев военное поражение (потери исчислялись десятками тысяч человек), Китай вдобавок ко всему перенес одно из самых тяжелых дипломатических унижений за всю свою историю, а деятельный комиссар Линь Цзэ-суй, обвиненный в чрезмерном рвении, отправился в ссылку в далекую северо-западную провинцию.

Побежденная сторона обязалась выплатить английским торговцам 15 миллионов долларов за потерю товара (опиума). Для английской торговли открывались пять китайских портов (Амой, Гуан-чжоу, Нинбо, Фучжоу и Шанхай). Устанавливались выгодные для англичан ввозные и вывозные пошлины. Европейские концессии на китайской территории получили статус экстерриториальных зон, то есть находящихся вне юрисдикции императорской администрации. Помимо Великобритании этим преимуществом пользовались Германия, Австрия, Франция и Россия. Разумеется, китайской юрисдикции не подлежали европейские граждане, в частности англичане.

Нетрудно вообразить количество криминальных реалий, вызванных к жизни появлением этих концессий. Во многих крупных городах китайцы могли получить столько опиума, на сколько хватало денег, — для этого надо было всего лишь

перейти условную границу зоны. Как писал один английский историк, «концессии стали раем для китайской преступности».

И наконец, последнее условие договора, о котором стоит упомянуть: Китай уступил Великобритании остров Сянган (Гонконг). В более позднем соглашении (1898 года) уточнялось, что эта территория передается на девяносто девять лет, которые истекли, как мы помним, в 1997 году.

За первой «опиумной войной» последовала другая, и снова Китай вынужден был уплатить кровавую дань техническому превосходству Запада. По условиям Тяньцзиньского договора, подписанного 26 июня 1858 года, в разгар англо-франко-китайской войны (она началась в 1856-м и закончилась в 1860-м), продажа опиума фактически была легализована на территории всей страны. Впрочем, у этого противостояния была и положительная сторона. Китай научился преодолевать замкнутость, наблюдая за Западом, — чтобы эффективнее ему противостоять и чтобы брать от него то, что могло служить развитию страны, в том числе в борьбе с опиумной заразой.

В 1906 году китайское правительство решило поставить точку в торговле опиумом. С этой целью был создан специальный комитет, разработавший пакет документов. Долгожданный договор с Англией был подписан при поддержке США в 1911 году. Ввоз опиума полностью запрещался. Программа постепенного сокращения употребления опиума была рассчитана на десять лет. Первого апреля 1917 года китайское правительство заявило о ее успешном завершении, и явление в целом соответствовало действительности.

Есть, однако, и другой тип колониализма, в котором преобладает авантюризм. Это случай Томаса Эдварда Лоуренса, больше известного как Лоуренс Аравийский (в Европе) и Эль-Ауранс или Эль-Ауранс Иблис — Лоуренс-сатана (в арабском мире). По прошествии стольких лет после его смерти в мае 1935 года все еще трудно отделить подлинные события жизни

этого человека (и причины, обусловившие необычайную отчаянность от окружающих его имя легенд. Правда и вымысел тесно переплелись, особенно если принять во внимание время, в которые происходили события, преобладавшие в Англии настроения и, безусловно, двойственность личности Лоуренса, разрывавшегося между искренней любовью к приключениям и столь же искренним писательским призванием.

Не последнюю роль в создании легенды сыграл фильм Дэвида Лина 1962 года, с блистательным Питером О'Тулом в главной роли и с не менее блистательными Алеком Гиннесом, Энтони Куином, Хосе Феррером и Омаром Шарифом в других ролях.

Томас Эдвард (Нэд для домашних) родился 15 августа 1888 года в Тремадоке, Карнарвоншир, и был вторым из пяти незаконнорожденных детей баронета Томаса Чепмена и Сары Мэдден, которая, до того как стать сожительницей Чепмена, была гувернанткой его законных детей, рожденных в первом браке баронета с кузиной. Когда Томас и Сара решают бежать, бросив все, они берут фамилию Лоуренс. Как бы то ни было, их отпрыск Томас Эдвард учился в престижном Оксфордском колледже и в 22 года с блеском защитил дипломную работу по археологии под названием «Влияние Крестовых походов на европейскую военную архитектуру». Уже в самой теме словно читается будущее участие автора в военных событиях, которым совсем скоро предстоит развернуться на Ближнем Востоке.

Со времен колледжа Томас демонстрировал любовь к уединению, странствиям и физической деятельности. Работая над дипломной работой, он посетил Палестину и, можно сказать, дипломной работой, он посетил Палестину и, можно сказать, исходил ее пешком. В одном из писем к матери он рассказывал, что за месяц прошел семьсот километров. Маршрут его точно определен: Лоуренс посещает полуразрушенные фортификационные сооружения, фотографирует и зарисовывает увиденное, фиксирует расстояния и высотные отметки, наполняет топографические съемки. Таким образом, например, было выяснено, что крепость к юго-востоку от Триполи (ны-

не Ливан) построена так, что взять ее было практически невозможно, учитывая огромную, чуть ли не в двадцать метров, толщину стен.

Во время путешествия Томас Эдвард жил так, как не согласился бы ни один европеец: спал в палатке или прямо под открытым небом, пил кислое молоко, ел найденные в пути фрукты (инжир, иногда дыни) и бездрожжевой хлеб, испеченный бедуинами на углях.

Он действительно намеревался стать археологом. Узнав о том, что Британский музей проводит раскопки в Кархемыше (Джераблус), на западном берегу Евфрата (север тогдашней Сирии), Лоуренс попросил включить его в состав экспедиции. Эта работа не оплачивалась, но считалась престижной и в любом случае могла оказаться полезной для будущей диссертации.

В 1912 году Лоуренс участвует в раскопках в Египте, затем снова возвращается в Сирию, а когда раскопки закончились, принимает решение остаться в Ливане.

Этот молодой европеец свободно говорил по-арабски, более того, он даже различал диалекты, а главное, уже в те годы в нем обнаружится дар, который впоследствии окажется бесценным: Лоуренс знал, как держаться с арабами, чтобы получить от них максимум и не допустить недовольства. Среди его друзей и наперсников — мальчик редкой красоты, Дахум, которого Лоуренс учил фотографии и топографической съемке. Когда Дахум умер, кажется от тифа, для Лоуренса это было большим потрясением.

Османская империя, включавшая все территории Ближнего Востока, с очевидностью демонстрировала признаки скорого краха. Уже давно султаны перестали быть политическим и военным ориентиром для своих подданных: они жили в изоляции в своих дворцах и гаремах, предаваясь плотским удовольствиям и чревоугодию. В провинциях же свирепствовали деспотизм, коррупция и косность. В армии, некогда наводившей страх на все Средиземноморье, солдаты были пре-

доставлены сами себе; в дальних гарнизонах войска нередко оставались без провианта и снаряжения, часты были случаи дезертирства.

Весной 1909 года султан Абдул-Хамид был низвергнут представителями организации «Единение и прогресс», но ситуация не улучшилась. На короткое время его сменил ничем не примечательный Мехмед V, но реальная власть принадлежала движению младотурок, во главе которого стоял Энвер-паша, не скрывавший своей любви к великой Германии. Именно немецкие инженеры строили в Месопотамии (Ирак) и Сирии железные дороги стратегического значения, в том числе дорогу, которая должна была соединить Алеппо с Дамаском, а Дамаск — с Мединой, проходя почти целиком по пустынному региону Хиджаз.

Многим было очевидно, что в случае, если вспыхнет настоящая война, Османская империя окончательно рухнет. Англичане готовились воспользоваться ситуацией. В первые месяцы 1912 года Лоуренс встретился в Каире с лордом Гербертом Китченером, генеральным консулом в Египте. В пору знакомства с Лоуренсом фельдмаршалу Китченеру было уже за шестьдесят, и у него за плечами числилась не одна военная баталия. В 1885 году он не сумел вовремя подойти к Хартуму (столице Судана), чтобы спасти генерала Гордона, в течение десяти месяцев героически выдерживавшего осаду повстанческих войск. Это поражение он не сможет забыть. Три года спустя Китченер возьмет реванш; впоследствии, в 1914 году, он даже получил титул графа Хартумского.

Во время англо-бурской войны 1899—1902 годов Китченер командовал британскими войсками. Эта война оказалась настолько жестокой, что о ней предпочитают не вспоминать. (Перу Бруны Бьянки, преподавателя истории политических учений в Венецианском университете, принадлежит одно из наилучших образцов документированных исследований: «Депортация и память о женщинах», 2002 г.)

По сути, англо-бурская война предвосхитила многие ужасы XX века. Великобритания заявила о намерении защитить

цветное население; на самом же деле она хотела завладеть найденными в регионе богатейшими залежами алмазов. Поскольку буры — потомки голландских поселенцев, а также французских и немецких колонистов — использовали тактику, которую сегодня мы бы назвали партизанской войной, лорд Фредерик Слей Робертс, осуществлявший командование английскими войсками до приезда Китченера, принял радикальное решение: «Пока мы не начнем карать гражданское население в отместку за вооруженные действия в отношении нас, эта война не кончится никогда». Свою угрозу он исполнил. В кратчайшие сроки были построены пятьдесят восемь концентрационных лагерей (ужасное британское изобретение!), куда согнали почти половину бурского населения. В этих лагерях погибли двадцать две тысячи детей, четыре тысячи женщин, почти две тысячи взрослых мужчин. Масштабы истребления таковы, что в 1941 году Гитлер в ответ на первые обвинения в геноциде смог бы сделать тот же упрек англичанам.

Англичанка-филантропка Эмили Хобхаус пыталась привлечь к событиям внимание общественности. «Невозможно вообразить условия и страдания женщин и детей. Тиф свирепствует повсюду», — писала она.

В Британии нашлось немало идеалистов, не оставшихся равнодушными к этим рассказам. Но были и те, кто склонялся к более осязаемым ценностям: завоевание, алмазы, выгода. Среди множества сдержанных или лояльных свидетельств военных корреспондентов мы находим высказывание знаменитого Артура Конан Дойла, создателя Шерлока Холмса. Вот что он пишет в «Daily Mail»:

«Женщины, которые в качестве шпионок принимают активное участие в войне, быть может, изменяют своей женской природе, но коли уж они это делают, то не могут ожидать от мужчин „рыцарского“ к ним отношения».

К этому стоит добавить, что многие женщины-буры (включая девочек и старух) подвергались насилию.

Но вернемся в 1912 год. Лоуренс Аравийский и лорд Китченер, кажется, созданы друг для друга. Лоуренс — молодой

двадцатичетырехлетний археолог, доказавший, что в поисках следов древних цивилизаций можно добыть и стратегически важные сведения. Китченер — колосс, заматеревший в сражениях и посвятивший жизнь колониальному управлению. В ходе беседы генеральный консул бросил фразу, оказавшуюся пророчески точной: в течение двух лет Англия и Германия вступят в войну.

В августе 1914 года действительно разгорелась война, и Лоуренс опять приехал в Каир, на сей раз откомандированный в службу военной разведки (*Military Intelligence*). Ему было поручено заняться изучением арабских националистических движений. В Австро-Венгерской империи начали поднимать голову этнические меньшинства (включая итальянцев), и англичане рассчитывали, что именно арабские националисты (по аналогии с Австро-Венгрией) могли бы стать орудием окончательного разрушения Османской империи.

Таковы предпосылки бесстрашных подвигов Томаса Э. Лоуренса. Возможно, он родился под особой звездой. Не так-то просто найти молодого археолога и начинающего писателя, готового стать разведчиком. Но он совершенно спокойно принимает задание. В сущности, в этом нет ничего удивительного: почти весь гражданский персонал в Африке, Индии и на Дальнем Востоке, занимавшийся распространением европейской культуры, гигиены и строительством путей сообщения, собирал информацию для военного ведомства, в том числе связанную с изучением населенных пунктов, источников воды и продовольствия, оборонительных систем и передвижения войск. Лоуренс стал частью этой работающей в тени армии.

В октябре 1916 года состоялся его дебют. Лоуренса направляют в качестве офицера связи в область Хиджаз. Правитель Мекки аль-Хусейн ибн-Али, финансируемый англичанами, провозгласил себя независимым от Порты королем арабов. Первоначально Лоуренс должен был всего лишь следить за развитием событий, но это слишком мелко для его таланта.

Волна арабского восстания распространялась все шире, и англичане — через Лоуренса — дают совет атаковать турецкую железную дорогу, стратегически важную для снабжения войск.

В руках у турок оставалась Медина. С оборонительной точки зрения она была уязвима, и турки предпочли бы оставить город, но это именно то, чему хотели помешать англичане. Ведь войска, покинувшие Медину, укрепят палестинский фронт, и было бы лучше, чтобы этого не произошло.

При содействии офицеров-подрывников Лоуренс разрабатывает эффективную тактику: железная дорога становится объектом постоянных диверсий. То тут, то там появляются и мгновенно исчезают небольшие группы диверсантов. Они используют заряды небольшой мощности — такие, чтобы вывести из строя несколько метров путей. Пока турки ремонтируют разрушенный участок, из строя выводится другой.

Покинуть Медину становится невозможным, равно как и обеспечить армию боеприпасами и провиантом. Более того, туркам приходится (а это требует дополнительных расходов) держать у путей значительное число патрулей, которые тщетно пытаются предотвратить диверсии...

Но легендарным имя Лоуренса сделало взятие Акабы. В этой операции отвага и удача, тактический гений и физическая выносливость переплелись, как никогда.

Акаба — небольшой порт, расположенный в северной оконечности Красного моря: один причал, да на таком мелководье, что крупные суда вынуждены стоять на рейде. Значение этой гавани не столько военное, сколько политическое: турки потеряли все остальные порты на Красном море, и утратить Акабу означало бы позор, последствия которого трудно предугадать. Для англичан же, контролирующих Египет, турецкая Акаба — бельмо на глазу.

Как сделать, чтобы Акаба пала? Со стороны моря гавань хорошо защищена: рейд укреплен орудийными площадками с крупнокалиберными пушками (немецкая сталь всегда славилась), хотя и слегка устаревшей модели. С суши в порт можно по-

пасть только через горный коридор, обороняемый турецким батальоном. Чуть к северу расположен гарнизон Абу-Лиссан (Маан), контролирующий движение по железной дороге Дамаск — Медина. Остается лишь один путь — немыслимый, невообразимый. Разве найдутся смельчаки, способные пересечь семьсот километров пустыни, которую зовут «солнечная наковальня»? — даже бедуины не суют туда нос, потому что солнечные лучи пронзают как стрелы, а внезапные песчаные бури способны ослепить людей и животных, довести их до безумия.

Томас Лоуренс выбрал именно этот путь. Рядом с ним Фейсал, один из сыновей аль-Хусейна ибн-Али, которого (Фейсала) англичане в 1920 году сделают королем Сирии, но главное, в предприятии участвует Ауда Абу Тайи, легендарный воитель, не имеющий себе равных на коне и в обращении с оружием. Присутствовали и несколько английских офицеров, специалистов по минированию. Лоуренс к тому времени был произведен в капитаны, но вместо военной формы цвета хаки носил великолепное белое одеяние с золотой вышивкой, подаренное ему Фейсалом; за поясом он носил кинжал, также с золотой инкрустацией; голова была покрыта бедуинской кufией, перевязанной двойным шелковым шнурком. Аурансбей — звали его арабы.

Экспедиция выступила 9 марта 1917 года; в Европе война каждый день косила сотни жизней, лучшие солдаты Британии гнили в траншеях на французском фронте; на южном фронте итальянцам не удалось продвинуться вперед, а осенью они потерпят под Капоретто самое жестокое поражение. Ни у кого, даже в Каире, не было времени думать об этом странном караване, ведомым английским офицером в одежде бедуина.

Изнуряющий поход длился четыре месяца; 6 июля Лоуренс и его соратники вошли в Акабу, разбив в бою турецкий батальон, перегородивший проход к порту. «Мертвые были очень красивы, — напишет Лоуренс. — Ночь нежно осияла их своим неверным светом, придавая всем мягкий оттенок цвета

свежей слоновой кости. Кожа турок на обычно скрытых одеждой частях тела была белой, но гораздо более светлой, чем у арабов, и солдаты эти были очень молоды».

В то время как его люди занимались грабежами, капитан Его Величества вышел на связь со штабом. Когда он сообщил высоким чинам, что Акаба взята, вначале ему не поверили, а поверив, не знали, как его отблагодарить.

Это лишь один эпизод из жизни Томаса Э. Лоуренса. Он умер обычной смертью¹, написав несколько книг. Даже его самое знаменитое произведение, «Семь столпов мудрости», не помогает нам разрешить дилемму: был ли он писателем, склонным к приключениям, или же искателем приключений, склонным к писательству?

Еще один вопрос: был ли Томас Эдвард гомосексуалистом, в пользу чего говорит столько фактов? Ужас, пережитый благодарным англичанином, когда в плену у турок его изнасиловали в тюрьме, скорее заставляет думать о полном отречении от сексуальности. Возможно, он по-настоящему любил только авантюру, одиночество, риск и слепящее солнце пустыни.

* * *

Теперь мне бы хотелось поговорить о человеке, харизма которого всколыхнула южноазиатский субконтинент. Изможденный, изнуренный голодом и неоднократными тюремными заключениями, этот человек в круглых очках на носу пересек Индию, как современный Иисус, в одной лишь белой тунике, перехваченной в поясе. Имя его — Мохандас Карамчанд Ганди, но простым индийцам он был известен как Махатма, что значит «великая душа». И он действительно был велик, равно как велика была его убежденность в том, что задуманный им метод борьбы — сатьяграха — возьмет верх над пулеметами Британской империи.

¹ Лоуренс умер в Англии, получив серьезное ранение при автомобильной катастрофе. — Примеч. ред.

«Мы считаем грехом перед людьми и перед Богом продолжать сохранять покорность власти, вызвавшей в нашей стране четырехкратную катастрофу» — этими словами начинался документ Индийского национального конгресса (ИНК), партии, основанной в декабре 1885 года и возглавившей национально-освободительное движение. Под четырехкратной катастрофой имелось в виду то, что наблюдалось в экономической, политической, культурной и духовной жизни Индии. Смысл этого утверждения обусловлен не столько пылким тоном, сколько личностью идеолога ИНК — Махатмы Ганди.

Угнетение и эксплуатация — сильные слова и вместе с тем сильно затасканные. Но именно они описывают отношения, несколько столетий связывавшие Великобританию и Индию. В последний день 1599 года королева Елизавета I подписала первый концессионный договор Ост-Индской компании по эксплуатации Восточной Индии (то есть собственно Индии). В то время как в Западной Индии (по определению тех времен — Северной и Южной Америке) цель англичан состояла в том, чтобы поколебать главенство испанцев в перевозке золота, на другом конце света речь шла о том, чтобы нарушить монополию голландцев в торговле перцем и другими специями, без которых в эпоху, не знавшую замораживания продуктов, трудно было обойтись. Частная торговая компания будет хозяйничать на субконтиненте, насчитывающем двести пятьдесят миллионов жителей, культурные и духовные традиции которых по меньшей мере не уступали традициям европейских пришельцев, на протяжении двух с половиной веков.

В XIX веке, ознаменовавшемся пробуждением национальных движений в Европе и за ее пределами, Индия тоже не осталась в стороне. В 1857 году сипаи, солдаты колониальных войск Бенгалии, восстали против английских офицеров; мятеж распространялся все шире, и наконец повстанцы вступили в Дели. Этот сигнал тревоги не прошел незамеченным. В августе 1858 года королева Виктория подписала Акт об управлении Индией, по которому все ее территории перешли под прямую юрисдикцию короны. В 1876 году Виктория при-

няла титул «Императрица Индии». Создается особое министерство, страной управляет вице-король, подотчетный непосредственно правительству в Лондоне. С этого момента Индия становится настоящей жемчужиной короны, являясь самой крупной и густонаселенной и самой доходной колонией британцев.

Новый порядок просуществует примерно столетие. Официальная дата рождения независимой Индии, провозглашенной доминионом в рамках Содружества и поделенной на два государства — Индийский Союз и Пакистан, — 15 августа 1947 года.

XIX век был полон трений, подавленных восстаний, даже зверств, что нашло свое отражение в литературе. Среди тех, кто запечатлел непростые отношения на субконтиненте, — Редьярд Киплинг, рожденный в Индии и ставший певцом превосходства британцев над безымянными массами местного населения, людьми «низшей расы». Долг «избранной расы» — приобщать к цивилизации отсталые народы, пусть и против их воли, потому что таково «бремя белого человека»¹. Но был и Эдвард Морган Форстер, поведавший в своей «Поездке в Индию» о невозможности подлинного контакта между народами, когда культурная дистанция засорена непониманием и предрассудками, а главное, презрением, которое одни питают к другим. «Мы существуем не сами по себе, а лишь такими, какими нас видит другие», — заявляет один из героев книги.

На мой взгляд, XIX век прежде всего прошел под знаком Ганди. «Маленький человек» родился 2 октября 1869 года в Западной Индии, в семье, принадлежащей к касте торговцев банья, третьей в индийской кастовой системе после жрецов и воинов. В тринадцать лет он женился на девушке-ровеснице, к которой сохранил привязанность всю свою жизнь, даже после того, как в 1906 году, в возрасте тридцати семи лет, с согласия жены дал обет целомудрия.

¹ Программное стихотворение Р. Киплинга.

По окончании лицея Ганди отправился в Англию изучать право, стал адвокатом, после чего — и без особого успеха — вел адвокатскую практику в Бомбее вплоть до перевода в Южную Африку. Он должен был проработать юридическим консультантом гуджаратской торговой компании всего один год, но задержался в Африке на целых двадцать лет, и не просто задержался, а завоевал широкую популярность как политический деятель.

Безобразный пример расистского отношения задел его чувство справедливости в первый же день по прибытии в колонию. Его вышвырнули из купе первого класса, несмотря на купленный им билет, — только за то, что он индеец.

Ганди двадцать четыре года, и он не намерен терпеть оскорбления. Объединив всех индийцев Претории, он заставляет власти принести извинения и гарантировать, что подобные эпизоды впредь не повторятся.

В Южной Африке Ганди стал известным и богатым адвокатом, но также (и это главное) лидером движения против расовой дискриминации. Он основал газету «Indian Opinion» и в 1906 году, в возрасте тридцати семи лет, выдвинул свою знаменитую концепцию ненасильственного сопротивления — *сатьяграха*. В буквальном переводе с санскрита *сатьяграха* означает «ненасилие», а если еще точнее — «упорство в истине». Специалисты, однако, утверждают, что значение у этого слова более глубокое и охватывает такие понятия, как «сила истины» и «суть духа»; одна только его аура позволяет узреть новый свет в человеческих отношениях, указывает на моральную альтернативу угнетению и эксплуатации.

Восемнадцатого июля 1914 года Ганди выехал из Южной Африки в Англию. Это были дни, когда Европа стояла на пороге войны. И вот война разразилась. В Лондоне Ганди призывает живущих на острове соотечественников записываться в британскую армию. В январе 1915 года он возвращается в Индию. Его личную позицию на тот момент можно обрисовать так: верный подданный Империи с обостренным чувством справедливости. Но в Индии он очень скоро столкнется

с теми английскими законами, которые можно объяснить или политической близорукостью, или необоснованным желанием англичан вести себя как хозяева в стране, где их считают узурпаторами.

И Киплинг, и Форстер, занимая противоположные позиции, прекрасно показали, каковы были отношения между английскими колонизаторами и местным населением, показали они и царившие среди тех и других настроения. Для стремившегося к карьере индийца единственный дозволенный путь предполагал кроткое, до сервилизма, поведение в отношении господствующей нации. Тот же Уильям Ширер, американец, один из биографов Ганди, рассказывал, что как-то на балу он с характерной для янки непринужденностью пригласил пройти в танце местную девушку, с которой только что познакомился. Девушка была студенткой медицинского факультета и на бал пришла вместе с родителями. Он сделал учтивый жест, не более. Но на следующий день, пишет Ширер, «некоторые английские знакомые позвали меня, чтобы сказать, что „так не делают“ и что мне нужно научиться вести себя подобающим образом».

Ситуацию усугубляли многочисленные христианские миссионеры, стремившиеся обратить «язычников» в истинную веру. И индуисты, и мусульмане одинаково страдали от навязчивой пропаганды, полагая ее тем более тяжким бременем (и даже оскорблением), что их отказ мог повлечь за собой неприятные последствия.

С другой стороны, для англичанина карьера в индийской гражданской администрации открывала широкие перспективы. Университеты Туманного Альбиона поставляли в колонии отличные кадры, налаживающие структуру управления, распространяющие употребление английского языка. Двумястами пятьюдесятью миллионами индийцев управляли несколько тысяч чиновников, не более десяти тысяч офицеров и около шестидесяти тысяч специалистов. Добавь сюда двести тысяч солдат из местного населения (сипаи), которые часто обеспечивали правопорядок (по приказу, раз-

умеется), и можно вообразить, какие среди них царили настроения.

В марте 1919 года выходит так называемый Акт Роуллетта, направленный против участников национально-освободительной борьбы (этим актом были узаконены ограничительные меры, введенные во время войны для предотвращения беспорядков). В ответ Ганди назначил на 6 апреля *хартал* — форму гражданского неповиновения, выражавшуюся в воздержании от всякой деятельности (аналог всеобщей забастовки). В различных городах Индии наблюдались беспорядки. Решающий эпизод произошел в Амритсаре, городе сикхов в Пенджабе. Пять англичан было убито, пострадала миссионерка, совершены нападения на английские банки, школы и церкви. Ганди, получив сообщение об этом, поспешил на место выступлений, но в пути был задержан англичанами.

Командующий гарнизоном генерал Реджинальд Дайер объявил военное положение, запрещающее любые собрания. В ответ на это 13 апреля несколько десятков тысяч человек, индусы и мусульмане, вышли безоружными на площадь Джаллин-вала Багх. Цель понятна — индийцы требовали положить конец актам насилия. Они хотели напомнить англичанам, что в только что закончившейся мировой войне сражались более миллиона индийцев и около ста тысяч из них погибли. За четыре года войны в пользу Британии было пожертвовано не менее миллиарда долларов. А «хозяева» ответили Актом Роуллетта, лишившим местное население ряда основных прав.

Площадь была полностью закрыта с трех сторон, единственный проход к ней — по длинной улочке шириной три метра. В момент максимального стечения народа Дайер приказал установить несколько пулеметов и без предупреждения открыл огонь на поражение. За десять минут прозвучало 1600 очередей, в живую стену невозможно было не попасть. В итоге — 380 убитых и 1137 раненых. Побойсь.

Последовавшее за этим расследование Индийского национального конгресса установило, что жизнь многих можно бы-

ло бы спасти, если бы англичане не преградили путь прибывшим к площади врачам. Согласно приказу все, включая врачей, должны были соблюдать комендантский час.

Удивительно, но для англичан в Индии и консерваторов на родине генерал Дайер стал героем, организуется даже сбор средств в его пользу, хотя справедливости ради следует сказать, что позднее он был отстранен от командования и отправлен в отставку (на полном довольствии). «Я был уверен, что предупредил очередной бунт, — позднее признается бравый вояка. — Окажись я снова в подобных обстоятельствах, то поступил бы точно так же».

Ганди, комментируя события, отметит два момента. Во-первых, он ужаснулся количеству жертв и приказу генерала, чтобы все индийцы ползком пересекали улицу, где было совершено нападение на миссионерку. Только представьте: все — и старики, и женщины, и дети — должны были преодолевать этот участок на четвереньках, в пыли, под строгим контролем выставивших штыки патрульных.

Во-вторых, кровавый эпизод окончательно убедил Ганди в том, что он должен всей силой своей веры бороться против колониального владычества. Амритсарская бойня, сказал он, продемонстрировала ему и всем вокруг «жестокости, совершенные в отношении народа Пенджаба. Она продемонстрировала, до чего способно дойти английское правительство и какие варварства и бесчеловечные деяния способно совершить ради удержания власти».

Во второй половине 1940-х годов, когда стало известно, что Индия будет разделена по религиозно-общинному принципу, разногласия между мусульманами и индуистами резко обострились. Ганди не разделял принцип подобного деления. Источником боли для него стало то, что даже он, приведший страну к свободе, не в силах совладать с ненавистью, порождаемой слепым религиозным фанатизмом. Его жизнь оборвалась 30 января 1948 года, когда фанатик-индуист, считающий действия Махатмы слишком мягкими, трижды в упор выстрелил в него из пистолета. Убийцу Ма-

хатмы звали Натхурам Винаяк Годзе; Ганди пал с именем Бога на устах.

Последний значимый эпизод, прежде чем попрощаться с этой колоссальной личностью. Уинстон Черчилль, будущий лидер Британии, участвовал в переговорах Махатмы Ганди и вице-короля Индии лорда Ирвина (он же лорд Галифакс), проходивших в 1931 году в Дели. Рассказывая о переговорах в палате депутатов, Черчилль подчеркнул отвращение, испытанное им при виде «тошнотворного зрелища бывшего адвоката Лондонского форума, а теперь мятежного факира, голым поднимающегося по лестнице дворца вице-короля, чтобы на равных беседовать с представителем британского монарха».

Но в любом случае, вопреки, мягко говоря, трениям, отношения между Великобританией и Индией были очень интенсивными. Вероятно, можно интерпретировать как своего рода компенсацию недавний расцвет англо-индийского литературного направления, открытого два десятилетия назад шедевром Салмана Рушди «Дети полуночи», а затем продолженного такими именами, как Ханиф Курейши, Амитав Гош, Анита Десаи, Арундати Рой, Викрам Сет, Видиадхар Сурадж-прасад Найпол и — совсем недавно — Хари Кунзру. «Империя продолжает поражать», — не раз кричали заголовки британских газет, имея в виду сей феномен. Все эти писатели вышли из великого горнила Индии и впитали в себя основы ее культуры.

* * *

Среди многочисленных военных эпизодов, которыми сопровождалась британская колонизация, я расскажу вам об одном из самых кровавых, характеризующихся каким-то первобытным зверством, не имевшим ни этических, ни юридических оправданий, ход которого был ужасен, а финал жесток настолько, что можно отнести его к самым позорным страницам истории британского колониализма. При этом с чисто военной точки зрения он весьма показателен.

телен. Речь идет о сражении, получившем название по местечку Роркс-Дрифт. Оно состоялось в ходе англо-зулусской войны.

Зулусы — южноафриканская народность семьи банту, проживавшая в тогдашнем Зулуленде, территории к северо-востоку от Южноафриканской Республики на берегу Индийского океана. Король зулусов Кечвао (правил с 1873 года) с трудом терпел присутствие британцев на границе его земель. Англичане и буры, со своей стороны, видели в нем угрозу. Верховный комиссар сэра Бартл Фрер в декабре 1878 года направил королю ультиматум с требованием распустить войско. Король не ответил. Однако у англичан не было никакого весомого повода вторгаться в Зулуленд.

Кечвао запретил своим людям пересекать границы племенной территории, но все же инциденты имели место. Один из зулусских вождей, Сихайо, отправил людей в Наталь (где управляли британцы) за двумя своими неверными женами. Несчастных силой вернули в Зулуленд и там казнили. На границе между Наталем и Зулулендом отряд зулусских охотников задержал английскую географическую экспедицию; зулусы опасались, что картографические съемки могут служить военным целям. Как видите, действительно мелкие инциденты. Историки до сих пор не имеют единого мнения об истинных причинах, вызвавших англо-зулусский конфликт, хотя большинство склоняются к тому, что это была личная инициатива сэра Бартла Фрера, увлеченного перспективой легкого завоевания, в результате которого под его контроль перешла бы огромная территория.

В начале января 1879 года семнадцать тысяч солдат под командованием лорда Челмсфорда пересекли реку Баффало-Бугела и вторглись на зулусскую территорию. Быки на 725 повозках везли семь тысяч ящиков продуктов, палатки и два миллиона патронов. Без пушек тоже не обошлось. Заявленная цель: ликвидировать угрозу пограничным поселениям буров и британцев со стороны зулусского войска (40 тысяч человек на 300 тысяч населения).

Первое столкновение произошло 22 января у Изанзлваны. Сражение было недолгим (с полудня до двух часов дня), но с весьма тяжелыми последствиями для англичан: тысяча погибших, в том числе двадцать один офицер. «Мертвые были повсюду, каждое тело было изувечено», — писал очевидец. Определенными чертами (ошибки в построении войск и в тактике) трагедия этого сражения имеет сходство с поражением итальянцев при Адуа в марте 1896 года¹.

В половине третьего весть о поражении достигла Роркс-Дрифта, где гарнизон из сотни солдат охранял склад и небольшой госпиталь. В тот момент командование находилось в руках двух лейтенантов, у которых было лишь несколько минут на то, чтобы решить, бежать или оказать сопротивление орде зулусов, которая вот-вот нахлынет из-за холмов. Идея бегства сразу была отброшена: запряженные волами подводы с обозом и ранеными передвигаются слишком медленно, что могло оказаться фатальным. Оставалось только обороняться.

Один из двух офицеров, лейтенант Джон Роуз Мерриот Чард, дал указание возвести между строениями бруствер из мешков кукурузы и тяжелых ящиков с галетами и другим провиантом. Через полтора часа работа была закончена, но враг пока еще не появился. Английские стрелки заняли позицию за импровизированной баррикадой. В распоряжении отряда имелось несколько старинных пулеметов Гатлинга, но в основном солдаты были вооружены винтовками Мартини — Генри (дальность стрельбы чуть более километра; 45-й калибр пуль). Винтовки хорошие, но все же это однозарядное оружие, а в 1879 году американцы уже несколько лет имели на вооружении знаменитый магазинный винчестер 32-го калибра, в три раза более скорострельный. Британский Генштаб не считал нужным принять новинку на вооружение в надмен-

¹ Первого марта 1896 года во время итало-эфиопской войны 1895—1896 гг. эфиопские войска разгромили наступавший на Адуа (с вер Эфиопии) итальянский экспедиционный корпус. — Примеч. ред.

ной уверенности, что против туземцев, вооруженных копьями, магазинное оружие — ненужная роскошь.

Действительно, зулусы устремлялись навстречу врагу практически обнаженными, держа в руках лишь щит и копье. Ставка делалась на быстроту, внезапность и численное превосходство. Босые воины-туземцы могли одолеть бегом до восьмидесяти километров в день!

Король зулусов приказывал своим воинам перед сражением принимать рвотное средство, чтобы полностью освободить тело от всяких нечистот. Известно, что воины, атаковавшие Роркс-Дрифт, не ели двое суток. Еще одна пикантная деталь: после сражения зулусы вспарывают животы павшим врагам, чтобы освободить их души. Это жест милосердия — но англичане принимали его за жестокое зверство.

Англичане (и в целом европейцы) на заре колонизации (да впрочем, на протяжении всей эпохи колониализма) считали, что автохонные народы и народности должны быть счастливы приобщиться к религии, культуре и языку «высшей расы». Обратив зулусов в христианство, в их представлении, означало положить конец полигамии, случаям канибализма, содомии и другим аберрантным сексуальным практикам, как, например, обычай «чистить топор» после каждого сражения (полноценный половой акт для женатых мужчин и половая связь без пенетрации для неженатых). Подобные практики давали христианским миссионерам «моральное» обоснование колонизации.

Винтовка Мартини — Генри, мы снова о ней, имеет очень сильную отдачу и накаляется при стрельбе. Латунные гильзы при контакте с раскаленным затвором деформируются, на то, чтобы вынуть их и вставить новый заряд, теряются драгоценные секунды. В свою очередь, зулусы, хватая винтовку за ствол, получали сильные ожоги от контакта с раскаленным металлом. Те из туземных воинов, которым удавалось завладеть винтовкой, обычно стреляли не во врага, а вверх, стараясь придать пуле ту же траекторию, что и дротику. Зулусы падали и по местам взрыва гранат, убежденные, что взрыв вы-

пускает на свободу «маленьких белых людей», которые хотят убить их.

Тактика зулусской атаки состояла в том, чтобы с криками бесстрашно броситься на вражеские ряды, в надежде, что шум и скорость заставят противника дрогнуть.

Теперь опишу вам английских солдат. В основном это светлокожие люди со следами солнечных ожогов на теле; по большей части это рабочий люд и люмпен-пролетариат, завербованный в промышленных районах метрополии. Солдаты ели вдосталь и без труда носили на себе тяжелую винтовку (четыре с половиной килограмма) и еще примерно тридцать килограммов снаряжения, еды и воды. Они прошли суровую школу обучения, и я бы добавил — эффективную.

Эти два типа солдат, две культуры будут противостоять друг другу в Роркс-Дрифте в сражении, которое продолжалось шестнадцать часов, с короткой ночной передышкой с полночи до зари. Обессилив, зулусы отступили.

За восемь с лишним часов непрерывного огня каждый из английских солдат расстрелял в среднем по двести патронов. На одного погибшего англичанина (на поле боя пали 15 человек и еще 10 получили ранения, двое из них скончались) пришлось по 23 мертвых зулуса. Пленению подверглись, по разным сведениям, от 500 до 800 туземцев; все они были казнены. Как писал один военный историк: «Роркс-Дрифт показал, что крепкая пехотная рота, сотня вооруженных винтовками человек в состоянии отбить четыре тысячи зулусов».

Но откуда же шла эта оборонительная доблесть? Структура английской армии в XIX веке отражала существовавшее в британском обществе классовое неравенство. Только ближе к 1860 году стали отменять продажу офицерских дипломов и продвигать по службе по заслугам. Но вне зависимости от классовых и имущественных различий, армия являла собой грозный инструмент ведения войны (а в колониях она была и полицейской силой) благодаря трем факторам.

Первый — вошедшее в поговорку упрямство, замешанное на решимости и гордости, сделавшее англичан настоящим

народом-воителем Европы. В 1982 году такого рода упрямство продемонстрировал конфликт на Фолклендских (Мальвинских) островах, когда премьер-министр Маргарет Тэтчер решила, при всеобщем ликовании, направить флот на другой край земли, чтобы отобрать у аргентинцев четыре клочка суши, затерянных в Южной Атлантике, почти на широте Огненной Земли.

Выучка — второй фактор. «Красные мундиры» были обучены лучше всех в Европе. Их построения в форме квадрата (с каждой стороны лежащие, присевшие на колено и стоящие стрелки) вели непрерывный регулярный огонь. Это была военная машина убийственной мощи, в чем смог удостовериться сам Наполеон в битве при Ватерлоо.

И наконец, третья составляющая — дисциплина. В ожидании атаки на Роркс-Дрифт лишь несколько колонистов обратились в бегство. Но солдаты стрелковой роты не покинули своего боевого поста, хотя в тот момент единственной перспективой для них была жуткая смерть под острым лезвием зулусского оружия.

Однако залогом устойчивости Империи является еще один элемент — мы можем определить его как идеологию. Африка, Черный континент, как назвал ее Генри Стэнли в одноименной книге, казалось, создана специально для того, чтобы рассматриваться в качестве объекта завоеваний, с ее обширными малоизученными территориями, богатством природных ресурсов, невероятной красотой дикой природы, ореолом загадочной экзотики, с ее населением, состоящим из «существ низшего ранга», в которых подчеркивались то зверские нравы (вплоть до каннибализма), то покорность и послушание, и в любом случае забавляющая европейцев отсталость. Лакомый кусок в зубы Англии и Европы в целом. С Африкой соответствующим образом и обращались, раздирая на куски, будь то альтруистическое приобщение к цивилизации или эксплуатация безмерных ресурсов.

Дэвид Ливингстон (1813—1873) был шотландским миссионером и исследователем, изучавшим теологию и медицину.

Когда он приехал в Африку, ему было двадцать семь лет, и черные обитатели лесов и саванн Бечуаналенда боготворили его, потому что при помощи нескольких пилюль и тампонов с дезинфицирующим средством он мог унять лихорадку и залечить раны. Ливингстон попробовал следовать дальше на юг, но бурские колонисты были заняты разработкой богатых месторождений и не хотели, чтобы у них под ногами путались зануды, вооружившиеся Евангелием и хинином. Тогда он двинулся на север, изучая возможность миссионерской деятельности в этом регионе, опустошенном португальскими работниками. Попутно Ливингстон открыл водопады Виктории и исследовал течение Замбези, крупнейшей реки Африки.

Когда Ливингстон отправился решать вековую проблему истоков Нила, Европа так долго оставалась без вестей о нем, что один отважный журналист, уроженец Уэльса двадцати четырех лет от роду, Джон Роулендс (впоследствии он возьмет себе псевдоним Генри Мортон Стэнли), при поддержке со стороны шефа Гордона Дж. Беннета, основателя «New York Herald», газеты, которая станет образцом для подражания для всех будущих массовых изданий, решил отправиться по его следам. В конце концов Стэнли отыскал Ливингстона в лесной глуши, и когда был от него на расстоянии оклика, то выдал знаменитую фразу, остроумно-учтивую и холодную, лишенную каких-либо эмоций или энтузиазма, фразу, которой тоже суждено будет стать образцом «английскости» для грядущих поколений: «Доктор Ливингстон, я полагаю?»

Прославившись благодаря экспедиции и сроднившись за это время с Африкой, Стэнли продолжил странствия. По заданию двух газет он пересек континент с востока на запад (в 1874—1877 годах), от Занзибара до устья реки Конго, исследовал озеро Виктория, открыл озеро Альберта и спустился вниз по великой реке. Позднее, приняв приглашение бельгийского короля Леопольда II, он вошел в Комитет по изучению Верхнего Конго и проплыл реку вверх по течению (в 1879—1884 годах), заложив таким образом основы будущего Бельгийского Конго. На знаменитой Берлинской конфе-

ренции 1885 года, на которой европейские державы поделили между собой Африку, король Леопольд добился того, чтобы государство Конго было отдано под его личный суверенитет. До того момента на этой земле хозяйничали португальские и арабские работорговцы; Бельгия сумела получить эксклюзивное право на освоение территории.

Я задержался на истории Конго, потому что именно здесь разворачивается действие одного из лучших романов Конрада, да и всей английской литературы — «Сердце тьмы». На сей раз я доверю не реальному, а вымышленному и потому ярко обрисованному персонажу изобразить то, чем был английский и европейский колониализм в Центральной Африке.

Теодор Юзеф Конрад Коженёвский (1857—1924), поляк по происхождению, стал британским гражданином только в 1886 году — в тот самый год, когда он, двадцати девяти лет от роду, получил диплом капитана морского флота. Коженёвский начал плавать в семнадцать лет, а в тридцать семь решил оставить флот, чтобы заняться писательством под псевдонимом Джозеф Конрад. За двадцать лет морской карьеры он побывал во всех колониальных землях, от Дальнего Востока до Австралии, от Африки до Южной Америки. Он начал писать, когда Британская империя была в зените могущества, ее владения охватывали три четверти поверхности суши в Африке, Азии, Индии, Австралии и Новой Зеландии. Эта гигантская экспансия сопровождалась столь же значительной литературной продукцией, поскольку англичанам нравилось вместе с героями переживать эпизоды колониальной эпопеи, излагаемые в авантюрных романах с экзотическим антуражем.

Конрад тоже был поклонником приключенческого жанра, в котором выдержаны все его романы (в том числе пара про шпионов и террористов). Но события, пропущенные через фильтр его изощренного ума, перестают быть просто захватывающими. Конрад неизменно затевает игру, в которой Добро и Зло так тесно переплетаются, что становятся неразличимы, и понятие истины теряется в лабиринте противоречивых чувств.

Роман «Сердце тьмы» впервые был опубликован в журнале «Blackwoods Magazine» (февраль — апрель 1899 г.), а затем, в 1902 году, вышел книжный вариант. В основу романа лег реальный эпизод из жизни Конрада, имевший место в устье Конго. Повествование начинается на берегах Темзы, на борту небольшой яхты, ожидающей прилива, чтобы выйти в море. Желая убить время, некий Чарльз Марлоу рассказывает о том, как ему довелось подняться вверх по Конго в попытке отыскать агента по добыче слоновой кости, загадочного человека по имени Куртц, обитавшего в темной глубине африканских лесов.

Прежде чем погрузиться в воспоминания, Марлоу вспоминает о великих событиях прошлого, свидетелем которого стало течение Темзы:

«Поток, вечно несущий свою службу, хранит воспоминания о людях и судах, которые поднимались вверх по течению, возвращаясь домой на отдых, или спускались к морю, навстречу битвам. Река служила всем людям, которыми гордится нация, — знала всех, начиная от сэра Фрэнсиса Дрейка и кончая сэром Джоном Франклином¹; то были рыцари, титулованные и нетитулованные, — великие рыцари — бродяги морей... Те, что искали золота, и те, что стремились к славе, — все они спускались по этой реке, держа меч и часто — факел, посланцы власти внутри страны, носители искры священного огня»².

Однако сам Марлоу имел дело не с рыцарями моря и не с носителями искры священного огня, а с серыми, педантичными администраторами, темными учетчиками вырванных у Африки богатств; эти люди слепы к страданиям, которые приносит осуществляемая их «торговыми компаниями» эксплуатация.

¹ Франклин, Джон (1786—1847) — английский исследователь новых земель, морской офицер. — Примеч. ред.

² Здесь и ниже перевод А. Кравцовой.

Нанявшись на работу в Брюсселе, герой романа поднимается на борт парохода, и все его путешествие продолжается на фоне однообразного пейзажа:

«Граница бескрайних зарослей — темно-зеленых, почти черных, обрамленных белой пеной прибоя, — тянулась прямо, как по линейке, вдоль сверкающего синего моря, подернутого ползучим туманом».

Я цитирую этот замечательный роман, чтобы показать точку зрения Марлоу, или, иначе говоря, авторскую позицию. То, о чем пишет Конрад, находится вне логики колониализма и вне европейского взгляда, считавшего черных обитателей континента или несчастными созданиями, которых необходимо обратить в христианство, или даровой рабочей силой.

Вот первая встреча Марлоу с аборигенами:

«Иногда лодка, отчалившая от берега, давала на секунду возможность соприкоснуться с реальностью. Гребцами в ней были черные парни. Издали вы могли видеть, как сверкали белки их глаз. Они кричали, пели; пот струйками сбегал по телу; лица их напоминали гротескные маски; но у них были кости и мускулы, в них чувствовалась необузданная жизненная сила и напряженная энергия, и это было так же естественно и правдиво, как шум прибоя у берега».

А вот одна из самых мрачных и впечатляющих сцен, блистательная и в полной мере иллюстрирующая абсурдную жестокость поведения европейцев.

«Помню, однажды мы увидели военное судно, стоявшее на якоре у берега. Здесь не было ни одного шалаша, и тем не менее с судна обстреливали заросли. Видимо, в этих краях французы вели одну из своих войн. Флаг на мачте обвис, как тряпка; над низким корпусом торчали жерла длинных шестидюймовых орудий; маслянистые, грязные волны лениво

поднимали и опускали судно, раскачивая его тонкие мачты. Вокруг не было ничего, кроме земли, неба и воды, однако загадочное судно обстреливало континент. Бум!.. грохнуло одно из шестидюймовых орудий, мелькнуло и исчезло маленькое пламя, рассеялся белый дымок, слабо просвистел маленький снаряд и... ничего не случилось. Ничего и не могло случиться. Что-то безумное было во всей этой процедуре, что-то похоронное и комедийное, и впечатление это не рассеялось, когда кто-то на борту серьезнейшим образом заверил меня, что где-то здесь, скрытый от наших глаз, находится лагерь туземцев. Их он назвал врагами!»

Еще две цитаты. Первая — рассказ Марлоу о случайной встрече с небольшой колонной рабов. О ней возмущает странный звук:

«За моей спиной послышалось тихое позвякивание, заставившее меня оглянуться. Шестеро чернокожих гуськом поднимались по тропинке. Они шли медленно, каждый нес на голове небольшую корзинку с землей, а тихий звон совпадал с ритмом их шагов. Черные тряпки были обмотаны вокруг их бедер, а короткий конец тряпки болтался сзади, словно хвостик. Я мог разглядеть все ребра и суставы, выдававшиеся, как узлы на веревке. У каждого был надет на шею железный ошейник, и все они были соединены цепью, звенья которой висели между ними и ритмично позвякивали».

Другая сцена — возможно, самая жуткая в повести, почти дантовской напряженности, когда герой углубляется в рощу, где лежат на земле или сидят, прислонившись к стволам деревьев, черные тени. Страшная сцена, населенная людьми, превратившимися в призраков, по каким-то причинам ставшими негодными к работе и потому выброшенными и лежащими тут, как животные в предсмертной агонии:

«Черные скорченные тела лежали и сидели между деревьями, прислонясь к стволам, припадая к земле, полустер-

тые в тусклом свете; позы их свидетельствовали о боли, безнадежности и отчаянии... Они умирали медленной смертью, это было ясно. Они не были врагами, не были преступниками, теперь в них не было ничего земного, — остались лишь черные тени болезни и голода, лежащие в зеленоватом сумраке. Их доставляли со всего побережья, соблюдая все оговоренные контрактом условия; в незнакомой обстановке, получая непривычную для них пищу, они заболевали, теряли работоспособность, и тогда им позволяли уползать прочь. Эти смертники были свободны, как воздух, и почти так же прозрачны. В тени деревьев я начал различать блеск их глаз».

Я привел выдержки из великолепного повествования, в котором явлен страшный лик колониализма, каким его фиксирует ледяной взгляд Марлоу. Это не сочувственный взгляд; скорее, в нем есть пристальность энтомолога и, в любом случае, оптика европейца. Дикари, негры абсолютно чужды ему и другим белым людям, с которыми он сталкивается в путешествии. Не говоря уже о Куртце, в загадочной фигуре которого раскрывается все многозвучие смыслов повествования. Именно тот факт, что наблюдатель сохраняет дистанцию, делает картину еще более душераздирающей. Холодность Марлоу — эквивалент того, что немецкий драматург Бертольд Брехт называет *Verfremdung* — «остранение»: отвести описываемое на расстояние, чтобы сделать более очевидным. Таким образом отвращаются и обвинения в расизме, которые иногда предъявлялись к роману. А в числе его достоинств стоит выделить почти профетическую напряженность, действительно определившую будущее.

* * *

Мы можем сказать, что последний раз британский империализм подал признаки жизни более полувека назад, в 1956 году, на берегах Суэцкого канала. Когда полковник Насер пришел к власти в 1954 году, одной из первых его целей было освободить Египет от всякого иностранного контроля,

начиная с сохраняющегося присутствия английских войск. В следующем году Египет вступил в альянс с Сирией и Саудовской Аравией, а застарелый суданский вопрос был решен путем предоставления Судану права на самоопределение: 1 января 1956 года была провозглашена Республика Судан. Эта активность и явная проарабская направленность нового правительства создали, разумеется, напряженность в отношениях с Западом, в особенности с Великобританией и Францией, которые претендовали на особые права на Ближнем Востоке. На развитии ситуации также сказалось ошутимое присутствие Государства Израиль, рожденного в 1948 году.

В июле 1956 года Насер решил национализировать Суэцкий канал. Государство хотело стать получателем транзитных пошлин, которые планировалось направить на финансирование строительства Асуанской плотины. Франция и Великобритания выступили против и склонили Израиль к выступлению. Двадцать девятого октября 1956 года израильтяне при поддержке французской и английской авиации перешли границу Египта. Еще несколько десятков лет назад это сочли бы нормальным положением дел, потому что именно так решались проблемы в Африке. Однако времена изменились — то, что именуется «Суэцким кризисом», не понравилось никому. ООН открыто осудил агрессию, США дистанцировались, Советский Союз объявил правительствам Англии, Франции и Израиля ультиматум, угрожая ввести войска. Насер проиграл в военном плане, но одержал политическую победу. Двадцать второго декабря ООН заставил вывести английские и французские войска; Насер стал лидером арабского мира. Что же касается Британии, то она наконец поняла: эра имперского колониализма, по крайней мере того, что опирался на канонерки, миновала.

МЕЧТА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА

В тот день, когда я отправился на кладбище Хайгет, выдалась идеальная для такого похода погода. С раннего утра моросил мелкий дождь, один из тех лондонских дождей, которые, кажется, просеяны через сито, — затяжные, но в сущности безобидные по сравнению с ливнями почти экваториального типа, к которым привыкли мы на наших широтах. Затянутое облаками небо накинуло однообразный серый покров на все, что виднелось вокруг: и на мокрую траву, и на могильные плиты, и на плющ. Все казалось серым. Тяжелые кладбищенские ворота были закрыты, но из окошка неподалеку сочился тусклый свет лампы, зажженной, несмотря на дневное время. Я постучал по стеклу, и показавшаяся за окном пожилая женщина с лету поняла, чего я хочу. Она вышла без зонтика, взяла с меня два фунта (выдав квитанцию) и с силой налегла на ворота, которые, оказывается, были лишь прикрыты; подавшись, они, как полагается, заскрипели, поворачиваясь на заржавелых петлях.

Женщина сказала:

— Идите до развилки, поверните налево, могилу вы найдете в конце аллеи справа.

Ошибиться было невозможно, и я сразу нашел то, что искал.

Полагаю, что Хайгетское кладбище — одно из самых выразительных в Европе. Я говорю это скрепя сердце, потому что всегда любил Пер-Лашез. Парижское кладбище, очарование которого я ни в коей мере не собираюсь умалять, однако, чересчур ухожено. Ухожены надгробия, аллеи, ограды, зеленые насаждения — эта скрупулезная забота отчасти разрушает атмосферу романтической меланхолии. Хайгет же, представленный самому себе, фактически превратился в памятник викторианскому представлению о смерти.

Хайгетское кладбище было открыто на периферии Лондона за два года до того, как королева Виктория взошла на трон, — с той целью, чтобы разгрузить переполненные и не отличающиеся идеальной гигиеной городские кладбища. Некоторые из самых старых могил заброшены уже многие годы, иные памятники полуразрушены или заросли диким плющом. Между могильных плит выросли высокие деревья и распростерли вширь свои ветви и корни, посягая на устойчивость каменных монументов. Могилы тесно прижаты одна к другой; надгробия строги и, как правило, не имеют ни «негасимой лампы», ни фотографии усопшего — этих знаков памяти и религиозного благочестия, что характерно для итальянских и, в целом, католических кладбищ. На надгробиях английских (и традиционных американских) кладбищ высечены скупые надписи, лаконичны и дифирамбы покойному.

Если бы меня сегодня попросили назвать место, наилучшим образом иллюстрирующее литературный образ романтизма XIX века, одну из тех оперных декораций, где призрачный свет луны выхватывает из тьмы руины и узловатую ветку дуба, покосившийся крест и бродячую кошку, где до нас эхом доносятся крики, дальний звериный вой или зловещее шуршание, — я бы не преминул указать на Хайгет. В сумрачный и дождливый осенний день лондонское кладбище показалось мне самым логичным объяснением тому, как в Англии появи-

лись на свет готический роман и все эти истории о призраках.

Я пришел сюда на могилу одного из тех немногих людей, о которых можно без преувеличения сказать, что они изменили ход истории, озарив надеждой жизнь миллионов людей, но и став, как часто случается с пророками, источником невыразимых страданий. Я говорю, как вы уже догадались, о Карле Марксе.

Маркс хотел, чтобы его похоронили рядом с женой, под простой плитой с датами рождения и смерти. Так и было сделано. Но в 1954 году Коммунистическая партия Великобритании поручила Лоуренсу Брэдшоу изваять бронзовый бюст философа. Результат — громадная голова, сурово глядящая на посетителя с высоты могучего постамента из корнуолльского гранита. В целом довольно пафосное надгробие, но не исключено, что оно ему бы и понравилось.

Повидав последнее пристанище Маркса в Лондоне, я отправился посмотреть на одно из первых. Квартира находится в народном квартале Сохо, дом номер 28 по Дин-стрит. Любопытный дом, как любопытно и происхождение названия квартала. Оно идет от охотничьего клика «So-ho!», часто раздававшегося в местности, когда-то покрытой полями и лугами, с редкими домами, оживляющими кое-где пустынный пейзаж, где дворяне разъезжали верхом на лошадях, преследуя добычу.

Квартал стал заполняться улицами и постройками в конце XVII века, после разрушительного пожара 1666 года. Здание, в котором жил Маркс — сегодня здесь располагается ресторан, вход в который совпадает со входом в квартиру философа, — было построено в 1734 году. Комнаты на четвертом этаже закрыты для посещения. Зато можно увидеть две квартиры этажом ниже с идентичной планировкой. В комнатах наверху, несмотря на их скромные размеры, некоторое время жили восемь человек: Карл, его жена Женни, горничная, няня, четверо детей. Для Женни, вероятно, было непросто приспособиться к этой тесноте. Однажды, в минуту особой пода-

вленности, она призналась мужу: «Я с детьми хотела бы лежать в земле».

Маркс приехал в Лондон 27 августа 1849 года. Ему тридцать один год, он женат на дочке немецкого барона, и у них уже трое детей. Четвертый на подходе. За плечами очень спокойный период, а впереди — еще более бурное будущее.

Английская столица середины позапрошлого века была такой, какой ее изображали в суровой наготе гравюры Доре и романы Диккенса. Например, в «Лавке древностей»:

«Сырые, в пятнах плесени дома — многие с наклейками о сдаче внаем, многие еще в лесах, многие недостроенные, но уже разрушающиеся; каморки и углы, которые нищие жильцы снимают у таких же нищих хозяев, так что трудно сказать, кто из них больше заслуживает сожаления; на каждой улице копошащиеся в пыли полуголодные оборвыши-дети; сердитые матери в стоптанных туфлях, гоняющиеся за ними с громкой бранью; худо одетые, хмурые отцы, спешащие на работу, которая дает им „хлеб их насущный“, а больше, пожалуй, ничего; мелкие лавочники, прачки, гладильщицы, сапожники, портные, расположившиеся со своим ремеслом в жилых комнатах, кухнях, чуланах, на чердаках и сплошь и рядом ютящиеся скопом под одной крышей; кирпичные заводы, между ними грядки с овощами, огороженные клепками от старых бочек или украденными где-нибудь поблизости, на пожарище, обгорелыми досками с вздувшимися от огня пузырями краски; целые насыпи из устричных раковин, перепревшего сорняка, бурьяна и крапивы...»¹.

Промышленная революция наложила свой отпечаток на город, переживающий период бурного роста. За несколько лет в него стеклось множество жителей, выросли новые периферийные районы, наполнился людьми каждый пригодный для жилья угол. Лондон стал самой большой и густонаселенной столицей мира. Смелый хроникер, именно в этот период

¹ Здесь и ниже перевод А. Крицовой.

рискнувший подняться на воздушном шаре над его бескрайними просторами, пишет, что даже сверху нельзя было различить, где кончается город и начинается то, что когда-то было деревней. Многие новые жители приехали из пригородов, многие — из-за границы, и среди них было немало политических беженцев: тысячи европейских революционеров едут в самую промышленно развитую страну, которая дает убежище всем изгнанникам.

Первые мануфактуры не знали производственного порядка и лихорадочного ритма, который будет присущ так называемой фордовской фабрике с регламентированным временем и поточной системой. На первоначальном этапе индустриализация — это больше отвратительные, черные от копоти кузнечные цеха, места, где правит еще более гнусное, нежели в деревне, рабство, поскольку оно лишено того минимума человечности, который способна дать жизнь в контакте с растительной и животной природой. В этой картине доминирует железо — железо станков, вокзальных перронов, зданий, железнодорожных путей, паутинной сеткой покрывающих Англию, да и всю Европу. Целый мир, сделанный из железа.

Предоставим вновь слово Диккенсу:

«По обеим сторонам дороги и до затянутого мглой горизонта фабричные трубы, теснившиеся одна к другой в том удручающем однообразии, которое так пугает нас в тяжелых снах, извергали в небо клубы смрадного дыма, затемняли божий свет и отравляли воздух этих печальных мест. Справа и слева, еле прикрытые сбитыми наспех досками или полусгнившим навесом, какие-то странные машины вертелись и корчились среди куч зола, будто живые существа под пыткой, лязгали цепями, сотрясали землю своими судорогами и время от времени пронзительно вскрикивали, словно не стерпев муки».

Диккенсу раннеиндустриальный пейзаж видится подобием дантова Ада. Машины корчатся, цепи лязгают, как живые существа под пыткой, земля дрожит от их судорожных движе-

ний. В этот ад и бросается с головой Маркс, найдя в нем подтверждение своим догадкам; но в этом аду он, его жена и дети вынуждены жить, испытывая на себе вкус лишений, которые сегодня кажутся просто немыслимыми!

На состояние тяжелейшей нужды, в котором пребывала семья, проливают свет некоторые документы. Например, длинное письмо, написанное Женни Йозефу Вейдемейеру, главе франкфуртской лиги коммунистов.

Пятого ноября 1849 года у четы появился на свет четвертый ребенок. То недолгое время, что ему отпущено на земле, он будет носить имена Карл, Генрих и даже Гвидо, поскольку его рождение пришлось на день, когда в Англии вспоминают Гая Фокса, героя знаменитого «порохового заговора» католиков.

Вот что пишет Женни в мае 1850 года:

«Бедный ангелочек доставил столько хлопот и столько потаенного беспокойства, потому что он все время болел и день и ночь страдал от резких болей. С тех пор как он родился, он не проспал целиком и единой ночи, самое большее два или три часа. В последнее время добавились спазмы, такие сильные, что жизнь ребенка постоянно в опасности. Из-за этих болей он сосал с такой силой, что моя грудь покрывалась незаживающими трещинами, отчего кровь стекала в маленький ротик вместе с молоком».

Приведенные строки кажутся отрывком из рассказа какого-нибудь вериста¹, а между тем для супругов Маркс такова была суровая проза будней.

Продолжим читать письмо Женни:

«...Я находился в этом состоянии, когда вдруг вошла наша квартирная хозяйка, которой в течение зимы мы заплати-

¹ Реалистическое направление в итальянской литературе XIX века, объектом повествования которого в основном были народные низы. — Примеч. пер.

ли более 250 талеров, по контракту условившись уплатить остаток не ей, а владельцу дома, который распорядился его описать; она вошла и аннулировала договор, требуя пять фунтов, которые мы ей еще оставались должны. Поскольку сразу у нас их не было, ворвались двое мужчин с приказом на опись имущества, наложив арест на все наше имущество — кровати, белье, одежду, на все, даже на люльку моего бедного ребенка и лучшие игрушки девочек, которые горько плакали. Они угрожали забрать все через два часа; я лежала на голом полу с моими озябшими детками, саднящей грудью... На следующий день нам пришлось оставить дом, было холодно и шел дождь; мой муж ищет квартиру, но никто не хочет нас принять, когда он говорит о четверых детях. Наконец, нас выручает друг, мы платим, и я в спешке продаю наши кровати, чтобы уплатить всяким аптекарям, булочникам, мясникам, молочникам, которые, обеспокоенные описью имущества, тотчас устремились к нам со своими счетами. Кровати вынесены за дверь, погружены на телегу... и что же произошло? Тем временем наступил вечер, солнце зашло, а английские законы запрещают переезд вечером; хозяин является с двумя полицейскими и утверждает, что среди вещей, которые мы хотели увезти с собой, могут быть и его вещи. Меньше чем за пять минут у дверей собирается толпа в две-три сотни зевак, весь сброд Челси. Кровати нам возвращают, и только на следующее утро их смогли доставить продавцу. Как только мы смогли оплатить все долги, продав остававшуюся мебель, мы с детишками переехали в нынешние две комнатки немецкой гостиницы на Лейстер-сквер, где нашли человеческий приют за пять с половиной фунтов в неделю».

Кто эта женщина, с таким присутствием духа встречающая тягостную ситуацию? То, что Маркс сделал и написал, — плод его гения, но в том, что этот гений смог раскрыться, — заслуга Женни, которая одаривала мужа любовью вопреки внешним обстоятельствам и самому характеру Маркса — мягкому, но вместе с тем невыносимому. Доказательством служат сло-

ва, завершающие это отчаянное письмо и демонстрирующие, из какого теста была сделана Женни и сколь велика была ее любовь:

«Простите меня, дорогой друг, если я так долго описывала один лишь день нашей жизни здесь; я знаю, это бесцеремонно, но сегодня вечером мое сердце вырывалось из моей дрожащей груди, и необходимо было, чтобы я наконец излила душу одному из наших самых старинных, лучших и верных друзей. Не думайте, что эти злосчастные страдания сломили меня, я еще слишком хорошо знаю, что мы в своей борьбе не одиноки и что я, в частности, принадлежу к счастливым и покровительствуемым судьбой женщинам, потому что мой дорогой муж, опора моей жизни, еще рядом со мной».

Женни фон Вестфален родилась 12 февраля 1814 года в Зальцведеде, на севере Германии, хотя годы ее (и Карла) юности связаны с городом Трир, лежащим на левом берегу Мозеля (совр. земля Рейнланд-Пфальц). Ее отец Людвиг был младшим из четырех детей Филиппа фон Вестфалена и Энн Вишарт, шотландской дворянки. Дедушка Филипп в большей степени, чем Людвиг, был ангелом-хранителем семьи. Именно ему удалось получить баронский титул, превратив таким образом буржуазную фамилию Вестфаль в более звучную фон Вестфален. Он же скопит состояние, часть которого достанется Женни. Этим титулом гордился и Карл. Когда они переехали в Лондон и жили в условиях, которые мы описали, постоянно закладывая и вновь выкупая мебель и одежду, он настоял, чтобы жена напечатала себе визитные карточки с текстом «Миссис Карл Маркс, урожденная баронесса Женни фон Вестфален».

В десять часов утра 19 июня 1843 года двадцатипятилетний Карл Маркс, доктор философии, сочетался браком с Фройляйн Иоганной Бертой Жюли Женни фон Вестфален, двадцати девяти лет, «без профессии». От помолвки до свадьбы прошло целых семь лет: семье Женни, без сомнения, не

хотелось, чтобы столь высокородная особа выходила замуж за нищего еврея, горячую голову без определенного рода занятий. Женни — девушка умная, романтическая, первая красавица Трира, за ней ухаживали самые завидные женихи, которых она все же отвергла, поскольку с детства была влюблена в Карла. Известно, что симпатии, родившиеся за школьной партой или в детских играх, редко выдерживают испытания зрелостью и жизнью, но в данном случае их ожидал брак продолжительностью в сорок лет — поистине, что называется, «любовь до гроба»...

Женни, которая имела возможность жить в достатке, составив блестящую партию, организовать — с ее то задатками! — свое дело, предпочла бороться с нищетой рядом с человеком нежнейшей души, хотя и с невероятно тяжелым характером, ведя существование, как написал Карл в одном из писем, «вечно в слезах», в тени могучей фигуры мужа.

Карл Маркс родился 5 мая 1818 года в час тридцать пополудни в родительском доме на Брюкенштрассе в Трире. Юность у него была романтическая и в определенных границах вольная: официально он изучал право в Бонне, затем в Берлине, в действительности же писал стихи, проводил вечера в тавернах, где пил, играл, бросал и принимал вызовы на дуэль, а главное, пускался в бесконечные философские дискуссии.

Как-то он провел ночь в тюремной камере за нарушение общественного порядка, студент из корпорации «Боруссия»¹ в стычке поставил ему отметину над левым глазом. У него были связи с женщинами, в том числе продажными, а ведь он с таким жаром прощался при расставании с Женни... Смуглый, с пышной растительностью на голове, можно даже сказать косматый, он отпустил густую бороду, черную, как и шевелюра. Эта борода станет неотъемлемой частью его облика и присутствует на всех портретах, включая бронзовый бюст на мо-

¹ «Боруссия» — латинское название Пруссии. Речь идет о студенческой корпорации аристократического толка. — Примеч. пер.

гиле. «Черный олень» — нежно окрестит его Женни, но прозвище, которое на всю жизнь закрепится за ним, — это Мавр.

Из Берлина Карл в духе романтических обычаев эпохи посылал Женни свои стихотворные сборники; первый носит название «Книга любви», второй — «Книга песен». Оба сборника имеют одинаковое посвящение: «Моей дорогой и всегда любимой Женни фон Вестфален». Сестра напишет ему о том, что «как раз вчера приходила к нам Женни и, получив твои стихи, пролила слезы радости и боли». Карл, со своим угрюмым складом характера, будет любить ее как умеет. В 1856 году, когда ему уже было тридцать восемь, после рождения шестерых детей, он все еще был способен написать ей в момент разлуки:

«Моя любовь к тебе есть то, что вновь и вновь делает меня мужчиной. Не фейербахова любовь к человеку, не любовь к пролетариату, но любовь к любимому существу, то есть к тебе, снова делает из меня мужчину».

В Берлине Карл манкирует лекции по праву, которые должен был посещать, зато он активнейший участник дискуссий. Он становится членом молодежного кружка «Докторклуб», собирающегося в кафе «Гиппель», чтобы обсуждать философию Гегеля, умершего в 1831 году, но все еще тревожащего умы. Маркс продолжает считать Гегеля своим духовным отцом; имея живой темперамент, он с жаром отстаивает свои идеи и высмеивает идеи оппонентов (и продолжит делать это всю жизнь); он невыносимо дымит сигарами, спорит о Боге и о человечестве. Большая часть этих пылких молодых людей декларирует себя атеистами; один из друзей Маркса, Бруно Бауэр, доцент теологии, называет Евангелия «посредственными творениями мастеровых».

Обеспокоенный поведением сына, Генрих Маркс пишет Карлу, прося его обуздать язык и вести более умеренный образ жизни, найти место «земным чувствам. Но пусть они будут нежными».

Отец Карла считался одним из самых известных адвокатов Трира. Его настоящее имя — Гиршель Пилеви Маркс, он

происходил из старинной раввинской семьи. Юный Гиршель хотел посвятить себя юриспруденции, пользуясь тем фактом, что после введения в Рейнланде Кодекса Наполеона евреям доступ к свободным профессиям больше не был закрыт. Однако случилось так, что с последовавшей в 1815 году Реставрацией либерализм наполеоновского времени претерпел ограничения. В крайне почтительном письме прусскому президенту Гиршель просит разрешения заниматься адвокатской практикой, несмотря на то что он еврей. Однако по декрету рейнского Высшего суда прошение было отклонено, так что Гиршель встал перед дилеммой: отречься или от своей веры, или от профессии. Его брат Самуэль — раввин в Трире, его жена Генриетта Прессбург — дочь голландского раввина: перед Гиршелем Галеви стоял непростой выбор.

В конце концов он выбирает профессию и летом 1816 года, за два года до рождения Карла, принимает лютеранство, став Генрихом Марксом. Можем ли мы интерпретировать это «предательство» как признак натуры, которой принятие важных решений диктуют амбиции или соображения выгоды? Вероятно, в поступке Гиршеля — Генриха сыграл роль его прагматизм. Но не исключено и то, что речь идет о принципиальном выборе. Генрих был далек от религиозной и обрядовой стороны иудаизма, кроме того, он питал склонность к либерализму и был сторонником модернизации. Говорят, он даже пел «Марсельезу» в кругу близких, за что его взяла на заметку полиция. Как бы то ни было, обращение в христианство принесло ему некоторые выгоды, в том числе назначение королевским советником юстиции Пруссии.

Раз уж мы затронули эту тему, имеет смысл коснуться известного вопроса о том, был ли Маркс евреем-антисемитом, как позволяют предполагать некоторые отрывки из его работы «К еврейскому вопросу». Например, там написано: «Каково мирское основание иудаизма? Практические нужды, эгоизм. Каков мирской культ еврея? Торгашество. Кто его мирской Бог? Деньги».

Возможно, что Маркс, полемизируя с Бруно Бауэром, просто повторил, со свойственной ему брутальностью, самые избитые истины про евреев. Возможно, он намеревался развить свою мысль: подобные обвинения не прекратятся, пока евреям не будет позволено занимать все государственные должности, включая политические. В любом случае, Маркс не был образцовым евреем, игнорировал предписания веры и не уделял слишком много внимания своему еврейству. Его целью было освободить человечество от всех религий, начиная с христианства, поскольку он считал их инструментом социального угнетения.

В возрасте двадцати трех лет, 15 апреля 1841 года, Маркс защищает диплом по философии в Йене. Для защиты он вынужден был сменить учебное заведение, опасаясь, что Фридрих Вильгельм фон Шеллинг, доцент Берлинского университета из старой гвардии антигегельянцев, разгромит его работу, посвященную сопоставлению учений Демокрита и Эпикура.

Маркс ставил целью доказать, что теология должна отступить перед мудростью философии. На первой странице его диплома есть такие слова:

«Философия, пока хоть капля крови пульсирует в ее абсолютно свободном, повелевающем миром сердце, всегда будет кричать своим противникам вместе с Эпикуром: „Нечестив не тот, кто опровергает богов толпы, но тот, кто присоединяется к мнению толпы о богах“».

В приложении он полемически добавляет:

«Настало время возвестить лучшей части человечества о свободе духа и перестать терпеть, что оно оплакивает утрату своих цепей».

Эта фраза семь лет спустя прозвучит еще раз в заключительной части самого гениального из когда-либо написанных политических манифестов.

В Париже, в 1844 году, Маркс познакомился с высоким худощавым человеком, который станет его другом и благодетелем на всю жизнь, — это Фридрих Энгельс, большой сердце-

ед, из состоятельной семьи, мыслитель менее сильный и творческий, нежели сам Маркс, но, возможно, более методичный. Его отец владел несколькими текстильными фабриками, в том числе в Манчестере. Именно в Манчестере Маркс впервые имел возможность воочию наблюдать условия работы пролетариата. Подписи обоих стоят под «Манифестом Коммунистической партии», вероятно, самым читаемым политическим документом в истории человечества, название которого вводит в заблуждение, поскольку в момент выхода «Манифеста» коммунистической партии в собственном смысле слова еще не существовало.

В 1847 году Европу поразил глубокий финансовый кризис, предвестник волнений грядущего года. Первая редакция документа была составлена Энгельсом как катехизис, в форме вопросов и ответов. В конце года Маркс и Энгельс направились в Лондон, чтобы принять участие во II конгрессе Союза коммунистов, который проходил в помещении культурной ассоциации немецких рабочих на Грейт-Виндмилл-стрит в Сохо (квартира на втором этаже над пабом «Red Lion»). Конгресс продлился десять дней — десять дней бескончаемых дискуссий, в которых ораторский гений Маркса, его сила логики и умение отстаивать свои позиции обеспечили ему главенствующую роль, — и завершился одобрением устава, в котором намечается цель: «Свержение буржуазии, господство пролетариата, уничтожение старого, основанного на антагонизме классов буржуазного общества, основание нового общества, без классов и без частной собственности».

Конгресс поручил Марксу и Энгельсу наметить программу Союза коммунистов. Этой программой и стал «Манифест Коммунистической партии», сжато излагающий основополагающие принципы.

Окончательный текст «Манифеста» Маркс писал в одиночку в своей студии в Брюсселе, в доме номер 42 по Рю-д'Орлеан: ночи напролет, окутанный облаком едкого сигарного дыма, он придирчиво правил каждую страницу, каждый абзац.

Буржуазии, которую призван уничтожить коммунизм, вначале Маркс отдавал должное:

«Буржуазия сыграла в истории чрезвычайно революционную роль. Буржуазия повсюду, где она достигла господства, разрушила все феодальные, патриархальные, идиллические отношения. Безжалостно разорвала она пестрые феодальные путы, привязывавшие человека к его „естественным повелителям“, и не оставила между людьми никакой другой связи, кроме голого интереса, бессердечного „чистогана“. [...] Она впервые показала, чего может достигнуть человеческая деятельность. Она создала чудеса искусства, но совсем иного рода, чем египетские пирамиды, римские водопроводы и готические соборы; она совершила совсем иные походы, чем переселение народов и Крестовые походы».

Маркс предвидит скорую революцию, которую совершит буржуазия:

«Буржуазия не может существовать, не вызывая постоянно переворотов в орудиях производства, не революционизируя, следовательно, производственных отношений, а стало быть, и всей совокупности общественных отношений».

Он верно угадывает, что все продолжит изменяться, хотя от него ускользает тот факт, что именно благодаря способности адаптироваться буржуазия улучшит невыносимые условия жизни пролетариата конца XIX века, положив начало тому «неокапитализму», которому она обязана своим выживанием, а вернее, своим триумфом.

В своем гениальном документе Маркс предугадывает еще одну вещь:

«Потребность в постоянно увеличивающемся сбыте продуктов гонит буржуазию по всему земному шару. [...] Буржуазия путем эксплуатации всемирного рынка сделала производ-

ство и потребление всех стран космополитическим. К великому огорчению реакционеров, она вырвала из-под ног промышленности национальную почву».

За этими строками стоит феномен, который мы называем глобализацией, и Маркс сумел увидеть его более чем за век до того, как он воплотился в жизнь в том полном виде, с которым знакомы мы.

В целом «Манифест» — образец политического красноречия удивительной мощи, чередующий, как написал Умберто Эко, апокалиптические тона и иронию, лозунги почти рекламной звучности и четкие объяснения. Брошюра состоит (это отметил Эрик Хобсбаум) «сплошь из отдельных абзацев, большей частью длиною в несколько строчек. Лишь в пяти случаях из двухсот с лишним абзацев они достигают или превышают пятнадцать строк». Речь идет о столь непривычном для немецкой прозы XIX века стиле, что он сообщает тексту «почти библейскую силу. Невозможно отрицать его мощь как литературного текста».

Любопытно отметить, что, когда Маркс написал «Манифест», он еще не был «марксистом». На начальном этапе своего философского развития он выводил неизбежный коммунистический финал человеческой истории не из анализа капиталистического развития, а из «эсхатологического аргумента о природе и судьбе человека». Критики марксизма именно в этом и видят его основную теоретическую слабость. Указанный аспект подчеркивает французский мыслитель Раймон Арон (1905—1983), глубокий знаток Маркса, антикоммунист рационального типа, упорный защитник светских и либеральных ценностей Запада, объективный критик немецкой философии. Арон готов признать за Марксом множество заслуг, но усматривает его слабость именно в связи, которую тот устанавливает между социально-экономическим анализом капиталистического общества и своей философией истории.

Как ученый-экономист, изучающий общество, начиная с производительных сил, Маркс значительно продвигает впе-

ред человеческие познания. Но он совершает ошибку, когда из ученого превращается в пророка и из рационального анализа экономических данных выводит окончательный итог развития человечества — саморазрушение капитализма. В стремлении предугадать будущее на основании событий прошлого и настоящего нет ничего научного, оно больше похоже на те «религиозные» интуиции, к которым Маркс питал такую острую неприязнь.

Разумеется, не только Арон разглядел это слабое звено марксистской конструкции. Однако, в отличие от других (например, Йозефа Шумпетера), он не считает, что Маркса-экономиста (и социолога) нельзя отделить от искусственного философского обрамления гегелевского толка, в которое немецкий философ поместил результаты своего анализа.

Факты подтвердили обоснованность критики. Но с другой стороны, именно благодаря своему пророческому тону «Манифест Коммунистической партии» и десятилетия спустя продолжал обращаться к сердцам угнетенных независимо от хода времени и от того, насколько удачными выходили политические режимы, им вдохновлявшиеся. Вне какой-либо мессианской метафизики завещание, оставленное нам Марксом, содержится в том, что каждому человеку дано (и принадлежит) право брать в свои руки собственную судьбу. Столько раз терпели крах мечты, и все же по-прежнему живыми словами Маркса продолжают вдохновляться те, кто не верит, какими бы ни были их религиозные или философские убеждения, что неравенство есть природный факт, а выгода — цель существования.

«Манифест» открывается ударом в гонг не слабее, чем «Пятая симфония» Бетховена:

«Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма».

Вся первая часть, из которой я процитировал несколько фраз, — это описание многовековой борьбы, завершившейся триумфом буржуазного духа, который рассматривается как неодолимая сила, ведомая вперед необходимостью находить сбыт для товаров. Раздел «Буржуа и пролетарии» — поток вос-

хищения перед предприимчивостью, изобретательностью, коммерческими способностями буржуазии, который, однако, прерывается извещением о том, что в драматическом и победоносном процессе буржуазия породила в самом своем лоне врага, который ее низвергнет:

«Оружие, которым буржуазия ниспровергла феодализм, направляется теперь против самой буржуазии. Но буржуазия не только выковала оружие, несущее ей смерть; она породила и людей, которые направят против нее это оружие, — современных рабочих, пролетариев».

Буржуазия вначале использовала пролетариев, чтобы победить своих врагов — абсолютистские монархии, мелкую буржуазию кустарных производителей; однако затем пролетарии осознали свое положение и начали восставать; они узнают друг друга, вступают в контакт, используя еще одно буржуазное завоевание — облегчение средств сообщения.

С позиции буржуа, уstraшенного «призраком коммунизма», Маркс ставит вопросы об отмене частной собственности, об обобществлении женщин, об уничтожении религий (этого «опиума народа»). На все вопросы он отвечает, то открыто, то осторожно, и наконец сбрасывает маскировку в финале главы:

«Таким образом, с развитием крупной промышленности из-под ног буржуазии вырывается сама основа, на которой она производит и присваивает продукты. Она производит прежде всего своих собственных могильщиков. Ее гибель и победа пролетариата одинаково неизбежны».

Особого упоминания заслуживает частое обращение Маркса к мрачным и похоронным метафорам: призрак, могилы, могильщики. Как уже известно читателю этой книги, общество того времени развивалось в постромантической атмосфере, настроенной на готический роман и на роман с про-

должением. Маркс пользуется этими стилями, сочтя их подходящим риторическим инструментом для его задач и для аудитории, к которой он обращается.

После обширной программной части, менее захватывающей обычного читателя, текст завершается двумя другими ударами в гонг, которым в музыкальной партитуре соответствовало бы «fff» — фортиссимо: «Пролетариям нечего [...] терять кроме своих цепей» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

* * *

Итак, Маркс приезжает в Лондон в конце августа 1849 года. После стольких странствий британская столица становится его окончательным пристанищем. Изгнанный из Германии, из Парижа и из Брюсселя, великий революционер обретает либеральный приют (впрочем, под бдительным надзором) в самой большой столице мира, первом городе, население которого перевалило за миллион.

За пределами элегантных улиц и площадей в Лондоне разрослись кварталы, где царит нищета и угнетение: грязные лагуны, день и ночь окутанные черным, сальным, напитанным туманом дымом, извергаемым тысячами дымовых труб. Детская смертность крайне высока, гигиена в зачаточном состоянии. Канализации нет, а когда есть, то все сливается прямо в Темзу, которая одновременно является основным источником водоснабжения.

Своеобразная и несколько корябая черта личности Маркса состоит в том, что об этих ужасных условиях жизни он узнает больше из бумажных источников (дневники, отчеты, хроники), чем через личный опыт. Несмотря на выдающиеся ораторские дарования, Маркс по складу своему не хронист, он не ездит по бедным кварталам, чтобы лично запечатлеть, что в них творится. Возможно, у него нет времени, почти наверняка у него нет и желания или склонности к этому. Его подход — это синтез; можно предположить, что он хочет видеть результаты, так сказать, исторические итоги. В го-

раздо большей степени, нежели отдельные события, его интересуют общий ход развития экономики и ее законы. Он таков и не филантроп — он исследователь явлений. Он не хочет врачевать последствия зла, он мечтает уничтожить его причины. Условия, в которых живет, болеет, растит потомство, умирает беднота, его не трогают. Впрочем, как мы увидим, даже условия, в которых вынуждены жить он сам и его семья, его волнуют в умеренной степени.

Женни, беременная, приезжает к нему вместе с детьми в середине сентября. Первые годы жизни четы Маркс в Лондоне отмечены нищетой. В начале 1851 года семья переезжает в дом номер 28 по Дин-стрит, убогое жилище, о котором шла речь в начале этой главы.

В силу политических перипетий до нас дошло детальное, без прикрас, описание дома. Министром внутренних дел Пруссии некоторое время был Фердинанд фон Вестфален, сводный брат Женни. Отчасти по профессиональным, отчасти по семейным соображениям министр послал в Лондон одну из своих самых способных ищеек, Вильгельма Штибера, снабдив его фальшивым журналистским паспортом (при Бисмарке Штибер станет главой секретных служб), чтобы тот разузнал о деятельности зятя. Целью миссии было прежде всего попытаться выяснить планы немецких коммунистов, в особенности на предмет Германии. Но в своих рапортах Штибер уделял внимание и частной жизни Маркса, включая его жилище:

«Он проживает в двух комнатах: одна, с видом на улицу, служит гостиной, та же, что выходит во двор, служит спальней; все разбитое, рваное, на всем лежит слой пыли, повсюду царит полнейший беспорядок; посредине гостиной поставлен старый стол, покрытый клеенкой, на котором навалены рукописи, книги, газеты, детские игрушки, шитье хозяйки; тут же стоят чашки с отбитыми краями, грязные ложки, ножи, вилки, подсвечники, чернильница, стаканы, голландские терраотовые трубки, рассыпан табачный пепел — в общем, всякие мелочи, беспорядочно загромождающие единственный

стол; лавка старьевщика сгорела бы со стыда при виде этого странного нагромождения вещей. Когдаходишь к Марксам, глаза бывают настолько ослеплены печным и табачным дымом, что думаешь, будто оказался в какой-то пещере, пока взгляд не привыкнет к этой пелене и не начнет различать очертания предметов... Все грязное, пыльное, садиться тут просто опасно. Тут стоит стул лишь с тремя ножками, там дети устроили кухню на другом стуле, который по чистой случайности не сломан; именно этот стул предлагают гостю, даже не почистив его, — если вы усядетесь, рискуете запачкать панталоны. Все это не смущает ни Маркса, ни его жену, они принимают гостей с исключительной любезностью, с великим радушием предлагают трубку, табак и все, что есть в доме; умная беседа возмещает скудость домашней обстановки и делает терпимым беспорядок; тогда вы принимаете их общество, называете его интересным, даже оригинальным. Это правдивый образ семейной жизни главы коммунистов Маркса... Он ведет существование настоящего цыгана. Мытье, причесывание, смена белья — для него вещи редкие; он охотно выпивает. Часто он целый день валяется в постели, но если у него есть дело, то он работает днем и ночью с неистощимой выносливостью; очень часто он проводит без сна всю ночь, а потом, ближе к полудню, прямо в одежде валится на канапе и спит до вечера, не беспокоясь о том, кто ходит мимо него в этом доме, куда все свободно приходят и уходят».

Вообразите пребывание столь многочисленной семьи в этих двух бедных комнатах. Маркс пишет, читает, курит свою сигару в единственном имеющемся в распоряжении помещении, между тем как вокруг него худо-бедно идет своим чередом жизнь семьи. По ночам Карл, его жена, трое или четверо детей, преданная гувернантка и горничная Хелен Демут (по прозвищу Ленхен) перемещаются в другую комнату, превращая ее в душный дортуар. Чтобы понять, каким образом Женни могла столь часто беременеть при такой населенности дома, достаточно представить, что супруги пользовались каж-

дым улучавшимся моментом, чтобы дать волю страсти. Та же многонаселенность, как мы увидим, создаст для Женни еще одно дополнительное затруднение, связанное с беременностью, но на сей раз не ее.

Всего Женни произвела на свет семерых детей, один из которых родился мертвым в июле 1857 года. Лишь три девочки дожили до взрослых лет; но и их жизни, более продолжительные, чем жизнь братьев, отнюдь не стали более радостными.

После периода самой черной нищеты семья Маркс в 1856 году благодаря небольшому наследству смогла переселиться в дом номер 9 по Графтон-террейс (в Кентиш-тауне). В марте 1864 года на деньги от матери Карла они смогли снять на три года просторный особняк (Модена-виллас, 1, Мэйтленд-парк). Увидеть его нам не дано: этот район подвергался таким интенсивным бомбардировкам люфтваффе, что большая часть того, что устояло, пришлось все равно снести.

В новом доме Карл наконец получил отдельную комнату для работы. Его зять Поль Лафарг (по прозвищу Негр) так описывает кабинет:

«Напротив окна и по бокам от камина стены были заняты полками, полными книг и загруженными до самого потолка газетами и рукописями. Перед камином, сбоку от окна, стояли два стола, заложенные газетами, книгами и другими бумагами. Посреди комнаты, в хорошо освещенном месте, стояли маленький письменный стол девяносто на шестьдесят сантиметров и деревянный стул с подлокотниками. Между стулом и библиотекой — кожаный диван, на котором Маркс время от времени отдыхал».

День Маркса следует строгим ритмам. Вот как он выглядел в описании Лафарга:

«Хотя Карл ложился очень поздно, но всегда бывал на ногах между восемью и девятью часами утра, пил черный

кофе, пролистывал газеты, затем уходил в кабинет, где работал до двух или трех часов ночи. Прерывал он работу лишь на еду и еще по вечерам, если позволяла погода, совершал прогулку к Хэмпстед Хес; днем он спал пару часов на диване».

В 1867 году Маркс закончил свой шедевр — «Капитал». «Проклятая книга, которой ты отдал столько долгих трудов, что мне приходилось думать, будто именно в ней и заключены все твои несчастья», — патетически пишет Энгельс. Действительно, на создание «Капитала» ушло почти двадцать лет, и можно применить к Марксу выражение, которое Джузеппе Верди адресовал к себе самому, обозначая период наиболее интенсивной работы «годами каторги». В апреле того года Маркс признался, что не раз оказывался «на краю могилы и пожертвовал этой работе здоровье, достаток, семью».

Несмотря на приложенные усилия, философ смог опубликовать только первый том — восемьсот страниц, напечатанных издателем Мейсснером. Коммерческий успех был весьма скромный. «Книга не окупила даже сигар, выкуренных во время работы над ней», — скажет автор. Два других тома будут опубликованы, трудами Энгельса, посмертно, в 1885 и 1895 годах. Четвертый, изданный Карлом Каутским, увидит свет в начале XX века.

«Капитал» — с концептуальной точки зрения сильная книга, с экономической — противоречивая и частично опровергнутая событиями, последовавшими вслед за ее выходом в свет. Чтобы составить себе краткое представление о труде, можно верить словам Энгельса, который так описывает ее основной тезис:

«Капиталист, даже когда он покупает рабочую силу своего рабочего по полной стоимости, которую она имеет на рынке товаров, в любом случае извлекает ценность большую, нежели уплаченная цена; эта прибавочная стоимость» формирует

в конечном счете сумму стоимостей, благодаря которой в руках господствующего класса скапливается растущая масса капиталов».

Создатель «Капитала», одержимый идеей основать научный, то есть основанный на математически верифицируемых формулах, социализм, был — когда находил время для семьи — замечательным отцом: ползая на четвереньках по комнате, он катает малышей на спине, балует детей, насколько может себе это позволить, в праздничные дни устраивает веселые пикники на лужайках Хэмстед Хес, долгие приготовления к которым вызывают у детей радостное возбуждение. Пишет Либкнехт: «Дети говорили о пикнике всю неделю, да и взрослые с радостью ожидали его». В корзину отправлялся цыпленок и добрый кусок телячьего жаркого, приготовленного Ленхен. Либкнехт добавляет: «Процессия шла, как правило, в следующем порядке. Я шел в авангарде с двумя девочками, то рассказывая истории, то делая по дороге немного упражнений. Следом шло несколько друзей. Наконец, основные силы — Маркс и жена плюс некоторые воскресные гости, требовавшие особого обхождения. Позади них Ленхен».

Велись разговоры о политике, дети играли в прятки, все ели цыпленка, расположившись на траве. Все то же самое, что и сегодня могут позволить себе многие люди, по крайней мере в странах «первого мира».

Как человек и как отец, Маркс приложил максимальные усилия к тому, чтобы уберечь дочерей от тягот и лишений, которые пришлось вытерпеть им с Женни. Девочки ходили в частные школы (*Ladies College*), брали уроки фортепьяно и танца и в целом получили образование, типичное для буржуазных барышень, которых ожидает хорошая партия, «устройство». Этого, однако, не произошло. Судьбы дочерей Маркса отмечены в той или иной мере подспудным несчастьем, а в ряде случаев и горькими страданиями.

Ни одна из них не отличалась особенной красотой, во всяком случае, они не были настолько красивы, как их мать в мо-

лодости. Об Элеанор, прозванной Тусси, и Женнихен говорили, что, имея они бороду, их было бы не отличить от отца. Для двух юных девушек это отнюдь не комплимент. Элеанор шутила, что унаследовала от отца «только нос, но не гений». Сам Маркс признавал, что дочери удалась в него, в особенности одна из них: «Женнихен очень на меня похожа, но Тусси... это вылитый я!»

Девочки были столь же хрупки здоровьем, сколь и решительны в делах. В месяцы, последовавшие за падением Парижской коммуны, по меньшей мере раз они возбудили подозрение у французской полиции, поскольку некоторые их письма были приняты за революционные послания; дело нашло огласку в прессе и стало небольшим политическим казусом.

Старшая дочь Женни, прозванная Женнихен, в детстве чуть не умерла из-за неопытности ее матери в вопросах питания. От отца она унаследовала смуглую кожу, черные волосы, яркие черты лица, широкий лоб и некоторые интеллектуальные пристрастия, в частности любовь к Шекспиру. Вместе с матерью Женни-младшая помогала отцу в качестве секретаря, переписывая его неразборчивые заметки, политические документы. Ее, похоже, увлекали не столько лозунги классовой борьбы, сколько движения за национальную независимость, охватившие в те годы Европу.

В двадцать восемь лет (в октябре 1872 года) Женни сочеталась браком по гражданской церемонии с Шарлем Лонге (1833—1903), участником Парижской коммуны, преподавателем французского языка в Лондонском университете. Матерью Женни не была благосклонна к свадьбе. Ее угнетала национальность будущего зятя, как она призналась в письме к Вильгельму Либкнехту: «Лонге — человек очень способный и hopeful... все же я не могу смотреть на этот союз без мрачных мыслей. Я надеялась, что *for a change* Женни выберет в мужа англичанина или немца, а не француза, который, естественно, при всех замечательных достоинствах этой нации, не свободен от ее слабостей и недостатков».

Как всегда бывает, победила любовь, и в любом случае к моменту свадьбы согласие семьи было единодушным. Увы, брак не стал счастливым. Лонге оказался эгоистичным и угрюмым мужем («Он только и делает, что бранит меня все то время, что находится дома», — признавалась Женни сестре). Но упреками дело не ограничивалось: Женни-младшая, как и мать, постоянно беременела и родила шестерых детей, один из которых умер почти сразу после рождения. После амнистии 1880 года Лонге смог вернуться во Францию, и семья переехала жить в Аржантей. Шарль получил место директора радикальной газеты Жоржа Клемансо «La Justice». Но благополучие долго не продлилось. Очень скоро Женни стала мучиться от острых болей в животе, которые, как выяснилось, были вызваны раком мочевого пузыря. К тому же она недавно родила дочь Женни (в семье прозванную Меме): «Никому не желаю пыток, которые я испытываю уже восемь месяцев: они не поддаются описанию и вместе с кормлением грудью делают мою жизнь адом». Женни Маркс-Лонге умерла 11 января 1883 года в возрасте тридцати восьми лет.

Лаура, на год младше сестры, тоже влюбилась во француза — Поля Лафарга, за плечами которого было бурное политическое прошлое. Маркс впервые увидел его в 1866 году, когда вошел в Генеральный совет I Интернационала. Лафарг был студентом-медиком и входил в прудоновское крыло французской делегации. Со свойственной ему эмоциональностью Маркс жаловался, причем именно Лауре: «Этот плут раздражает меня своим прудонизмом, он не успокоится, пока я не стукну его пару раз по его креольскому черепу». Нет сомнения, что эпитет «креольский» был использован в уничижительном значении. Это показывает следующее письмо, в котором Карл обнаруживает безмерное раздражение начавшимися настойчивыми ухаживаниями Поля за Лаурой:

«Если вы намерены продолжать отношения с моей дочерью, вам придется оставить свою манеру „ухаживать“... Подлинная любовь обнаруживает себя в сдержанности, скромности и даже робости влюбленного перед его кумиром, а не в

излишней сентиментальности и скороспелых откровениях. Если вами руководит ваш креольский темперамент, мой долг здравомыслящего человека встать между вашим темпераментом и моей дочерью. В случае, если ваша любовь не в состоянии проявляться в форме, соответствующей лондонским широтам, вам придется смириться с любовью на расстоянии».

Письмо в викторианском духе, в котором революционер Карл Маркс неотличим от любого отца-буржуа, будь то в Лондоне или где-то еще.

Больше всего ему не давала покоя «скверная неполноценность Лафарга по причине его негритянского происхождения». Лафарг родился на Кубе, и его франко-испано-индиано-африканские корни, несомненно, нервировали старину Карла. Он даже написал будущему зятю, что тот должен добиться чего-то в жизни, прежде чем думать о браке. В этом же письме есть, однако, по-человечески искренняя фраза, проливающая свет на движущие им мотивы:

«Если бы я должен был заново начать свою жизнь, я бы сделал все то же самое, с той лишь разницей, что не стал бы жениться. Насколько это в моих силах, я хочу уберечь дочь от трудностей, которые пустили ко дну жизнь ее матери».

Следовательно, в определенных обстоятельствах он был готов признать, что испортил жене жизнь.

Но даже эти препятствия не возымели особой силы против неудержимой «креольской» страсти. Через месяц после этого «предупреждения», в сентябре 1866 года, влюбленные объявили о своей помолвке. За ней в апреле 1868 года последовала гражданская церемония бракосочетания. Мы знаем из письма, что на свадебном обеде Энгельс «рассказал кучу глупых анекдотов с намеками на одну преглупую девчонку, доводя ее до слез». Лауре было всего двадцать три года, все эти шуточки и остроты с намеками действительно заставили ее рыдаться.

Первый ребенок четы родился ровно девять месяцев спустя — аргумент в пользу того, что в конечном счете пылкий

Поль соблюл запрет и дал волю страсти, лишь получив официальное разрешение. У Лафаргов родилось еще двое детей: погодков, но ни один из них не пережил младенчества.

Лафарг тоже выпустил своего рода «манифест» — книжечку «Право на лень», в которой собрал свои статьи для газеты «Egalité». Мы найдем там, в числе прочего, такую максиму: «Предадимся лени во всем, кроме любви и питания, кроме праздности».

Этой похвале лени Поль будет верен всегда. После смерти всех своих детей он в разочаровании оставит медицину, примет участие, без успеха, в нескольких коммерческих предприятиях; фактически они с женой жили на деньги, полученные от Энгельса.

К концу 1911 года Поль и Лаура решают, что с них довольно: ему уже скоро семьдесят, она всего на три года моложе. Не видя перед собой достаточных оснований, чтобы продолжать существование, они вместе покончили с собой.

На их похоронах от имени русских большевиков взял слово некий Владимир Ульянов, сорокалетний человек, известный под псевдонимом Ленин. Он сказал, что очень скоро идеи отца Лауры осуществляются. Шесть лет спустя, в октябре 1917-го, этому пророчеству, кажется, суждено было сбыться.

Элеанор (для близких Тусси) была самой младшей из дочерей Маркса, она родилась в 1855 году. В семнадцать лет она тоже — любопытное совпадение — влюбляется во француза: его имя Ипполит Проспер Оливье Лиссагарэ. Все три поклонника дочерей — французы: это уже было слишком, тем более что Лисса, как его звали в домашнем кругу, с высоты своих тридцати четырех лет позволял себе покровительственно-отеческое обращение с семнадцатилетней девушкой, что сильно раздражало Маркса. Единственный аргумент в пользу этого человека — что он написал краткую историю Парижской коммуны.

Родительская ревность в отношении Тусси оказалась еще сильнее, чем в отношении остальных дочерей, поэтому Маркс всячески препятствовал браку, считая его неправомерным.

В мае 1873 года Элеанор нашла работу преподавательницы в женской школе, но и у нее жизнь не складывалась счастливо. Она часто болела, страдала бессонницей и, как отец (и возможно, по его вине), частыми головными болями, которые в дальнейшем вынудили ее оставить работу. Время от времени она робко спрашивала у Карла (которого ласково звала Мавр) разрешения увидеться с влюбленным в нее Лиссагарэ: «Дражайший Мавр, нельзя ли мне иногда совершать с ним прогулку?»

Оставив преподавание, Элеанор продолжила искать свой путь, записавшись в драматическую школу. Она стала членом Нового Шекспировского и Браунинговского обществ, основанных преподавателем-социалистом Фредериком Джеймсом Фернивеллом. В тот период она и познакомилась с молодым ирландцем, который, как и она (а ранее — ее отец), работал в библиотеке Британского музея; его звали Джордж Бернард Шоу. Несколько лет спустя Элеанор в возбуждении писала старшей сестре, что начала бывать в салонах, посещаемых «литераторами»: «Меня пригласила на очень людное собрание госпожа Уайльд, мать того очень нездорового и очень хорошего юноши, Оскара Уайльда, который выставляет себя на посмешище в Америке».

Еще один любопытный аспект — оба зятя Маркса, равно как и поклонник Тусси Лиссагарэ, почерпнули краткий и горький опыт Парижской коммуны. Как известно, Маркс не одобрил поведение коммунаров, сочтя его слабым, бессмысленно отягощенным демократическими ритуалами, не отвечающими драматизму момента. Если бы зависело от него, он бы приказал войскам пойти на Версаль, чтобы силой низложить правительство и покончить со всем.

Парижская коммуна весны 1871 года была первой попыткой правления рабочего класса. Французская столица была осаждена прусскими войсками, восстание вспыхнуло, когда глава правительства, адвокат-либерал Адольф Тьер, только что назначенный президентом Третьей республики, начал с Пруссией переговоры о мире, который многие сочли капиту-

ляцией. Первого марта пруссы вошли в Париж, правительство удалилось в Версаль, а Национальная гвардия, сохранившая оружие, поддержала народное возмущение. Двадцать восьмого марта состоялись всеобщие выборы. Из избранных девяноста двух коммунаров большинство было представлено якобинцами-бланкистами, затем шло умеренное меньшинство и семнадцать членов — участников Интернационала. В тот же день Революционный совет решил поручить Марксу написание «Обращения к парижскому народу». Маркс смог передать текст лишь 30 мая. Слишком поздно. Войска Тьера уже прорвали укрепления и вошли в Париж. Последовали жестокие репрессии, во время «кровавой недели» было убито около двадцати тысяч человек.

В те дни Лонге руководил газетой «Journal officiel de la Commune», Лиссагарэ находился в тесной связи с коммунарами, а Поль Лафарг с женой бежали в Бордо до начала прусской осады, но в целом действовали в поддержку Коммуны.

В 1875 году семья Маркс насчитывала всего лишь четыре члена: Карл, его жена Женни, верная Ленхен и дочь Элеанор, единственная, не сумевшая независимо устроиться в жизни. После романа с Лиссагарэ она связала себя с другим мужчиной, Эдвардом Эвелингом, вместе с которым какое-то время занималась упорядочением переписки и рукописей Маркса (они перешли к ним после смерти Энгельса).

Несмотря на не слишком привлекательную внешность, Эвелинг слыл весьма обаятельным человеком благодаря умению вести беседу, которое он и использовал как орудие соблазнения. Тусси открыто сожительствовала с ним, хотя многие критиковали не столько неофициальность этого союза, сколько постоянное вранье Эвелинга и грубое обращение с подругой. Весной 1898 года Элеанор к тому же обнаружила, что ее неверный спутник тайно женился на двадцатилетней актрисе. Ужасная душевная травма... Эвелинг, кажется, внес свою лепту, предложив подруге парное самоубийство и даже раздобыл синильную кислоту, которая должна была соединить их в смерти. В действительности смертельное зелье вы-

пила одна Элеанор, между тем как ее «сердечный друг» остался живым и невредимым, сумев избежать обвинения в убийстве. Элеанор было сорок два года.

В частной жизни Карла Маркса важное место занимает фигура преданной служанки Хелен Демут, которая перешла в его дом с предыдущей службы у фон Вестфаленов. В ту пору ей было двадцать пять лет, это была молодая, крепкая немецкая крестьянка, круглолицая, с голубыми глазами, отличная повариха, преданная до самоотречения своим работодателям, безупречная и невозмутимая даже в самых непростых обстоятельствах и перед лицом самой неблагоприятной работы. Достаточно вспомнить о том, что в доме не было водопровода, поэтому каждое ведро воды для гигиенических нужд всей семьи и приготовления пищи следовало вручную наполнять из колонки во дворе. Мать Женни отказалась от услуг Ленхен (или иногда Ним) ради дочери, обеспокоенная ее невзгодами. Хелен останется с семьей Маркса на всю жизнь.

Осенью 1850 года, в возрасте тридцати лет, Ленхен обнаружит, что беременна. В конце июня следующего года у нее родился мальчик здорового телосложения, которому дали имя Генри Фредерик и фамилию матери, поскольку фамилия отца была неизвестна.

В крошечной квартирке на Дин-стрит беременность Ленхен, разумеется, не могла остаться незамеченной; с другой стороны, столь сердечные отношения между всеми членами семьи, в том числе между обеими женщинами, исключают возможность того, что Женни не спросила у верной служанки, кто отец ребенка. Хелен, однако, не стала его называть или, по крайней мере, не открыла правды. В своей автобиографии Женни ограничилась тем, что сдержанно написала: летом 1851 года «произошло событие, которое я не желаю излагать здесь в подробностях, хотя оно в значительной мере усугубило наши неприятности, как личные, так иного рода». В корреспонденции Карла тоже обнаруживаются следы нервной атмосферы того лета: «Перерывы и помехи слишком велики, и дома, где все всегда в осадном положении и реки

слез выводят меня из себя и вселяют бешенство на целые ночи. Я, естественно, не могу много работать. Мне больно глядеть на жену».

Ночи напролет в спорах вполголоса, чтобы не разбудить детей, слезы и бесконечная жалость к женщине, которая вышла за него замуж, — и вместе с тем ярость из-за времени, отнятого у работы: рождение этого ребенка изводит Маркса, делает его раздражительным более обычного.

Отцовство взял на себя Энгельс, и на тот момент дело тем и завершилось, тем более что маленький Фредерик (ласково называемый Фредди) сразу был отдан на воспитание в семью рабочих, жившую в лондонском Ист-Сайде. Повзрослев, Фредерик поменял фамилию на Льюис-Демут (возможно, по фамилии семьи, фактически усыновившей его). Он работал токарем и был одним из основателей крыла Лейбористской партии в городке Хакни, где прожил всю жизнь и умер 28 января 1929 года.

Кто в действительности был его отцом? Слухи о том, что настоящий отец — Маркс, начали циркулировать сразу же. Основатель научного социализма обрюхатил горничную, как самый закоснелый буржуа, говорили о нем. Шутили и о том, что между осенью и летом 1850 года старина Маркс с дистанцией в несколько недель сумел сделать ребенка и жене (в пятый раз), и служанке.

Эта история, тем не менее, осталась бы на уровне сплетен, если бы много лет спустя, в 1962 году, историк Вернер Блуменберг не откопал в хранящемся в Амстердаме архивном фонде письма, написанного в 1898 году некоей Луизой Фрайбергер, подругой Хелен. Начальная фраза гласит: «Что Фредди Демут — сын Маркса, я знаю от самого Генерала [Энгельса]».

Умирая от рака пищевода, за несколько дней до смерти в августе 1895 года, Энгельс признался другу, Сэмюэлю Муру, что Фредди — не его сын, а Маркса. Возможно, этим признанием он хотел снять груз с совести, отведя от себя критику и упреки, сыпавшиеся на него за то, что он обделял «сына» уни-

манием. Мур, один из переводчиков Маркса, сообщил о словах Энгельса Элеанор, которая с негодованием отвергла написанное Марксу отцовство. Когда Энгельс узнал об этом, он с грустью отозвался: «Тусси хочет сделать кумира из своего отца». Уже на смертном одре Энгельс повторил всю историю, а поскольку недуг лишил его возможности говорить, он записал ее на грифельной доске. Когда Элеанор увидела эти слова, она разрыдалась.

Вот еще слова Луизы:

«Фредди очень похож на Маркса, и нужен был поистине слепой предрассудок, чтобы усмотреть в этом столь явно еврейском лице с густыми и черными как смоль волосами хотя бы малейшее сходство с Генералом».

Подлинность этого письма несколько раз подвергалась сомнению. Дошло до подозрений в том, что это фальшивка, изготовленная нацистскими агентами, чтобы опорочить отца научного коммунизма.

Дочери Карла, особенно Элеанор, которая больше других общалась с Фредди, долгое время были убеждены, что отцом его все-таки был Энгельс. В 1882 году (то есть когда Фредди уже исполнилось тридцать один год) Элеанор пишет Лауре:

«Фредди повел себя со всех сторон достойным восхищения образом, и раздражение Энгельса в отношении него несправедливо, хотя и понятно. Никому из нас, наверное, не понравилось бы встретить свое прошлое во плоти и крови. Я всегда встречаюсь с Фредди с чувством вины, осознавая допущенную в отношении него несправедливость. Жизнь этого человека! Слушая рассказ о ней, я чувствую боль и стыд».

Стало быть, именно чтобы избавиться от этой боли и стыда, переложив их на подлинного виновника, Энгельс на пороге смерти решил раскрыть истину? Такова гипотеза, которую история сочла заслуживающей доверия.

Последние месяцы жизни Карла Маркса тяжелы. Обостряются разом все недуги, от которых он всегда страдал: пече-

ночная недостаточность с вытекающим фурункулезом, воспаление глаз, хронический бронхит (вызванный курением и туманами), геморрой. Смерть жены и дочерей ввергает его в депрессию. Сразу после смерти Женнихен Элеанор едет к отцу с печальным известием. «Я чувствовала, — пишет она, — что везу отцу смертельный приговор».

Ослабевший, опустошенный Маркс проводил последние дни сидя в кресле, с устремленным в пустоту взглядом, грея ноги в горячих ванночках. В середине марта 1883 года, а точнее, в среду 14-го числа, около двух тридцати пополудни, Энгельс, как обычно, поднялся к старому другу. Верная Ленхен встретила его в дверях, сказав, что оставила Карла в кресле «в полусне». Но когда они вошли в комнату, то нашли его мертвым: насколько можно судить, это была спокойная кончина.

Энгельс записал: «Увидев его сегодня вечером лежащим в кровати, с окоченевшим лицом, я не могу представить, что эта гениальная голова перестала обогащать своими могучими идеями пролетарское движение обоих миров».

Несколько дней спустя Маркс был похоронен в дальнем углу Хайгетского кладбища в присутствии одиннадцати человек. Социалистические и рабочие издания сообщили о его уходе со скорбной торжественностью, буржуазные же ограничились скудными строчками.

Памятник, который сегодня стоит здесь и перед которым можно почтительно склонить голову, независимо от политических взглядов каждого, был поставлен на средства британской и советской коммунистических партий в 1956 году, году децентрализации и победы Хрущева.

Две фразы украшают постамент: знаменитый лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и фраза из «Тезисов о Фейербахе» Маркса (1845 г.):

«Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его».

XIII

ЭТО ПОСТЫДНОЕ ЖЕЛАНИЕ

В Лондоне есть немало мест, где можно лицезреть то, что осталось от «викторианского» города. Великая королева правила так долго (с 1837 по 1901 год), что наложила суровый отпечаток своей личности на значительную часть XIX века. Ее образ часто появляется перед глазами визитера: статуя, манифест, барельеф, монета или медальон, даже рекламный транспарант. В Музее Виктории и Альберта есть целый раздел, посвященный одежде (платью и белью) той эпохи. В доме номер 18 по Фолгейт-стрит дизайнер Деннис Сиверс воссоздал в нескольких комнатах историческую обстановку, предложив то, что называют «воображаемым путешествием», то есть точную, вплоть до деталей, реконструкцию знаменитых интерьеров эпохи.

Подлинное путешествие в прошлое, знакомство с подлинными памятниками, предлагает Музей города Лондона — один из самых крупных и полных музеев городской истории. Собрание предметов и сведений о Лондоне начинается с до-римской эпохи, проходит через столетия и, разумеется, затрагивает эпоху королевы Виктории.

Среди множества любопытных экспонатов — «Викторианский променада» (Victorian Walk), фрагмент лондонской ули-

цы, где с отменным вкусом и использованием подлинных или качественно воспроизведенных материалов воссозданы лавки и витрины, ремесленные мастерские, уличные фонари, скамейки, прилавки магазинов, даже брусчатка мостовой. Реконструкция демонстрирует те блага, которые цветущая экономика, базировавшаяся на ресурсах громадной империи, могла гарантировать наиболее обеспеченной части населения.

Это были годы глубоких изменений в повседневной жизни: телеграф и электричество, паровые машины и принципы гигиены и санитарии, железные дороги и (чуть позже) двигатель внутреннего сгорания; революции, которые сократили дистанции, ускорили сообщение, ввели новые привычки, продлили человеческую жизнь.

Это были годы триумфа железа, материала, с помощью которого, как казалось, возможно реализовать самые смелые архитектурные и технические замыслы. На Великой выставке 1851 года, призванной стать панегириком торговому и военному могуществу Великобритании, Хрустальный дворец, построенный в тени огромных вязов Гайд-парка, вызвал восхищение всего мира. Представьте гигантскую конструкцию из железа, хрупкую и в то же время прочную, со стенами из трехсот тысяч стеклянных пластин, создававших неподражаемое ощущение легкости и света. Идею о том, что представлял собой Хрустальный дворец, погибший в пожаре 1936 года, передает центральный павильон в Кью-гарденс — так называемый Пальмовый дом, относящийся как раз к той эпохе (хотя он и гораздо меньше Хрустального дворца).

Наряду с этим в Музее Лондона можно увидеть и обратную сторону сияющей медали: нищета и болезни, преступность и проституция также вписаны в историю города. Сказать, что некоторые отчаявшиеся молодые женщины продавали себя за кусок хлеба, не будет метафорой, но всего лишь привычной реальностью той эпохи. Об этом свидетельствуют романы Диккенса и реалистичные зарисовки в журнале «The Illustrated London News» — они ничего не скрывают из

того унижения, в которое были повергнуты целые кварталы Лондона.

В городском музее вы найдете орудия экзекуции: железные ошейники и колодки, скамьи для порки (прямоком перенесенные сюда из тюрьмы) и даже капканы для людей — мощные железные ножи на пружине (скрытые в траве частных садов, они наносили столь глубокие раны, что нередко приходилось ампутировать ногу).

Все это — викторианский Лондон: самая богатая в Европе жизнь — и самая мрачная, никогда не освещавшаяся тем солнцем, которое дает нищете южных стран хотя бы слабое утешение теплом и светом. Парадный фасад Лондона, демонстрирующий неисчерпаемые ресурсы империи, — и его задник, с опустившимися от пьянства рабочими, обезображенными слишком частыми беременностями женщинами, недоедающими детьми, рано вступающими на путь воровства или проституции...

Если попытаться охватить черты той эпохи одним словом, то это будет слово «лицемерие». Безупречные манеры, под которыми таятся всяческие пороки, допускаемые именно потому, что скрыты от глаз, точно так же, как скрывали от взгляда ноги, включая ножки столов, или некоторые части тела, например грудь, включая куриную грудку.

Стереотипный образ этой показной благопристойности мог бы быть следующим: отец семейства — патриархального вида, хотя и едва достигший сорока лет, — склонив голову, в присутствии жены, детей и прочих домочадцев читает длинные молитвы, перед тем как отобедать. Если и далее следовать клише, этот человек непоколебимо верит в будущее Британии, беззаветно любит свою страну и королеву и более или менее открыто презирает другие народы, начиная с соседей — французов (влияние которых он, тем не менее, испытывает в некоторых сферах, таких как еда и духи). Он много работает, но деньги не тратит, а предпочитает копить. Мы застали его за обеденным столом в кругу семьи? Так вот, женился он отнюдь поздно, на девушке, разумеется, подошедшей к

браку девственницей, однако и после свадьбы ее сексуальный опыт не так уж и пополнился: сношения с мужем, спорадические и торопливые, всегда происходят в темноте, исключая всякий намек на удовольствие, с помехами, создаваемыми ночными рубашками (на обоих), которые затрудняют движения (если, конечно, имеют место какие-либо движения, помимо сугубо необходимых). Вообще, эта женщина, не знавшая других мужчин, кроме супруга, проводит дни, страдая от изматывающих головных болей, которые вынуждают ее лежать на диване в комнате с занавешенными портьерами. Беременности высосали из нее все соки, дети почитают ее, но не любят. Муж поддерживает в доме строгую дисциплину, бытующие нравы позволяют ему пороть сыновей в случае непослушания и строго следить за тем, чтобы дочери пребывали в том же невежестве, что и их мать. Возможно, однако, что этот мужчина вступит в связь с одной из горничных. Разумеется, он выставит ее за дверь без пенни компенсации, когда узнает, что девушка беременна. Доходы позволяют ему содержать любовницу в приличной квартире, куда он время от времени наведывается после службы (до того как вернуться к семейному очагу). Бывает и так, что любовницу он содержит, не признавая этого открыто, с другим джентльменом, — в этом случае расходы делятся пополам. Кто любовница? Девушка из рабочей семьи, которая, проработав некоторое время горничной, была выставлена хозяином за дверь в тот самый день, когда поняла, что ждет ребенка.

Что правдиво в этой зарисовке «святого семейства»? Всё и ничего. Всё в том смысле, что каждый отдельный штрих (лицемерие и пороки!), несомненно, присутствует. И ничего — в том смысле, что, возможно, ни один из джентльменов Викторианской эпохи не воплотил распространенный стереотип на все сто процентов. Однако мы, к примеру, знаем, что Уильям Гладстон¹ проводил вечера на улицах Лондона в поис-

¹ Гладстон, Уильям Юарт (1809—1898) — английский государственный деятель, премьер министр в 1868—1874, 1880—1885, 1886 и 1892—1894 гг. — Примеч. ред.

ках нуждающихся в спасении проституток. Вступал ли он с ними в связь? Может, и нет, хотя по возвращении с этих рейдов (и после этих волнующих бесед) он подолгу бичевал себя, чтобы изгнать бог знает какие мысли.

Алджернон Чарлз Суинберн, рафинированный поэт, был завсегдатаем в борделе в Сент-Джонс-вуд, специализирующемся на разных видах сладких истязаний, — ведь это о чем-то говорит?

Чарлз Диккенс, один из величайших европейских романистов и самый авторитетный сторонник официальной морали, был так обескуражен плодovitостью жены и ее все сильнее расплывающимися формами, что вынудил ее разъехаться, а добившись своего, стал жить с юной актрисой Элен Терман. Мисс Терман, ставшая любовницей Диккенса, вынуждена была отказаться от сцены и вести полуподпольное существование.

Мэри Энн Эванс, публиковавшая свои произведения под псевдонимом Джордж Элиот, долгие годы сожительствовала с мистером Джорджем Генри Льюисом, литературным критиком, философом и журналистом, который, тем не менее, продолжал быть женатым на другой женщине и не собирался разводиться.

Джон Рескин, один из столпов викторианской эстетики, человек, провозглашавший моральную и религиозную ценность искусства и оказывавший значительное влияние на современников, включая Пруста, так и вовсе попал в курьезную историю. Женившись в возрасте двадцати девяти лет, в первую брачную ночь он обнаружил, что лоно у женщин не гладкое, как у греческих статуй, а покрыто отвратительным пушком. Это заставило его вскочить с супружеского ложа и в ужасе бежать. Новобрачная напрасно ждала, что Джон придет к себе после шока, а потом (через несколько лет ожидания!) решила выйти замуж за другого Джона, художника Джона Эверетта Милле, лучше знакомого с физиологией.

В адресованной английским женщинам книге («The Women of England», 1842) некая Сара Эллис рекомендовала признать

превосходство мужа «просто потому, что он мужчина». «В характере благородного, просвещенного, справедливого и доброго мужчины есть власть и возвышенность, столь близкие к тому, что, как мы верим, свойственны ангелам, — писала она. — Никаким словом нельзя описать степень восхищения и уважения, которое может вызвать лицемерие такой личности». Аминь.

Итак, все ясно? Такова картина знаменитого викторианского общества. Но значит ли это, что долгое правление, во время которого Виктория, королева и императрица Индии, сформировала страну, устремленную в будущее, основывалось лишь на лицемерном подчинении обычаям?

Александрина Виктория (говорят, ее крестным был русский царь Александр I) свыше шестидесяти лет занимала самый известный трон на земле. Ее именем названы озера и водопады, острова и субконтиненты. Она была замужем за своим кузеном, Альбертом Саксен-Кобург-Готским, страстно любила его, родила от него девяти детей и потеряла из-за нелепой тифозной инфекции, когда ему было всего сорок два года. После смерти мужа она приблизила к себе самого верного из пажей, и какими были их истинные отношения, остается только догадываться. Одним словом, фигура противоречивая, как и вся ее эпоха. Лицемерие было, но было и многое другое.

Я бы хотел продолжить рассказ, описав удивительную женщину, авантюристку и соблазнительницу, героиню и проститутку, которая была живым воплощением всего того, что викторианская Англия официально отвергала и что тайно практиковала.

В метриках эта женщина значилась как Мари Долорес Элиза Розанна Гилберт. Родилась она на год раньше Виктории, в 1818-м, в Лимерике, ирландском городе, давшем название краткому стихотворному жанру, почти непременно иронического содержания. Ее отец — англичанин, офицер, мать — испанка. Испанским был и псевдоним, который девушка избрала себе, когда начала свои приключения, — Лола Монтес.

Большую часть детства Мари Долорес провела в Индии, куда перевели по службе ее отца. Девушке не исполнилось и девятнадцати, когда родители решили отдать ее в жены другу семьи, шестидесятилетнему судье. Мари восстала и, убежав из дому, вышла замуж за молодого офицера Томаса Джеймса. Союз продлится недолго — в двадцать четыре года миссис Джеймс становится Лолой Монтес и начинает карьеру танцовщицы-солистки. По любопытному совпадению Маргарета Гертруда Зелле, родившаяся в Голландии 7 августа 1876 года и больше известная под именем Мата Хари, тоже совсем юной вышла замуж за офицера, но вскоре, оставив мужа, посвятила себя карьере «исполнительницы священных танцев» и шпионству в пользу Германии. Однако на этом аналогии и заканчиваются.

Афиши, которые заказала предприимчивая молодая женщина, гласили: «Лола Монтес, испанская танцовщица». Но, увы, публика на нее не пошла.

Карьера началась так неудачно, что любая другая на месте Лолы пала бы духом. Но только не она! Оставив Англию, Лола пускается странствовать по миру. Вскоре за ней закрепляется слава опасной соблазнительницы. Трудно сказать, сколько она имела любовников, но к их выбору она всегда подходила основательно. Или высокий достаток, или положение в обществе, или неординарный интеллект, а еще лучше — и то, и другое, и третье сразу.

Лола действительно была хороша. Яркие синие глаза, роскошные волосы цвета воронова крыла (часто с алой розой в густых прядях и черной заколкой в испанском стиле), пышная грудь, узкая талия, ноги балерины, ну и, конечно, гордый дух. Благодаря этим качествам она побывала в постели Ференца Листа, Александра Дюма и Людвига I Виттельсбаха¹, короля-безумца, человека, который тратил громадные суммы на женщин и художников. Лола прочно обосновалась в его

¹ Людвиг Карл Август Виттельсбах (1786—1868) — король Баварии. — Примеч. ред.

замке в Мюнхене. Людвигу уже шестьдесят, в точности как судье, за которого ее хотели выдать замуж, но тем временем повзрослела и она, и потом, не все шестидесятилетние мужчины одинаковы.

Будучи натурой кипучей, Лола попыталась придать шаткому правлению своего любовника либеральный импульс. По ночам она уговаривала Людвига провести некоторые реформы, в частности пойти навстречу требованиям студентов, и он иногда прислушивался к ее речам.

Безумно влюбленный в Лолу, Людвиг дал ей баварское гражданство, чтобы на законном основании (так и хочется взять эти слова в кавычки!) наделить титулом и соответствующим состоянием. В скором времени Лола становится графиней Ландсфельд.

Но увы, всё в жизни переменчиво. Когда в 1848 году в Мюнхене, как и по всей Европе, вспыхнули волнения, Людвиг был вынужден отречься от короны, и Лола оказалась сначала в Швейцарии, а затем в Соединенных Штатах, где вышла замуж за издателя из Сан-Франциско Патрика Халла, но и этот брак не оказался прочным.

Лола изменилась. Излишне бурная жизнь привнесла некоторые странности в ее поведение. Чего стоит, к примеру, ее эксцентричная привычка показываться в обществе с белым попугаем на плече.

Сосед в Грасс-Велли, где жила Лола (еще с мужем), пишет о ней:

«У нее все еще приятная фигура, густые черные волосы и самые сверкающие глаза из всех виденных мною. Однако она обычно такая грязнуля, что выглядит откровенно отвратительно. Когда она надевает, а это бывает очень часто, вызывающе открытое платье, под толстым слоем пудры явно видно, что ей не помешала бы хорошая порция мыла».

Слишком много мужчин, слишком много разводов; трезвая целеустремленность первых лет испарилась как дым. Лоле пришлось уехать из Калифорнии; она попыталась устро-

иться в Австралии, но потерпела крах. Сев на пароход, она вернулась в Нью-Йорк, но теперь богатые элегантные кварталы в районе Пятой авеню для нее закрыты. Лола снимает квартиру в Бруклине, а позднее даже переехала в мрачный угол Манхэттена, называемый Хеллс-Китчен, «адская кухня», где жили низы общества. Там ее настигает фатальный удар, который сначала лишает экс-красотку дара речи, а затем и жизни.

«The New York Times» отозвалась о ее кончине такими словами:

«В убогом пансионе в нью-йоркском квартале, носящем имя Хеллс-Китчен, 17 января 1861 года умерла Лола Монтез. Пресловутой графине Ландсфельд, некогда пламенно любимой за красоту и темперамент, но отнюдь не за таланты танцовщицы, было всего сорок два года. Ее жизнь была подобна сказке, в которой заключалась и доля правды».

Лола Монтез — тоже дитя викторианской культуры?

* * *

Сексуальность эпохи — очень запутанный вопрос, здесь намешано всё: болезненное целомудрие, чопорность, сдержанность, но также и самые необузданные вольности.

В этой связи хочу упомянуть одну книгу: «Тайная жизнь» некоего Анонима (нам известно только имя — Уолтер, других указаний на свою личность автор не дает). Не упустив ни одной детали, подробно и обстоятельно, Аноним описывает свои (или вымышленные?) любовные авантюры. Его вывод достаточно мудр — любовное наслаждение человека никогда не бывает лишь животным.

В одной из глав автор рассказывает, что однажды по окончании особенно изощренного совокупления подруга спросила его: «Ain't we beasts?» — «Не животные ли мы?» Нет, отвечает герой, мы не животные, нас отличают от них наши фантазии.

Но в Викторианскую эпоху далеко не все женщины были знакомы с вольностями секса, наоборот, большинство считали целомудрие необходимым условием привлекательности. Врач из Филадельфии пишет в популярнейшем журнале конца XIX века «Godey's Lady's Book», что в ходе практики он «с гордостью» (именно с гордостью!) убедился: «Женщины предпочитают страдать до крайности и подвергать жизнь опасности, но не оставляют той стыдливой щепетильности, которая мешает исчерпывающему изучению их заболевания».

Здесь следует пояснить, что, посещая гинеколога, пациентки ограничивались тем, что указывали на изображении женской фигуры место, доставлявшее им беспокойство, и только в крайних случаях осуществлялся медицинский осмотр как таковой. Что и говорить, если в 1878 году «The British Medical Journal» задавался вопросом, не протухнет ли окорок, взятый в руку женщиной в период менструации.

Хроника сохранила для нас эпизод, на многое проливающий свет. Ближе к концу восьмидесятых годов XIX века на гинеколога Фрэнсиса Имлаха подала в суд госпожа Кезей, его пациентка, которой из-за тяжелого воспаления он был вынужден удалить яичник. Дама жаловалась, что после операции она утратила «всякую чувствительность» (надо понимать, удовольствие) в сношениях с мужем. Процесс завершился в пользу врача, и в этом нет ничего необычного, а вот дебаты, предшествовавшие вынесению вердикта, действительно представляют интерес. В числе прочих показания давал один из самых прославленных английских хирургов Роберт Лоусон Тейт, осуществивший множество операций по гистерэктомии (удалению матки) у девушек-девственниц. Тейт исключил вероятность того, что операция, как таковая, может сказаться на интимной жизни женщины. Он привел свидетельства многих мужчин, чьи жены перенесли операцию по удалению матки или яичников, которые заявляли, что вполне удовлетворены альковными отношениями (имея в виду, что их жены испытывали оргазм). Его поддержали коллеги, и только один из опрошенных докторов высказал предположе-

ние, что женщины могли симулировать удовольствие, дабы не потерять привязанность мужей.

Резюмируя, можно утверждать, что знания науки о репродуктивных функциях и механизмах получения наслаждения к концу позапрошлого века были еще весьма и весьма ограничены. Но дело совсем не в этом. Приведенный выше эпизод показывает, что за женщиной уже в то время признавалось право на сексуальное наслаждение — настолько, что оно даже стало основанием к судебному иску!

В конце XIX века большая часть врачей ничтожно мало была осведомлена о менструальном цикле, овуляции и способности к зачатию, не говоря уже о женской и мужской мастурбации (речь о самоудовлетворении велась почти исключительно с позиций моралистических предубеждений). В вопросах на стыке физиологии, морали, религиозных табу и народных предрассудков многие врачи имели познания, остановившиеся на уровне ренессансной медицины. Кроме того, врачи, получавшие за свою работу не такие уж большие деньги, боялись потерять пациентов, раскрыв им глаза на аспекты сексуальной жизни, идущие вразрез с укорененными предрассудками. Как сказал один историк медицины: «Врач общего профиля в Викторианскую эпоху не обладал ни свободой, ни авторитетом, он служил своему работодателю в лице пациента».

Позвольте привести еще один пример. Уильям Эктон, известный физиолог и сексолог, автор опубликованной в 1857 году работы о функциях и патологиях детородных органов, выдал сентенцию, которой суждено было стать знаменитой: большая часть женщин никогда не испытывала сильных сексуальных ощущений. Эта абсурдная, на мой взгляд, фраза взята из главы, посвященной импотенции, и была призвана успокоить мужчин насчет сущности любовных обязанностей, связанных с браком. Впрочем, по мнению американской женщины-врача Элис Стокман, всякий муж, требующий сексуальной связи без целей воспроизводства, превращает свою жену в проститутку (и это говорилось в 1894 году!).

Примерно в середине XIX века врач Томас Гердвуд, «специалист по менструальным циклам», предположил, что у женщин «сексуальный аппетит» развит чрезвычайно слабо, за исключением менструальных дней, когда он достигает своего пика. Эту идею он сформулировал по аналогии с периодом течки у животных. Считалось, что менструальные кровотечения — это своего рода предохранительный клапан, через который выпускается наружу избыток животных импульсов, и что женщин возбуждают одежда и запахи мужчин точно так же, как самки птиц или хищных зверей чувствительны к оперению или запаху их самцов.

Складывается впечатление, что противоречия между идеями вроде тех, что высказывал Эктон, и прямо противоположными, приписывавшими женщине латентную чувственность, готовую вспыхнуть, стоит лишь коснуться ее половых органов, даже в связи по принуждению, мало кого беспокоили. Идеи же насчет наиболее подходящего типа стимуляции были еще более сумбурными. Гинеколог Исаак Бейкер Браун был исключен из Лондонского акушерского общества за то, что он с чрезмерной легкостью производил иссечение клитора своим пациенткам. Медик был уверен (как многие его коллеги), что удаление этого органа не урезает способность несчастных к сексуальному наслаждению, а лишь создает преграду искушениям мастурбации, возникающим по наступлении половой зрелости.

Другим распространенным убеждением было то, что женская чувственность не локализована в том или другом месте, а разлита по всему телу, начиная с матки. Даже некоторые пионерки феминизма, такие как Анн Драйден и Мэри Уолстонкрафт (мать Мэри Шелли), разделяли этот предрассудок, хотя, идеологизируя его, объясняли уязвимость женского организма положением социального подчинения, в котором находятся женщины.

Как бы то ни было, степень участия женщины в сношении, как считалось, важна исключительно с точки зрения произведения потомства. Многие полагали, что зачатие возможно,

только если женщина достигла «ощущения животного блаженства», — предрассудок, восходивший, ни много ни мало, к XVI веку. Равным образом верили, что страстность обоих партнеров — определяющий фактор для пола будущего ребенка, разумеется, в том смысле, что младенец мужского пола станет благословением чете, которая приложит обоюдные усилия к успешному исходу акта.

Еще один весьма распространенный предрассудок заключался в том, что активное участие со стороны женщины способствует зачатию. Поэтому всякая женщина, по каким-либо причинам опасавшаяся беременности, делала все, чтобы оставаться холодной, ограничиваясь, так сказать, пассивным участием.

Еще одно предположение, которое с трудом пробивало себе дорогу, — это независимый характер овуляции. Вплоть до последних десятилетий XIX века продолжали думать, что овуляцию вызывает оргазм; многие врачи продолжали распространять эту басню среди пациентов даже после того, как была доказана относительная устойчивость менструального цикла. Не помогали даже доводы о том, что у девственниц тоже происходит овуляция. Сторонники «оргастической» теории все равно настаивали на своем: дескать, овуляция у девственниц — это результат мастурбации или «напряженных любовных мыслей», возможно неосознанных. Сила предрассудков такова, что не отступает даже перед лицом самых очевидных доказательств.

Вот, к примеру, самоудовлетворение — один из кошмаров XIX и большей части XX века. На протяжении десятилетий врачи, в том числе и самые осведомленные, без сомнения говорили о физическом и моральном вреде этого «гнусного акта». Особенно запугивали мужчин: якобы их ждет слепота, сухотка спинного мозга, неполноценное потомство, нервное истощение и наконец сумасшествие. Среди немногих, кто выступил против этих распространенных убеждений, — уже упоминавшийся лондонский профессор Джон Хантер, упорно доказывавший, что, на его взгляд, «одинокое любовные игры» никоим

образом не вредны. Он даже утверждал, что куда больше «энергетических затрат» требует акт «нормальный», в особенности если он совершается со страстью и с любимым человеком. Выводы Хантера зиждились не столько на больничной статистике, сколько на здравом смысле: если бы «одинокие любовные игры» были действительно вредны, то, принимая во внимание их широкое распространение среди юношества, пострадали бы целые поколения, чего, к счастью, не наблюдается. Знаменитый врач ставил и следующий вопрос: что в конечном счете могло бы сделать одинокую любовь более опасной по сравнению с любовными отношениями в паре?

Оппоненты Хантера настаивали, что простота исполнения «рукоблудного» акта может привести к «нежеланным излишества». Здесь следует пояснить, что большая часть врачей рекомендовала молодым супругам определенную воздержность: сношения не чаще двух раз в неделю. Подобные ограничения основывались на предположении о том, что извержение семенной жидкости сильно ослабляет мужчину. Сведущие люди говорили, будто выпуск унции семени эквивалентен потере двух пинт крови (долгое время считалось, будто семя есть производная крови и снова ею поглощается, когда не бывает использовано). Утверждалось также, что достигнуть состояния достаточного напряжения в одиночестве гораздо труднее, и, следовательно, мужской онанизм требует усиленной работы воображения и нервной системы, а это вредно для организма и даже может привести к летальному исходу. Самые осторожные утверждали, что контроль в сфере физиологических реакций (под контролем, очевидно, понималось ожидание оргазма) ведет к чрезмерной продолжительности акта.

Еще одно из распространенных возражений заключалось в том, что одинокий любовный акт не приносит полного блаженства, отчего возникает искушение с пагубной частотой повторять его, как в замкнутом порочном круге.

Среди последствий онанизма указывались ночные поллюции и преждевременное семяизвержение — дисфункция организма, принимаемая за болезнь. В попытке вылечить ее ча-

сто прибегали к прижиганию уретры — процедуре, описываемой несчастными пациентами как «настоящая пытка».

Станным образом женская мастурбация не пользовалась в медицинской публицистике таким же вниманием и не осуждалась с той же суровостью; вероятно, было распространено убеждение, что женщины реже предаются этому пороку. Но избравшие своей мишенью именно этот феномен пугали женщин шизофренией и эпилепсией. А если точнее, в период между 1860 и 1880 годами утверждалось, что самое распространенное последствие «одинокого порока» у женщин — безумие.

* * *

В первые десятилетия XIX века ученый Фрэнсис Плейс посвятил себя изучению условий жизни рабочего класса (включая сексуальные привычки) в стране, ставшей пионером промышленной революции. Жизнь английских рабочих действительно была ужасна, как подтверждают свидетельства разного рода: отвратительное жилье, скудное питание, отсутствие гигиены, массовое пьянство, сексуальная распущенность. Сумма этих условий влекла за собой моральное унижение. Человек, живущий в условиях беспросветной обреченности, не то что терял самоуважение — он никогда не испытывал его.

Населенность рабочих районов достигала недопустимого уровня. Были семьи, в которых шесть человек ютились в полуподвальной комнатке размером в восемь квадратных метров; десятилетних детей отправляли работать на фабрику с двенадцатичасовыми сменами и колотили, если те отказывались рано вставать; для девочек привилегией было получить место горничной в какой-нибудь семье из высшего класса, если изможденный вид, землистый цвет кожи и гнилые зубы не становились причиной отказа при первом же знакомстве.

С некоторой иронией одна молодая проститутка так ответила на вопрос о том, как она начинала:

«Если бы нам не приходилось раздеваться друг у друга на глазах и впятером спать в одной комнате, не думаю, что се-

годня я вела бы такую жизнь, хотя это, возможно, и не единственная причина. Если бы я могла спать отдельно, возможно, со мной случилось бы то же самое, но уж точно не так рано».

Если под «викторианством» понимать некую совокупность правил или просто хороших манер, то к Лондону работяг оно не имело никакого отношения. Сейчас это вызывает улыбку, но в начале XIX века кое-кто всерьез утверждал, что машинный жар ускоряет половое созревание девушек, рано пробуждая в них желание. Медик Питер Гэскелл в посвященном рабочему классу исследовании 1833 года написал, что грудь юных работниц весьма рано становится «большой, тугой, очень чувствительной, а затем с появлением первого же ребенка быстро портится».

Фабрика стала пространством, в котором можно было проверять действенность викторианских теорий о моральном воспитании. С одной стороны, утверждалось, что труд отвлекает рабочих и работниц от безделья, от губительных соблазнов алкоголя и разврата (мол, фабрика помещает мужчин и женщин в контекст, где правит дисциплина и где все нацелено на производство товаров, а в конечном счете — на увеличение богатства страны). С другой — что фабричный труд подрывает семейное единство, особенно когда работать приходится молодым матерям, а незамужних девушек подвергает серьезным опасностям, поскольку из-за стоящего в цехах жара им приходится трудиться в легкой одежде, а то и вовсе полуголыми, причем на глазах у мужчин. Один из пионеров воздержанности, Джозеф Лайвсей, утверждал, что одного оглушительного шума на металлургических предприятиях достаточно, чтобы довести рабочих «почти до скотского состояния».

Но и у этой медали есть свой не столь удручающий реверс. В Лондоне (и в Англии в целом) вместе с достохвальным эмпирическим духом набирало силу широкое движение в поддержку обездоленных, в чем особенно выделялись религиозные общества. Движение ставило серьезные задачи — спасение проституток, воспитание беспризорников и детей

осужденных, помощь нуждающимся матерям. Раздача бесплатной еды, открытие ночлежных домов и учебных классов хоть как-то улучшало условия существования городской бедноты. Но еще более достойна восхищения концепция, лежащая в основе этих инициативы: бедняки — не проклятые Богом; их положение можно облегчить, если воспитание обладает над средой и над врожденными склонностями индивидов.

Большую часть филантропических ассоциаций пронизывает христианское человеколюбие:

«Христианин в смирении своем никак не должен забывать о том, что зло есть постоянное искушение человечества после грехопадения. И все же задача правительств — брать в расчет положительную сторону человечества; чем лучшее представление имеют правительства о роде людском, тем более эффективны их действия».

Если уж говорить о грехопадении, то нельзя еще и еще раз не затронуть вопрос о проституции. Немецкий философ Георг Риммель (1858—1918) на рубеже веков писал, что проституция нужна для удовлетворения мужских сексуальных потребностей, которые, не находя адекватного выхода, в конце концов изливаются на «честных женщин». Риммель дает этому явлению сильную социальную коннотацию, называя его «необходимым злом», которому будет положен конец лишь с исчезновением моногамного брака. Как мы можем убедиться в XXI веке, его предсказания не совсем верны.

В Англии существовала проституция разного уровня и, соответственно, разные заведения. В Лондоне самые дорогие проститутки работали в престижном квартале Вест-Энд. Они снимали апартаменты над элегантными модными лавками или парикмахерскими, такими, например, как «Beautiful for Ever» мадам Рашель. Обыкновенные жрицы любви работали в меблированных комнатах, которые арендовали за свой счет во избежание эксплуатации со стороны сутенеров. Менее

удачливые (или менее способные) жили полукоммунной под неусыпным контролем Мадам, в обязанности которой входило встречать клиентов и представлять им ту или иную девушку в зависимости от кошелька и вкуса. Самым худшим видом борделя был так называемый *dress house*, где женщины отрабатывали не уменьшающуюся задолженность владельцу заведения, — положение, близкое к рабству, выйти из которого почти невозможно, если только не восстать. В таких случаях, а они были, работающие на хозяина вышибалы тотчас вышвыривали «смутьянок» на улицу, предварительно сурово их наказав.

Бизнес на ниве проституции был очень прибыльный, как показывают различные примеры. Рекрутеры девушек на далеком Востоке платили от двадцати до пятидесяти долларов за каждую, а владельцы борделя в Сан-Франциско выкладывали от полутора до трех тысяч долларов. В викторианском Лондоне цены были дифференцированы по социальным классам. Здоровая девушка из рабочей семьи в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет оценивалась примерно в двадцать фунтов; такая же девушка, но из буржуазной среды стоила целую сотню фунтов.

В 1885 году журналист В. Т. Стед опубликовал на страницах «The Pall Mall Gazette» серию статей об индустрии проституции в лондонском Вест-Энде, который он окрестил «Вавилоном нашего времени». Журналистское расследование сопровождалось настоящим скандалом: Стед «купил» напрямую у матери девушку-девственницу и привез с собой в Париж. Ничего, кроме этого, он себе не позволил. Наоборот, сразу по прибытии во французскую столицу Стед поспешил отдать несчастную малютку в благотворительный приют. Эта щепетильность, однако, не помогла ему избежать тюремного заключения сроком в несколько недель. И все же смелый журналист был удовлетворен: он показал, с какой смехотворной легкостью можно купить девушку и возить с собой по Европе, низводя ее до уровня сексуальной игрушки.

Социальные причины лондонской проституции следует искать в урбанизации. Чаще всего вербовке подлежали бедные девушки, недавно приехавшие из деревни, не ориентирующиеся в большом городе, ищущие работу. Значительный процент, таким образом, прямо с поля попадал на панель. Нередко бывало, что девушки «подрабатывали» по определенным дням недели вдобавок к основной работе горничной или продавщицы.

Одним из последствий проституции было довольно широкое распространение венерических заболеваний. Больше всего страха внушал сифилис, чаще же болели гонореей. В годы, о которых идет речь, считалось, что *Spirohaeta pallida*, возбудитель сифилиса, проникает в организм через мельчайшие порезы — в точности как сегодня говорят о СПИДе. Однако уже было известно, что болезнь может быть врожденной, то есть передаваться от матери к плоду. Многие дети, появившиеся на свет от больных матерей, умирали в раннем возрасте. Представления медицины в этом вопросе были рудиментарными. Врачи даже не знали, что гонорея и сифилис — это два разных заболевания, и часто принимали симптомы первого за начальную фазу последнего. Наиболее распространенный способ лечения был с использованием ртути, очень болезненный и сомнительного действия. Случалось, что признавались излечившимися пациенты, которые оставались носителями инфекции.

Небольшая ремарка о происхождении названия «сифилис», которым мы обязаны падуанскому медику Джироламо Фракасторо, автору мифологической поэмы в гекзаметрах «Сифилис, или О французской болезни» (1530). В поэме рассказывается, как пастух Сифил был наказан ужасными ранами за то, что предал богов (или кого-то из них). Но затем вмешивается Аполлон, и при его посредничестве все поправляется. Не говоря о мифологическом антураже, важно вспомнить, что Фракасторо первым заговорил о *contagium vivum*¹ как при-

¹ Живая зараза (лат.).

чине инфекционных болезней, то есть болезней, которые вызываются вирусами; следовательно, его можно по праву считать отцом современной патологии. Что же до «французской болезни», интересно заметить, что французы называли сифилис «неаполитанской болезнью», а испанцы — «венецианской». Эдакий обмен любезностями.

Венерические заболевания достигли такого распространения, что в 1864 году парламент издал закон (*Contagious Diseases Act*), дававший полиции право задерживать подозреваемых проституток и подвергать их принудительному медицинскому осмотру. В случае обнаружения сифилиса свобода «девушек» могла ограничиваться на срок до трех месяцев. Однако для клиентов никакого контроля не предусматривалось, что давало основания критиковать закон за двойную мораль. Вызывали протесты и методы, направленные на ограничение свободы. Секретариат Национальной дамской ассоциации назвал осмотр влагалища «оскорблением стыдливости девушек».

Страх подхватить заболевание повышал спрос на «проституток-девственниц». Бытовало мнение, что связь с девственницей излечивает от сифилиса. Последствия для девушек, соблазненных предлагаемыми суммами, как вы понимаете, были пагубными. В начале XIX века цена за подобную услугу достигала ста фунтов. Позднее цены сильно упали, в том числе и потому, что нередко были случаи псевдодевственниц, мастерски заставляющих поверить в то, чего нет, с помощью разнообразных уловок, как анатомических, так и чистой «ловкости рук». В некоторых случаях доказательством невинности служило заключение сговорчивого медика или же то, что в действительности являлось результатом хирургического вмешательства (пластическая хирургия, как бы мы сказали сегодня). Впрочем, некоторые из ухищрений были известны еще со времен Античности. На рубеже первого и второго тысячелетий нашей эры о них говорил персидский врач и философ Авиценна. Поскольку разрыв девственной плевы, как правило, сопровождается небольшой потерей кро-

ви, испачканные кровью простыни считались самым убедительным доказательством целомудрия. Однако уже со времен Авиценны многим было известно, что небольшое кровотечение нетрудно изобразить, введя во влагалище кусочек напитанной кровью губки или пиявку. В большей части случаев для возвращения потерянной невинности использовали слоновьи дозы вяжущих средств, таких как пары уксуса, мирровая вода, настой из желудей, квасцы.

Рост спроса на девственниц обуславливался не только соображениями гигиены. «Инициация» девушки приносила особое наслаждение, восходя, по сути, к раннесредневековому обычаю, известному под названием *Jus primae noctis* или *Droit du seigneur*¹ (государю или феодалу принадлежало право лишать девственности новобрачную перед тем, как передать ее законному супругу). Настоящих девственниц вербовали преимущественно на вокзалах, куда прибывали поезда из провинции, или в городских парках, где гувернантки и няньки выгуливали детей своих работодателей. Рекрутеры доставали из кошелька золотую гинею, оговаривая «небольшую услугу». Если верить статистике, процент положительных ответов был высок, хотя столь же высок был и, судя по всему, процент тех, кто передумывал в последнюю минуту.

Бордели, специализировавшиеся на такого рода услугах, непременно имели несколько комнат с необходимой звукоизоляцией. Вот как описывал один из них хронист «The Pall Mall Gazette»:

«В борделях побои и порка практикуются гораздо чаще, чем обычно считается. Одна из комнат в доме миссис Джефферс была оборудована, как настоящая камера пыток... К потолку были прибиты кольца, к которым подвешивали за запястья девочек и мальчиков, во всех углах — кожаные ремни, чтобы связывать их, а также специальные кровати, на которых жертву можно было обездвижить в желаемом положении».

¹ Право первой ночи (лат.), право господина (фр.).

нии. Орудия для порки включали кнуты, хлысты, трости и целые коллекции „кошек-девятихвосток“.

В обращении также были специальные брошюры для проституток-одинок, в которых описывались различные виды порки и способы их исполнения. Полная нагота не приветствовалась, рекомендовалось дозированно обнажать тело, «чтобы вызвать у клиента высочайшую степень удовлетворения». Выбор «костюмов» был широк: от шубы на голое тело до монашеской рясы, школьного платья или устрашающего белья из черной кожи.

Высоко ценились молоденькие проститутки — и те, что изображали инфантильную невинность, и те, что, напротив, демонстрировали «искушенность в грехе». Заниматься проституцией разрешалось с тринадцати лет, но в 1885 году планка была поднята до шестнадцати. Джозефин Батлер (президент Национальной дамской ассоциации) установила, что в 1869 году из девяти тысяч проституток полторы тысячи были моложе пятнадцати лет, из них треть — моложе тринадцати. Ужасающие цифры, но не слишком удивляющие в стране и в эпоху, когда дети, даже не достигшие указанного возраста, трудились по двенадцать — пятнадцать часов на рудниках или при домах.

Физиолог Уильям Эктон, давая наставления в сфере полового воспитания, имел в виду детей с более счастливой судьбой:

«Для здоровых субъектов, и в особенности для детей, выросших на чистом воздухе и среди простых радостей деревни, правилом должна быть совершенная свобода, или, иначе говоря, полное неведение в сексуальных вопросах. Первым и единственным проявляемым между полами в самом юном возрасте чувством должна быть братская любовь».

Пройдет несколько лет, и Зигмунд Фрейд начнет изучать сферу бессознательного, включая детскую сексуальность.

Закон предусматривал различные наказания за преступления на сексуальной почве. Сексуальное насилие англий-

ское право рассматривало как *heinous crime* — гнусное преступление, оно определялось как «животный, недостойный человека акт люмпен-пролетариата». Парадоксальным образом подобное жесткое определение служило гарантией для представителей высших классов. Преступления на сексуальной почве, если их совершали буржуа, крайне редко наказывались тюрьмой: в большинстве случаев судьи принимали тезис защиты о ложном обвинении. На решение судей оказывало влияние имущественное положение обвиняемых, а также основополагающий для морали эпохи принцип, который именовался *respectability* — приличием, респектабельностью.

Факт изнасилования признавался только в случае, если «приличная» женщина подвергалась сексуальной агрессии со стороны мужчины низшего класса, причем следствием агрессии были видимые телесные повреждения. А когда «респектабельный господин» насиловал горничную, дело, если оно вообще доходило до суда, почти всегда оканчивалось оправданием. В силу своей респектабельности этот человек считался «неспособным» на «низкое действие», и потенциальному обвиняемому на помощь приходила сама суровость правовой формулы. Считалось более вероятным, что девушка, в надежде на деньги или хорошее место, просто все выдумала.

Социальное равновесие в судебной сфере восстанавливалось, однако, приговорами по подозрениям на детоубийство. Если бедная незамужняя девушка тайком производила на свет младенца, который умирал сразу после родов, редко дошло до обвинения в детоубийстве. Если девушку и сажали в тюрьму, это, как правило, случалось по обвинению, гораздо менее тяжкому, — в «сокрытии беременности». Такая мягкость закона отчасти обуславливалась объективной трудностью установить причины смерти, но отчасти это было и проявлением понимания отчаянного положения несчастных. Для сравнения: детоубийство, совершенное в нормальной буржуазной семье, каралось гораздо строже.

Другой случай, когда судьи проявляли определенное сочувствие к жертве, — это когда девушка обвиняла мужчину в нарушении данного им обещания жениться. Добрым буржуа на скамье присяжных не трудно было представить чувства несчастной, которая «уступила» из любви, уверенная в скором браке, а в действительности обманом была лишена «чести». Виновный не подлежал уголовному преследованию, но приговаривался к уплате соответствующего возмещения.

Викторианское общество пользовалось двойной моралью и в отношении гомосексуализма, к слову, именуемого тогда в Европе «английским пороком». Преобладала тенденция не замечать его, если речь шла о состоятельных, пользующихся общественным уважением личностях, и наоборот, «склонность к содомии» резко осуждалась в бедняках, иммигрантах и маргиналах. Наиболее известный пример — Оскар Уайльд.

В 1828 году в Англии был издан закон, предусматривающий смертную казнь для каждого, «кто окажется виновным в отвратительном преступлении содомии, совершенном как с представителем человеческого рода, так и с животным». В действительности опасность была скорее теоретической, чем реальной, поскольку для доказательства вины требовалось наличие одного или нескольких свидетелей; следовательно, достаточно было разумной осмотрительности, чтобы отвести от себя угрозу виселицы.

В 1885 году вышел еще один закон, вносивший поправки в действие предыдущего («*Criminal Law Amendment Act*»). Главной его задачей было постепенное упразднение домов терпимости и защита девушек, а одним из следствий, возможно невольных, — ухудшение положения гомосексуалистов. Грозным санкциям подвергались даже взаимооговоренные связи между двумя взрослыми мужчинами. При этом граница между собственно любовной связью и типичной англосаксонской крепкой мужской дружбой (в которой, возможно, наличествовал открыто демонстрируемый либо латентный аффек-

тивный компонент) становилась более расплывчатой. Прославленные *public schools* — престижнейшие университеты — всегда были местом, где рождался этот тип отношений, будь они любовные или просто дружеские. Почти монашеская изоляция, суровая обстановка, отсутствие женского общества, сдержанность в проявлении чувств — все неотъемлемые составляющие британского воспитания и британского духа, — несомненно, внесли свой вклад в распространение этих отношений, сделав их, по мнению некоторых, настоящим цементом, сплотившим правящий класс, создавшим из него отдельную касту.

Самые яркие случаи пренебрежения правилами «викторианского лицемерия» имели место в среде интеллектуалов и художников. Во имя искусства сама королева позволила себе немного отступить от пуританской строгости, к которой стремилась обязать свой народ. Ведь это она в 1866 году заказала Королевской академии выставку полотна, которое многие считали оскорбительным: оно изображало Леди Годиву в одеянии из одних только длинных рыжих волос. Эта женщина прославилась тем, что предстала в таком виде в Ковентри, в 1067 году, в знак протеста против бремени налогов. Портрет произвел сенсацию, в том числе и потому, что позировала для него знаменитая актриса мадам Уортон. Автор картины, Эдвин Генри Лэндсир, во Франции получил бы характеристику *romprier* — мастер дешевого вкуса, умелый иллюстратор, но не настоящий художник.

Та же Виктория на каждый день рождения супруга, принца Альберта, дарила ему смелые ню; факт весьма показательный, если верить словам критика Кеннета Кларка (1903—1983), утверждавшего, что «английская живопись по части обнаженной натуры так и не сумела переступить порог вуайеризма».

Коль скоро мы заговорили о богемной публике, не могу не назвать несколько имен.

Данте Габриел Россетти (1828—1882), сын итальянского поэта и патриота Габриеле Россетти, один из основателей

Братства прерафаэлитов, дал новое истолкование «мистической чистоте» таких художников, как Беато Анджелико, но это нисколько не помешало ему стать любовником миссис Моррис, жены Уильяма Морриса, великого дизайнера, создателя тканей и гобеленов с элегантными цветочными узорами. Россетти был неплохим стихотворцем, и в этой главе заслуживает упоминания его поэма «Дженни», где говорится о проститутке, к которой Россетти обращается «So pure, so fall'n!» — «Столь чистая, столь падшая».

Как многие другие поэты XIX века, Россетти воспевал грацию поруганной невинности, говорил о жалости, которую вызывают падшие женщины, но в то же время не без сарказма отмечал алчность жриц любви.

Что же касается рогоносца Уильяма Морриса, то он взял реванш, завязав роман с красавицей Джорджианой, супругой художника Эдуарда Бёрн-Джонса, писавшего картины с двусмысленными ангельскими образами, столь чувственными и мистическими, что они предвосхищали символизм конца века.

Если Джорджиана изменяла мужу, то и он отвечал ей тем же. Известно о его открытой связи с греческой скульпторшей Марией Замбако, несколько раз служившей ему моделью.

Еще меньше общественное мнение беспокоило скульптора Боза: его настиг инфаркт во время любовной связи с одной из королевских дочерей, учителем которой он официально считался. Последовал шумный скандал.

Можно было бы продолжить, напомнив о гениальных порнографических рисунках Обри Бёрдслея, непревзойденного и рафинированного иллюстратора, или фотографиях на грани пристойности преподобного Чарлза Лютвиджа Доджсона, больше известного под псевдонимом Льюис Кэрролл, автора «Алисы в Стране чудес». Кэрролл из «художественных соображений» фотографировал девочек совершенно обнаженными, в позах деланой невинности. Однако он и сам не слишком верил в это объяснение и посему хранил негативы в пакете с надписью: «Сжечь не вскрывая». К счастью, некоторые фото-

графии избежали огня, так же, как были спасены и отдельные рисунки великого Джозефа М. Тернера, которые Джон Рескин, курировавший фонд Национальной галереи, начал было уничтожать, сочтя «непристойными».

Расскажу последнюю историю, которую считаю показательной. «Странствующий рыцарь» — одно из самых прославленных полотен Джона Эверетта Милле. На нем мы видим человека в сияющих доспехах верхом на коне; обнажив шпагу, он собирается перерезать пути, которыми привязана к дереву испуганная обнаженная девушка. Наклон шпаги двусмысленный, на острие клинка видна кровь. На первом варианте картины красавица в трепетном ожидании смотрела в глаза своему избавителю. Общий смысл, как можно догадаться даже по этому краткому описанию, вполне очевиден. Причиной громкого скандала стала деталь, которая сегодня вызвала бы лишь улыбку: девушка, мертвенно-бледная и нагая, осмеливалась смотреть в глаза одетому вооруженному мужчине! Осознав, что этим пересечением взглядов нарушается табу, укорененное прочнее, чем осторожное отношение к обнаженной натуре, Милле поспешил вырезать голову девушки и пришить на холст тондо с другой головой, печально повернутой в противоположную сторону.

В последние три десятилетия XIX века уровень рождаемости в Англии серьезно упал, и о причинах этого явления существуют разные мнения. Некоторые связывают его с суровостью нравов; другие — с распространением первых способов и средств контрацепции. Сторонником периодического воздержания от супружеских сношений в браке, но по мотивам, противоположным официальным, был один из пионеров британской сексологии Хэвелок Эллис, справедливо считавшийся за свои убеждения антивикторианцем. Периодическое воздержание, утверждал он, помогает избежать превращения наслаждения в рутину. Разумеется, были и те, кто приписывал воздержанию более широкие регулирующие функции.

И уже тогда многие выступали против религиозной максимы, связывавшей сексуальный акт исключительно с производением потомства. Соблюдение этого требования настолько снизило бы частоту сношений, что поставило бы под угрозу сам институт брака.

Медицинское сообщество в отношении контрацепции не имело однозначного мнения. Согласно некоторым практикующим врачам, способы предохранения от беременности, пришедшие с континента, в частности из Франции, были чреваты падением нравов, ибо заключались в основном «в техниках содомии» и *coitus interruptus* (прерванного акта). Применение презервативов, пессариев, губок и спринцеваний не было широко распространено.

Первого июля 1868 года в Диалектическом обществе состоялся оживленный диспут, в ходе которого лорд Эмберли открыто заявил, что долг врачей — помогать пациентам контролировать рождаемость в семье. Многие из присутствующих сочли эти слова оскорбительными; долг врача, возражали ему, — определить наилучшую терапию для победы над болезнью, а не потакать сладострастию и, будем откровенны, внебрачным связям. Даже великий сексолог Уильям Эктон не рискнул посягнуть на господствующие в обществе условности — в его работах нет ни одного намека на контроль за рождаемостью. Отказ принимать к рассмотрению презерватив был столь распространен, что знаменитый гинеколог американского происхождения Дж. Мэрион Симс отвергал его использование даже тогда, когда требовалось собрать у пациентов сперму для проведения анализов. При лечении бесплодных пар он взял на вооружение своеобразный метод: ждал за дверью спальни и врвался в нее сразу по окончании сношения, чтобы «по горячим следам» взять вагинальный мазок.

Столь скептическое отношение к презервативу отчасти объяснялось далеко не совершенной техникой изготовления изделия. Джакомо Казанова говорил, что «защитную перчатку» изобрели именно англичане; во Франции, напротив,

презерватив называли «венецианским кожаным мешочком». Социальный историк Паоло Сорчинелли напоминает, что изобретением мир, по всей видимости, обязан хирургу и анатому из Модены Габриеле Фаллопио, давшему свое имя парным каналам, которые соединяют в женском организме яичники с маткой (фаллопиевы трубы). Презерватив если и рекомендовался, то не столько как средство контрацепции, сколько во избежание заражения сифилисом (отсюда его итальянское название *profilattico*). Известно, что Джеймс Босуэлл приобрел несколько штук в Лондоне в 1763 году, в магазине на Хаф-Мун-стрит, и воспользовался одним со случайной подружкой, а затем — несколько месяцев спустя — при мимолетной связи с женой мэра Сиены. Что касается дискомфорта при использовании презерватива тех времен... Сорчинелли уточняет, что «до изобретения вулканизации каучука он чаще всего представлял собой овечью слепую кишку, вымоченную в воде и пять-шесть раз промытую содовым раствором... Презерватив прикреплялся к пенису при помощи ленты и рекомендовался для предотвращения заражения или беременности». Столь трудоемкое изделие и стоило соответственно. Массовым продуктом презервативы сделались благодаря промышленному производству и жидкому латексу.

Собственно, как и во все времена, в Викторианскую эпоху сексуальная сфера стала мощным социальным индикатором. Когда совершается попытка подавить основной людской инстинкт, результаты могут быть неожиданными, но они всегда красноречивы. Лондон времен Виктории не составляет исключения. В конце XIX века Европа захотела избавиться от удушающих нравов предыдущих десятилетий и преуспела в этом. Живя в эпоху, в которой сексуальный инстинкт является основным рычагом рекламы, мы можем со знанием дела оценить, какие выгоды и какие потери понесли человеческие отношения с превращением сексуальности в средство стимуляции потребления. Время от времени из опросов выясняется парадоксальный результат: оказывается, многие испытывают

«спад желания». Никто не в состоянии сказать, было ли викторианское «благонаравие», с которого начался наш рассказ, чем-то искренним, или изощренной уловкой, или простым лицемерием. Несомненно, однако, то, что покров таинственности и сумма запретов служили поддержанию ауры манящей притягательности всего того, что связано с сексуальностью. Это докажет время на рубеже веков, названное *Belle Epoque* — «прекрасной эпохой», — которое можно рассматривать как законное, хотя, возможно, и нежеланное дитя викторианских нравов.

XIV

ХУДОЖНИК-БУРЖУА

В любом путеводителе по Лондону место, о котором я собираюсь рассказать, находится в разделе «Музеи». В действительности это и музей, и не совсем музей. Он является им, потому что содержит множество произведений искусства, собранных с большим терпением и затратой немалых средств. И в то же время не является, потому что эти произведения не были отобраны по научному критерию, как это делается применительно к музейным коллекциям. Их собрал под одной крышей каприз, или если угодно, вкус или слабость к недорогим приобретениям сэра Джона Соуна, архитектора, 1754 года рождения, любителя классицизма и увлеченного коллекционера, жившего в этом доме с 1792 года до самой смерти в 1837 году — году коронации Виктории. Чтобы дать лучшее представление об этой фигуре, скажем, что сэр Джон — человек, преподававший архитектуру в Королевской академии, спроектировавший здание Банка Англии и дом номер 10 по Даунинг-стрит — резиденцию премьер-министра.

В 1833 году сэр Джон добился принятия закона, объявившего его жилище публичным музеем. Собрание, однако, несет на себе сильный отпечаток личности создателя, включая

чрезмерное загромождение помещений экспонатами — что, впрочем, придает месту особый колорит. Для тех, кто захочет лично в этом убедиться, сообщаю: дом (или музей) сэра Джона Соуна находится по адресу Линкольнс-Инн-филдс, 13.

Сэр Джон был щедро одарен судьбой на протяжении своей долгой жизни, начавшейся в скромной семье каменщика. У него был немалый архитектурный талант, созвучный вкусам эпохи. В неполных тридцать лет он женился на племяннице и наследнице Джорджа Уайета, одного из самых богатых архитекторов того времени; именно жена сэра Джона в 1802 году сделала нечто, ради чего стоит включить посещение дома в программу осмотра Лондона. О чем речь, я вскоре объясню.

На Линкольнс-Инн-филдс, 13, устраиваются выставки живописи, но есть, разумеется, и постоянная экспозиция картин и классической скульптуры, чаще всего в копиях; среди них — гипсовая копия Аполлона Бельведерского, много слепков. Сэр Джон умел просчитывать световые эффекты. Например, в комнате на втором этаже благодаря изощренной игре зеркал создается удивительная гамма темных оттенков зеленого и красного. На цокольном этаже можно увидеть античный саркофаг, высеченный из огромного каменного блока; тут и там выставлены чертежи и макеты проектов самого Джона Соуна. Во дворе — фрагменты арок из старого Вестминстерского дворца, разрушенного пожаром. Есть еще копии римских капителей в стиле тех *folies* (причуд), что в конце XVIII века были в особом почете у аристократов. Для любителей *folies* отмечу попутно, что прекрасный образец этого стиля можно увидеть в садах Кью. Там вы увидите псевдоримскую арку-руину с полуразрушенными (в духе стиля) барельефами, которую сэр Уильям Чемберс построил ради забавы в 1760 году.

Двор своего дома Джон Соун замостил, перемежая крупную речную гальку, утопленную в цемент, и донышки от бутылок порто. Удивительный эффект: полупрозрачное цветное стекло отбрасывает блики на гальку, являя достойный пример реутилизации материалов.

Есть в коллекции и ценные экспонаты, но суть не в них. Самый большой эффект производит собрание в целом, глот ненасытной страсти человека, одержимого демоном собирательства; ради своей страсти он посещал аукционы и рынки, включая подпольные, и не жалел средств. Ощущение, аналогичное тому, что испытываешь, оказавшись на вилле Витториале Д'Аннунцио в Гардоне¹. Невозможно не почувствовать желание хозяина любой ценой окружить себя «красотами», пусть даже это копии или фрагменты. Разница в том, что в лондонской коллекции экспонаты более высокого уровня.

Раз уж мы подняли эту тему, упомяну об одном образце изысканной экстравагантности — так называемом Лейтон-хаусе, который великий викторианский художник (и президент Королевской академии) Фредерик Лейтон (1830—1896) построил себе в семидесятых годах по адресу Холлэнд-Парк-роуд ради удовлетворения своей прихоти и вкуса к монументальности. В здании находится неплохая коллекция викторианского искусства, но главным побудительным мотивом для визита служат архитектура и декор интерьеров (мозаики, витражи, перила лестниц, деревянные буазери, обои и проч.), начиная с Арабского зала, воссоздающего сказочную атмосферу Востока.

Вернемся, однако, в дом сэра Джона, двери которого были открыты для посетителей еще при его жизни, по строго определенному расписанию, от которого отступали только в случае непогоды — не топтаться же у двери под дождем!

Но что же сделала миссис Соун? Волею судеб в 1802 году она приобрела на аукционе Кристи за 5 фунтов 10 шиллингов серию из восьми полотен под названием «Карьера мота» кисти Уильяма Хогарта. Этой серии суждено было снискать громкую славу, и именно она привлекает сегодня посетителей в почтенный дом-музей.

¹ Итальянский поэт и общественный деятель Габриэле Д'Аннунцио вместе с архитектором Дж. Марони построил в 1921—1938 гг. монументальный ансамбль на берегу озера Гарда, где и похоронен.

Полотна выставлены в небольшой комнатке, которая своими габаритами придает особую остроту злоключениям бедного Тома Рэквелла, несчастного героя истории, которая позднее вдохновит Стравинского на создание одноименной оперы-балета.

Уильям Хогарт был крупным живописцем, художником, который привнес в свое ремесло глубокие обновления и, главное, как никто другой, воплотил в себе бесспорные добродетели и многочисленные пороки общества, на заре которого ему выпало жить. Любопытный аспект — он вел исключительно буржуазный образ жизни, не отмеченной ни одним сколько-нибудь драматичным событием, это так не похоже на перипетии итальянских художников XVI века или богемных парижских живописцев семнадцатого столетия. Именно поэтому заслуживает внимания его биография, достаточно показательная для эпохи зарождения буржуазного духа.

Вот что сам Хогарт писал о своей работе:

«Постоянное изменение нравов позволило мне вводить новых персонажей, которые, будучи взяты из повседневной жизни, имеют больше шансов получиться менее пресными, чем те, что постоянно повторяются в старых историях».

Родился он 10 ноября 1697 года в Лондоне, в семье обнищавшего интеллектуала, и ему пришлось зарабатывать на хлеб самым разным ремеслом. Хогарт был и преподавателем некоей дисциплины, и корректором (из чего можно сделать вывод о его хорошей грамотности), и редактором словарей, и, наконец, учеником в мастерской резчика по серебру. Этого резчика звали Эллис Гэмбл, и он, наверное, даже представить не мог, что в XXI веке кто-то еще будет помнить о нем. Мастерская Гэмбла под вывеской «Золотой ангел» располагалась на Крэнбурн-стрит. Юный Уильям Хогарт очень скоро осознал свое признание и, когда мистер Гэмбл разорился, открыл собственное дело. Ему чуть больше двадцати, но он уже раздает знакомым и незнакомым людям визитки «У. Хогарт. Гравер».

У резчика по серебру он научился азам мастерства, можно даже сказать, превзошел самого мистера Гэмбла.

В 1721 году Хогарт выполнил несколько сатирических эстампов под названием «Схема Южного моря», которыми отозвался — в свои двадцать четыре года — на самый крупный финансовый скандал из когда-либо случавшихся в Англии.

Экономисты хорошо знают, сколько состояний было погублено в «афере Южных морей» (*South Sea Bubble*), но, поскольку речь идет о весьма поучительном и занятом эпизоде (при условии, конечно, что вы не среди жертв аферы), стоит рассказать о ней подробнее. Она тоже часть зарождающегося буржуазного духа.

Речь идет о первом крупном обвале акций в Англии. История невероятного надувательства, в которой смешались политическая коррупция, коллективная истерия и слепая алчность. В 1720 году в течение примерно полугода неуклонно нарастала, подпитываемая средствами крупных и мелких инвесторов, могучая волна спекуляции. Тысячи англичан пустились в гигантскую авантюру, которая закончится разорением акционеров.

Начало сказке с катастрофическим концом было положено в 1711 году, когда Компания Южных морей (*South Sea Company*) получила от английского правительства монополию на торговлю с Карибскими островами и Южной Америкой. Но эта монополия была скорее пустым обещанием. В то время шла война за наследство, вспыхнувшая после смерти испанского короля Карла II; завершится она лишь два года спустя Утрехтским договором. От урегулирования конфликта Англия предвкушала большие выгоды, но на деле ожидания оправдались не в полной мере. Ей достались захваченные в ходе войны Гибралтар и Маон — стратегически важный порт на острове Менорка, кое-какие земли в Северной Америке и особые права в торговле с испанскими колониями, в том числе тридцатилетняя монополия на торговлю черными рабами. В конечном счете *South Sea Company* закрепила за собой пере-

возку и сбыт в Америке *Piezas de Indias* — рабов с хорошими физическими данными и ростом не менее 58 дюймов, то есть примерно полтора метра. Вдобавок уточнялось, что компания сможет направлять в Картахену и Вера-Крус судна тоннажом не более пятисот тонн с шерстяной пряжей или тканями, а также другими подобными товарами.

На деле работорговля оказалась весьма неудачным вложением. Плата за живой товар местным работорговцам, стоимость перевозки, болезни и смертность в пути превращали рабов в «скоропортящийся» товар, доход с которого был слишком низким сравнительно с инвестициями. К тому же прибыли сокращались за счет бюрократических проволочек, продажности испанских чиновников, дублирования полномочий разных субъектов власти, да и обыкновенной путаницы.

Спекулятивная лихорадка, однако, не улеглась. С расширением границ и упрощением морских перевозок простые вкладчики открыли для себя возможность вкладывать деньги в Новый Свет, откуда не так давно конкистадоры возвращались с трюмами, полными золота.

Южные моря были не единственным Эльдорадо, питавшим мечты европейских буржуа о богатстве. Во Франции шотландец Джон Лоу покорил всех, начиная с Филиппа Орлеанского, проектом, скажем так, креативного финансового инвестирования, который должен был способствовать экономическому развитию франко-американских колоний, упростив систему налогообложения и создав широкую базу акционеров. В Париже об этом проекте говорили с блеском в глазах: взлет ценных бумаг, связанных с авантюрами Лоу, был просто головокружительным. В 1716 году динамичный шотландец учредил всеобщий банк с правом эмиссии как ценных бумаг, так и банкнот. Одна из его теорий заключалась в том, что для стимулирования торговли (и потребления) необходимо вывести из обращения ценные металлы, заменив их бумажной валютой, привязанной к стоимости земли. Дела шли на всех парусах, пока не стало очевидно, что находки гениального Лоу вызывают невероятную инфляцию. Массы напу-

ганных вкладчиков ринулись менять горы бумаг, которые, как вы понимаете, почти ничего не стоили. Лоу чудом сумел бежать.

Английские руководители *South Sea Company* рассчитывали сделать то же самое, чтобы остановить отток капиталов, которые в расчете на обещанные барыши потекли в парижские банки. В 1719 году управляющие компанией сделали правительству Его Величества неслыханное предложение: компания готова взвалить на себя бремя государственного долга страны взамен на разумную шестипроцентную комиссию. 12 апреля 1720 года предложение было принято, в том числе благодаря широкому использованию взяток, мудро распределенных между членами правительства, руководителями правящей партии вигов и влиятельными придворными, включая двух любовниц короля, мадам фон Платен и герцогиню Кендал, известных своим сребролюбием. Комичная деталь: взятки давались не деньгами и не ценными металлами, а акциями компании.

Не сбавляя оборотов, компания стала играть на повышение стоимости акций, открыв новую подписку и одновременно распуская слухи о том, что торговля со старыми испанскими колониями будет идти все лучше и лучше. С января по конец весны котировка акций росла не переставая. Один историк-экономист назвал механизм, запущенный в те месяцы непрерывной эйфории, «финансовым насосом». Компания выпустила новые акции на два миллиона фунтов стерлингов. По цене 300 фунтов за штуку их можно было выкупать и в рассрочку. Подписчиков оказалось так много, что пришлось допечатать еще акции — на 250 тысяч фунтов, — чтобы удовлетворить всех желающих.

Вскоре компания заявила о возможности предоставлять подписчикам денежные займы под гарантию акций. Как следствие, акции еще больше выросли в цене. За этим последовали выпуск новых акций и новые денежные займы — казалось, действовал отлаженный механизм: за каждой новой эмиссией следовал приток свежих денег; и в соответствии с тем ил-

люзорным законом (очень близким к утопии вечного двигателя), согласно которому процветания легко можно достигнуть посредством безграничного роста кредита, как на дрожжах росла рыночная цена.

В мае 1720 года акции, выпущенные с номинальной стоимостью 300 фунтов, стоили уже 550. В конце месяца цена выросла до 890 фунтов. Однако спустя две недели она вдруг упала — до 640 фунтов. Чтобы погасить беспокойство вкладчиков, *South Sea Company*, располагающая широкими активами, начала скупать собственные акции, сумев поднять их котировку до 750 фунтов. В августе, несмотря на неоднократный выпуск новых акций, котировки поднялись до тысячи фунтов. В середине сентября, однако, курс был понижен до 400 фунтов, а в декабре их стоимость и вовсе упала до 120 фунтов.

На пике котировок общая стоимость акций оценивалась примерно в 500 миллионов фунтов стерлингов, то есть превышала совокупный денежный баланс Европы. Как писал Чарльз П. Киндлбергер, экономист из Массачусетского технологического института, «для выплаты дивидендов компания должна была постоянно собирать новые капиталы и обеспечивать непрерывный рост своих акций. Причем во все ускоряющемся ритме». Это не могло продолжаться бесконечно, и конец пришел.

Когда котировка акций упала, тысячи людей осознали, что расстались с драгоценностями, домами, землями и золотом, получив взамен кипы ничего не стоящих бумажек. Разумеется, они бросились осаждать банки, добившись лишь банкротства некоторых из них. Король Георг I в срочном порядке вернулся в Лондон и созвал парламент; комиссия по расследованию дела выяснила несколько громких случаев мошенничества и коррупции. Люди сводили счеты с жизнью; даже Исаак Ньютон, подобно многим другим своим соотечественникам, попался на эту удочку и потерял немалые средства. Он купил акции по цене номинала и несколько недель спустя продал их со 100-процентной прибылью. Войдя во вкус, Ньютон решил снова войти в игру. Купив акции в момент наивыс-

шего подъема котировок, он в итоге лишился двадцати тысяч фунтов. Ньютон отозвался сдержанно: «Я могу рассчитать движение небесных тел, но не безумие людей».

Финансовые пирамиды 1990-х годов, со столь же катастрофическими последствиями, как видим, имели громкий прецедент, в котором формирующееся буржуазное общество впервые опробовало свои способности создавать иллюзии. Это тоже лицо XVIII века.

Вернемся к Хогарту. Освоив граверное дело, он начинает посещать академию придворного художника сэра Джеймса Торнхилла (1675—1734). Уильям предприимчив, а круг художника — отличный трамплин для старта. Хогарт с легкостью маневрирует в сложном мире человеческих отношений. Ему помогает его очевидный талант, но никак не скромное происхождение, которое скорее создает определенные препятствия. Решающими станут два следующих шага. Первый заключается в том, что в 1729 году Хогарт, к тому времени разменявший четвертый десяток, женился на дочери Торнхилла, не получив на то согласия со стороны ее семьи. Невесте, ее звали Джейн, было всего девятнадцать лет. Второй шаг — он близко сошелся с принцем Уэльским, и тот принял его в свою масонскую ложу. Я не хочу сказать, что эти действия были расчетливо спланированы или что Хогартом двигал один лишь расчет. Возможно, он питал неподдельное чувство к Джейн, столь милой и свежей, и во имя этой любви готов был пренебречь гневом ее отца. Не исключено и то, что к масонству его сподвигла искренняя любовь к человечеству. Разве не случилось то же самое, всего лишь несколькими годами позже, с юным Моцартом? В случае с нашим героем имеют значение не столько руководившие им мотивы, сколько выверенность действий, потому что успех карьеры буржуа зависит также и от правильного выбора момента.

К тому же отцовский гнев длился лишь несколько месяцев, и вскоре, при содействии матери Джейн, последовало примирение, к вящему удовлетворению сторон. Хватило того, что сообразительная миссис Торнхилл выставила шесть полотен

цикла «Карьера куртизанки» в столовой. Сэр Джеймс внимательно изучил картины, осведомился, кто автор, и, узнав, что речь идет о зяте, одобрительно, хотя и не без язвительной нотки, воскликнул:

— Великолепно, человек, которые пишет полотна, подобные этим, может и содержать жену без приданого.

Очень скоро свекор и зять стали работать вместе.

В чем суть цикла «Карьера куртизанки»? Сам Хогарт в своей автобиографии говорит о нем так:

«Я начал создавать картины и гравюры на моральные темы — область, которая еще не была исследована ни в одной стране; способ построения сюжета был аналогичен сценическому».

Утверждение смелое, хотя и не совсем точное. Хогарт обошел вниманием тот факт, что до него в этой области уже работал Питер Брейгель. Как бы то ни было, на шести полотнах цикла рассказывается, как в романе или драматическом спектакле (позднее картины действительно вдохновили некоторых режиссеров на постановки), поучительная история девушки, которая приехала в Лондон из провинции и была завербована сводней, сделавшей из нее проститутку. Финал предсказуем: неуклонное падение вплоть до ареста и смерти. Самый что ни на есть роман или, если угодно, сюжет в духе итальянского неореализма.

Выражение «читать картину» часто используется метафорически, в значении разбирать составляющие в плане композиции, фигур, деталей, техники. В случае с Хогартом это выражение следует понимать в прямом смысле. Не только знаменитые циклы Хогарта, но и отдельные его полотна можно «листать» как страницы книги. Вне всякого сомнения, Хогарт вдохновлялся описательной точностью фламандской живописи, но речь не об этом. Художник сумел перенести на холст события своей эпохи, ее атмосферу. Это его «репортерское» умение было столь очевидно, что какое-то время Хогарта пытались записать в иллюстраторы. Он сам отчасти навлек на себя эту сомнительную славу разного рода «маркетинговыми

ходами», с помощью которых «продвигал» свою живопись. Вот что он писал:

«Я старался работать с сюжетом как драматург; моя картина — это моя сцена, а актеры — мужчины и женщины, которые своими действиями и жестами разыгрывают пантомиму».

Весьма убедительно выглядит (в этом направлении меня воодушевляли двигаться уроки Марио Праца) проведение параллели между Уильямом Хогартом, основоположником английской живописной традиции, и родоначальником английского романа Генри Филдингом.

«Филдинг, — пишет Прац, — руководствовался теми же принципами, что и Хогарт, более того, он считал для себя творчество художника образцом и ориентиром».

Как известно, Филдинг пришел из театра; когда он начал писать прозу, то уловил, что диалоги, без которых невозможны сценические постановки, внесут разнообразие в монотонность повествования. Именно благодаря этому он сумел мастерски реализовать сюжетные хитросплетения своего шедевра «Том Джонс», романа, полного приключений, неожиданных поворотов и находок, в мгновение ока поворачивающих ход событий.

Филдинг своим «Томом Джонсом» обогатил жанр романа не только диалогами, но и силой интриги. Уже сам подзаголовок вводит нас в тему захватывающего чтения. «История найденых» — согласитесь, ведь это наводит на определенные мысли. И в самом деле, читатель моментально втягивается в вихрь происшествий, предательств, неблагоприятных поступков, которые придают роману особую остроту и вместе с тем оставляют надежду на счастливый финал. Автор с готовностью использует все находки и возможности приключенческой и мелодраматической литературы.

В 1963 году Тони Ричардсон снял фильм, столь же вольно обращающийся с романом, сколь и увлекательный, в немалой степени благодаря великолепной игре Альберта Финни.

В блестящей монографии о Филдинге Элизабет Дженкинс дает яркий портрет общества XVIII века, в котором жили и Филдинг, и Хогарт:

«Эта эпоха была отмечена для большей части населения ужасами повседневной жизни, о которых мы не можем читать без содрогания; доктор Джонсон подсчитал, что за год умирала от голода в одном Лондоне тысяча человек; состояние тюрем было таким, что, сколь бы тяжким ни было преступление осужденного против общества, оно не могло сравниться с чудовищностью преступления, которое общество совершало в отношении него; чудесная песнь из „Оперы нищего“, в которой невинная девушка, становящаяся проституткой, сравнивается с цветком, который, будучи выброшен, „гниет, смердит, умирает и топчется ногами“, для публики XVIII века не была аллегорией, но самыми настоящими фактами».

Тема проституции (а вернее, проституток), в которой жалость смешивается с живописанием любовных соблазнов, начинает настойчиво пробивать себе дорогу именно в эти годы, а с середины XIX века расцветет в полной мере; непременные ее составляющие — гуманизм, обличение социальных несправедливостей, надежда на спасение и сомнительные радости продажной любви. Напомню, что «Опера нищего», о которой говорит Дженкинс, — это знаменитое произведение, в котором перемежаются разговорная речь и арии, написанный Джоном Геем. Фабула основана на череде плутовских и любовных авантур. Главный герой Макхит — молодой повеса, любимец женщин, завсегдатай трех мест, где безраздельно властвует беззаконие: борделя, игорного дома и таверны.

Все три заведения мы обнаружим и на полотнах самого знаменитого цикла Хогарта — той самой «Карьеры мота», ради которой я советую вам наведаваться в дом-музей сэра Джона Соуна.

В «Опере нищего» политики, аристократы и буржуа сравниваются с проститутками, распутниками, шантажистами и сыщиками; вывод один: все эти люди — одного поля ягода. История имеет счастливый финал, но мораль от этого не становится менее язвительной. Заключительная фраза гласит: «Такое сходство в поведении сильных и слабых мира сего, что трудно решить, кто кому подражает в модных пороках — знатные джентльмены джентльменам с большой дороги или наоборот»¹.

Среди многочисленных романов, вращающихся вокруг темы проституции, можно упомянуть и «Молль Флендерс» Даниэля Дефо, полное название которого «Радости и горести знаменитой Молль Флендерс» (1722). Дефо помнят главным образом как автора «Робинзона Крузо», но на самом деле он опубликовал, как это ни невероятно звучит, четыреста текстов!

В «Молль Флендерс» рассказывается от первого лица воображаемая биография авантюристки и проститутки, пять раз побывавшей замужем, в том числе за собственным братом, профессиональной воровки, сосланной в Виргинию, а под конец жизни богатой приличной дамы. В основу романа была положена (хотя и порядком переработанная) история жизни одной воровки, умершей в Лондоне в 1659 году и ставшей героиней городского фольклора.

Любопытно складывалась жизнь и у самого Дефо. Он был сыном мелкого торговца родом из Нидерландов, которого звали Джеймс Фо. Когда Даниэлю было около сорока и он уже опубликовал кое-какие из своих произведений, ему пришлось в голову ставить перед своей фамилией приставку Де, которая, как в итальянском и французском языках, намекала на якобы благородное происхождение. Ему было почти шестьдесят, когда в 1719 году он издаст «Робинзона Крузо», к этому времени у него за плечами имелся немалый опыт предпринимателя, политического информатора, журналиста и публици-

¹ Перевод П. Мелковой.

ста. Благодаря романам, в том числе «Молль Флендерс», Дефо скопил приличную сумму, но деньги впоследствии таинственным образом исчезли, и умер он в бедности и одиночестве в съемной комнате в Лондоне в 1731 году, в семьдесят с небольшим лет. Его жизнь — еще один возможный вариант биографии буржуа.

Следующее произведение, связанное с похождениями проститутки, — «Фанни Хилл» (1749) Джона Клееланда, история, больше известная под названием «Мемуары женщины для утех». Клееланд, как и Дефо, не понаслышке знал тюрьму, и именно в камере (попав в нее за долги) он написал свой считающийся прототипом эротической литературы роман, балансирующий на грани с порнографией. Произведение снискало успех, но многочисленные переиздания в разной степени подвергались цензурной чистке в самых смелых пассажах. Писателю, обвиненному в непристойном сочинительстве, пришлось пережить судебной процесс, в результате которого он был оправдан. Может быть, сыграли роль его слова о том, что написал он эту книгу лишь потому, что нуждался в деньгах. И действительно, некоторые сцены были настолько скабрёзными, что в 1963 году, когда текст был опубликован в Англии в оригинальной версии, полиция распорядилась изъять тираж. Надо добавить, что Клееланд написал еще четыре эротических романа, имевших меньший успех; умер он тоже бедным в возрасте семидесяти девяти лет.

Безусловно, Хогарт испытывал влияние этой литературы, ищущей вдохновения на дне общества. Не забывайте, что это были времена, когда нищета и богатство шли рука об руку, часто даже в большей степени, нежели сегодня. Отсутствие уверенности в завтрашнем дне толкало бедных на разного рода преступления, в том числе против нравственности. Но и богатые не могли чувствовать себя в полной безопасности. В безжалостном обществе, лишенном гарантий, где начал свою безудержную гонку «хищный дух» капитализма, удар судьбы мог внезапно и безвозвратно разру-

шить все. Перед мужчинами могла открыться бездна попрошайничества или преступности, перед женщинами — омут торговли собственным телом.

Однако как в буржуазном мире, так и на дне появлялись вызывающие восхищение фигуры. Благодаря своим талантам они каким-то образом сумели утвердиться. Имя великого мошенника, о котором пойдет речь ниже, уже встречалось на страницах этой книги, в главе «Призрак в ночи». Речь идет о Джонатане Уайльде.

Уайльд одним из первых понял, что в мире, основой движущей силой которого являются деньги, криминальная деятельность может принести гораздо больший доход, нежели законная. Остается только найти зазоры, оставленные несовершенством законов и людскими слабостями, чтобы жить в достатке и без излишних рисков.

Этот человек родился в 1682 году в провинциальном городке в Стаффордшире и рано, с пятнадцати лет, начал работать помощником мастерового. Потом он женился, у него родился сын... Казалось, его ожидает такая же безрадостная участь, как других. Однако по неизвестным нам причинам, спустя несколько месяцев после рождения ребенка, Джонатан оставляет семью и отправляется в Лондон, где сходитесь с некоей Мэри Миллинер, развратной девицей, искушенной в плотских грехах. Выгода этого распутного альянса состояла в том, что Джонатан, живя с ней, раскрыл в себе подлинное призвание. Наделенный изощренным умом и напроочь лишенный моральных предрассудков, он становится своего рода консультантом многочисленных взломщиков, карманников и грабителей, которым столица предоставляет благодатную почву для деятельности.

Незадолго до его появления в Лондоне парламент одобрил закон, рассматривавший скупку краденого как преступление. Одним словом, тот, кто покупал товар, зная о его незаконном происхождении, подпадал под уголовную ответственность. Этот закон, которого давно ждали, призван был стать преградой на пути криминальной торговли, шедшей параллельно

законной. И Уайльд понял, что, опираясь на этот закон, он и сможет сделать себе состояние.

Великолепное знание воровского мира и авторитет, который он заработал в глазах криминальных элементов, послужили тому, что Джонатан без труда мог узнать, когда и в чьем доме совершалась кража и что именно было похищено. Если дело того стоило, он скупал краденое, а далее начинался спектакль.

Облачившись в свой лучший костюм, Джонатан являлся в дом потерпевшего и держал перед ним примерно такую речь:

— Досточтимый сударь, сложилось так, что я узнал о том, что вас обокрали. Один мой друг, честнейший торговец, получил предложение купить кое-какие ценные вещи. Он спросил у меня совета, но, поскольку у меня возникли подозрения, я рекомендовал ему приостановить переговоры. Не исключено, что некоторые предметы принадлежат именно вам. Если так оно и есть, то вы, слава богу, могли бы получить их назад. Разумеется, дело это деликатное, и следует сохранять максимальную конфиденциальность, либо все может расстроиться...

Кто, лишившись ценных или просто дорогих сердцу вещей, не принял бы подобное соглашение? В тех редких случаях, когда в ответ слышались оскорбления или угрозы, Джонатан, не смущаясь, парировал:

— Сударь, я пришел, чтобы помочь вам, но вижу, что вы реагируете очень болезненно. Уверяю вас, напрасно! Как бы то ни было, меня зовут Джонатан Уайльд, я живу на Кок-элли, Криппгейт, и вы найдете меня там в любое время. Всего доброго. — И с оскорбленным видом удалялся.

Дела пошли так хорошо, что через несколько месяцев роли поменялись. Теперь уже не Уайльд шел к пострадавшим, а они к нему, умоляя о помощи. Он принимал их со всеми формальностями следственной процедуры: подробно осведомлялся об обстоятельствах кражи, о ценности предметов, о возможных подозреваемых и о любых других деталях, которые могли бы ему «помочь в поиске». Чаще всего этот пройдоха уже все знал и с удовольствием разыгрывал спектакль; иногда он и правда

не знал о краже, и в таком случае осведомители криминального мира получали серьезное внушение за то, что его вовремя не поставили в известность. Широкая сеть сообщников включала, кстати, не только преступников, но представителей законности, от судей до полицейских чинов.

Джонатан был приятным собеседником, щедрым и пунктуальным в том, что касалось оплаты. Однако его громадные заработки у многих стали вызывать зависть, а это всегда чревато. Серия взаимных вендетт подпортила кое с кем отношения, а самые строптивые из воров оказались на виселице, им же и выданные. Когда сумма неприязни возобладала над числом сообщников, Уайльд понял, что над его головой нависла опасность, и скрылся из виду.

По прошествии нескольких недель кто-то проинформировал его, что буря утихла и он может вернуться домой. Но это была ловушка. Как только Джонатан переступил порог своего дома, его арестовали. Произошло это 15 февраля 1725 года.

Процесс начался в Олд-Бейли в следующую среду, 24 февраля. Несколько свидетелей под присягой разоблачили интриги, устроенные обвиняемым; суд присяжных признал Джонатана Уайльда виновным с обычным для того времени приговором: повешение. Джонатан попытался избежать казни, выпив лауданум, но выжил; единственный результат этой попытки суицида — оглушенное состояние, в каком его вывели на виселицу.

Ненависть к пройдохе была столь сильна, что из толпы в него полетел град камней, столь частый, что рисковали здоровьем сопровождавшие его стражники. В тот день казнили четверых или пятерых преступников; палач решил оставить Уайльда последним, чтобы тот немного пришел в себя на свежем воздухе. Но когда толпа зашумела, требуя казни, палач поспешил удовлетворить ее требование. Случилось это 24 мая, Уайльду было сорок три года.

В последней воле он попросил похоронить его на кладбище церкви Святого Панкратия, рядом с третьей женой Элизабет Мэни, и его просьба была исполнена. Однако несколь-

ко дней спустя могила была осквернена и тело исчезло, почти наверняка похищенное одним из тех «охотников за трупами», которые добывали материал для практики по анатомии. Где оказалось тело (по крайней мере, скелет), мы в любом случае знаем: кто хочет, может лицезреть его за стеклом музейного шкафа в злобещей коллекции доктора Хантера.

Буржуазная природа Уильяма Хогарта порождает, среди прочего, любопытный парадокс. Художник, который в своих картинах так страстно бичует вульгарность и меркантилизм эпохи, сам был большим новатором в области меркантилизма. Он анонсировал свои картины в газетах, открывал подписку для желающих приобрести их, вписывая в объявления слова на грани морализаторства и пропаганды: «Поскольку эти работы были задуманы больше для пользы, нежели для украшения, автор сделал так, чтобы они были по карману тем, кто мог бы быть в них заинтересован». На растиражированную серию «Карьера куртизанки» он сумел найти тысячу двести подписчиков; картины шли по цене одна гиней.

Хогарт пробовал себя и в портретной живописи. Однажды он признался, что «сделал для себя обескураживающее открытие: тот, кто желает обрести успех в портретной живописи, должен обожествлять людей, которых изображает». Но это «открытие» не вписывалось в канву его творчества. Сугубо меркантильный дух Хогарта внушал ему писать портреты с таким реализмом, что он признается: «Мои портреты имеют судьбу, подобную портретам Рембрандта; по мнению некоторых, они раскрывают человеческую природу, другие же находят их гнусными».

Успех цикла под названием «Карьера куртизанки» побудил Хогарта к работе над другим циклом на схожую тему. Если «Куртизанка» состояла из шести частей, то новый цикл насчитывал восемь картин и получил название «Карьера мота» —

речь идет о тех самых восьми полотнах, что хранятся в домее музее сэра Джона Соуна.

Хогарт работал над этим «романом в картинах» с декабря 1733-го по июнь 1735 года. Как водится, приступив к работе, он поместил объявление в «Country Journal», открыв подписку на эстампы с будущих картин.

На полотнах цикла изображена жизнь молодого человека, Тома Рэквелла, который после смерти отца стал наследником значительного состояния. На первой картине портной снимает с «молодого господина», вероятно только что окончившего учебу в Оксфорде, мерки для траурного платья. Тем временем молодая беременная барышня и ее мать (они стоят в дверях) пытаются напомнить Тому об обязательствах, которые он возложил на себя, став причиной ее «интересного положения». Вторая картина повествует о его жизни в роскоши: наш герой окружен льстецами и приживалами. Необычайно живая третья сцена — в таверне, — не оставляющая сомнений в том, что для Тома началось движение по нисходящей. В следующем эпизоде происходит его арест, и бедняжка беременная тщетно пытается его спасти. Наконец, Том женится, но не на великодушной девушке, а на богатой подслеповатой старухе. Пока беспринципный священник благословляет их союз, Том замечает молодую служанку жены. Разжившись деньгами, неисправимый Том отправляется в игорный дом, где его обчищают до нитки, и он попадает в тюремную камеру (седьмой эпизод). Навестить его приходят и жена-старуха, что-то кричащая ему в уши, и беременная девушка, уже совсем отчаявшаяся. Финал — дом для умалишенных (последний эпизод); Том лежит полуголый на полу, окруженный безумцами, мечущимися вокруг него в бессмысленных или похабных позах.

Помимо очевидных морализаторских устремлений, в этой серии поражает репортерская точность деталей каждой из сцен: интерьеры, одежда, фигуры дальнего плана, параллельные основному действию. Именно это обилие нарративного материала столь сближает картины Хогарта с романами его

друзей-писателей. Впрочем, еще со времен работы над «Карьерой куртизанки» художник ясно осознавал свои художественные принципы:

«Я подумал, что благоговением перед „историческим“ стилем как писатели, так и живописцы совершенно обошли вниманием ту тематику, которую можно расценивать на грани между высоким и гротескным. Поэтому я поставил себе целью создавать живописные полотна, подобные театральным постановкам, и надеюсь, что их будут оценивать той же меркой и критиковать по тем же критериям».

События, подобные изображенным у Хогарта, воссоздают в своих произведениях Дефо, Ричардсон, Филдинг, Стерн — основоположники буржуазной прозы. Просматривается почти журналистский пыл в той энергии, с которой и художник, и упомянутые писатели анализируют самые разные реалии общества и его представителей: тут и политики и судьи, и богачи и нищие, и священники и певички, и сумасшедшие дома и таверны, и петушиные бои и ярмарки, дамы-компаньонки, франты, преступники, проститутки...

Хогарт — первый английский художник, написавший портрет настоящей преступницы. Речь идет о проницательном наброске Сары Малкольм, сделанном по просьбе писателя Хораса Уолпола, автора «Замка Отранто». Для наброска с натуры в тюрьму Ньюгейт Уильяма провел тесть Торнхилл. В день, когда была казнена эта женщина, газета «The Daily Advertiser» цинично писала:

«В прошлый понедельник талантливый м-р Хогарт посетил заключенную и выполнил пером очень близкий к оригиналу портрет, так что особые приметы этой весьма неординарной женщины могут узнать и те, кто уже не сможет увидеть ее вживую».

Когда другой преступник по имени Джек Шеппард был пойман после попытки к бегству, десятки людей направились

в тюрьму, чтобы посмотреть на осужденного, вновь запертого в камере. Очень хорошо расходились эстампы (один из них — сделанный тестем Хогарта), изображавшие приговоренного, закованного в тяжелые цепи. В случае с лордом Ловатом, вздернутым на виселице за участие в мятеже, Хогарт поспешил на место, чтобы запечатлеть его первым. Он выполнил удивительно выразительный эстамп, который с успехом продавался по цене один шиллинг за копию, принося автору по двенадцать фунтов в день в течение нескольких недель. Хогарт был художником, живописцем, но по духу ничто не отличает его от некоторых современных фоторепортеров, обходящих подобного рода события и персонажей.

В своих циклах Хогарт изображает распутных антигероев до невероятия правдоподобно. Движут им, несомненно, гуманистические и воспитательные мотивы, но от этого порок не теряет притягательной силы для изучающего его вблизи «добродетельного» человека. Дефо ведет себя аналогичным образом, скажем, со своей Молль Флендерс: он пишет с позиций внимательного аналитика, но вместе с тем в его повествовании звучат нотки восхищения. Правдоподобие и того и другого черпается из жизни. Хогарт, например, остался глубоко поражен одной мрачной сценой, виденной им в притоне, где проститутка плюнула вином в лицо «конкурентки»; Дефо долгое время в роли журналиста посещал английские тюрьмы. Среда и персонажи, вынесенные из такого опыта, затем детально выписывались на холсте или на страницах книги.

Говоря о произведениях Хогарта, некоторые критики отмечают высокую степень проработки деталей, считая их «достойными кисти голландского художника». Именно фламандские мастера, с их доскональным воссозданием интерьеров, детальной прорисовкой костюмов и предметов, достигли в этой области художественных (и «повествовательных») вершин. В том числе и потому, что итальянцы, не затронутые до поры до времени потоком «обужуазивания» жизни, совершенствовали свое мастерство в других живописных жанрах.

«Робинзон Крузо» — первый текст, в котором повседневные действия обычного человека становятся объектом пристального писательского внимания. Молль Флендерс изъясняется языком простого человека; испорченный язык становится еще одним ее отличительным признаком. Создавая «Тома Джонса», Генри Филдинг добавил романному жанру важную черту — авантюрную интригу. Живопись Уильяма Хогарта также полна авантюрных сюжетов. Вернее, она ими изобилует настолько, что это позволило кому-то сказать, что Хогарт, ни много ни мало, прародитель романа-комикса.

Социальная сатира — другой отличительный элемент этих произведений. Джонатан Свифт (1667—1745), автор «Путешествий Гулливера», в своем знаменитом «Скромном предложении во избежание того, чтобы дети бедняков становились обузой для своих родителей» доходит до крайности. В чем заключалось скромное предложение, хорошо известно: облегчить участь бедных родителей, дав им разрешение продавать богачам своих детей, чтобы те пустили их на еду. Это облеченное в форму сарказма суровое обличение, которым Свифт (ирландец по происхождению) обращал внимание на ужасную нищету его земли.

Любопытное попутное замечание: Свифт, помимо прочего, автор слова «Yahoo», которое не только имя мощной поисковой системы, но и название, придуманное им для людей-дикарей, населяющих в «Путешествиях Гулливера» страну разумных лошадей.

Еще одним признаком «буржуазной» литературы в описываемые годы становится сатира, известная древним латинянам, которые, более того, приписывали себе ее авторство (*Satura tota nostra est*¹), хотя со временем и подрастеряли навыки к ней. Сатира означает возможность пригвоздить к позорному столбу, из предосторожности прибегнув к маскировке, изъясны власти; это один из ингредиентов демократии, один из индикаторов ее нормального функционирования. Са-

¹ Вся сатира — наша (лат).

тира предполагает сильную власть, но вместе с тем и наличие сил, способных держать ее под наблюдением, а при необходимости и карать. Если инкарнацией власти является человек с сильным характером, способный осуществлять политический контроль, но заносчивый настолько, что не дает себе труда скрывать собственные недостатки, то в свободной стране автоматически создается почва для сатиры. Был ли в Англии такой человек в описываемые года? Был.

Человек, являющийся знаковой фигурой не только в политике, но и в духовной атмосфере тех лет, — это Роберт Уолпол, граф Оксфорд (1676—1745). Отпрыск знатной фамилии, с прекрасным образованием за плечами, он совершает стремительный взлет, став депутатом от партии вигов в двадцать четыре года, военным министром в тридцать два и казначеем морского флота двумя годами позже. За взлетом последует столь же стремительное падение. Когда тори начнут лидировать, Уолпол потеряет кресло, попадет под суд за коррупцию, и на некоторое время его заключат в Тауэр.

Потом ветер снова меняется. На королеве Анне завершается правление династии Стюартов, их сменяют Ганноверы, и при Георге I Уолпол вновь начинает восхождение, поддерживаемый вигами, среди которых, однако, происходит раскол, вынудивший Уолпола перейти в оппозицию. Когда разразился скандал с *South Sea Company*, дерево вигов сотряслось до самых корней, но Уолпол, крепко ухватившись за ствол, сумел удержаться, более того, в 1721 году он снова лорд-канцлер и канцлер казначейства. Хотя Уолпол и не носит титул премьер-министра, но фактически выполняет его функции. Гений демагогии позволяет ему, несмотря на высокий пост, оставить за собой кресло в палате общин, хотя согласно традиции он должен был перейти в палату лордов. Этот жест был благожелательно принят, плюс к тому именно палата общин осуществляла контроль за государственным бюджетом, а это немало важное преимущество.

Надувательская пирамида «Южных морей» и катастрофические последствия ее развала не стали печальным финалом

постреволюционной Англии. Наоборот, это начало периода процветания, торжества вульгарности и духа делячества, характеризующих вторую половину XVIII века. Если позволено делать сравнения (они всегда спорны, но иногда полезны), годы правления Георга I и Георга II Ганновера напоминают время беспечной и коррумпированной Третьей республики во Франции после Седана. Или, если продолжить сравнение, столь же беспечную и коррумпированную Италию восьмидесятых годов XX века, непосредственно накануне «Tangentopoli»¹: «Корабль плывет», как говорили в Италии, не задаваясь вопросом о том, откуда берется горячее.

Беззастенчивость Роберта Уолпола является отличительным признаком эпохи. Он ввязывается в интриги власти и выходит из них с уверенностью политика, знающего повороты фортуны. Его судят за коррупцию, потому что он коррумпирован, но не в вульгарном смысле мелкого политика, кладущего в карман стопку денег, чтобы обеспечить достойное существование семье. Его видение коррупции грандиозно; когда он заявляет, что «всякая совесть имеет свою цену», он делает это с высокомерной уверенностью того, кто знает человеческую душу, и того, кто может рассчитывать на прочную поддержку парламента, благосклонность суда, на неиссякающий поток «клиентов» и в конечном счете — на совершенную убежденность в том, что его действия, каковы бы ни были используемые инструменты, преследует цель всеобщего блага.

Общественное мнение улавливает, узнает, чувствует это беззастенчивое манипулирование деньгами. Джон Гей в своей «Опере нищего» изображает двор Георга II как некий разбойничий притон; Генри Филдинг проводит прозрачную параллель между сэр-ом Робертом Уолполом и заправилкой преступного мира Джонатаном Уайльдом; Александр Поуп в «Дунсиаде» обличает нравы, используя, как обычно, аллегорическую метафору, Свифт — отправляя своего Гулливера странствовать

¹ В переводе с итальянского — «Город взяток»; кампания по разоблачению коррупции в итальянских властных структурах в начале 1990-х гг. — Примеч. пер.

по землям, чей уродливый облик есть зеркало аморальности британцев. Если верить им, Англия превратилась в страну, где никто не сможет отличить аристократа, политика, буржуа от обыкновенного карманного вора. Может, это и преувеличение, но, как известно, художники не могут без гипербола.

После смерти тестя в 1734 году Хогарт получает в наследство его художественный инвентарь и решает открыть академию, в которой молодые таланты могли бы практиковаться, делая копии с оригиналов. Условие членства — уплата взноса с получением права голоса по любому решению, касающемуся ассоциации. Инновационные критерии, не утратившие актуальности и по сей день. Жизнерадостный весельчак, вместе с группой приятелей Хогарт учреждает общество под названием «Высокое общество бифштексов» (*Sublime Society of Beef Steaks*), шутливый лозунг которого звучал так: «Бифштексы и свобода». Как настоящий профессионал, он совместно с другими художниками направляет в парламент петицию с требованием запрета тиражировать гравюры без согласия автора. Пятнадцатого мая 1736 года парламент одобряет соответствующий закон, получивший название «Закон Хогарта», эмбрион того, что впоследствии станет институтом авторского права.

По случаю приема в ознаменование высадки Вильгельма III художник подает идею и соответствующий проект «публичной выставки картин» — инициатива, в Англии еще неизвестная, но со временем она превратится в традицию в Европе и во всем мире. Еще один шаг: в 1750 году Хогарт устроил лотерею, главным призом в которой была его собственная картина «Выступление войск в Финчли».

Многочисленные инициативы приносят неплохой доход. Буржуа Хогарту недавно стукнуло пятьдесят, и он может позволить себе приобрести чудесное имение в Чизвике, близ Темзы. В конце 1753 года художник опубликовал «Анализ красоты», теоретический трактат, в котором излагает и анализирует свою эстетическую концепцию, делая акцент на преимуществах «спиралевидной кривой». Через четыре года он будет назначен художником-хранителем собрания живо-

писи Его Величества. Хогарт на пике своей карьеры и, как всегда бывает с людьми, достигшими подобных высот, окружен друзьями, льстецами, врагами... В числе первых значится Дэвид Гаррик, великий актер, комедиограф, импресарно, человек, реформировавший и обновлявший сценическое искусство в том же направлении, в каком модернизировали живопись и литературу художники и писатели.

Гаррик выступал на сцене более двадцати лет, сыграв множество драматических и комедийных ролей. Я всегда представлял его, не знаю уж, насколько справедливо, человеком разносторонним, неоднозначным, деятельным, немного хвастливым, очень даровитым, как наш Витторио Гассман¹. Именно он создал современное сценическое пространство, то есть собственно сцену, имеющую четкие границы, взамен сцены елизаветинского театра, которая выглядела скорее как длинный помост, открытый с трех сторон. Он же ввел в обиход живописные задники, на фоне которых разворачивалось действие, придавая ему тем самым большее правдоподобие; со временем они перерастут в современные декорации. Наконец, именно Гаррик окончательно утвердил Шекспира на британской сцене: «Ричард III» был его первым большим успехом, а «Король Лир» — непревзойденным шедевром.

Второго июля 1763 года в «*Sant James's Chronicle*» появляется сообщение о том, что Уильям Хогарт, переживший апоплексический удар, находится в тяжелом состоянии. Это было не совсем верно, и художник ответит язвительной гравюрой. Но и истина была близка. Художник и в самом деле плохо себя чувствовал и в августе следующего года написал завещание, распределив свое имущество между родственниками. Буржуа до мозга костей, он и в этом поведет себя соответственно правилам своего класса.

В октябре, в связи с ухудшением состояния, он переезжает из Чизвика в Лондон, в свой дом на Лестер-филдс. Тут у него начинаются сильные приступы рвоты, и он умирает. На ка-

¹ Гассман, Витторио (1922—2000) — итальянский актер и режиссер, писатель. — Примеч. ред.

лендаре 26 октября 1764 года, ему было шестьдесят семь лет: *requiescat*¹.

В жизни Хогарта не было громких событий, как не было их и в жизни британского королевства после треволнений и крови предшествующего столетия. Началась эпоха, в которую противоречия и скандалы в основном вертятся вокруг денег или альковов и вызывают скорее шумиху в прессе, нежели борьбу на баррикадах. В этом плане художник тоже зеркало своего времени. Во второй половине XVIII века английская буржуазия, кажется, исчерпала тот могучий импульс, основанный на смеси идеалов и прагматизма, который позволил ей занять позиции господствующего класса, потеснив аристократию. Это годы, когда она упрочивает достигнутое положение, годы, когда появляется книга, которая будет руководить ее действиями наравне с Библией: «Богатство народов» Адама Смита, новое евангелие либерального общества. В эти годы рождаются журналистика, сатира и политическая публицистика, наряду с прочным здравым смыслом, аккуратным ведением дел, религией прибыли как знака и подтверждения благоволения небес. С 1688 года уже не двор, а парламент является средоточием жизни страны. Взрывы, волнения, потребность в новом социальном и политическом балансе — все это уходит на континент, где в полной мере проявляется в июле 1789 года в Париже.

В жизни Хогарта не было никакого героизма, лишь медленное, но верное восхождение к процветанию. В этом художник не отличался от деловых людей и высоких чиновников, которые, умеренные или непримиримые, близорукие или дальновидные, милосердные или безжалостные, — все или без остатка вкладывали свой талант и волю в карьеру, реализуя в ней и только в ней все амбиции, все мечты о будущем, ограничивая ею свой жизненный горизонт. Лишь с приходом романтизма этот столь тривиальный магический круг снова будет разомкнут.

¹ Да упокоится (лат.) — слова католической заупокойной молитвы. — Примеч. пер.

ДАМА СО СВЕТИЛЬНИКОМ

В одном из корпусов новой больницы Сент-Томас на улице, куда редко заглядывают туристы (Лэмбет-Палас-роуд, 2), находится любопытный музей. Его стоит посетить тем, кто интересуется историей медицины, и в особенности неординарной фигурой Флоренс Найтингейл, женщины, создавшей службу медицинских сестер и, шире, больницу в современном представлении. В залах музея представлены документы, предметы, фотографии, костюмы, медицинские инструменты эпохи Крымской войны в ее санитарно-больничном аспекте. Существует и еще один памятник, посвященный той войне. Он расположен на Ватерлоо-плейс и увековечивает память тысяч погибших на ней солдат. Некоторые его элементы из бронзы были переплавлены из русских пушек, захваченных в Севастополе. На постаменте присутствует фигура Флоренс, изображенной в виде *The Lady with a lamp* — Дамы со светильником, и скоро мы узнаем, чему обязан этот благородный эпитет.

Что представляли из себя госпитали середины XIX века, даже вне драматических военных обстоятельств, долго объяснять не надо: рассадники заразы, чаще верный путь к могиле,

нежели надежда на выздоровление. До рождения больничной системы, достойной этого имени, лечебницы принадлежали благотворительным учреждениям или местным властям. Но даже после того, как стали появляться настоящие больницы, далеко не все больные имели возможность попасть туда на лечение. Дети, неизлечимые и заразные больные, беременные женщины, сумасшедшие, как правило, получали отказ и были вынуждены возвращаться домой ни с чем или обивать другие пороги в надежде на более сочувственный прием.

Местные власти, как правило, брали на себя содержание домов призрения с имеющейся при них санитарной службой, сумасшедших домов и больниц-изоляторов для заразных или эпидемических болезней. Неудовлетворительный уровень гигиены, незнание антисептических процедур, даже сама одежда врачей и санитаров, осуществлявших лечебные процедуры и операции не меняя платья, — все это были потенциальные патогенные факторы. Зачастую именно в больницах и вблизи них легче всего было подхватить инфекцию. До середины XIX века преобладала теория о том, что болезни передаются через нездоровый воздух (миазмы), стоячую воду, выгребные ямы. Полагали, что спустя какое-то время стены и потолки больничных помещений пропитываются *mephitic odours* — зловониями, превращающимися в источник инфекции. Большие палаты или коридоры со множеством коек считались оптимальными, еще лучше, если имелись окна на обе стороны, чтобы легче было проветривать помещения. И наоборот, следовало избегать маленьких помещений, которые при загроуженности наполнялись тошнотворными запахами.

Понимание того, что подлинными переносчиками болезней могут быть микроорганизмы, приходит только в 1850-х годах, и тому, чтобы эта гипотеза была принята всерьез и подвергнута проверке, послужила догадка одного венгерского гинеколога. Его звали Игнац Филипп Семмельвейс (1818—1865), он работал в венской больнице, где гинекологическое отделение соседствовало с залом для вскрытий. Нередко бывало так, что врачи сразу после вскрытия тела, даже не вымыв

рук, совершали осмотры недавно родивших женщин, соответственно имевших еще не затянувшиеся разрывы. Почти всегда именно несущие инфекцию руки вызывали так называемую родильную горячку, обрывавшую жизни многих. Высказав свое предположение, Семмельвейс подвергся резкой критике, но это не поколебало его убеждения; введенные им профилактические меры в конце концов доказали его правоту, хотя по жестокой иронии судьбы он сам скончался в возрасте всего лишь сорока семи лет, получив заражение крови во время хирургической операции.

В старом здании больницы Сент-Томас, которая находится все на том же южном берегу Темзы, но в некотором отдалении от нового корпуса, можно пополнить эти сведения, посетив, вероятно, старейший в Европе Старый анатомический театр (*The Old Operating Theatre*). Он был открыт в 1821 году и действовал на протяжении сорока с лишним лет. Затем больница переехала в другой корпус, а старое здание было частично снесено. Лишь по воле случая в пятидесятые годы в чердачных помещениях был обнаружен старинный операционный амфитеатр, ныне превращенный в музей. Сюда ведет узенькая винтовая лестница. Зал невелик, стены желтоватого цвета; вид операционного стола леденит душу: это деревянная доска, пол под которой присыпан стружкой, чтобы впитывать кровь; выставленные здесь хирургические инструменты больше напоминают орудия пыток. Хирурги проводили операцию, заглушая болевые ощущения пациента алкоголем, опиумом или мандрагорой. Лишь к середине века будут открыты анестезирующие свойства серного эфира. А до тех пор на операциях присутствовали три-четыре человека крепкого телосложения, которые должны были удерживать в максимально неподвижном положении извивающегося от боли несчастного. К примеру, доктор Роберт Листон с гордостью сообщал, что сумел 21 декабря 1846 года ампутировать ногу некоему Фредерику Черчиллю всего за тридцать шесть секунд.

Большей же частью перемен, произошедших в области условий госпитализации и ухода за больными, мы обязаны

женщине. Она носила изящное имя Флоренс и столь же изящную фамилию Найтингейл, что в переводе с английского значит «соловей».

Имя свое она получила потому, что родилась во Флоренции, 12 мая 1820 года, в очень состоятельной семье, часто бывавшей в Италии. Ее сестру, родившуюся в Неаполе, называли Партенопе¹. Очевидно, миссис Найтингейл без страха пускалась в путешествия даже будучи беременной, или, как минимум, не ощущала необходимости возвращаться на родину, в Англию, когда узнавала, что ожидает ребенка, — и это несмотря на оставленные многими путешественниками жуткие описания царившей в Италии, особенно на юге страны, антисанитарии.

Очень скоро стало понятно, что Флоренс не такая, как другие. В феврале 1837 года, в неполных семнадцать лет, она записала в своем дневнике: «Господь говорил со мной, призывая служить Ему».

Семья Найтингейл принадлежала к унитарной церкви, но, повзрослев, Флоренс перешла в англиканство. Какое-то время ее привлекало и католичество, но пугала запутанная теология Римской церкви, и в конце концов она от нее отошла.

Она никогда не была обручена и не выходила замуж; за ней ухаживал один молодой влюбленный, и Флоренс отвечала ему взаимностью, но в итоге решила отказаться от любви. Вполне вероятно, как предполагают ее биографы, она умерла девственницей, возможно унеся с собой в могилу потаенные лесбийские наклонности.

Флоренс не раз говорила, что имела видения, время от времени она впадала в подобие гипнотического транса — возможно, это были синдромы эпилепсии. В 1844 году она «улысалась», что ее подлинное призвание — забота о больных.

Несколькими годами позже родители Флоренс, обеспокоенные состоянием здоровья дочери, отправили ее на обучение и отдых в Египет. Флоренс, с ее беспокойной душой, под-

¹ По древнему названию Неаполи — Партенопея.

нялась вверх по Нилу, чтобы посмотреть памятники славной старины, и по сей день украшающие берега этой величественной реки. Но в плане ожиданий семьи путешествие оказалось бесполезным. Двенадцатого мая 1850 года, сидя в каюте корабля, Флоренс записала в дневнике:

«Сегодня мне исполняется тридцать лет. Возраст Христа, когда он начал свою миссию. Отныне никаких детских глупостей. Никакой любви. Никакого брака. Теперь, Господи, сделай так, чтобы я думала лишь о Твоей Воле, о том, чего Ты хочешь от меня. О, Господи, Воля Твоя, Воля Твоя».

По возвращении из того переломного путешествия Флоренс решает стать сестрой милосердия, ввергнув в ужас родных. В середине XIX века профессии медсестры, как таковой, не существовало: женщины, ухаживавшие за больными, зачастую были жалкими пьянчужками; если они были не совсем стары, их записывали в публичные женщины, поскольку уже сам по себе ежедневный контакт с обнаженными телами больных позволял видеть в них потенциальных проституток. Кроме того, санитарные условия в больницах действительно были ужасающими, достаточно сказать, что, когда пациент умирал, на его койку сразу же помещали другого больного, даже не сменив простыни. Так что несложно понять, какую тревогу должно было вызвать в почтенном семействе Найтингейл намерение Флоренс посвятить себя этому тяжелому и неблагодарному труду. Девушка, однако, настояла на своем, и в результате ее отправили в Германию в больницу Кайзерверт, находившуюся в ведении лютеранских диаконов. По возвращении оттуда, благодаря дружбе семьи с влиятельным депутатом Сиднеем Гербертом, который станет другом Флоренс на всю жизнь, она была назначена смотрительницей Лондонского туберкулезного санатория.

Я не ставлю перед собой цель проследить всю карьеру Флоренс, множество ее дел, все новшества, которые она ввела в больничную организацию — сегодня они могут показаться само собой разумеющимися, но тогда расценивались как чуть ли не революционный поворот. Чего стоит, к примеру,

электромеханическая система звонков, благодаря которой на табло отображался номер койки, откуда поступил вызов, — санитаркам теперь не приходилось бегать туда-сюда по больничным палатам, чтобы выяснить, кому требуется помощь; или система поэтажной раздачи еды, позволившая больным есть не совсем остывшую пищу.

Но кульминационный момент ее деятельности, благодаря которому имя мисс Найтингейл вошло в историю, связан с Крымской войной, не без оснований считающейся первой современной войной. В каком смысле был современным этот краткий, но кровопролитный конфликт? Во-первых, к нашей эпохе принадлежат использовавшиеся в ходе него технологии, в том числе оружие, во-вторых, это была первая война, которая освещалась почти «в прямом эфире» — как в газетных статьях, так и в фоторепортажах. Подобно тому, как война во Вьетнаме в семидесятые годы XX века будет первой «телевизионной» войной, Крымская война стала первой «фотовойной». Англичане, а позднее и другие союзники позволяли корреспондентам присутствовать практически на передовой, что придавало передаваемым телеграфом репортажам беспрецедентную яркость и приближенность к жизни. Другим важным новшеством стали суда на паровом ходу. Английские и французские корабли в основном приводились в движение машинами, в то время как турецкий и в значительной степени русский флот оставался преимущественно парусным и, как следствие, по части маневренности в открытом море катастрофически уступал флоту западных держав.

Другим преимуществом союзников было огнестрельное оружие с нарезными стволами, притом что у турок винтовки были гладкоствольными. Нарезное оружие обладало высокой точностью стрельбы и убойной силой даже на расстоянии в полтора километра; традиционные гладкоствольные карабины не превышали дальности полета в сто метров. В ходе конфликта были разработаны модели подводных лодок и танков, хотя практическое использование бронированной техники начнется только к концу Первой мировой войны.

Крымскую войну с войнами современности сближает еще один трагический фактор: в числе ее жертв было огромное количество гражданских лиц, в особенности вследствие долгой осады Севастополя. Ситуация с санитарными условиями и поставками продовольствия была катастрофической. Болезни (бушевали холера и дизентерия), недоедание, холод, послеоперационные инфекции лишили жизни больше военных и мирных жителей, чем гранаты и пули. Параллельное использование артиллерии, способной стрелять стокилограммовыми снарядами, и традиционного холодного оружия, шашек и штыков, приводило к многочисленным ранениям, как осколочным, так и колото-резаным.

Другая сторона Крымской войны связывает ее с давно ушедшими политическими реалиями. В середине XIX века де-лежом мира еще занимались четыре империи: российская, австро-венгерская, османская и британская. К ним можно прибавить и пятую, французскую империю, но ее размеры и политический вес уступали первым четырем. Что касается интересующей нас темы, следует сказать, что Крымская кампания оказалась очень тяжелой из-за климата, санитарных условий, местных обычаев и общего уровня развития. Когда первые британские соединения прибыли в Галлиполи, порт на входе в пролив Дарданеллы, один английский хирург записал: «Из всех диких и убогих мест, которые вы когда-либо видели или о которых слышали, Галлиполи наихудшее. На вид он отстает по меньшей мере на три столетия от всех других мест, где я бывал». Так что название города, произошедшее от сокращения двух греческих слов, означающих «красивый город», кажется злой шуткой.

Англичане сражались с присущей им суровостью. Когда флот Ее Величества обстрелял с моря город Одессу, выпустив тысячи снарядов по жилым зданиям, то даже французские газеты написали, что такая атака — «крайность».

Формальный повод к началу конфликта был поистине ничтожным. В 1850 году православные и католические священники в Иерусалиме начали тяжбу о привилегиях в важнейших

священных местах христианского культа, начиная со Святых яслей в Вифлееме. Ватикан мудро отстранился — в отличие от царя Николая, который воспользовался случаем, чтобы попросить Порту (Палестина тогда еще была османским протекторатом) о защите христиан православного исповедания. Президент Франции Луи Наполеон, который в декабре 1852 года станет императором под именем Наполеона III, решил выступить в защиту католиков. Ситуация быстро ухудшилась, в основном потому, что за религиозным предложением скрывались конкретные интересы. Россия желала ослабления Османской империи, чтобы получить выход в Средиземное море через Дарданеллы. Франция лелеяла планы усиления влияния в Египте. Что касается Англии, то она как раз опасалась, что Россия расширит свое присутствие в море, которое после Венского конгресса стало практически английским «озером». Оснований для войны было предостаточно, и она вспыхнула. Летом 1853 года русские открыли военные действия, заняв дунайские княжества Молдавии и Валахии. В экстренном порядке в Вене собираются полномочные представители европейских держав в поисках соглашения, но не находят его. В ноябре российский флот потопил несколько турецких кораблей. Франция и Великобритания, так сказать, в превентивном порядке отправляют флот на Черное море. В феврале 1854 года была официально объявлена война.

Несмотря на относительную непродолжительность, эта война оставила глубокий след и в судьбах Европы, и в памяти потомков. Не случайно ведь существуют в Париже широкий бульвар Севастополь и мост Альма (по названию реки к северу от Севастополя); не случайно во многих итальянских городах имеется улица Чёрная (*Cernaia*), по имени речки Чёрной, близ которой произошло ожесточеннейшее сражение.

Кроме того, Крым предоставил графу Кавуру возможность осуществить одну из своих самых блестящих политических операций. Сардинское королевство участвовало в кампании пятнадцатитысячным корпусом под командованием генерала Алессандро Ла Мармора. Австро-Венгрия, разумеется, не бы-

ла довольна присутствием пьемонтцев. Великобритания и Франция успокоили императора, пообещав ему, что сардинская армия примет участие в операциях, но в подчиненном положении и с финансированием из британских фондов. Однако Кавур отказался от прямого финансирования, приняв от англичан деньги исключительно на условиях займа с разумной ставкой в три процента.

В полной мере политический гений графа расправил крылья в Париже в 1856 году, за столом переговоров по окончании войны, где вырабатывались мирные положения. Уже то, что он сидел за столом на равных с представителями сильнейших держав Европы (а значит, и мира), было плодом мастерских маневров. А встать из-за стола, добившись принятия двух или трех предложений, выдвинутых маленьким Пьемонтом, — это было просто триумфом. Главное же следствие — то, что итальянский вопрос обсуждался на международных переговорах самого высшего уровня. С этого момента он прекратил быть лишь частным спором между Пьемонтским королевством и Австро-Венгерской империей.

Первое из четырех крупных сражений Крымской войны состоялось на реке Альма, как я уже говорил, к северу от Севастополя. Радость Наполеона III от победы была такова, что он распорядился в честь этого события перекинуть над Сеной новый мост, известный парижанам по двум моментам: во-первых, поблизости погибла в страшной автокатастрофе принцесса Диана; во-вторых, из четырех гигантских статуй у опор моста одна, статуя зуава, используется парижанами для измерения уровня воды в реке.

Битва на Альме, в которой впервые в прямом поединке сошлись враждующие армии, произошла в сентябре 1854 года. На высотах к югу от русла под командованием адмирала Меншикова оборону держали пехота (около тридцати тысяч человек) и кавалерия (три с половиной тысячи), у русских также были восемьдесят четыре артиллерийских орудия. За шесть суток (ровно столько длилось ожидание сражения) князь ничего не предпринял для защиты своих линий. Ветеран напо-

леоновских войн, он думал разрешить ситуацию с помощью массовой штыковой атаки, не желая знать, что вражеская пехота обладает значительным численным превосходством и оснащена более мощным и более точным оружием, нежели гладкоствольные ружья его войск. Уверенный в легкой победе, адмирал приказал построить в верхней точке высоты подобие трибуны, куда пригласил юных дам наблюдать за сражением, словно это был спектакль.

В тот серый день ранней осени франко-английские войска выстроились в боевом порядке, сияя белоснежными патронташами на красном и синем фоне мундиров: французские зуавы, турки, длинные ряды линейной пехоты; английские части, единственные защищенные кавалерией, выделялись слева своими красными кителями.

Французы продвигались стремительно, англичане, наоборот, шли неспешным, ритмичным шагом, несмотря на образовавшиеся в их рядах дыры; если падал один солдат, другие смыкали ряды, не сбиваясь с ритма. Солдаты союзников гибли, но гибли и русские; надо сказать, русские артиллеристы, которые вели огонь с незащищенных батарей, начали погибать, не успев понять, откуда летят пули. Возникла паника, ошеломленные гости поспешно были выведены с трибуны; многие неподготовленные командиры также были ошарашены мощностью вражеского оружия; генерал Киряков, который должен был командовать левым флангом, сбежал, укрывшись в какой-то яме. Сражение продлилось всего полтора часа. За эти девяносто минут на поле боя полегло около шести тысяч русских.

Попробуйте представить это поле по окончании фатального столкновения. Солдаты умирали от страшных ранений: искромсанное мясо, ожоги, оторванные руки и ноги в грязном месиве. В конце сражения на земле, пропитанной тошнотворным запахом крови, где-то текшей ручьями, где-то образовавшейся глубокие лужи, на которые слетались тысячи голодных насекомых, лежало почти десять тысяч человек. После прекращения стрельбы на несколько минут воцарилась ирреаль-

ная тишина, но затем, когда люди оправились от шока, повсюду стали раздаваться душераздирающие вопли, проклятия и стенания.

Крымские отчеты и дневники, русские и союзнические, рассказывают об одних и тех же ужасах.

При подъезде к Севастополю русский хирург Николай Пирогов видел раненых, в том числе с ампутированными конечностями. Они лежали по двое или по трое в повозках и дрожали от холода и дождя. Люди и животные с трудом передвигались в доходившей до колен грязи; вдоль дороги лежали мертвые животные — вздувшиеся туши быков, которые то и дело лопались; крики раненых и карканье хищных птиц, стаями слетавшихся на добычу. Вдалеке грохот пушек Севастополя.

Вот еще одно воспоминание:

«Нет ничего ужаснее вида развороченного пушечным ядром или снарядом тела. В несчастного угодило два пушечных снаряда, в голову и тело. Третий снаряд взорвался на нем и разорвал его на куски. Только по обрывкам ткани с форменными пуговицами можно было понять, что кровавая масса прежде была человеком... У некоторых, словно секирой, был расколот череп, другие, раненные в грудь или живот, буквально превратились в кровавое месиво, словно проверченные в какой-то машине».

Что делали с этими страшными ранами? В середине XIX века техника хирургии была довольно примитивной. Раны сшивали, раздробленные конечности ампутировали при помощи ножа и пилы; в качестве анестезии применялись только хлороформ (открытый в 1846 году) или щедрая доза алкоголя. Антисептические нормы тоже были рудиментарными, отсюда частые случаи заражения из-за недостаточной обработки ран.

Можно вообразить, каковы были условия в полевом госпитале, куда десятками свозились раненые и где операции часто

проводили под открытым небом или при слабом свете свечей, под обстрелом вражеской артиллерии. Во время Крымской кампании военные медики испытывали недостаток практически во всем. Не хватало самых необходимых в таких обстоятельствах средств и инструментов: жгутов, щипцов для извлечения пуль, ниток для наложения швов, хлороформа, дезинфицирующих препаратов. Выгрузив с повозок тех раненых, в которых еще теплилась жизнь, несчастных укладывали прямо на голую землю, зачастую в грязь. Повязки на поврежденные конечности не накладывали до тех пор, пока врач не решал, следует или нет производить ампутацию. Медики метались от одного раненого к другому, пытаясь установить порядок очередности, и часто делали операцию, даже не перенося раненого с земли.

Русский мемуарист оставил описание буфета при одном из таких военных «госпиталей»:

«Врачи скорой помощи являлись бегом в фартуках из клеенки, стоявших колом от свернувшейся крови, их руки в ошметках присохшего мяса блестели, как перчатки из запекшейся крови. Этими руками они наскоро отправляли в рот цыпленка и, облизав окровавленные пальцы, в спешке возвращались к своей жуткой работе».

Из хроники того времени мы знаем, что многие ампутации производились крайне неудачно, скажем, из сорока четырех прооперированных пациентов тридцать шесть после операции не выживали. Как ни парадоксально звучит, наибольшее количество летальных исходов вызывали заразившихся холерой и дизентерией. Один хроникер пишет, что зловоние, идущее от больниц, было столь сильным, что ощущалось на значительном расстоянии. В годы, когда шла эта война, еще почти ничего не знали о бацилле — переносчике холеры.

Возможно, тяжелее всего было положение англичан. Русские своих раненых лечили в Севастополе, французы устраи-

ли весьма неплохо оборудованный госпиталь близ фронтовой линии, британцев же грузили на корабли и везли в Скутари¹, на противоположный берег Черного моря, напротив Константинополя, где султан предоставил войскам Ее Величества пустые казармы, приспособленные под госпиталь. Холерные больные испытывали непрекращающиеся страдания. Помимо постоянных позывов к испражнению, их мучили страшные судороги и рвота; к тому же их организм был сильно обезвожен, и как следствие была повышена концентрация плазмы в крови. Болезненные судороги иногда принимали вид настоящих эпилептических припадков.

В таком состоянии люди должны были взбираться на борт корабля по крутым приставным лестницам. Там их укладывали на палубе, где они лежали по нескольку дней, укрытые лишь одним одеялом, часто пропитанным кровью и калом.

Антрополог и психиатр Роберт Б. Эджертон в своей замечательной книге «Слава или смерть», посвященной Крымской войне, так описывает их состояние во время перевозки морем:

«Они лежали на палубе жаркими днями и холодными ночами, покрытые испражнениями, терзаемые мухами, блохами, вшами и червями; плечи и ягодицы их были ободраны о качающиеся доски палубы».

На английский корабль «Kangaroo», вмещавший 250 пассажиров, было погружено полторы тысячи больных и раненых. На другом корабле, «Caduceus», при пересечении моря умерли 114 больных из 430. Трупы выбрасывали прямо за борт. Высокопоставленный викторианец Литтон Стрейчи заметил по этому поводу: «Кто может сказать, что именно им выпала самая злая судьба?»

Люди, которым удавалось выжить на следующем, не менее тягостном этапе перевозки, набитые в повозки без рессор, попадали в последний круг своего ада — госпиталь. Состояние

¹ Ныне г. Шюдер в Албании.

раненых было по большому счету одинаковым, то есть ужасным, как с франко-английской, так и с русской стороны.

Писатель Лев Толстой служил офицером в Севастополе, где принял участие в нескольких столкновениях и где в марте 1855 года созрело его решение оставить армию: «Военная карьера — не моя, и чем раньше я из нее выберусь, чтобы вполне предаться литературной, тем будет лучше». В Севастополе Толстой написал рассказ-репортаж «Севастополь в декабре месяце», где описывает ситуацию в русском тылу:

«...В той комнате делают перевязки и операции. Вы увидите там докторов с окровавленными по локти руками и бледными угрюмыми физиономиями, занятых около койки, на которой, с открытыми глазами и говоря, как в бреду, бессмысленные, иногда простые и трогательные слова, лежит раненый под влиянием хлороформа. Доктора заняты отвратительным, но благотельным делом ампутаций. Вы увидите, как острый кривой нож входит в белое здоровое тело; увидите, как с ужасным, раздирающим криком и проклятиями раненый вдруг приходит в чувство; увидите, как фельдшер бросит в угол отрезанную руку; увидите, как на носилках лежит, в той же комнате, другой раненый и, глядя на операцию товарища, корчится и стонет не столько от физической боли, сколько от моральных страданий ожидания, — увидите ужасные, потрясающие душу зрелища; увидите войну не в правильном, красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знаменами и гарцующими генералами, а увидите войну в настоящем ее выражении — в крови, в страданиях, в смерти...»

Великий писатель вспомнит эти ужасающие картины, когда десять лет спустя будет работать над «Войной и миром». Его «Севастопольские рассказы» вызывают полемику, но на этих страницах изображены все неизбежные жестокости войны и героизм народа, призванного к оружию: «Надолго останется в России великие следы эта эпопея Севастополя, который

героем был народ русский...» Чтобы позабылся Крым, потребуются двадцать миллионов погибших во Второй мировой войне.

Флоренс Найтингейл прибыла в Скутари 4 ноября 1854 года, спустя десять дней после Балаклавского сражения и за день до Инкерманского боя. Репортажи корреспондентов, особенно о состоянии военных госпиталей, глубоко потрясли британское общественное мнение. Во фронтовой хронике ситуация описывалась в таких ужасных выражениях, что правительство Ее Величества почувствовало необходимость принять срочные меры. Первой — и лучшей — мыслью было обратиться к Найтингейл, которая отличилась как умелый организатор санитарных структур. В середине октября военный министр Лорд Сидней Герберт попросил Флоренс собрать определенное количество медсестер и как можно скорее отправиться в путь.

Поскольку конкретной профессии медсестры не существовало, среди женщин, которых смогла набрать Флоренс, были благородные дамы, движимые человеколюбием, и представительницы различных религиозных орденов. Большей частью это были протестантки, но и некоторое число католичек, в основном ирландки. Речь шла о женщинах преимущественно из низких сословий, лелеющих надежду что-то заработать в этой сопряженной с рисками миссии. Многие из них позднее оказались сильно пьющими или столь распущенными, что их пришлось срочно репатриировать, пока они не успели надолго слишком больших неприятностей.

Эти странные волонтерки нашли воплощение в фигуре Сары Гэмп, одного из персонажей второго плана, описанных Диккенсом в романе «Жизнь и приключения Мартина Чезлвита». Писатель изобразил, прибавив несколько карикатурных черт, весьма типичную для того времени фигуру. Сара — не слишком щепетильная в своем деле сиделка, алчная, невежественная пьяница, но при этом вызывающая симпатию;

женщина вульгарная, но исполненная того характерного для народа грубоватого здравого смысла, символом которого стал неуклюже свернутый зонтик, который она таскает с собой с таким постоянством, что слово *Gamp* стало синонимом зонтика.

Если некоторые из этих женщин и были алкоголичками или распутницами, все же большая часть исполняла свой долг с самоотдачей, которую не будет преувеличением назвать героической, ведь они ухаживали за больными в отвратительном состоянии, людьми, почти обезумевшими от страданий и ужаса. Многие из этих женщин в свою очередь заболели холерой, некоторые из них умерли.

Уже первое сражение на реке Альма подвергло шаткую санитарную организацию, которую удалось к тому времени создать, суровому испытанию. Предоставленная султаном старая казарма в Скутари помещалась над густой сетью клоак и выгребных ям, вонь от которых проникала в помещения. Англичане привезли в казарму четыре тысячи коек с похвальным намерением принять как можно больше раненых. Увы, приходилось мириться с такой теснотой, что почти невозможно было протиснуться между кроватями. Система вентиляции никуда не годилась, хронически не хватало принадлежностей и инструментария. В одном из своих первых высказываний о ситуации Флоренс заметила, что если бы все насекомые и паразиты, населявшие палаты, решили объединить силы, то они могли бы погрузить на свои спины шесть километров коек и «доставить их процессией до самого Военного министерства».

Можно вообразить, какой эффект произвело прибытие этой женской бригады под женским же командованием в среде военных, измотанных работой или собственной неготовностью адекватно воспринять ситуацию. Глава военной санитарной службы британской армии, некий Джон Холл, был в спешном порядке вызван из Индии. Из его уст прозвучали такие безответственные слова, как: «Пусть это покажется варварским, производимая скальпелем жгучая боль — мощное

стимулирующее средство. Лучше слышать, как человек кричит, чем видеть, как он погружается в могильную тишину». Возможно, он хотел показаться сильной личностью, но не избежал суровых оценок. О нем говорили: «Холл достойный представитель системы, в которой правит невежество, апатия и идиотизм». Изю всех злых высказываний на его счет — по видимому, вполне заслуженных — самое язвительное принадлежит самой Флоренс. Когда доктору Холлу присвоили почетную степень KCB — Кавалера Ордена Бани (*Knight Commander of the Order of the Bath*), Найтингейл написала лорду Герберту, что в случае Холла аббревиатуру следует расшифровывать как Кавалер крымских кладбищ (*Knight of the Crimean Burial Grounds*).

В госпитале Скутари на каждое койке лежало страждущее, зараженное, кровоточащее тело. После первого знакомства с обстановкой Флоренс не могла удержаться от того, чтобы не воскликнуть: «Я видела дома в худших районах Европы, но ни разу еще не проводила ночь в атмосфере, подобной этой!» В госпитале отсутствовало все, от мыла до тарелок, от обуви до полотенец. Не было прачечной, многие доски пола сгнили, насекомые кишели повсюду, простыни были из такой грубой парусины, что раненые получали от лежания на них язвы и умоляли оставить им те одеяла, под которыми их привезли. Работу санитаров выполняли выздоравливающие солдаты, часто с такой небрежностью, что это становилось причиной усугубления состояния больных.

Людой здравомыслящий человек отказался бы от идеи как-то исправить ситуацию. Собственно, именно это все и делали до сих пор. Флоренс, однако, не была здравомыслящим человеком. Ею владел тот тип сосредоточенной страстности, который позволяет выполнять дела, для других невыполнимые. Она была во власти суровой самоотверженности тех, кого называют святыми. Подобная самоотверженность движет религиозными реформаторами, создателями капиталов, поглощенными собственным эго, безумцами. Найтингейл была из этой породы. Если кто-то воображает за романтичным названием

«Дама со светильником» хрупкую девушку, готовую в слезах бегать по полю боя или по больничным палатам, нежного ангела милосердия, тот ошибается. Флоренс не была ни романым персонажем, ни филантропической барышней. Ей удалось утвердить свою волю и провести необходимые реформы только ценой, как признает Стрейчи, «суровой методичности и строгой дисциплины вкупе с твердой решимостью непоколебимой воли». Ее идеализировали поэты. В 1857 году Генри Лонгфелло посвящает ей поэму, в которой описывает, как она ходила по ночам по госпиталю с лампой в руке, чтобы проверить больных: «В тот час страдания я вижу Даму со светильником...»

Флоренс обыкновенно обходила палаты не спеша, с выражением сочувственного понимания на лице, внешне спокойная и не тревожимая стонами и криками, участливая со всеми. Рассказывали, что ее появление имело магическую силу; когда она приближалась к операционному столу, на который вот-вот должны были положить нового пациента, на человека, которому предстояло вынести адскую боль, нисходила какая-то почти сверхчеловеческая умиротворенность. Слишком много очевидцев рассказывают такие факты, чтобы их можно было бы счесть легендой. Несомненно и то, что каждый ощущал жесткий авторитет, который был проявлением ее крепкого внутреннего стержня. Для меня показательным стала такая, казалось бы, незначительная деталь: Флоренс всегда говорила тихим голосом. Но стоило ей едва слышно озвучить какое-то предложение или желание, как присутствующие тотчас бросались его исполнять. Думаю, это самое убедительное проявление врожденного умения руководить.

Ее рабочий день, похоже, не имел фиксированного начала и конца и какого-либо временного графика. Она приходила в палаты с первыми лучами солнца и оставалась там до вечера. Когда гас свет над этим морем человеческих страданий, Флоренс удалялась в свою комнату, чтобы приняться за другую столь же необходимую работу: десятки документов, которые

необходимо было подписать и отправить, десятки писем, ждавшие ответа. В подробных письмах-отчетах своему давнему другу лорду Герберту она, ничего не скрывая, перечисляла то многое, что еще предстоит сделать после того, что уже было сделано. Герберт был не только военным министром (его сменит на этом посту еще до окончания войны лорд Панмюр), но и человеком, убедившим Флоранс взять на себя эту миссию. Он был, и это имеет наибольшее значение, ее покровителем и защитой от завистливых голосов и злых клевет, которые в разношерстном мужском контингенте вызывала фигура мешавшей все карты женщины.

Возможно, самым известным эпизодом этой жестокой войны, проявлением отчаянного героизма, была пресловутая «атака легкой кавалерии», когда из-за недоразумения и соперничества среди командования на верную гибель были отправлены шестьсот английских кавалеристов. Сей эпизод имел место в ходе Балаклавского сражения, кровопролитного и свирепого, как и вся война. Английскими войсками командовал лорд Фицрой Джеймс Генри Реглан, вошедший в историю благодаря знаменитым бесшовным рукавам, носящим его имя, но не по причине полководческого дара. В Испании Реглан был адъютантом Веллингтона и находился при нем в битве при Ватерлоо, в ходе которой потерял руку.

По причинам, которые он, вероятно, мог бы объяснить, но не сделал этого, Реглан поручил командование бригадой легкой кавалерии лорду Джеймсу Томасу Кардигану, высокому белокурому красавцу аристократической породы, единодушно считавшемуся идиотом, причем опасным идиотом: он оскорблял подчиненных, отдавал их под суд военного трибунала за сущие глупости, с легкостью терял самообладание — что для полевого командира, возможно, один из самых неприемлемых недостатков. Кроме того, он обладал слабым здоровьем и, что особенно тягостно для кавалериста, страдал хроническим геморроем.

Седьмому графу Кардигану также было суждено вписать свое имя в историю костюма: название «кардиган» получила

удобная шерстяная куртка, которая, судя по всему, была на нем во время той самой атаки.

Еще один двусмысленный герой того дня — лорд Лукан, лысый, высокий и худой человек, не отличавшийся особенным умом. Это был фанфарон, вызывавший отращение постоянным бахвальством. Лорд Лукан командовал бригадой тяжелой кавалерии и одновременно был непосредственным командиром лорда Кардигана. Два графа были шуринами и ненавидели друг друга со всей силой своего взрывного темперамента. Лорд Лукан, описанный современниками как человек вспыльчивый и надменный, вернулся к боевому командованию после многих лет штабной службы. Обнаружив, что тем временем поменялась система условных сигналов, он потребовал, чтобы его люди выучили старую систему, не желая утруждать себя освоением новой.

Последнее действующее лицо — молодой капитан Льюис Эдвард Нолан, фигура менее значительная, чем другие, но именно его действия в какой-то момент оказались решающими. Он был столь искусным кавалеристом, что у него под седлом красовалась тигровая шкура. Нолан был также известен тем, что публично назвал графов Кардигана и Лукана парой круглых идиотов.

Посмотрим, как развивались события. Лорд Реглан из расположенного на высоте штаба увидел, что русские захватили несколько английских пушек и вот-вот заберут их с собой. Тогда он спешно продиктовал адъютанту приказ, который тот записал карандашом: «Лорд Реглан требует, чтобы кавалерия быстро выдвинулась вперед и постаралась помешать врагу увезти пушки. Французская кавалерия у вас с левого фланга. Немедленно приступайте».

Кому поручить передачу столь срочного приказа? Вокруг Реглана несколько адъютантов и вестовых, но его взгляд падает на яркий пламенно-красный мундир Нолана, которому он и решает доверить послание для лорда Лукана.

Нолан театрально вскакивает на коня и галопом пускается вперед. Граф Лукан читает приказ и неверно его по-

нимает. С его позиции единственные пушки, которые попадают в поле зрения, — русские, на противоположном краю долины, примерно на расстоянии двух километров. Лукан не настолько глуп, чтобы не сообразить: этот приказ, сформулированный столь опасно общо, лишен смысла. Атаковать в упор артиллерийские позиции означает идти на верную смерть. Лукан несколько раз перечитывает листок и спрашивает капитана: «Что атаковать, какие пушки, сэр?» Нолан показывает рукой в сторону долины и отвечает: «Взгляните на своего врага, лорд. Взгляните на его пушки».

Тогда Лукан велит капитану передать приказ лорду Кардигану, командующему бригадой, которая, по его мнению, и должна исполнить его. Кардиган также вначале возражает, замечая, что речь идет не только о фронтальной атаке против артиллерийских укреплений — люди и кони против десятков пушечных стволов! — но и о том, что русские позиции по бокам защищены другими пушками и стрелковыми линиями. Кардиган, резонно озадаченный, обращает внимание, что выполнить этот абсурдный приказ означает уничтожить бригаду. Нолан сухо отвечает: «Таков приказ».

Беспощадный капитан Нолан с верхней точки обзора, где расположен штаб, не мог не видеть пушки, которые на самом деле имел в виду лорд Реглан, но то ли по прихоти, то ли из желания спровоцировать скандал не пожелал прояснить ситуацию. Более того, он спросил лорда Кардигана, не боится ли тот, случаем, выступить в атаку согласно приказу. Кардиган в ярости ответил, что, если выйдет живым из боя, передаст Нолана в военный трибунал за оскорбление. На этот раз он имел на то основания, но, как мы сейчас увидим, ему не придется исполнить угрозу.

Итак, граф приказывает своим шестистам кавалеристам оседлать коней и выстроиться в боевом порядке. Примерно в два часа дня 25 октября 1854 года трубит сигнал к наступлению, и кавалерийская бригада пускается галопом, сотрясая землю тысячами подков.

Бригада состояла из пяти кавалерийских полков. Официально считают, что в атаке участвовали 673 человека, но эта цифра условная, поскольку точная численность частей никогда не уточнялась; примерно половина была убита. Лорд Кардиган, поскакавший во главе бригады, добрался живым до вражеских линий. Натиск и безумная дерзость атаки были таковы, что русские не сразу ответили огнем, и это, так сказать, несколько сократило потери. Одним из первых погиб капитан Нолан, раненный в грудь осколком снаряда. Очевидцы рассказывали, что перед тем, как упасть, он лихорадочно вращал палашом в направлении высот, где русские собирались овладеть английскими орудиями. Кто-то интерпретировал этот жест как желание перед смертью указать лорду Кардигану истинную цель атаки.

Под напором англичан многие русские артиллеристы пустились в бегство. Тех, что остались, безжалостно посекали палашами. Лорд Кардиган проявил храбрость, несмотря на полученное легкое ранение. Вскоре в действие вступила английская артиллерия, но и русская конница попыталась предпринять контратаку. Вмешательство нескольких французских эскадронов окончательно разрешило ситуацию в пользу союзников.

Один из немногих офицеров, сумевших вернуться на базу не только живым, но и в своем седле, лейтенант Перси Смит, напишет потом, что из его 13-го драгунского полка осталось в живых лишь несколько человек, причем один из них вернулся верхом на русском коне, захваченном у противника после того, как его собственный конь был убит: «Всего из полка остались в живых один офицер, я, и четырнадцать кавалеристов».

Из сотни эпизодов того дня один особенно точно описывает безумную атмосферу боя, в которой смешались трагедия и фарс. Возвращаясь к своим линиям, лейтенант Смит натолкнулся на другого молодого офицера, лейтенанта Чемберлена, обессиленно опустившегося на землю рядом со своим убитым конем. Чемберлен спрашивает его, как быть. Смит

советует снять седло и сбрую и возвращаться в часть пешком: «Другого коня ты найдешь без труда, а вот доброе седло найти труднее». Чемберлен следует совету, снимает седло и, держа его на голове, идет в направлении английских линий. Тем временем по полю носятся конные казаки, грабя мертвецов и добывая шашками раненых. В этом кошмаре пеший лейтенант все же спасся, вероятно потому, что, почти целиком скрытый под седлом и сбруей, был принят рыскающими в поисках добычи казаками за своего же товарища.

Атака и возвращение на позиции в общей сложности заняли менее часа; в эти несколько десятков минут была написана одна из самых памятных страниц человеческого героизма и глупости.

Военные историки не раз задавались вопросами, которые диктует и простой здравый смысл: если бы первоначальный приказ Реглана был более точным, если бы Лукан послал кого-нибудь за разъяснениями в штаб, если бы капитан Нолан, в конце, когда уже было слишком поздно, указавший верное направление атаки, не повел безответственную игру жизнью стольких людей, если бы... если бы...

Когда Кардиган в изнеможении вернулся на позиции, Реглан в ярости вызвал его, чтобы спросить, не лишился ли он, часом, ума. Граф ответил, что получил прямой приказ, подтвержденный также словесно, от своего командира лорда Лукана. Тогда Реглан гневно обрушился на Лукана, на что тот ответил, что потребовал разъяснений у человека, посланного штабом, а именно у капитана Нолана, погибшего в этом бою. Абсурдная цепочка недоразумений, в которой единственным виновным Реглан пожелал видеть Нолана.

Лорд Альфред Теннисон (1809—1892), один из наиболее представительных поэтов Викторианской эпохи, убежденный консерватор, в память об этой отчаянной атаке написал поэму. В первой строфе говорится:

Долина в две мили,
Редут недалеко.

Услышав: «По коням вперед!»,
В долину из смерти
Под градом картечи
Отважные скажут шестьсот¹.

Как я уже отмечал, Крымскую войну можно считать первой войной современности, прежде всего потому, что это была первая война, освещавшаяся вживую батальоном корреспондентов. Легендарный Уильям Говард (Билли) Рассел из «The Times», Эдвин Л. Годкин из «The Daily News», Томас Чинери, писавший для «The Times» из Константинополя... Их статьи встревожили и шокировали английское общество описанием увиденных собственными глазами ужасов. Волна потрясения была основным мотивом, побудившим Герберта и правительство отправить на фронт мисс Найтингейл.

Протекция министра и горячая поддержка общественного мнения уже сами по себе были достаточной опорой для столь рискованной миссии. Но в действительности у Флоренс был третий высокий покровитель, самый значимый, самый могущественный, — в лице королевы Виктории, которая неоднократно справлялась о положении дел и состоянии здоровья мисс Найтингейл, читала ее отчеты, а когда сочла, что наступил нужный момент, направила министру Герберту послание, которое было больше чем охранная грамота. В нем значилось:

«Передайте миссис Герберт мое желание, чтобы мисс Найтингейл и другие дамы сказали этим несчастным и благородным раненым, что никто не принимает более живого участия и не переживает из-за их мучений и не восхищается их храбростью и героизмом так, как их Королева. Днем и ночью она думает о своих возлюбленных войсках. Равно как и Принц».

Получив августейшее послание, Флоренс зачитала его вслух в палатах, достигши сразу двух результатов: принести

¹ Перевод Ю. Колкера.

страдающим какое-то облегчение и дать понять тем, кто еще не понял, кто на самом деле командует в этих стенах.

Самый тяжелый этап работы продлился примерно полгода. Весной 1855 года госпиталь в Скутари было не узнать: исчезли самые одиозные признаки упадка, был наведен порядок, организованы необходимые профилактические меры. Это демонстрирует такой значимый показатель, как уровень смертности: за шесть месяцев он резко упал по сравнению с первоначальной жуткой отметкой 42 процента. Стрейчи приводит деталь, которая уже сама по себе дает представление о переменах — не только в области обеспечения и санитарии, но и в самой атмосфере. Солдаты, которые еще несколько месяцев назад предавались повальному пьянству, заливая спиртным страдания и тревоги, теперь настолько сократили употребление алкоголя, что стали откладывать какие-то суммы с жалованья и посылать их домой. Едва эта тенденция получила распространение, Найтингейл занялась и ей, организовав подобие банковской службы, занимавшейся отправкой денег и находившейся под ее контролем.

Флоренс Найтингейл уехала из Крыма в июле 1856 года, через четыре месяца после подписания мира. Ее здоровье серьезно подорвано: боли в сердце, частые обмороки, постоянное состояние протрации, ослабление нервной системы.

Ей суждена еще долгая жизнь, но ее истощение было таково, что ей приходилось проводить целые дни, лежа в постели или на диване, и все-таки между одним обмороком и другим она из последних сил продолжала работать.

Были дни, когда из-за слабости она не могла даже принимать пищу. Вокруг этой столь хрупкой и вместе с тем твердой, слабой, но негибкой женщины собираются друзья и самые близкие ей люди: экс-министр Сидней Герберт, тетка по отцу Мей (она была настолько предана племяннице, что последовала за ней в Скутари), поэт Артур Клаф. Именно в этих кругах обсуждается, с одобрения королевы и общественного мнения, мысль учредить комиссию, призванную обследовать санитарные условия в армии. Несмотря на сильное противо-

действие главы военной медицинской службы, в результате ее председателем назначается лорд Герберт. Справедливости ради следовало бы, чтобы в нее вошла и Флоренс, но эти времена еще не настали: идея о том, что женщина может на равных заседать в государственной комиссии такого значения и важности, пока просто немыслима. Но неутомимая Флоренс не остается без дела. Прикованная к дивану, стиснутая железными клещами недуга, она за полгода создает почти восьмистотстраничный труд под названием «Заметки о факторах, влияющих на здоровье, эффективность и управление госпиталями британской армии», полный примеров, указаний и рекомендаций.

При неустанной поддержке тетушки Мей Флоренс время от времени поднимается с постели и, в тщетной попытке вернуть здоровье, отправляется на несколько недель на горный или термальный курорт, но ощутимых успехов не наблюдается. Как проникательно отметил Стрейчи, трудно сказать, что с большей жестокостью сдает ее: болезнь или тревога. Как-то она послала Герберту письмо, которое сама назвала «последним», но на следующий день собралась поехать в Индию лечить жертв волнений.

Крымская война останется ее великим, героическим «испытательным стендом», и то, чем Европа в особой степени обязана ей, так это учреждение в 1860 году Школы сестер милосердия при больнице Сент-Томас, первой настоящей школы, положившей начало профессии медицинской сестры.

Последний период жизни Флоренс Найтингейл омрачила личная трагедия, наложившая окончательный отпечаток на силу ее темперамента. В 1859 году лорд Сидней Герберт снова стал военным министром в кабинете Пальмерстона. Самая трудная из стоящих перед ним задач — реорганизация бюрократического мажоранта. Основные оппоненты выдвигались, разумеется, из среды самой бюрократии, опасавшейся всяких перемен. Борьба затягивается, и из конфликтующих сторон министр, кажется, имеет более слабые позиции. Напрасно Найтингейл убеждала его продолжать борьбу: ее слова, кажет-

ся, не поддерживают министра, а тяготят его — настолько, что он все чаще начинает поговаривать о том, чтобы оставить государственные дела. Врачи, обследовавшие лорда Герберта, констатируют у него истощение сил и предписывают покой. Но мисс Найтингейл судьба реформы тревожит больше всего на свете; он колеблется, она настаивает; он говорит о том, что хочет удалиться в свое имение в Вилтоне, гордость семейства, а она его укоряет, призывая не сдаваться. В конце концов Сидней понимает, что всякие дальнейшие попытки бессмысленны, он никогда не сможет выиграть это сражение, по крайней мере не в таком состоянии, и решает оставить как проект реформы, так и свой пост. Узнав об этом, Найтингейл негодует, горько укоряет его и расстается в нем крайне холодно. Герберт возвращается в свой заросший плющом дом, расположенный на краю широкой вересковой пустоши. Там 2 августа 1861 года, в возрасте всего лишь пятидесяти лет, он умирает.

Можно ли сказать, что Найтингейл внесла роковую лепту в этот фатальный финал? Повторю вслед за Стрейчи, выразившимся предельно ясно:

«Когда страстный порыв могучего духа своим натиском опрокидывает дух более слабый вплоть до того, что уничтожает его, предпочтительнее не выносить суждения, основанные на прописных моральных истинах».

Можно предполагать, что, будь Найтингейл менее сурова, Сидней Герберт не умер бы. Но также верно и то, что в таком случае она не была бы Флоренс Найтингейл.

В течение последующих десяти лет Флоренс продолжала оказывать сильное влияние на Военное министерство и на правительство, сумев улучшить состояние амбулаторий и домов призрения. Почитаемая как национальная икона, она, по-прежнему в инвалидном кресле, проводит свои дни в доме на Саут-стрит, где прожила сорок пять лет. В конце она превратилась в толстую старуху, постоянно улыбающуюся и отвечавшую невпопад. Изредка она выбиралась в своем кресле на прогулку в Гайд-парк. В моменты относительного прояснения

сознания она пишет — обо всем, решаясь затрагивать даже философские и теологические темы, предлагает ряд реформ в целях исправления недостатков христианства и излагает окончательное, на ее взгляд, доказательство существования Бога. Она яростно обрушивается на лицемерие семейной жизни и легкомысленность брака (и это многое проясняет в ней) и высмеивает открытия Луи Пастера, заявляя, что микроорганизмы суть нонсенс, поскольку их никто и никогда не видел. Французский биолог, презрительно говорит она, создал *germ-fetish* — микробный фетиш.

Последний раз ее имя появится на газетных полосах в 1907 году, за три года до кончины, когда ей была присуждена одна из высших королевских наград — Орден за заслуги. Десятки телеграмм поступают на ее адрес на Саут-стрит. В назначенный день к ней домой направилась правительственная делегация, чтобы вручить почетную награду. Была произнесена краткая речь, которую больная слушала, лежа на диване, поддерживаемая подушками. Ей прикалывают орден, и она улыбается, бормоча: «Как вы любезны».

Увы, она уже была не в состоянии оценить подлинный смысл этой высокой награды.

КРОВЬ, ПОТ И СЛЕЗЫ

Подземные сооружения, известные как Военный кабинет (*Cabinet War Rooms*), — одно из самых волнующих свидетельств последней мировой войны, сравнимое с местом высадки союзников в Нормандии. Лондонский мемориал, полный живых бытовых деталей, воссоздает атмосферу тех военных лет, когда вершилось будущее Европы. Военный кабинет находится в подвале здания правительства (*New Public Offices*), в конце короткой лестницы, замыкающей Кинг-Чарльз-стрит. Чуть дальше проходит Хорс-Гардс-роуд, и сразу за ней начинается Сент-Джеймссский парк.

Вы спускаетесь вниз и, словно в машине времени, переноситесь больше чем на полвека назад, поскольку всё, включая каждую мелочь — освещение, книги, документы, карты, не говоря уже о передающих аппаратах и мебели, — было оставлено таким же, как в дни войны.

Штаб-квартира нации, мозговой центр страны, вовлеченной в конфликт мирового масштаба, обустроена со спартанской строгостью. Здесь работали, совещались и отдыхали премьер-министр, его ближайшие советники и командующие всех трех родов войск.

О необходимости создания подобных помещений начали говорить уже в двадцатые годы, но проблема стала актуальной в 1938 году, после Мюнхенского сговора, когда при потворстве европейских демократий Гитлер начал расчленение Чехословакии.

Официально тогда все высказывались в духе, что, мол, теперь можно вздохнуть с облегчением, но на деле ни у кого не оставалось сомнений в том, что хищный нацизм не удовольствуется аннексией Судет. Рано или поздно дойдет до войны, и снова повторится кошмар, пережитый в годы Первой мировой, а затем в Испании, — бомбардировки городов и гражданского населения. Эксперты Королевских ВВС заранее просчитали, что шестьсот тонн бомб, выпущенных на центр Лондона, унесут жизни двухсот тысяч человек в одну только первую неделю военных действий.

Подвалы нынешнего Казначейства казались достаточно прочными, чтобы выдержать удар; кроме того, они были стратегически удачно расположены: на полпути между залом заседаний парламента и резиденцией премьер-министра на Даунинг-стрит. Подготовка помещений с удивительной своевременностью была завершена 27 августа 1939 года, за неделю до фатального дня, когда войска Третьего рейха, сметя пограничные укрепления, вторглись в Польшу, положив начало Второй мировой войне. С развитием конфликта стало ясно, что, учитывая разрушительную силу бомб, работы по укреплению сооружения следует продолжить. Внимательный посетитель может заметить следы этих работ: толстые железобетонные стены снаружи, тяжелые стальные балочные перекрытия внутри.

Шесть нескончаемых лет не гас свет в этом суровом бункере. Выключатель повернули лишь 2 сентября 1945 года, после того как императорская Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции. Долгие годы закрытые, эти комнаты, ранее сверхсекретный объект, были превращены в музей и открыты для туристов решением премьер-министра Маргарет Тэтчер в 1981 году.

Особенно красноречива одна деталь. Все настенные часы показывают без двух минут пять, в память о первом состоявшемся здесь драматичном совещании кабинета: 15 октября 1940 года, начало в 17. 00. За ночь до этого немецкая бомба попала в резиденцию Черчилля на Даунинг-стрит. С того момента стало ясно, что совещания под землей — необходимая мера предосторожности. Место Уинстона Черчилля — там, где стоит широкое деревянное кресло, а рядом — красный ящик, в котором держали (и держат до сих пор, только в других) государственные документы во время поездок премьер-министра.

В конце войны выяснилось, что немцы не имели ни малейшего представления о существовании этого тайного укрытия. Англичане, в свою очередь, не знали о степени осведомленности противника, и бункер был подготовлен к обороне на случай прямой атаки парашютного десанта или наземных войск. Конечно, не было ни парашютных десантов, ни высадки немецких войск, но Великобритания долгое время жила в страхе, что ситуация внезапно ухудшится и придется оборонять каждый дом. Тяжелому периоду, казалось, не будет конца, тем более что немцы пытались сокрушить дух англичан массированными бомбардировками — частью операции «Блиц».

Слово «блиц» по-немецки означает «молния», в том смысле, что противник намеревался достичь победы в кратчайшие сроки — молниеносно. С августа 1940-го по май 1941 года Лондон накрыл град бомб. Известно, к примеру, что только в сентябре за двадцать ночных налетов немцы сбросили на город 5300 тонн бомб. Мишенями стали заводы, порты и железнодорожные узлы, но главным объектом все же было гражданское население, которое Гитлер намеревался запугать еще до планируемого вторжения. В ходе бомбардировок погибли тридцать тысяч и были ранены пятьдесят тысяч человек, целые кварталы города превратились в руины. Однако Гитлеру не удалось деморализовать лондонцев, и их стойкость вызывает восхищение. В эти

страшные месяцы все англичане, как один, явили силу духа, на которую бывают способны в решающий момент только великие нации.

Но что помогло им сплотиться, выдержать тяжелейшее испытание военным временем? Пожалуй, это стоит отдельного рассказа.

Тринадцатого мая 1940 года, незадолго до начала бомбардировок, Уинстон Черчилль произнес перед палатой общин знаменитую речь, лучше всего свидетельствующую об атмосфере того времени. Обратите внимание на дату. За два первых весенних месяца нацистская Германия вторглась в Норвегию и Данию, ее танки прошли по равнинам Нидерландов и Франции. Глава британского правительства Невил Чемберлен, учитывая крупные военные неудачи Великобритании, в мае 1940 года ушел в отставку. Все крупные демократические государства были разгромлены, и Англия, по сути дела, оставалась одна. Франкистская Испания заняла позицию нейтралитета, фашистская Италия, еще не вступившая в войну, очень скоро присоединится к Гитлеру. Из всех ошибок Муссолини эта будет самой роковой.

Десятого мая король поручает Черчиллю сформировать новое правительство. Итог усилий нового премьера — шедевр политического гения: в кабинет вошли даже представители оппозиции. И вот спустя три дня после формирования правительства Черчилль выступает с речью в парламенте, формально обращаясь к депутатам, а в действительности — ко всей нации. Эта недлинная речь — один из самых сильных и убедительных образцов политической риторики в истории человечества. Вот лишь один отрывок:

«...Нужно помнить, что мы только на подготовительном этапе одной из самых великих битв в истории, что наши войска задействованы в Норвегии и в Голландии, что мы должны готовиться к действиям в Средиземном море, к продолжительным воздушным сражениям и что еще очень многое должно быть подготовлено здесь, дома».

После вступления были произнесены патетические слова, которым суждено войти в историю:

«Я повторю перед палатой то, что уже сказал присоединившимся к новому правительству: „Я не могу предложить ничего, кроме крови, тяжелого труда, слез и пота“... Перед нами много долгих месяцев борьбы и страданий. Вы меня спросите: каков же наш политический курс? Я отвечу: вести войну на море, суше и в воздухе, со всей мощью и силой, какую дает нам Бог; вести войну против чудовищной тирании, превосходящей любое человеческое преступление. Вот наш курс. Вы спросите: какова наша цель? Я могу ответить одним словом: победа».

* * *

Какова была в те майские дни позиция Италии? В Риме весть о стремительном наступлении немцев встретили с восхищением и вместе с тем с тревогой. Галеаццо Чиано¹ пишет в своем дневнике 18 мая:

«Новости о конфликте выставляют немцев во все более выгодном свете. Брюссель пал, Антверпен разрушен, танковые колонны доходят во Франции до Суассона, за ними, видимо, следует немецкая пехота. Однако наш Генеральный штаб воздерживается от прогнозов: Содду² не считает, что речь идет о решающем сражении, и просит еще пятнадцать дней, чтобы огласить свое мнение».

Все взгляды обращены к палаццо Венеция в ожидании решения Муссолини — вступать или не вступать в войну? Уже мало кто сомневается в том, что дуче не сможет устоять перед доводами немецких танков.

¹ Чиано, Галеаццо (1903—1944) — итальянский политик и дипломат, зять Б. Муссолини. — Примеч. пер.

² Содду, Убальдо (1883—1949) — итальянской военачальник, в 1940 г. — начальник Генерального штаба, созданного для операций на Балканах. — Примеч. ред.

В эти дни Италия находилась в фокусе внимания всех воюющих сторон. Шестнадцатого мая Уинстон Черчилль, понимая, что поражение Франции неминуемо, обращается к Муссолини с отчаянным призывом не ввязывать Италию в конфликт:

«Слишком поздно пытаться помешать тому, чтобы между английским и итальянским народами пролились потоки крови? Несомненно, мы можем нанести друг другу тяжкие раны, жестоко терзать друг друга и омрачить Средиземноморье нашей борьбой. Если таков ваш приказ, пусть так и будет; но я заявляю, что никогда не был врагом великого итальянского духа».

В конце письма, которое, надо думать, далось Черчиллю нелегко, звучит отчаянный призыв:

«От самых далеких предков разносится клич, убеждающий общих наследников латинской и христианской культур не вступать в смертельное противостояние. Умоляю вас со всем достоинством и уважением: прислушайтесь к нему до того, как будет начато ужасное кровопролитие».

Вне всякого сомнения, Муссолини польстило такое обхождение, но не более того. Восемнадцатого мая в ответном послании Черчиллю он прямо дает понять, что вступление в войну на стороне Германии — вопрос нескольких недель, а возможно, и дней. Указываются и причины такого решения:

«Я хочу напомнить вам о настоящем рабском положении, в котором находится Италия в своем море. Если ваше правительство объявило войну Германии, чтобы соблюсти подписанные вами соглашения, то вы поймете, что тот же долг чести и уважения к взятым нами по итало-германскому пакту обязательствам руководит политикой Италии в настоящем и будущем перед лицом каких угодно событий».

Все более горя нетерпением, Муссолини не считал нужным скрывать тот факт, что его связь с Гитлером стала еще тесней. Джузеппе Боттаи¹ в своих мемуарах рассказывает, что 19 мая Муссолини показывал ему ряд карт западной альпийской границы, Восточной Африки, Ливии и Малой Азии, где яркими цветами были отмечены численность и дислокация франко-английских сил. «Я приготовил их, — добавил дуче, — для Гитлера. Каждые сорок восемь часов он посылает мне самолетом рапорты. Он лично руководит операциями. В этом секрет германской победы: что войну ведут не генералы».

Муссолини не задумывался о том, что в жертву войне придется принести тысячи и тысячи солдат. Он предвкушал, как вновь облачится в мундир верховного главнокомандующего и будет отдавать директивы Бадольо² и другим руководителям Генерального штаба. Франция агонизировала, Англия подвергалась массированным атакам люфтваффе, надо было спешить, чтобы не опоздать на пир победителей. «У Германии может создаться впечатление, что мы раскачались к концу, когда риск минимален» — это единственное, что тревожит его.

Даже король Виктор Иммануил и то был более дальновиден. Первого июня Галеаццо Чиано записывает в дневнике:

«Аудиенция у короля. Он уже смирился с мыслью о войне. Он полагает, что Франция и Англия действительно приняли на себя жесточайший удар, но обоснованно придает большое значение вероятным действиям американцев. Он чувствует, что страна идет на войну без энтузиазма».

Королю было известно, что итальянские вооруженные силы недостаточно подготовлены к войне. К тому же Муссолини, охваченный военной лихорадкой, похоже, сбросил со счетов «американский фактор»: Америка пока еще не вступила в

¹ Боттаи, Джузеппе (1895—1959) — итальянский политический деятель, на тот момент член правительства. — Примеч. пер.

² Бадольо, Пьетро (1871—1956) — итальянский военный и политический деятель. Маршал. До 1940 г. — начальник Генштаба. После падения диктатуры Муссолини (25 июля 1943 г.) — премьер-министр (до 9 июня 1944 г.). — Примеч. ред.

войну, но не исключено, что это произойдет. И что тогда? Королю также казалось, что Муссолини явно переоценивал желание итальянцев воевать. «Сейчас два чувства охватывают итальянский народ, — говорил дуче. — Первое — страх опоздать в условиях, которые сведут на нет наше участие; второе — определенный дух соперничества, желание прыгать с парашютами, стрелять по танкам. Это приятно осознавать, поскольку демонстрирует, что итальянский народ сделан из крепкой материи». Может ли материя быть «крепкой» — факт спорный. Но то, что сильной чертой итальянцев в любом случае «крепость» не является, — от этого никуда не уйдешь.

Как бы то ни было, в те дни Муссолини сообщил Гитлеру, что «итальянские войска готовы выступить рядом с немецкими». «Если вы сочтете, что я должен отложить выступление еще на несколько дней, чтобы лучше согласовываться с вашими планами, — писал он фюреру, — скажите мне об этом; но итальянский народ уже с трудом сдерживает желание выступить плечом к плечу с немецким в борьбе с общими врагами».

На титульной странице еженедельника «La Domenica del Corriere» популярный иллюстратор Бельтраме публикует воинственные картинки, исполненные симпатии к германскому союзнику. Подпись к рисунку, изображающему переход вброд через реку, гласит: «В то время как в небе сражаются аэропланы, германская кавалерия отважно переходит реку». Однако этих наивных иллюстраций недостаточно, чтобы возбудить симпатию к немцам или энтузиазм. О том, что между немцами и итальянцами никогда не было особой любви, становится ясно из драматических отступлений в Африке и России, когда моторизованные части Рейха отказывались подвозить пеших итальянских солдат. Напрасно Бадольо отговаривал дуче, убеждая его, что итальянская армия не готова к боевым действиям. Даже Итало Бальбо, ближайший соратник Муссолини, можно сказать, его правая рука, как записал в своем Дневнике Галеаццо Чиано, «не обсуждает немцев: он их ненавидит». Но решение уже принято, и повернуть вспять невозможно.

Вообще, дневник Чиано — поразительный политический документ, я считаю, обязательный к прочтению.

Десятого июня 1940 года Муссолини объявляет военное положение с балкона палаццо Венеция перед солдатами, запрудившими площадь. Чиано оставил волнующую и правдивую хронику того дня:

«Объявление войны. Первым я принял Понсэ [посла Франции], который старался не выдавать своего волнения. Я сказал ему: „Возможно, вы уже поняли причины, по которым я вызвал вас“. Он ответил: „Хоть я и не слишком умен, в этот раз я понял“. Но улыбнулся он лишь на мгновение. Выслушав об объявлении войны, он ответил: „Это удар ножом по лежащему. Впрочем, благодарю вас за то, что использовали бархатную перчатку“. Он продолжил, говоря, что предвидел все это еще два года назад и не надеялся, что войны удастся избежать после подписания Стального пакта¹. Но не может смириться с тем, чтобы считать меня врагом и не может считать таковым никакого итальянца. Однако, думая о том моменте, когда надо будет искать новую формулу европейского сосуществования, он выразил надежду, что между Италией и Францией не возникнет непреодолимой пропасти. „Немцы — суровые хозяева. Вы это тоже почувствуете“. Я не ответил. Мне не казалось уместным полемизировать. „Берегите себя“, — сказал он в заключение, кивнув на мою форму летчика, и пожал мне руку. Более лаконичен и невозмутим был сэр Перси Лоррейн [британский посол]. Он выслушал сообщение, не поведя бровью и не поменявшись в лице. Лишь ограничился тем, что записал слово в слово произнесенную мной формулу и спросил, должен считать ее предупреждением или же собственно объявлением войны. Узнав, что это так, он откланялся с достоинством и утихомирившись. В дверях мы обменялись долгим сердечным рукопожатием. Муссолини выступил с балкона палаццо

¹ Согласно этому пакту, заключенному в 1939 г., итальянское правительство обязалось помогать Германии, если она вступит в войну с западными державами. — Примеч. ред.

Венеция. Сообщение о войне никого не удивляет и не вызывает чрезмерного энтузиазма. Я печален, очень печален. Начнется авантюра. Да поможет Бог Италии».

Как известно, Бог Италии не помог. Вряд ли Его стоит просить о трудновыполнимых чудесах. Авантюра, начатая в 1939 году, завершилась распадом общественных структур и военной катастрофой. Спасли нацию лишь тяжелейшая освободительная война и движение Сопротивления.

Много лет спустя отец рассказал мне, что в тот день, 10 июня, слушая ду е по радио, он не смог удержаться от слез, настолько его сокрушило известие об объявлении войны Франции, и притом как: нанести смертельный удар уже потерпевшей поражение нации, стране, с которой у нас сотни культурных и, если говорить о нашей семье, личных связей...

По мнению Эдварда Р. Марроу, американского корреспондента, работавшего в Лондоне в те суровые годы, самым главным успехом Черчилля во Второй мировой войне было то, что он «послал на передовую английский язык». Часто повторяемая им формула «We shall never surrender» — «Мы никогда не покоримся» — стала предметом национальной гордости; многие признавались, что стоило произнести или услышать эти слова, как на глаза наворачивались слезы.

В этом есть что-то мистическое, что во главе великих наций в самые драматичные моменты истории ставит великих лидеров: в Великобритании — Черчилль, во Франции — Шарль де Голль, в послевоенной Германии — Конрад Аденауэр, в послевоенной Италии — Альcide Де Гаспери.

Центральный эпизод конфликта, известный под названием «Битва за Англию», начался, возможно, по ошибке, в ночь с 24 на 25 августа 1940 года, когда пилоты немецкого бомбардировщика потеряли ориентацию и, сбросив бомбы практически наугад, угодили в Сити. Город уже подвергался бомбар-

дировкам, но обходилось без попаданий в самый центр. Черчилль воспользовался случаем и приказал нанести ответный воздушный удар по Берлину. В ночь на воскресенье 25 августа восемьдесят один бомбардировщик британских ВВС поднялся в воздух, чтобы атаковать столицу Третьего рейха. До цели добрались менее десятка самолетов, но и этого было достаточно, чтобы повергнуть Гитлера в ярость. На совещании, состоявшемся несколько дней спустя в Голландии, Герман Геринг передал приказ фюрера: все силы люфтваффе бросить на Лондон. Маршал Кессельринг, руководитель 2-го воздушного флота, с энтузиазмом подчинился приказу.

Идея Гитлера, с воодушевлением подхваченная его генералами, заключалась в том, чтобы после месяца атак по разным целям немецкие бомбардировщики сконцентрировались на одном, самом важном объекте — Лондоне, что должно было морально добить противника. С подачи Геринга операция получила название «Логе», по имени бога огня из эпоса о Нибелунгах, приказавшего выковать меч Зигфриду. В тот момент никто не увидел (или не захотел увидеть) в этом решении фюрера серьезного стратегического просчета. В 1945 году, оказавшись в плену, Геринг якобы признался, что лично он предпочел бы атаковать британские воздушные базы, но не посмел ослушаться своего хозяина.

Документальных подтверждений этому заявлению не найдено. Однако доподлинно известно, что в день начала операции Геринг, командовавший германскими военно-воздушными силами, находился на мысе Белый Нос во Франции и с удовольствием наблюдал, как на Англию движется смертоносная армада. Более тысячи самолетов, оглушительно гудя моторами, поднимались над континентом, чтобы пересечь Ла-Манш. Очевидцы рассказывали, что они были похожи на огромную грозовую тучу, растянувшуюся почти на две тысячи квадратных километров. Английские радиолокационные станции на основании траектории, зафиксированной береговыми радарными, установили, что бомбардировщики направляются на посток от Лондона. Только после того, как основ-

ные силы начали сбрасывать бомбы, диспетчеры ВВС осознали, что целью является сама столица, и бросили в бой все имеющиеся истребители.

Почему Гитлер отдал приказ об этой операции, так и не достигшей, впрочем, своей главной цели — деморализовать противника? В конце тридцатых годов Лондон был крупнейшим городом мира. Если не брать в расчет пригороды, то на его территории проживало до восьми миллионов человек, пятая часть населения страны. Для сравнения скажу, что вторым по численности городом мира после Лондона был Нью-Йорк, насчитывающий примерно семь миллионов жителей. Лондон был не только мегаполисом, но и столицей огромной Империи; через его порт ежегодно проходило больше товаров, чем через любой другой порт планеты. Лондонская биржа, банки, страховые компании управляли капиталами и торговлей во всех частях света. Палата лордов по-прежнему являлась верховным апелляционным судом для всех территорий Империи. С Соединенными Штатами было иначе: вплоть до начала Второй мировой войны безграничная мощь этой державы оставалась замкнутой в границах континента, отделенного от остального мира двумя океанами.

С точки зрения Гитлера, все перечисленное выше давало веские основания к тому, чтобы попытаться сломить город, победа над которым поставила бы на колени не только Англию, но и другие, сопряженные с ней страны. Имелись и сугубо практические соображения. Например, инженеры метрополитена с ужасом признавали, что даже одного попадания бомбы в туннель между Черинг-Кросс и Ватерлоо было бы достаточно, чтобы половину станций затопило водами Темзы. Никто не решился строить предположения, сработают ли поезда в качестве заглушки или их просто смоем волной. Как бы то ни было, в кратчайшие сроки лондонские строители поставили двадцать пять мощных затворов, призванных в случае необходимости перекрыть ток воды. Лишь в сентябре 1944 года взрывом был разрушен один из туннелей, но, к счастью, это не повлекло за собой серьезных последствий.

Первая бомбардировка, 7 сентября 1940 года, была ужасной. Небо превратилось в бурлящий котел, «вертящееся колесо безумного фейерверка, в котором невозможно было отличить наших от чужих», как рассказывал один английский пилот. Каждые двадцать минут на город методично сбрасывались тонны бомб.

Хотя соотношение сил противников трудно измерить одной лишь арифметикой, следует уточнить, что всего в сражении было задействовано 2913 самолетов британских ВВС и 4549 самолетов люфтваффе. Важно также сравнить производительные мощности воюющих сторон. Германия выпускала по сто сорок знаменитых истребителей «Messerschmitt Bf 109» в месяц, но Британия ее опередила, и намного: ежемесячно с конвейера сходило по пятьсот штук не менее прославленных истребителей «Hurricane» и «Spitfire». В конечном счете благодаря этому разрыву, а также человеческому фактору перевес оказался на стороне англичан.

В книге «Битва за Британию» Лен Дейтон приводит драматичное описание воздушной дуэли над Ла-Маншем, сделанное новозеландским летчиком на службе в британских ВВС Элом Диром.

«Вскоре я увидел новую цель. Примерно в трех тысячах метров впереди меня, на той же высоте, фриз заканчивал вираж, чтобы вернуться в бой. Он увидел меня почти сразу и, сделав „бочку“, вышел из виража, направляясь в мою сторону. Лобовая атака была неизбежна. Схватившись обеими руками за штурвал, чтобы сохранить курс и попытаться поймать цель, я посмотрел в прицел на быстро приближавшуюся вражескую машину. Мы одновременно открыли огонь, и сразу же град свинца застучал по моему „спитфайру“. На мгновение „мессер“ показался достаточно отчетливо, его крылья хорошо виднелись в круге моего прицела, но мгновение спустя он был надо мной — страшная тень, заслонившая собой все небо у меня над головой. Затем мы столкну-

Мощный удар вырвал штурвал из рук пилота, мотор задымился, винт застопорился, столкновение было столь сильным, что лопасти выгнуло назад. Тогда Дир решился на единственный возможный шаг: с трудом заглушив двигатель, он направил самолет в сторону английского берега, который, к счастью, был не очень далеко. Благодаря редкой сноровке (и везению, конечно) он сумел посадить самолет на поле, вблизи от военной базы в Мэнстоне. Поскольку погнутый «фонарь» не открывался, Дир пробил его кулаками. «Лупил голыми руками, со всей силой отчаяния», — как он сказал.

Выбравшись наружу, летчик отбежал от горящего самолета, в котором начали взрываться баки с горючим и боеприпасы. И тут произошла сцена настолько невероятная, что кажется, будто ее выдумали (а может, и нет), обыгрывая самые заезженные стереотипы об англичанах. Судите сами: парень бежит что есть духу подальше от самолета, и тут из расположенной рядом фермы выходит женщина и спрашивает: «Не хотите ли выпить чашку чаю, сэр?» — «Да, спасибо, — отвечает, задыхаясь, Дир, — но хорошо бы у вас нашлось что-нибудь покрепче».

В тот же вечер Эл Дир, надеявшийся передохнуть хотя бы пару дней, снова вылетел на задание, уже на другом самолете.

Еще одного летчика-аса звали Питер Таунсенд (впоследствии он станет оруженосцем короля). Таунсенд командовал эскадрилей «хурриканов». Однажды ему довелось драться один на один с немецким бомбардировщиком, оставшим от своего звена. В тот день небо было серое от дождя, и летчику приходилось откидывать крышку кабины, чтобы хоть что-то разглядеть. Заметив самолет противника, Таунсенд дал по нему несколько коротких очередей, но бомбардировщик, одетый в прочную броню, продолжил полет, несмотря на пробоины. Типично немецкая предусмотрительность — кроме обшивки из брони, они оснащали свои самолеты резервными механическими узлами, для того чтобы сохранить способность к полету даже в случае прямого попадания.

Улетая, немец последний раз дал залп по самолету Таунсенда — и попал. Из строя была выведена система охлаждения двигателя. Мотор заглох в сорока километрах от английского берега; Таунсенд прыгнул с парашютом и был спасен капитаном рыбацкого судна, который, увидев парашютиста, вошел в заминированную зону, чтобы подобрать летчика.

Официальной датой начала «Битвы за Англию» считается 24 августа, однако единого мнения о дне фактического начала боевых действий нет. Известно, что «День Орла», как Гитлер окрестил дату первого воздушного налета, был назначен на 5 августа. За четыре недели предстояло полностью уничтожить британскую авиацию; далее должна была последовать операция «Морской лев», в ходе которой предусматривалось форсировать Ла-Манш и высадить на южном побережье Англии 25 дивизий вермахта. Разгром Англии завершил бы триумф Третьего рейха в Европе. Однако 5 августа погода оказалась нелетной: низкая облачность, дожди, грозы... «День Орла» был перенесен на 13-е, хотя сражение тем временем началось.

Эскадрильи «хурриканов» и «спитфайров», поднимавшиеся в небо по сигналу береговых радаров, поджидали наготове «мессеры», сопровождавшие тяжелые бомбардировщики. Иногда в бой вступали и сами бомбардировщики, разбивая боевой порядок англичан стремительными «каруселями». Как подтверждают участники событий, сражения часто превращались в серию воздушных дуэлей, которые заканчивались преследованием до самых французских берегов, где базировались самолеты люфтваффе. Весь день у берега курсировали лодки английских рыбаков, подбирая прыгнувших с парашютами пилотов.

Существует множество анекдотов, в которых обыгрывается неизбежное утомление летчиков от воздушных атак. Скажем, на базу приземляется самолет, но никто из него не выходит. Механики и санитары бросаются к машине, ожидая увидеть тяжело раненного пилота. Они поднимаются на крылья, открывают «фонарь» и видят летчика, навалившегося на

панель управления... в глубоком сне. Случалось и так, что пилоты шли в столовую подкрепиться и, только сев за стол, засыпали как убитые.

Командование Третьего рейха следовало тактике «удар молотом»: парализовать авиацию противника, разрушить пути сообщения и жизненно важные центры, сломить дух людей. Однако, с успехом примененная на континенте, эта тактика не сработала в Англии. От сельских долин Кента и Суссекса до холмов Гемпшира и Дорсета, от равнин Эссекса до собственно Большого Лондона — небо над Англией являло невиданное зрелище. С самого раннего утра в высоте неслись навстречу друг другу сотни серебристых точек, белые полосы сплетались в неровные кружева, к глухому рокоту моторов добавлялся короткий треск очередей, грохот взрывов и оглушительный свист пикирующих на землю самолетов. За десять дней, с 8 по 18 августа, Германия потеряла более четырехсот самолетов, Англия — менее половины от этого количества. Девятнадцатого августа Гитлер сделал Англии предложение о мире, которое было немедленно отвергнуто.

На следующий день Уинстон Черчилль взял слово в палате депутатов, чтобы сделать очередной отчет о ходе военных действий. «Каждый дом на нашем острове, — сказал он, — в нашей Империи и во всем мире благодарен британским летчикам, бесстрашным и неутомимым перед постоянными сложными задачами и смертельной опасностью, которые своей доблестью и упорством меняют ход войны». А затем прозвучала фраза, которую потом повторяли столько раз: «Never was so much owed by so many to so few» — «Никогда раньше в истории человеческих конфликтов так много людей не было так многим обязано столь немногим».

Эти слова вошли в золотой фонд английской политической и патристической риторики. Возможно, эта аллюзия отсылала знающих к временам Генриха V, любимого народом короля, безжалостного к бунтовщикам, великого защитника слабых, человека, в уста которого Шекспир в одноименной пьесе

вложил знаменитый эпический призыв перед началом решающего сражения при Азенкуре:

...Сохранится память и о нас —

О нас, о горсточке счастливых, братьев.

Тот, кто сегодня кровь со мной прольет,

Мне станет братом: как бы ни был низок,

Его облагородит этот день¹.

Возможно, в том числе и по этой причине слова Черчилля глубоко тронули сердца народа, издревле равнодушного к высоким ценностям.

Четыреста молодых летчиков спасли Англию, отдав свою жизнь на первом этапе сражения. Среди них были поляки из армии генерала Владислава Андерса (150 человек) — под английскими знаменами они мстили за поработленную родину; были также чехи (87 человек), канадцы (94 человека), новозеландцы (101 человек) и, наконец, американцы, которые, несмотря на заявленный США нейтралитет (до Пёрл-Харбора еще оставалось время), поспешили в Великобританию, как несколько лет назад отправились в Испанию сражаться в «батальоне Линкольна» против фашистов генерала Франко.

Почти все летчики были добровольцами, чуть старше двадцати лет, в среднем с десятью месяцами службы и парой десятков учебных полетов за плечами. Среди них — отпрыски прославленных семейств, выпускники еще более прославленных университетов. Сыны классического образования, типичного для высшего класса, они выводили собственное *effortless superiority* — естественное превосходство — из эллинистической и римской традиции, согласно которой сила народа в конечном счете зависит от степени его цивилизованности, а цивилизованность есть не что иное, как владение подлинной культурой, которая учит укреплять дух, читая классиков и участвуя в сражениях. На фотографиях мы видим

¹ Перевод Е. Бируковой.

этих юношей сидящими в шезлонгах рядом со своими истребителями, в моменты передышки между вылетами, с книгой в руках. Другие растянулись на траве с толстыми журналами. Кажется, что они демонстрируют расхожую истину: «Ничто не может изменить распорядка жизни настоящего англичанина», и война еще не причина чтобы в нем что-то менять.

Командовал этими молодыми людьми человек, который по характеру и образованию также был воплощением английского духа. Находясь на вершине блестящей карьеры, сделанной в Индии и на Ближнем Востоке, маршал авиации сэр Хью Доудинг, шотландский дворянин, был на пороге пенсии, когда нацистские войска захватили Францию и вынудили британцев к отступлению с берегов Дюнкерка. Черчилль приказал Доудингу помочь французам самолетами, но тот отказался. Вместо этого он отозвал на родину все самолеты и распорядился как следует подготовиться к столкновению, в котором на карту будет поставлена судьба нации. Если кого и следует считать творцом победы, так это, несомненно, Доудинга. Его внезапная отставка в ноябре 1940 года объясняется, на мой взгляд, черной неблагодарностью Черчилля. Когда в 1970 году Доудинг умер, на второй странице «The Times» появилось фото с его похорон. В то туманное зимнее утро за гробом шли лишь три человека, в том числе леди Клементин Черчилль, вдова Уинстона, который так никогда и не простил Доудингу мужественный акт непослушания в дни Дюнкерка. Прощальная церемония прошла в Вестминстерском аббатстве, где покоятся самые прославленные люди нации.

Несмотря на бомбардировку Лондона и других британских городов, несмотря на то что в последний момент Геринг решил возобновить атаку на военные аэродромы, битва за Британию окончилась. Она продлилась до середины ноября — к этому времени фюрер понял, что эту главу следует считать закрытой, и начал вынашивать другие планы. Историки считают, что в завоевание Британии Гитлер никогда всерьез не

верил. По мнению Алана Джона Персиваля Тейлора это был просто блеф, глупая надежда на то, что Англия, какой ее привыкли представлять, уступит страху. Может быть, Гитлер заключил пари с кем-то, но, убедившись в том, что пари проиграно, обратил взор на Восточный фронт. Теперь он вынашивал план «Барбаросса», направленный против Советского Союза; подготовка этого плана началась еще в июле 1940 года, а напасть на СССР планировалось в мае 1941-го.

Уже после войны, когда группа историков стран-победительниц опрашивала генералов вермахта, один из них спросил у Карла фон Рундштедта (в 1940 году он командовал Группой А на Западном фронте, а в июне — ноябре 1941 года — группой армий «Юг» на восточном направлении), какое сражение, на его взгляд, было решающим в войне: «Может быть, Сталинград?»

«Нет, — ответил Рундштедт. — Если бы люфтваффе выиграло „Битву за Англию“, Германия в 1941 году разбила бы Россию».

Но как, как Англия сумела выдержать эти жуткие воздушные атаки? — часто задаю я себе вопрос. Отвага сражавшихся в небе летчиков? Да, безусловно, но этого явно недостаточно. Героизм проявили миллионы обычных мужчин и женщин, явивших пример удивительной коллективной стойкости.

«Битва за Англию» сложена из сотен мелких эпизодов, каждый из которых имеет огромное значение. В те годы еще не существовали ни «умные» радиоуправляемые бомбы, ни электронные системы наведения. Бомбардировка велась либо по видимым целям, либо с использованием простейших (с точки зрения сегодняшнего дня) оптических приборов, способных соотнести расстояние до цели со скоростью самолета. В отсутствие визуальных ориентиров (допустим, купол, парк или река) за точность попадания никто не ручался, поэтому немецкие летчики предпочитали производить «ковровую» бомбардировку, превращавшую в руины целые кварталы.

По ночам в Лондоне соблюдалась строжайшая светомаскировка. Жители британской столицы на личном опыте убед-

лись, насколько трудно ориентироваться в полной темноте. Герой одного из романов Ивлиана Во, Гай Краучбэк, выходит из клуба в компании родственника черной лондонской ночью. Ему кажется, будто «мир возвратился назад на две тысячи лет, к временам, когда Лондон был огражденной частоколом кучкой домишек на берегу реки, а улицы, по которым они теперь шли, — поросшим осокой болотом». Одна женщина рассказывала, что, выйдя из метро в районе Пиккадилли, она оказалась в таком мраке, что буквально не знала, в какую сторону ей двигаться. К счастью для нее, вскоре разразилась сильная гроза. При вспышках молний еще как-то можно было передвигаться. Я привожу эти эпизоды, чтобы читатель понял, сколь драматичными были те дни.

Как ни тяжело об этом говорить, почти будничной рутинной стали ночные инциденты, в том числе грабежи и убийства. По мнению писательницы Веры Бриттен, некоторые лондонцы в дни бомбардировок обрели шестое чувство, «что-то между осязанием и обонянием», но большинству это чувство не помогало. Однажды во мраке лондонской ночи было совершено разбойное нападение на восьмидесятидвухлетнего старика; убийцу поймали и предали суду, судья вынес ему обвинительный приговор, но при этом добавил: «Я убежден, что человек в таком возрасте, как пострадавший, не имел права находиться вне дома в столь поздний час». Подобный вердикт — это тоже примета военного времени.

С заката до зари улицы объезжали особые патрули на велосипедах, проверяя, не пробивается ли где свет из окон. Газеты писали, что мать, включившая ночью свет в детской комнате, а там, как назло, не было затемнения на окнах, была оштрафована на крупную сумму.

У нас, в Италии, также был строжайший режим светомаскировки. За ее соблюдением следили дружинники из отрядов противовоздушной обороны «Упра», и у тех, кто пережил до сих пор в ушах звучат раздававшиеся по ночам крики: «Свет на четвертом этаже!» Я помню, что автомобили передвигались, включая одну фару, да и то «фара» — это громко

сказано, так как ее почти всю покрывали черным светонепроницаемым чехлом, оставляя лишь узкую щель для слабого лучика. Помню еще, что в витринах магазинов разрешалось оставлять зажженной лампочку мощностью до двадцати пяти свечей, при условии, что ее свет не попадал наружу.

Затемнение было малопопулярной мерой, предметом постоянного обсуждения в очередях. Каждый вечер окна надо было закрывать тяжелыми шторами, и если в маленькой квартирке это можно было сделать за считанные минуты, то в больших апартаментах приготовления занимали не меньше часа.

Однако требование затемнения практически не нарушалось ни у нас, в Риме, ни в Лондоне; более того, за его выполнением часто следили сами горожане. Правда, как отмечает в работе о Лондоне военного времени Филип Зиглер, в первые недели бомбардировок владельцы богатых домов с трудом приспосабливались к новым требованиям. Бдительности не терял никто. Над входом в бомбоубежище Бентал-Грин в Лондоне власти распорядились повесить тусклую лампочку — так ее в тот же вечер сняли жители района. Один швейцарский немец, проживавший в Кенсингтоне, был обвинен в том, что подает сигналы летчикам, поднимая к небу тлеющий конец своей сигары. Поймали его благодаря наблюдательности лондонских подростков. В другом районе патрульный, увидев свет в витрине магазина, повел себя как ковбой с Дикого Запада — достал пистолет и выстрелил в лампочку.

Кто-то задавался вопросом, не является ли серебристая лента Темзы в лунные ночи более чем достаточным ориентиром, равно как и железнодорожные семафоры, которые нельзя погасить. Скептики обращали внимание на то, что барьер из заградительных аэростатов вынуждал германские самолеты летать на высоте свыше пяти тысяч футов (примерно полтора километра) — разве с такой высоты можно засечь свет от лампочки в пятьдесят свечей? Но даже самые рьяные противники светомаскировки, еще раз повторю, подчинялись дисциплине.

Депутатам были розданы противогазы и указания, как в случае воздушной тревоги добраться до ближайших к парламенту бомбоубежищ.

В городе были сооружены десятки наземных убежищ: кирпичные стены, накрытые железобетонной плитой толщиной в пятнадцать сантиметров. Их с сарказмом называли «Morrison Sandwich» — сэндвичи Моррисона¹ — из-за того, что взрывная волна порой разбивала кирпичи и тяжелая плита погребала под собой стоявших под ней лондонцев. Траншеи, накрытые сверху мешками с песком, были вырыты в Гайд-парке, в траншеях можно было прятаться.

На то, чтобы создать достаточное количество относительно безопасных убежищ, понадобилось несколько месяцев. В полумраке этих помещений чего только не происходило. В одном углу коллективно молились, в другом играли в азартные игры. Как и на улице, здесь иногда совершались преступления. Один из судей, рассматривавший дело об изнасиловании, высказался так: «Девушка, спускающаяся без родителей в бомбоубежище, сама напрашивается на неприятности».

В период с 7 сентября по 13 ноября 1940 года на Лондон было сброшено около тридцати тысяч бомб высокой мощности; парашютируемые мины и зажигательные бомбы никто даже не подсчитывал — настолько их было много. Каждую ночь над городом в среднем пролетало по сто пятьдесят — двести самолетов, несущих в своем чреве смертельный груз. Иногда бомбы сбрасывали на конкретную цель, иногда (и гораздо чаще) метали наугад, куда попадет, и это имело еще более устрашающий эффект: никто не чувствовал себя в безопасности, где бы ни находился его дом.

Девятого сентября состоялось два мощных налета: 200 бомбардировщиков в течение дня и 170 — ночью. В безоблачную лунную ночь с 14 на 15 октября Лондон бомбили 410 самолетов, за несколько часов было сброшено 540 тонн бомб. Погиб-

¹ По имени Герберта Моррисона, министра обороны коалиционного правительства.

ли 400 человек, городу был нанесен значительный материальный ущерб.

После бомбардировок доков вспыхнули настолько мощные пожары, что возникли сомнения, удастся ли их вообще потушить. В складах хранилось полтора миллиона тонн древесины, которая была полностью уничтожена. Другой раз загорелись склады с десятками тонн парафина. Реки пылающего парафина потекли в Темзу, где парафин тотчас застывал, образуя полупрозрачную корку на поверхности воды. Жар был столь велик, что на бортах пожарного судна, находившегося на значительном расстоянии, расплавился лак.

В тот вечер в одном из театров Сити давали «Фауста» Гуно. Побывав вместе с Мефистофелем в преисподней, созданной воображением художника, зрители по окончании спектакля увидели ад настоящий, с языками пламени, достигавшими шестидесяти метров.

Утром 16 октября премьер-министр Уинстон Черчилль счел своим долгом навестить наиболее пострадавшие районы. Он шел пешком, со своей вечной сигарой в зубах, оставившись поговорить с добровольцами, разбирающими завалы. Как подтверждают источники, везде его встречали с большим энтузиазмом. Он и в самом деле был похож в эти минуты на ворчливого, но добродушного отца, который печется о своей семье.

Лондонцы с достоинством несли свое бремя, но люди есть люди, и реакция у всех бывает разная. При звуках воздушной тревоги кто-то спешил в убежище, а кто-то (возможно, брагуя своей смелостью) оставался на улице, подсчитывая самолеты. Сохранился рапорт водителя автобуса, в котором говорится, что на Трафальгарской площади при внезапном включении сирен две женщины так перепугались, что «испачкали салон, не в состоянии контролировать свои сфинктеры». Дети, оставшиеся в городе, в паузах между бомбежками играли в «англичан и немцев» или во что-то другое, как играют дети во всем мире, какие бы катаклизмы ни происходили.

Одни бомбоубежища содержались в чистоте, в других санузлы работали столь неудовлетворительно, что в них стояла невыносимая вонь. В некоторых было достаточно места, чтобы лечь, в другие набивалось столько народу, что приходилось стоять впрытык друг к другу.

Само собой напрашивалось решение оборудовать под бомбоубежища станции метрополитена. Черчилль сразу же поддержал идею; кто-то ему доложил, что в зоне Элдвич, включая туннели, можно разместить 750 тысяч человек. Вопрос обсуждался в верхах до тех пор, пока 8 сентября громадная толпа, собравшаяся перед входом на станцию «Ливерпуль-стрит», не потребовала, чтобы ворота были открыты. Началась давка, для наведения порядка пришлось направить взвод солдат, но лондонцы добились своего, проникнув в метро.

Конечно, станции трудно было назвать комфортабельными убежищами. Люди устраивались на полу, кутаясь в одеяла, захваченные из дому. Метро между тем продолжало работать, что создавало дополнительные трудности. Однажды во время налета бомба разорвалась прямо над эскалатором станции «Трафальгар-сквер». Железобетон не выдержал, и на людей, находившихся внизу, посыпались камни; семеро погибли. Через два дня (вернее, через две ночи) еще более страшная трагедия произошла на станции «Бэлхэм»: бомба пробила дорожное полотно, вызвав прорыв водопровода. Шестидесят четыре человека были сметены лавиной воды и грязи. Более ста человек погибли на «Бэнк-стейшн», отчасти из-за того, что взрывная волна смахнула людей под прибывавший именно в ту минуту поезд.

Утром 13 сентября первая бомба упала на Букингемский дворец; король и королева находились внутри и рисковали жизнью. В тот же день королевская чета посетила кварталы Ист-Сайда, серьезно пострадавшие от бомбардировок. Это укрепило в народе чувство, что вся страна, начиная с первых лиц государства, сражается плечом к плечу.

Если на первом этапе немецкие бомбы чаще сбрасывались на восточную часть города (особенно на портовую зону), то

начиная с третьей недели Лондон стал единой мишенью. Бомбы попали в зоологический сад и Музей восковых фигур мадам Тюссо, пострадали Военное министерство, Вестминстерское аббатство, Тауэр, собор Святого Павла, Музей естественной истории. Здесь хочу рассказать об одном любопытном эпизоде. В Музее естественной истории проросли засушенные семена шелковой альбиции, уже полтора века спокойно лежавшие в шкафу, — при тушении пожара на них попала вода. Потрясенный увиденным, директор музея попробовал подвергнуть такой же обработке семена доисторических эпох, найденные в свое время в торфяниках Южной Маньчжурии. Удивительно, но они тоже проросли. Зиглер писал: «Это был невольный вклад Гитлера в музейные изыскания».

Более драматична история собора Святого Павла. В ночь на 12 сентября мощная бомба упала прямо перед входом, глубоко ушла в землю, но не взорвалась. Чтобы вытащить ее, пришлось копать длинный туннель, осторожно пробираясь через паутину канализационных и водопроводных труб.

Упала бомба и на библиотеку Британского музея; при взрыве были уничтожены двести пятьдесят тысяч томов.

Многие лондонцы, пережившие войну, с ужасом вспоминают 29 декабря 1940 года. До этого Лондон несколько дней не бомбили. Пауза (вероятно, в связи с Рождеством) разрядила напряжение, многие члены пожарных и санитарных бригад отправились по домам отдохнуть. Вдобавок ко всему уровень воды в Темзе в те дни был рекордно низким. Как вы уже поняли, очередной налет произошел за два дня до Нового года. Когда вспыхнули пожары, обнаружилось, что насосы не достигают воды, а пожарные корабли при передвижении рискуют сесть на мель. Бомбы вызвали почти полторы тысячи пожаров, превратив значительную часть города в огненную стену. Немецкие летчики писали в рапортах, что, пролетая в ту ночь над Руаном, на расстоянии трехсот с лишним километров от Лондона, они все еще видели всполохи пламени.

В ту ночь в собор Святого Павла попало двадцать восемь зажигательных бомб, он весь был посечен осколками, но стены великолепного творения Кристофера Рена выстояли.

Как ни странно, в городе работали рестораны. Многие из них предлагали гостям в случае объявления тревоги походную койку, чтобы те могли переждать бомбежку в «комфортных условиях». Ночью официанты быстро убрали столы, расставляли в зале раскладные кровати с безупречно чистым бельем, и — вот уж гротескная картина! — на них ложились представительного вида мужчины, расслабив узел на галстук и развязав шнурки на ботинках. В отеле «Савой» большой банкетный зал в цокольном этаже был поделен надвое: в одном обедали, в другом спали.

Драматический эпизод связан с «Кафе де Пари», модным ночным клубом, никогда не пустовавшим. «Самый безопасный ресторан в городе, 20 футов под землей» — гласила реклама, придуманная владельцем заведения Мартином Пульсеном. Но летчики люфтваффе, вероятно, не знали об этом. Две бомбы угодили в крышу, проломив ее; погреб, где хранилось двадцать пять тысяч бутылок с шампанским, был полностью разрушен, но настоящая трагедия произошла в зале. Зеркальные стены а-ля «Титаник» разлетелись тысячами осколков, усугубив последствия взрыва. В тот вечер клуб был зарезервирован группой офицеров — что-то они там отмечали; было огромное количество жертв.

Нередко бомбардировки сопровождалось мародерством; не избегло этой участи и «Кафе де Пари»: мародеры обчистили бумажники и даже снимали кольца с пальцев погибших.

Вообще, мародерство было серьезной проблемой — настоящая головная боль для властей Лондона. Наряду с любителями поживиться действовали настоящие банды преступников, прибывавшие к разрушенным домам раньше карет «Скорой помощи». Бывало, что и сами рабочие, отвечавшие за разбор завалов, прибирали к рукам то, что удавалось найти. Кстати, аварийных зданий было так много, что власти приняли реше-

ние использовать динамит для их окончательного разрушения.

Несмотря на близость смерти, жизнь продолжалась; впрочем, так было не только в Лондоне. Мне рассказывал отец, что 19 июля 1943 года, когда союзники подвергли массированной бомбардировке квартал Сан-Лоренцо в Риме, жертвами которой стали три тысячи человек, кафе на виа Венето (эта улица находится на расстоянии не более двух километров от указанного квартала) работали как обычно, и вечером во многих театрах в соответствии с программой поднялся занавес. В Лондоне происходило то же самое. В день, когда в «Кафе де Пари» погибли люди, сто пятьдесят дебютанток, одетые в белое, вышли на первый свой бал в Гросвенор-Хаус. В день Рождества 1940 года, воспользовавшись временным затишьем, на центральные улицы высыпали толпы народа. Обозреватель «The Evening Standard» писал, что атмосфера на Оксфорд-стрит ничем не уступала предвоенной. Витрины, конечно, не блистали товарами, но то немногое, что было доступно в обстановке всеобщего дефицита, шло нарасхват.

В обычном режиме работали многие кинотеатры. Впрочем, не совсем в обычном. Администрация кинотеатров взяла за правило в случае воздушной тревоги развлекать зрителей. Кроме фильмов можно было посмотреть любительские спектакли и даже поучаствовать в них. Лондонцы, особенно те, кто помоложе, ожидая самого худшего с наступлением ночи, шли в кино, прихватив из дому подушки и одеяла. Наибольшей популярностью пользовались «Ребекка» и «Иностранный корреспондент», первые две картины, которые английский режиссер Альфред Хичкок, перебравшись в Голливуд в 1939 году, снял в Соединенных Штатах.

В годы войны в Англии снималось много художественных, документальных и откровенно пропагандистских фильмов, как, впрочем, во всех воюющих странах. Основная тема — нация, объединившаяся ради того, чтобы отстоять свою культуру и свой образ жизни. В короткометражной ленте «Лондон может справиться» рассказывается об одном из дней тревож-

ной осени 1940-го. Фильмы «Сердце Британии», «Слушай Британию» (оба 1941 года) и «Тихая деревня» (1943) воспевают гордящееся своим прошлым общество. Киножурналы яркими красками изображали бесчеловечность врага. «Нацистские варвары посреди пшеничного поля. Они оставляют после себя смерть, разруху, голод... Таков немецкий план, такова порока людей, с которыми мы сражаемся уже два года», — констатировал закадровый голос.

Ход операции «Битва за Англию» также освещался в документальных и художественных лентах. В каждом из них развивалась мысль о том, что британская авиация способна нанести удар когда угодно и где угодно. Уже в 1940 году люди задумывались о послевоенном времени. «Будет немало работы, когда закончится война, и мы построим что-то лучшее, нежели то, что было разрушено. Не будет больше грязных и темных закоулков, не будет голодных без крова над головой», — говорит герой одного из фильмов.

У «Битвы за Англию» есть и еще один аспект: секретная война технологий и шифров. Прежде всего хочу сказать о радаре, невидимом луче, позволявшем англичанам обнаруживать суда и самолеты противника. Вычислив с помощью радара координаты, они могли атаковать врага в любой момент. Командиры итальянских кораблей, курсировавших в Средиземном море, долгое время не могли понять, кто дает наводку британским истребителям и бомбардировщикам. Оказалось, британским истребителям и бомбардировщикам. Оказалось, не кто, а что — радар. Если итальянские офицеры всматривались в горизонт, вооруженные лишь биноклями, англичане могли определить курс и скорость вражеских кораблей на расстоянии нескольких километров.

Особо — о войне шифров. Незадолго до войны немцы изобрели аппарат под названием «Enigma», использовавший столь сложную систему шифрования, что взломать ее казалось делом немыслимым. И все-таки англичанам это удалось, создав отдел, которому суждено было войти в историю разведки. Располагался он в старом викторианском здании в тюдоровском стиле в Блетчли-Парке, в нескольких десятках ки-

лометров от Лондона. Здание окружал обширный сад, который по мере разрастания отдела постепенно застраивался. Во временных блоках трудились специалисты по разным операциям: дешифровке, переводу, сличению и так далее. Первоначально штат состоял из двухсот человек, а в разгар войны в отделе насчитывалось уже семь тысяч сотрудников. В штате были любители ребусов, чемпионы по шахматам, египтологи — ведь все эти люди привыкли разгадывать головоломки. Был даже предпринят весьма «английский» маневр: в газете «The Daily Telegraph» был опубликован исключительно трудный кроссворд, который смогли отгадать лишь двадцать пять человек; троих из них приняли на работу.

В числе криптоаналитиков значился и Ян Флеминг, автор романов о Джеймсе Бонде. Конечно, приключения его героя вымышлены, но вместе с тем в романах полно реальных деталей. Например, в кабинет главы секретной службы можно войти, лишь когда загорится зеленая лампочка над дверью. Именно так и было в Блетчли-Парке, только шефа звали не М., как в романе, а С. (в реальной жизни — Джордж Камминг). Некоторые весьма креативные идеи Флеминга вполне могут лечь в основу пока еще не написанных произведений. К примеру, однажды он предложил утопить в Ла-Манше самолет, закамуфлированный под немецкий. Пилоты этого самолета, якобы спасшиеся, должны были послать сигнал SOS в расчете на то, что их подберет немецкий корабль. Далее совсем уж лихая история: лжепилотам надлежало уничтожить экипаж или выкрасть шифры (скорее всего, и то и другое). Самое удивительное, что план был одобрен, хотя и не выполнен: в назначенный день в водах Ла-Манша не было ни одного вражеского судна, которое могло бы привлечь внимание.

В Блетчли работали также Хью Александер, чемпион страны по шахматам, и Джон Чедвик, лингвист, после войны прославившийся тем, что расшифровал загадочное критское письмо, так называемое «линейное Б».

Самым же гениальным из всех «секретных агентов», работавших над дешифровкой, был математик Алан Матисон Тью-

ринг, о котором даже сняли фильм под названием «Энигма» (вольно обращающийся с фактами и довольно посредственный, по одноименному роману Роберта Харриса).

Так шли бесконечно долгие месяцы с августа 1940-го по май 1941 года, в течение которых англичане (лондонцы в особенности), стиснув зубы и подтянув пояса, выдерживали натиск немцев. Под градом бомб, скудно питаясь, спя урывками в промежутках между воздушными тревогами, лондонцы вели себя так, как повели бы жители любого другого города в подобных условиях. Самопожертвование и беспрецедентный героизм смешивались с трусостью, недееспособностью, мародерством и осквернением трупов. В моих детских римских воспоминаниях тоже есть нечто подобное. Римляне устраивали побег заложникам, несмотря на угрозы СС, противостояли врагу даже ценой жизни, упорно молчали под самыми жестокими пытками, помогали в нужде друг другу. И одновременно в массах царил апатия, которую можно было бы назвать смирением, но мне совсем не хочется писать это слово. Нет, не смирение, а скорее терпение объединенных страданиями людей. Ведь именно терпение позволяет легче переносить тяготы и опасности. В Лондоне терпение — и в общечеловеческом, и в политическом смысле — стало доминантным мотивом для целого отрезка времени, хотя некоторые историки-ревизионисты и пытаются «развенчать миф», изображая тот героический период как паноптикум гнусностей: алчности, трусости, предразсудков и, наконец, бездарности.

Почему же «Битва за Англию» окончилась победой британцев? Этому послужило несколько факторов. Во-первых, блестящее руководство. Черчилль сумел объединить страну в самое тяжелое для нее время. Удивительно, но харизма этого человека была такова, что он превратил в предмет национальной гордости не только победоносное сражение в небе Британии, но и стремительное отступление из Дюнкерка!

Во-вторых, королевская чета, и в особенности Елизавета Боуз-Лайон, повела себя безукоризненно. Георг VI стал королем после отречения брата, влюбившегося в разведенную да-

му Уоллис Симпсон. Он был робким, не уверенным в себе человеком, заикой, боровшимся со своим недугом. Елизавета сумела сделать его символом сопротивления нацизму. Если король Италии после событий 8 сентября 1943 года отдал свой народ и армию на расправу нацистам, то поведение британских монархов было противоположным. Когда придворные попросили Елизавету уехать в Канаду, подальше от гитлеровских бомб, она ответила: «Дочери не уедут без меня, я не уеду без короля, а король не уедет никогда». Конец дискуссии.

В те дни в городе была очень популярна одна песенка: «Король все еще в Лондоне, в Лондоне, в Лондоне, и останется в Лондоне, даже если упадет Лондонский мост». Подобные примеры лучше всего демонстрируют дух единства.

Всякий раз, когда Черчилль оказывался перед разрушенным домом или в дверях бомбоубежища, у тех, кто видел его, укреплялась вера в победу, у людей появлялось ощущение (пусть и иллюзорное), что они не брошены на произвол судьбы.

Победе своего противника невольно способствовал и сам Гитлер. Если бы он бомбил только бедные кварталы Ист-Сайда, неминуемо выросла бы социальная напряженность. Не исключено, что имели бы место пацифистские выступления с явной классовой окраской. Но когда бомбы начали крушить Сити и королевский дворец, установилось определенное равновесие. Более того, в этот период классовые различия, столь выраженные в Англии, ослабли до минимума.

Согласно статистике, в эти месяцы сократилось даже число самоубийств и масштабы пьянства. Неявки на работу были крайне редки, несмотря на трудности с транспортом. Вот за что Черчилль, невзирая на смерть и разруху, имел право называть эти моменты лучшими часами своей страны.

В заключение хочу также напомнить о некоторых символических (и все же крайне важных) элементах. Биг-Бен, символ Лондона, ни на день не прекратил отбивать часы, разливая по городу свое низкое «ми». И еще один могучий символ: купол собора Святого Павла. Скажу так: если нужно выразить

крах немецких планов одним-единственным образом, то это самый точный образ: гигантский купол, который, целый и невредимый, гордо высится над лежащим в развалинах кварталом.

Оборотная сторона медали, тем не менее, существует и представлена фигурами герцога Виндзорского и его жены Уоллис Симпсон, самой скандальной супружеской пары за всю историю войны. Как относительно недавно выяснилось из досье ФБР, опубликованных газетой «The Guardian», супруги жили под надзором агентов Соединенных Штатов, так как Вашингтон подозревал их в шпионаже в пользу нацистов. По убеждению американских секретных служб, экс-король был вынужден оставить в 1936 году трон не столько из-за любви к разведенной женщине, а именно из-за предосудительной симпатии к Адольфу Гитлеру. Что до Симпсон, то она не только симпатизировала нацизму, но и побывала в любовницах германского министра иностранных дел и бывшего посла в Лондоне Иоахима фон Риббентропа.

Когда слухи стали слишком настойчивыми, президент Франклин Делано Рузвельт лично попросил установить за Эдуардом и его женой наблюдение. Их симпатии к нацизму были к тому времени широко известны. На одной из фотографий Гитлер в военном мундире со свастикой целует руку Уоллис Симпсон, рядом — улыбающийся Эдуард; съемка велась во время частного визита британской четы в Берлин в 1937 году. В Вашингтоне даже говорили в том, что Эдуард заключил с Германом Герингом соглашение, по которому в случае поражения союзников Гитлер вернул бы его на трон.

Этими откровениями ФБР была обязана некоему отцу Одо, или Карлу Александру, герцогу Вюртембергскому, представителю германской аристократии, состоящему в родстве с королевской семьей, а впоследствии ставшему монахом во францисканском монастыре в США. Отец Одо рассказал, что Уоллис Симпсон каждый день получала от Риббентропа по семнадцать роз, в память об их семнадцати любовных свиданиях, и что она любила повторять: «Герцог Виндзорский поч-

ти импотент, он пытался иметь отношения со многими женщинами, но только мне удастся его удовлетворить». Если все действительно обстояло так, то это само по себе объясняет, почему Эдуард променял трон Англии на губернаторское кресло на Багамах. Этот опереточный пост и в самом деле был маневром Уинстона Черчилля, чтобы отправить герцога по-дальше, затруднив тем самым его сношения с нацистами. Эти годы, опять же согласно ФБР, герцог прожил «в таком состоянии [алкогольной] интоксикации, что большую часть времени был не в себе». Слухи, родившиеся во время кровопролитной войны, очень трудно проверить; до конца вся правда никогда не будет известна.

Я завершаю эту главу стихами, написанными артиллеристом, которому не было и двадцати, когда он записался в 1940 году добровольцем в армию. Звали его Фрэнк Уильям Томпсон, он был сыном востоковеда-индолога и очень одаренным по части языков, включая латынь, юношей. Фрэнк участвовал в высадке в Сицилии; был захвачен в плен в 1944 году в Болгарии и расстрелян как предатель, несмотря на то что носил мундир Королевской армии. Его короткое стихотворение носит латинское название «Polliciti Meliora» («Лучшие обещания»), скупые волнующие строки, достойное расставание с темой:

Как тот, кто, любуясь созерцанием красоты,
Видит приближение облаков и должен нехотя
отвернуться,

Зная, что начинается гроза,
Так и мы, у кого впереди была вся жизнь,
А сердца возвращены солнечным светом,
Должны были оставить наши книги и цветы,
Чтоб сойти с холмов и быть убитыми.
Не пишите на камне печальных слов,
Здесь место радости — потому что мы,
Требовавшие от жизни лучшего,
Сумели также и отдать ее — во имя лучшего,
Которое обязательно придет.

XVII

ПОП-ПРИНЦЕССА

Кто хочет посетить в Лондоне места, связанные с рано оборвавшейся несчастливой жизнью Дианы Спенсер, имеет перед собой широкий выбор: заведения, в которых она бывала, рестораны и кафе, где она тайно встречалась со своими любовниками. Или Кенсингтонский дворец, где Диана жила после развода и над которым довлеет злоеца легенда.

Кенсингтонский дворец расположен на самом краю Кенсингтонских садов — тех самых, где находится статуя Питера Пэна, мальчишки, который не хотел расти. Обычные посетители, минуя другую статую (королевы Виктории в молодости), пройдя через украшенные богатой позолотой ворота, могут осмотреть несколько залов в открытой для публики части дворца. Приватные апартаменты находятся в левом крыле, и здесь же (на Палас-авеню) расположен вход, охраняемый полицейскими.

В стенах дворца умер король Георг II. Он провел юность при германском дворе, женился на Каролине Бранденбург-Ансбах и любви к ней оставался верен всю жизнь, равно как к музыке и оружию. Георг II — последний английский король, который лично вел свои войска в бой (в сражении при Дет-

тингене против французов в 1743 году). Умер он внезапно, от удара; ему наследовал внук, правивший под именем Георга III. Одна из дочерей Георга, принцесса София, без памяти влюбилась в своего оруженосца Томаса Гарта, от которого родила сына, немедленно объявленного незаконнорожденным. Пыл оруженосца быстро угас, и несчастная София замкнулась в меланхолическом одиночестве в своих апартаментах. Там она состарилась, проводя целые дни над прядением или вышиванием и год от года все больше теряя зрение. Когда София совсем ослепла, ее отправили жить в другое место, где она и умерла, всеми забытая. Легенда гласит, что иногда по ночам все еще слышится в залах ритмичный шум ее прядки. Печальная история...

Еще одно место, где жива память о Диане, — это жутковатый мемориал, который несостоявшийся свекор Мохаммед аль-Файед установил в подвальном этаже своего универмага «Хэрродс». Стоит взглянуть на него, ибо редко когда одно и то же место с такой силой сосредоточивает в себе боль утраты и безвкусицу. Два овала с портретами любовников, несколько свечей, цветы, журчание воды, розоватая подсветка. Напротив под эскалаторную лестницу втиснута позолоченная статуя египетского божества, покровителя усопших. Анубис (или это не он?) держит в руках пару электрических свечей и благосклонно глядит своими огромными подведенными глазами на фото безвременно погибших любовников.

Как они погибли? Смерть этой яркой женщины, жестокая и внезапная, останется (покуда не сотрется память о ней) неразрешимой загадкой. В лихорадочной череде событий, особенно в ночь с 30 на 31 августа 1997 года, много темных моментов, дающих основания для самых разных гипотез. У большинства не укладывается в голове, что тридцатилетняя женщина — красивая, богатая и здоровая, одним словом, принцесса из сказки, — может умереть такой смертью. Отчасти поэтому сразу стали плодиться самые разные домыслы в попытке дать этому абсурду хоть какое-то объяснение, каким бы банальным или отвратительным оно ни было.

В истории Дианы Спенсер, как и в случае Мэрилин Монро, основополагающую роль играло личное обаяние, эротический ореол, окружавший ее фигуру. Мы так и не узнаем, была ли смерть Мэрилин самоубийством или нет; точно так же нам не дано знать, была ли смерть Дианы — изуродованное тело в искореженной машине, врезавшейся в железобетонный столб, — следствием алкогольного опьянения водителя или же это демонический заговор с целью уничтожения женщины, которая осмелилась бросить вызов королевской семье, представляющей одну из немногих еще что-то значащих в мире монархий. Кстати, со свойственной ему экзальтацией ливийский лидер Муамар Каддафи объявил Доди и Диану мучениками за ислам, явно перестаравшись.

Мы можем лишь воскресить факты; изложенные в хронологической последовательности, они предстают трагичными, но на вид совершенно не вызывают подозрений. Впрочем, нам ли не знать, что, если допустить вероятность заговора, кажущаяся прозрачность мало что значит. Заговоры такого высокого уровня не для того замышляются, чтобы быть раскрытыми репортерами или сыскными бюро, нанятыми страховой компанией. Настоящие заговоры если и бывают раскрыты, то только историками, которые спустя годы, даже столетия получают доступ к архивам, прежде находившимся под грифом секретности.

Что ж, ознакомимся с фактами.

Самолет семьи арабских миллиардеров аль-Файедов с зелеными и светло-коричневыми логотипами «Хэрродс» на фюзеляже 30 августа 1997 года вылетел из Ольбии и в 15 часов 20 минут приземлился в парижском аэропорту Ле Бурже (том самом, где в 1927 году завершил свой трансатлантический перелет Чарльз Линдберг¹). Кроме штатного персонала, самолет поджидала дюжина журналистов. Любовь, вспыхнувшая между бывшей женой принца Чарльза, матерью двух его сыновей,

¹ Линдберг, Чарльз (1902—1974) — американский летчик, первым совершивший перелет через Атлантику (приземлился 21 мая 1927 г. во Франции). — Примеч. ред.

новой, и арабским плейбоем Доди аль-Файедом — свежая сенсация, гуляющая по глянцевым журналам всего мира. Фотография Дианы и Доди, целующихся на борту яхты «Джоникал», хозяином которой был аль-Файед-старший, датируется началом августа. Снятая мощным объективом с большого расстояния, по качеству она оставляет желать лучшего, но разве о качестве идет речь? По слухам, роман между принцессой и Доди продолжался с ноября предыдущего года, то есть уже девять месяцев, и новые факты еще больше подогревали интерес.

Тридцатого августа была суббота. Диана предполагала задержаться в Париже менее чем на сутки, после чего вылететь в Англию, где сыновья ждали ее на совместный воскресный ужин.

Дирекция аэропорта дала разрешение подъехать к трапу автомобилю аль-Файеда «Мерседесу 600 SL», за рулем которого находился водитель-француз по имени Филипп Дорно: VIP-пассажиры хотели покинуть аэропорт без тесного соприкосновения с прессой. В сопровождении машины эскорта «мерседес» вынырнул из бокового выезда и направился в сторону Парижа. Однако фотографии, похоже, предвидели такой маневр и устремились по скоростной трассе следом.

До момента соблазнения Дианы Доди был одним из многочисленных плейбоев, вращающихся в столицах Старого и Нового Света, коллекционируя красивых женщин, бутылки дорогого шампанского и иногда — лошадей. Широкой публике он был практически неизвестен, и ему уж точно не приходилось спасаться бегством от оголтелой толпы фотографов и репортеров. Но, когда завязался роман с принцессой, все изменилось. Внимание и льстило, и нервировало его. Отчасти поэтому Доди приказал водителю гнать как можно быстрее, чтобы оторваться от надоедливых преследователей. (Признаться, написав выше о том, что ему не часто приходилось спасаться от папарацци, я немного покривил душой. Он не первый раз так себя повел. Однажды в Нью-Йорке, находясь в обществе

порнодивы Ку Старк, Доди чуть не погиб, приказав водителю «выжать газ», опять-таки чтобы оторваться от преследования.)

Следующий пункт программы этого парижского дня, который показался бы просто бестолковым, не будь у него трагической развязки, — вилла Виндзоров в Булонском лесу. Раньше здесь жили экс-король Эдуард VIII и его жена, бывшая журналистка Уоллис Симпсон, сумевшая влюбить в себя монарха, да так, что он ради брака с ней добровольно отрекся от престола. Виллу в Булонском лесу они занимали с 1954 года; Эдуард умер в 1972 году, а его супруга — в 1987-м.

После кончины герцогов Виндзор вилла долгие годы стояла в запустении, постепенно приходя в упадок. Неизвестно, что было бы с ней дальше, если бы миллиардер Мохаммед аль-Файед, отец Доди, не попросил ее у парижских властей в аренду. С скромная плата (эквивалентная 1500 евро в месяц) в обмен на дорогостоящее обязательство: отреставрировать и само строение, и прилегающий парк.

Молодая пара задержалась здесь недолго, вероятно, Доди просто хотел показать «невесте» дом, намекая, что они могли бы здесь жить вместе.

Через пару часов после приземления, в половине пятого вечера, Диана и Доди приехали в знаменитый отель «Ритц» на Вандомской площади, который также находился в собственности семейства аль-Файед. Фотографы были наготове, но в целом проход из машины в лобби обошелся без эксцессов. Пара поднялась в 102-й номер. В течение нескольких часов любовники оставались наедине, если не считать установленных (предположительно) в номере микрофонов. Спрятать в номере «жучки» — дело нехитрое: принцессу и ее спутника постоянно окружало множество людей, среди которых, конечно, были и сотрудники секретных служб. Были они и в тот день. Например, сорокаоднолетний Анри Поль, который будет находиться за рулем автомобиля в момент катастрофы. Этот парень работал заместителем начальника службы безопасности отеля и одновременно со-

стоял в прозрачных отношениях с французскими секретными службами.

В 18 часов 30 минут Доди вышел из гостиницы и скрылся в дверях расположенного рядом ювелирного магазина Альберто Репосси, одного из самых шикарных в Европе. Листая однажды каталог, Диана влюбилась в изящное кольцо с романтическим названием «Dis-moi oui» («Скажи мне „да“»). На вид очень простое: четыре бриллианта в форме звезды, ценой всего в сто семьдесят тысяч евро, что для Доди сущий пустяк.

Спустя полчаса, ровно в 19.00, они вдвоем вышли из «Ритца», сели в машину и, как обычно в сопровождении папарацци, направились в скромное *pied-à-terre*¹ Доди (целый этаж площадью двести квадратных метров); апартаменты располагались в доме номер 1 по рю Арсена Гуссе, улице в начале Елисейских Полей. Когда пара подошла к подъезду, ее окружил уже целый легион фотографов, между которыми и охраной вспыхнула перепалка.

На остаток вечера Доди забронировал под чужим именем столик в знаменитом ресторане «Бенуа». Но на обратном пути в «Ритц», раздраженный навязчивым преследованием репортеров и к тому же узнав, что у дверей ресторана их поджидает еще одна свора фотостервятников, Доди изменил планы. Он решил пойти вместе с Дианой в ресторан отеля — великолепный «Эспадоне», в стенах которого бывали самые известные персоны, от Марселя Пруста до Коко Шанель и Маты Хари, и, разумеется, Эрнеста Хемингуэя, который в Париже, примерно как Гарибальди в Италии, отметился практически повсюду.

В 21 час 30 минут пара добралась до «Ритца». Но и в «Эспадоне» отужинать не удалось. Как только пара появилась в дверях ресторана, изысканная публика прервала разговоры, и в зале воцарилась неловкая тишина. Порядком раздраженный Доди попросил директора ресторана (который в конечном счете работал на его отца) подать заказ в номер.

¹ Пристанище (фр.).

Спустя какое-то время сын арабского миллиардера предложил Диане уехать из отеля и вернуться в его квартиру. Он разработал план, наивный по замыслу, исполнение которого и приведет к катастрофе. Чтобы избавиться от фотографов, чье навязчивое присутствие стало невыносимым, Доди попросил подать к запасному выходу на рю Камбон какую-нибудь другую, неизвестную журналистам машину. По его расчетам, припаркованный у парадного входа шестисотый «мерседес» по-прежнему будет сигнализировать о том, что они с Дианой не покидали отель.

Не без труда в этот субботний вечерний час дирекции «Ритца» удастся арендовать черный «мерседес» модели 280S. За руль сел Анри Поль, который в 19 часов закончил рабочую смену, но затем вернулся в гостиницу по собственной инициативе. Автомобиль имел пробег семнадцать тысяч километров и, следовательно, был относительно нов, однако в его послужном списке значился тревожный эпизод. За четыре месяца до происходящего машину угнали и бросили под Парижем, сняв кое-что из начинки, в том числе блок электронного управления. По данным ряда источников, после ремонта некоторые системы автомобиля барахлили. В частности, лампочка, указывающая на износ тормозных колодок, мигала по поводу и без повода. Техосмотр машины планировался, но произведен не был, однако в любом случае этот «мерс» был единственным свободным на тот момент.

В двадцать минут первого любовники покинули апартаменты и вышли на улицу через запасной выход. Забегая вперед, скажу, что расследование (подтвержденное вскрытием) показало: в тот период Поль принимал психотропные средства, помогавшие ему справиться с последствиями любовной неудачи; вдобавок ко всему в этот вечер он немало выпил. Кто-то заявлял (но это лишь ничем не доказанные предположения), что вид столь увлеченной друг другом парочки еще сильнее обострил его душевную боль.

В арендованное авто сели вчетвером. На водительское место — Анри Поль, рядом с ним телохранитель Доди Тревор

Риз-Джонс, единственный, кто пристегнул ремень безопасности, и единственный, кто останется жив в этой жуткой аварии, хотя и получит серьезные травмы. Доди сел позади водителя, слева, а Диана рядом с ним, справа. Сотрудник отеля, видевший, как выходила группа, впоследствии заявит, что водитель явно выглядел «возбужденным и пьяным». Другие показания (их давали члены семьи Анри Поля), наоборот, настаивали на абсолютной трезвости. Вот объективные данные: в тот вечер содержание алкоголя в крови водителя равнялось 1,7 промилле, что в три раза выше допустимой законом нормы.

Машина тронулась в 0 часов 21 минуту (то есть в первые минуты последнего дня августа). Бóльшая часть папарацци поджидала пару на площади, однако самые ушлые, предполагая отвлекающий маневр, стояли на посту на рю Камбон. Как только машина тронулась с места, об этом стало известно всем репортерам, которые не замедлили броситься вдогонку, кто на машинах, кто на мотоциклах. Доди, весь на нервах, попросил водителя прибавить скорость. Кажется, Диана тоже дала такое указание. Как бы то ни было, по свидетельству очевидцев, тяжелый автомобиль (чуть меньше двух тонн) «чуть ли не летел», что в переводе с языка метафор означает скорость около 150 километров в час.

Если пунктом назначения и была квартира Доди, то маршрут к ней был выбран обходной. Но возможно, это входило в планы: ввести в заблуждение преследователей и измотать их. С большой вероятностью все закончилось бы благополучно, если бы на пути «мерседеса» не было туннеля — того, что проходит под Альмским мостом на правом берегу Сены, самого опасного в Париже. На такой скорости углубление в дорожном полотне на въезде в туннель сработало как трамплин. Несколько десятков метров автомобиль буквально пролетел по воздуху, после чего тяжело приземлился и задел третью опору подземной галереи. Его занесло сначала вправо, а затем — возможно, оттого что водитель резко вывернул руль — в другую сторону, и он протаранил тринадцатую опору. Послед-

ствия вам известны. Двое, водитель и Доди, скончались на месте — Анри Поля расплющило о руль, Доди получил смертельные травмы грудной клетки и головы. Телохранитель Риз-Джонс получил тяжелейшие ранения, особенно пострадало лицо: бедняге почти снесло нижнюю челюсть.

А Диана? У Дианы, сидевшей сзади, множественные переломы (ребер, конечностей) и резаные раны (правая ягодица, правое бедро), но самая тяжелая травма — внутренняя: разрыв левой легочной вены, что вызвало обширное кровоизлияние.

Реанимобиль приехал через шесть минут после аварии. Французская служба «Скорой помощи» — одна из лучших в Европе; в состав бригады входят врачи-специалисты, а машины оснащены не только носилками и набором необходимых лекарств, но и качественным оборудованием, фактически это мини-операционные на колесах. Диану со всей осторожностью извлекли из-под покореженных обломков, положили на носилки, сделали ей интубацию для поддержания дыхания и поставили капельницу. Через несколько минут носилки погрузили в машину. Поскольку давление продолжало падать, врачи решили дожидаться стабилизации состояния пострадавшей. Диане ввели зонд в трахею, электрокардиограф измерял сердцебиение. Примерно через час после аварии реанимобиль медленно тронулся с места. На то, чтобы доехать по пустым ночным улицам Парижа до больницы Питье-Сальпетриер, потребовалось сорок минут, в том числе потому, что при переезде через Аустерлицкий мост сердце принцессы перестало биться. Машина остановилась; пройдет несколько минут, прежде чем непрямой массаж сердца и инъекции адреналина снова заставят мышцы сокращаться.

В ворота больницы реанимобиль въедет в 2 часа 10 минут. Врачи Бруно Руи (анестезиолог-реаниматор) и Ален Пави (кардиохирург) принимают решение вскрыть грудную клетку, чтобы получить более ясное представление о масштабах внутренних повреждений. Длинный разрез, который необходимо сделать, чтобы иметь удобное поле для работы, протя-

нулся от ключицы до брюшной полости. Диану, почти бездыханную, подключили к аппарату «искусственное сердце — легкие». В течение двух часов бригада врачей боролась за ее жизнь, в том числе применяя прямой массаж сердца. В 3 часа 45 минут Руи констатирует, что сделать больше ничего невозможно. Он отдает распоряжение отключить аппараты и зашивает огромный разрез. В 4 часа 5 минут 31 августа объявляют о том, что Диана Спенсер скончалась.

Врачи сообщили об этом министру внутренних дел Франции Жан-Пьера Шевенемана, который спешно приехал в больницу вместе с послом Великобритании Майклом Джем. Министр информирует о случившемся главу правительства и президента Республики. Посол сообщает о трагедии Чарльзу, позвонив в его летнюю резиденцию Балморал — тот самый замок, куда Диана должна была приехать вечером в воскресенье. Джей также известил Мохаммеда аль-Файеда, который приказал немедленно приготовить к вылету его личный реактивный самолет; он приземлится в Париже три часа спустя, в семь утра.

В 5 часов 44 минуты агентство «Франс Пресс» рассылает первое сообщение: «Диана мертва». Через несколько минут второе сообщение дает скупые подробности: «Принцесса Диана погибла сегодня ночью в Париже в результате дорожной аварии». В это лениво-неспешное августовское воскресенье все утренние выпуски новостей откроются этим оглушительным известием.

Есть одно небольшое дополнение, касающееся того, как весть о гибели Дианы была принята при дворе. Услышав по телефону о случившемся, принц Чарльз издал мучительный вопль, а затем, как сообщают очевидцы, «обхватил голову руками и зарыдал». Королева впоследствии порицала это прилюдное проявление боли — черта в личности сына, которую она никогда не одобряла.

Затем надо было решать, приспускать ли флаг на крыше Букингемского дворца. Елизавета заметила, что флаг не приспускался даже в связи с кончиной Уинстона Черчилля, — так

уместно ли делать это в отношении женщины, являвшейся всего лишь бывшей женой наследника престола, к тому же подрывавшей авторитет монархии? Но Чарльз позволил себе возразить матери, уверенный в том, что изъясляет чувствую «средней Англии», близость к которой он «столь явственно ощущает». Его поддержал сын Уильям: почему нельзя спустить флаг, если «этого хочет народ»? Поскольку королева продолжала отвергать этот знак уважения к памяти погибшей, Чарльзу пришлось прибегнуть к угрозам: если флаг не будет приспущен, он выступит по телевидению с извинениями за кажущееся безразличие Виндзоров. Елизавета в конце концов уступила, учитывая, что на стороне Чарльза был и премьер-министр Блэр. Только увидев, сколько людей пришли попрощаться с принцессой, королева признала: «Откровенно говоря, я не представляла, что Диана Спенсер пользовалась такой популярностью». Вот он, симптом глубокого отчуждения правящего монарха от жизни страны.

Развеивает ли предельно точная реконструкция последних часов жизни молодой женщины все сомнения относительно причин произошедшего? Конечно, имела место автокатастрофа. Была и огромная скорость, безумная для городской трассы, и измененное состояние психики водителя, и, возможно, не идеальное состояние автомобиля, и нервное возбуждение в салоне, и атмосфера соревнования с преследовавшими машину фотографами, и взаимная напряженность из-за предложения о браке — может, ожидаемого, может, отвергнутого, кто знает. Одним словом, множество составляющих, которые могли обусловить занос машины и фатальное столкновение с опорой. Но не сыграли ли роль и другие факторы, неизвестные нам? И собственно, почему следует предполагать другие факторы? Кто был заинтересован в том, чтобы избавиться от женщины, уже покинувшей правящий дом и снова незамужней?

Мне бы хотелось снова вернуться к предложению о браке. Все указывает на то, что именно в тот вечер Доди хотел сделать Диане предложение, и приобретенное им кольцо с брил-

лиантами должно было стать официальным символом его намерений. Не исключено, что Диана сама подталкивала его к решительному шагу, не без намека сказав, что ей нравится именно это кольцо (вспомните его название). Спорный и одновременно важный вопрос, который сам по себе объяснил бы нам большую часть дальнейших событий, знаем мы наверняка, что происходило в промежутках между нелогичными событиями того дня.

Есть свидетельства, что Диана не намеревалась продлевать отношения с египетским плебеем дальше приятного беспечного флирта. Вроде бы она говорила друзьям, что слишком многое и слишком недавно ей пришлось пережить и поэтому пока она ни с кем не хочет связывать свою жизнь. Среди друзей — очень близкие Диане люди, такие как Роза Моктон, которая в последовавшие за трагедией дни приложила много усилий к тому (по мнению некоторых, даже слишком много), чтобы опровергнуть слухи о беременности принцессы.

Согласно другим свидетельствам (и предположениям), в основном со стороны клана аль-Файеда (и арабского мира в целом), Диана наконец-то нашла человека, который ей нравился. Доди аль-Файед окружал ее вниманием, на которое был чрезвычайно скуп ее бывший супруг (если не считать строгого выполнения династического долга). И Диана якобы с тем большим нетерпением ждала предложения, что носила под сердцем ребенка Доди.

В своей книге на эту тему Гордон Томас, эксперт в делах секретных служб, подтверждает, что Диана намеревалась выйти замуж за Доди, и прибавляет, что французские врачи из больницы Питье-Сальпетриер сразу после установления смерти Дианы извлекли из ее утробы восьминедельный плод. В подтверждение своей гипотезы Томас приводит слова Мохаммеда аль-Файеда, который уверял, что во второй половине дня в ту злополучную субботу ему позвонил сын, чтобы сообщить: в следующий понедельник они с Дианой официально объявят о помолвке. «Она беременна», — якобы добавил он.

Поскольку все телефонные разговоры семьи прослушивались, Томас выражает уверенность, что в каком-нибудь из сейфов британских (или американских) секретных служб пылится пленка с соответствующей записью.

Еще один источник утверждает, что Диана «была отнюдь не робкой в постели», и где-то еще до сих пор (непонятно только для чего) хранятся документальные подтверждения этому.

В существовании заговора у Мохаммеда аль-Файеда никогда не было сомнений: Доди и Диана, неоднократно повторял он, погибли в подстроенной катастрофе. Исполнители — британские спецслужбы, направляемые герцогом Эдинбургским. Мотив — избавить корону от сомнительного удовольствия наблюдать, как мать будущего короля Великобритании обращается в ислам и выходит замуж за мусульманина Эмада аль-Файеда. Разве нужен будущему суверену сводный брат-мусульманин? Одним словом, у нас достаточно причин, чтобы еще раз погрузиться в историю, многие годы находившуюся в фокусе внимания миллионов людей и ставшую назидательной после своего трагического завершения.

О браке принца Чарльза и Дианы Спенсер написано много, и все же остаются моменты, которым не было уделено должного внимания. Первый вопрос касается факторов, подтолкнувших Чарльза и Диану в объятия друг друга. Одним из главных устроителей этого союза значится герцог Филипп Эдинбургский, супруг королевы Елизаветы. Отец-деспот и бесцветный муж. Человек, посредственно выполняющий свою декоративную функцию, не блистающий ни умом, ни обаянием, неоднократно попадавший в неловкое положение. Однажды, выступая в университете Торонто, он начал речь такими словами: «Я с большим удовольствием открываю это заведение, как бы оно ни называлось». Когда канадцы деликатно намекнули ему, что высказывание принца не вызвало у них большой радости, он ответил: «Шел дождь, и я

не хотел терять время на то, чтобы вспоминать, где нахожусь».

Вероятно, принимая решение о выборе невесты для сына, герцог исходил из того, что популярность монархии падает. Идея поправить имидж правящего дома, введя в него девушку из старинного аристократического семейства (и даже с более английской, чем у самих Виндзоров, родословной), юную и миловидную, наделенную неопровержимым природным обаянием, должно быть, показалась ему гениальной.

О помолвке было объявлено в феврале 1981 года, свадьбу сыграли 29 июля. Диане было двадцать лет, Чарльзу — тридцать два.

На деле брак с самого начала был катастрофой. За несколько дней до свадьбы Диана узнала, что связь ее будущего супруга с миссис Камиллой Паркер-Боулз продолжается. Одно из худших ее воспоминаний относилось к моменту, когда она, проходя под руку с Чарльзом по нефу заполненного людьми собора Святого Павла, заметила почти у самого алтаря Камиллу, в роскошном платье элегантного жемчужно-серого цвета и широкополой шляпе, украшенной вуалью.

Первый сын четы, Уильям, родился почти сразу же (21 июня 1982 года); не заставил себя ждать и второй, Гарри (15 сентября 1984 года). «Шесть недель накануне рождения Гарри, — скажет принцесса, — были временем, когда мы с мужем были близки, как никогда прежде и, к сожалению, впоследствии». Сказывался замкнутый характер Чарльза, его удрученность сложным династическим положением. Диана, в свою очередь, умирала со скуки, проводя каникулы в мрачном замке Балморал в Шотландии с родителями мужа и самим Чарльзом, расхаживавшим в казенном килте. Самое большое доступное развлечение — прогулка с собаками по вересковой пустоши под моросящим дождиком. Может, это и приятное времяпрепровождение, но не в этом возрасте и не с таким мужем.

Неудивительно, что Диана стала чувствовать себя — и открыто об этом говорить — пленницей. Замуж она выходила, повторюсь, двадцатилетней девушкой, девственницей, с

очень небольшим жизненным опытом за плечами. Она получила хорошее воспитание, включая несколько семестров в швейцарском колледже, но почти ничего не умела из того, что требовалось для роли, которая, помимо прочего, имела некоторое политическое значение и требовала специальной подготовки. Куда бы она ни шла, за ней повсюду следовал доверенный телохранитель; люди, посещавшие ее, заносились в картотеки спецслужб. Над Дианой постоянно довлела угроза, что, если что-то пойдет не так, сыновей у нее заберут, дабы воспитать их в другом, более подобающем их будущей роли окружении.

Ее личная жизнь скоро стала такой тягостной, что ее секретарь Патрик Джефсон опишет ее в сильных, но убедительных выражениях: «Это было словно наблюдать, как пятно крови растекается из-под закрытой двери».

В известном интервью Би-би-си в 1995 году, в котором Диана говорила так, как ни один член королевской семьи до нее не говорил, принцесса открыто призналась, с какой поспешностью готовили ее к роли жены наследника престола:

«Вначале я даже не знала, должна ли во время публичных церемоний идти рядом с мужем или позади него. Вскоре я поняла, что не могу позволить никакой жалости к себе. Либо выплывать, либо тонуть. Я научилась плавать. Наша первая зарубежная поездка была в Австралию, в Элис-Спрингс. Нас встречала огромная толпа, и я спросила мужа: „Что мне делать?“ Он ответил: „Перейди на другую сторону и скажи им что-нибудь“. — „Я не могу, поверь мне, я не справлюсь“. — „Ты должна это сделать“».

Диана вышла и произнесла несколько слов — само собой, не образец красноречия. Поездка длилась шесть недель (четыре в Австралии, две в Новой Зеландии). По возвращении робкая, неловкая девушка, «как в сказке» вышедшая замуж за наследника престола, полностью переменилась:

«Я стала другим человеком, осознала наконец чувство долга, напряженность интересов, сложность роли, которую мне выпало исполнять».

Во время той поездки произошло еще кое-что, о чем поведала в интервью леди Ди, и в быстром созревании ее личности мы не можем недооценивать значение этого фактора. Когда принцесса с мужем шли по живому коридору в густой толпе, Диана услышала, как люди повторяют: «О, она с другой стороны». «Что это значило?» — спросил ведущий интервью. «Это значило, что они огорчались, что не оказались с нужной стороны, чтобы поприветствовать или коснуться меня». По мнению Дианы, именно в этот момент Чарльз осознал брошенный ему вызов. Это был не столько вопрос популярности, сколько престижа и статуса. «Когда ты мужчина, и, как в случае моего мужа, очень гордый мужчина, подобные слова тебя поражают, особенно если ты постоянно слышишь их на протяжении четырех недель. И это действует на тебя угнетающе, не дает испытывать удовлетворения, и у тебя не появляется желания рассказать кому-то об этом».

Такова была точка зрения Дианы; однако она должна была догадываться, что Филипп и Елизавета, а также преданные им придворные придерживались иного мнения. В молодой женщине, которая с таким трудом осваивала профессию Ее Королевского Высочества, принцессы Уэльской, супруги престолонаследника и матери будущего монарха, они видели одну лишь неопытность. «Они думали, — сказала Диана, — что я совершенная дурочка». Мнение весьма категоричное, которое в какой-то мере разделял и Чарльз, по крайней мере, так она считала: «Предполагалось, что я не должна иметь особенных интересов. В его глазах я навсегда осталась той восемнадцатилетней девушкой, с которой он обручился; никто и никогда не ценил всего того, чему я пыталась научиться». Диана охарактеризовала эту тесную для нее и не приносящую счастья роль краткой, но весьма убедительной фразой: «Мой муж [во время поездок] говорил речи, а я пожимала руки».

Была ли она искренна, выступив со столь скандальными откровениями на телевидении? Одну из самых суровых

оценок этому интервью дал испанский писатель Хавьер Мариас:

«Принцесса разыгрывала роль на протяжении всего интервью, и делала это плохо. Чувства ее насквозь фальшивые, и она крайне неудачно их изображала. Понимаешь одно: эта молодая особа обожает славу... стремится к писательской или драматической славе, мечтает иметь историю, которую можно рассказать, и, кроме того, она хочет слышать эту историю уже рассказанной, более того, она хочет присутствовать при ее изложении... Для нее неважно все, что не касается „мыльной оперы“, главной героиней которой она является. Нельзя представить для нее большего удовольствия, чем телевизионный сериал о ее жизни, в котором она сыграла бы саму себя».

Этому суровому мнению можно противопоставить слова журналиста из газеты «The Observer», написавшего спустя несколько дней после смерти принцессы:

«Диана не была широкообразованной, но инстинктивно угадывала ожидания масс; возможно, именно она сотворила монархию третьего тысячелетия».

С другой стороны, можно ли отрицать, что эта молодая женщина принесла с собой в Букингемский дворец не только скандалы, но и некоторые новые веяния? Она отказывается от традиционных для Виндзоров шляпок, ходит в спортзал, добивается независимости, использует в благих целях свой высокий ранг, положение, деньги... И при этом она мила и непосредственна. Королева и ее супруг безумно скучны, но Диана умеет манипулировать прессой, привлекая внимание не только к собственной персоне, но и ко дворцу. Подобное практикуют все английские аристократки, но в исполнении Дианы это выглядит лучше и убедительнее.

Для полноты картины попробуем представить ситуацию и с позиций Чарльза, наследника английского престола, который, взойдя на трон (если это когда-либо произойдет), примет титул Карла III. Карл I (1600—1649) — яростный поборник королевских прерогатив в борьбе с растущей властью парламента — окончил дни на плахе. Карлу II (1630—1685)

пришлось расстаться с частью прерогатив. На его же век выпали такие страшные бедствия, как чума (1665) и лондонский пожар 1666 года. Не самые добрые предзнаменования, и, может быть, поэтому королева Елизавета старается уберечь своего сына от слишком тяжелого (не только по ее мнению) для его плеч бремени.

Чарльз официально носит титулы принц Уэльский, герцог Корнуолльский, граф Кэррик, барон Рэнфрю, лорд островов, герцог Ротсей, великий стюард Шотландии. Он родился в ноябре 1948 года и в неполные пять лет, когда его мать была коронована, стал официальным наследником престола. Чарльз получил типично английское воспитание, что означает: школа со спартанским духом, никакой роскоши, продолжительная военная служба (в его случае сначала Королевская авиация, затем Королевский флот).

Вступление Чарльза в «пору зрелости» в возрасте двадцати одного года было отмечено формальной инвеститурой в суровых стенах замка Карнарвон, когда он был официально представлен уэльским подданным и провозглашен принцем Уэльским. По местным меркам это была красивая церемония, в которой традиционные театральные элементы (цвета, костюмы, экипажи, топот копыт, звук труб, рукоплещущая толпа) смешались с определенными веяниями современности (заняться подготовкой церемонии пригласили профессионального пиар-мейкера Найджела Нейлсона).

Чтобы воздать должное своему титулу и продемонстрировать послушание, молодой Чарльз несколько семестров проучился в уэльском университете Абериствит и даже выучил местное наречие в степени, позволившей ему произнести речь перед членами валлийской молодежной организации.

Настоящие проблемы начались после увольнения в запас из военного флота. Чарльзу двадцать восемь лет, он еще молодой, но уже не юный наследник престола, и ему пора бы определиться. Однако, сняв форму морского офицера, Чарльз не скрывает, что предпочел бы посвятить себя акварельной живописи. Елизавете было отчего встревожиться. Конечно,

ее сын может позволить себе невинные слабости, как, например, в эмансипированных скандинавских монархиях, где все ездят на велосипедах и весело ужинают в пиццерии. Но английская монархия имеет особый статус, и этому статусу следует соответствовать.

Увы, в случае с Чарльзом внушали тревогу не самые поучительные прецеденты. Эдуард VII (1841—1910), первенец королевы Виктории, хоть и женился в юном возрасте (двадцати двух лет) на датской принцессе, совершенно не скрывал, что не считает узы брака препятствием «карьере либертина». Он часто бывал в Париже, где посещал в основном игорные дома и дома терпимости. Во второй половине XIX века парижские бордели славились на всю Европу разнообразием и уровнем услуг. В зависимости от цены и клиентуры это были или совсем уж мрачные притоны, или же, наоборот, роскошные заведения. В числе самых известных значились дома свиданий по адресу рю Шабане, 12, и рю де Мулен, 6. Так вот, моду на посещение дома утех Ле-Шабане ввел именно принц Уэльский, продолжавший захаживать по старому адресу, даже когда, разменяв седьмой десяток, стал королем Эдуардом VII. По любопытному совпадению Элис Кеппель, бабушка Камиллы Паркер-Боулз, была одной из его любовниц.

Впрочем, и королева Виктория не отказывала себя с связях, чтобы скрасить вдовство. После смерти обожаемого Альберта она имела столь тесные отношения с личным слугой Джоном Брауном, что придворные называли ее за глаза «мис-сис Браун». Другая связь была у нее со слугой-индийцем Абдусис Браун. Другая связь была у нее со слугой-индийцем Абдусис Браун. Другая связь была у нее со слугой-индийцем Абдусис Браун. Другая связь была у нее со слугой-индийцем Абдусис Браун.

Другой не самый завидный прецедент, довлеющий над бедным Чарльзом, — Эдуард VIII (1894—1972), племянник Эдуарда VII, один из самых популярных принцев Уэльских, вззошедший на трон после смерти своего отца Георга V в 1936 году. Его царствование продлилось менее года. Знати-рующая связь с Уоллис Симпсон, разведенной американкой, а

возможно, и другие, менее благозвучные причины принудили его, как мы знаем, к отречению.

Так что же Чарльз? Маневром, придуманным при дворе, когда принц приближался к тридцати годам — а его мать Елизавета не думала оставлять трон, — было создание благотворительного фонда «Prince's Trust», задуманного для поддержки молодежи инициатив и образовательных проектов.

Королевские традиции требуют, чтобы монархия держалась в стороне от политической борьбы. Чарльз частично нарушил этот принцип, полемизируя, в том числе и на официальных церемониях, о перспективах современной архитектуры или высказываясь в поддержку альтернативной медицины, инновационных методов ведения сельского хозяйства или даже об «охоте на лис», популярность которой в Англии стремилась к нулю¹.

Если полмира с восхищением наблюдало за бракосочетанием Чарльза с Дианой как за воплощением волшебной сказки, то довольно скоро стало ясно, что действительность от сказки очень и очень далека. Когда королева Елизавета в одной из речей назвала 1992 год *annus horribilis* — ужасным годом, все поняли, что сказке (если она вообще была) пришел конец. В 1992 году Эндрю Мортон опубликовал знаменитую биографию «Диана, ее подлинная история», в которой принцесса призналась, что поочередно страдала то булимией, то анорексией и несколько раз даже пыталась покончить с собой. Чарльз представал в книге в совсем уж неприглядном свете: никчемный мужчина, не способный понять свою жену и не умеющий любить ее, ни в физическом, ни в сентиментальном смысле. Кто-то язвительно отметил, что после такого лучшее, что может сделать Чарльз, — податься в отшельники. Но жизнь предпочитает прозаичные сюжеты: в конце 1992 года, 9 декабря, стало известно, что Чарльз и Диана приняли решение расстаться.

¹ «Охота на лис» — спортивная радиопеленгация; в Великобритании известна также под аббревиатурой ARDF (Amateur Radio Direction Finding). — Примеч. ред.

Четырнадцатого января следующего года Чарльз вновь попадает в фокус внимания. В пикантном телефонном разговоре наследник престола признался Камилле, что хотел бы быть ее «тампаксом». Над ним потешался весь мир... В интервью Би-би-си Диана довершила картину, без обиняков высказавшись об умственной посредственности своего мужа.

Перед телекамерами Диана призналась, что действительно страдала от булимии, в огромных количествах поглощая пищу, а затем вызывая рвоту. Но вместо понимания находила в членах королевской семьи, включая Чарльза, лишь презрение: «Я кричала о помощи, а они все думали, что Диана психически неустойчива».

Королевский дворец сумел отомстить. Кен Уорф, бывший телохранителем Дианы на протяжении пяти лет, с 1988 по 1993 год, в своей, как водится, хорошо заплаченной книге воспоминаний утверждает, что спецслужбы записывали интимные разговоры принцессы и передавали их в эфир в надежде, что какой-нибудь радиолюбитель рано или поздно их перехватит. Именно так, пишет он, и получил огласку телефонный разговор Дианы с мистером Джеймсом Гилби. Этот мужчина называл ее «мягонькая» и обещал «горячие излияния». А Диана признавалась ему, что ей нравилось изводить Чарльза, отказывая ему в любовных ласках.

Психическая неустойчивость Дианы — неоспоримый факт. Если Чарльз продолжал встречаться с Камиллой, то уже летом 1986 года (Уильяму было четыре года, Гарри — два) принцесса завязала роман с капитаном кавалерии Джеймсом Хьюиттом, обходительным мужчиной, способным добиться успеха даже там, где Чарльз не оправдал ожиданий. Связь длилась четыре года. «Я обожала его», — признается Диана журналистам. Впоследствии, однако, капитан кавалерии покажет себя отнюдь не безупречным кавалером. Когда их роман закончится, он расскажет о нем в мельчайших подробностях в книге «Влюбленная принцесса», написанной в соавторстве с Анной Пастернак, внучатой племянницей нобелевского лауреата. На этой книге Хьюитт заработал круглую сумму в три с

половиной миллиона евро. За щедро оплаченным предательством последовала грязная история с выставленными на продажу письмами, якобы спрятанными, а затем выкраденными. Отчасти из-за этого Диана переедет с детьми жить в Кенсингтонский дворец.

После развода вокруг принцессы закружится хоровод мужчин, в длинном списке значились торговец оружием, игрок в регби, хирург... Столь лихорадочная смена увлечений — показатель или распушенной натуры, или глубокого несчастья. В случае Дианы нет никаких сомнений относительно причин ее эпатажного поведения: она не нашла счастья в браке с Чарльзом.

Психическую неустойчивость Дианы эксплуатируют некоторые «негативные» биографии принцессы. Профессор Энтони О'Хир в вышедшей в 1998 году книге обвиняет ее в том, что она подтачивала авторитет английской монархии своей слащавой сентиментальностью и одержимостью саморекламой. На его взгляд, в психологии Дианы «совершенно отсутствовало чувство долга». По мнению язвительного автора, выражающего точку зрения реакционного крыла, моментом, красноречивее всего характеризующим «общество, лишенное морали», «были похороны Дианы, на которых плебейский фанатизм и траур были персонифицированы и канонизированы». В тот день толпа оплакивала «инфантильную женщину, которая, хоть и выдавала себя за жертву, стремилась лишь уйти от своих обязанностей». Согласно биографу королевской семьи Энтони Голдену, эти тезисы пришлось весьма и весьма по душе в Букингемском дворце.

В книге «Диана в поисках себя» Сэлли Беделл Смит утверждает, что молодая женщина страдала нервным расстройством и была подвержена резким перепадам настроения (та самая «неустойчивость»), по причине которых легко переходила от ярости к депрессии. По мнению автора, Диана отнюдь не была влюблена в Доди, а использовала этот роман, чтобы постараться стереть из сердца настоящую большую любовь — к кардиохирургу пакистанского происхождения Хаснату Хану.

Если Диана и была готова перейти в ислам, то ради него, но уж точно не ради Доди. Роман с доктором Ханом длился два года, причем под конец поведение Дианы стало поистине невыносимым. Доходило до того, что она звонила Хану во время операции и затем устраивала сцены ревности за то, что тот не прервал операцию, чтобы поговорить с ней.

В 2002 году дворецкого Дианы, Пола Баррелла, привлекли к суду, обвинив в краже драгоценностей принцессы после ее смерти. За день до того, как дать показания на скамье подсудимых, он был оправдан королевой. Все думают (и открыто пишут об этом), что Елизавета этим шагом хотела предупредить новые эпатазирующие откровения, которые, впрочем, не замедлили появиться, финансируемые популярной газетой и телеканалом. Баррелл подтвердил, что подлинной любовью Дианы был кардиохирург Хаснат Хан, из-за которого она буквально потеряла голову. Верный дворецкий доставлял его домой к принцессе в багажнике автомобиля, и однажды принцесса, готовясь к свиданию, разделась догола, накинув лишь шубу и вдев в уши серьги с бриллиантами.

Много мнений, много образов... Возможно, в каждом из них есть доля правды, и они в какой-то степени помогают нам понять, какой в действительности была леди Ди в своей бурной и суетной жизни.

Эмад аль-Файед, известный как Доди, появился в жизни столь богатой и столь несчастливой молодой женщины в ноябре 1996 года. Несколькими неделями раньше его отец, миллиардер Мохаммед аль-Файед, предложил Диане возглавить офис «Хэрродс Интернешнл» — высокий представительский пост, на который Диана, казалось, прекрасно подходила. Мохаммед — давний друг семьи Спенсер, Диану он знал много лет — банально выражаясь, она росла у него на глазах. Так что предложение выглядело вполне естественным, тем более что в феврале того года Диана наконец получила развод. Но она отвергла должность, порекомендовав вместо себя подру-

гу — Рене де Шамбрюн. Однако хитрый бизнесмен, делая предложение, лелеял в душе совсем другой план: свести Диану со своим старшим сыном Доди. Если бы между ними возник роман и если бы он привел к браку, это была бы великолепная месть семейству Виндзоров. Хоть Диана и развелась с Чарльзом, она все равно осталась матерью будущего короля Англии. Доди, плебей с большим стажем, может стать орудием реванша... Реванша за что? Этот фундаментальный вопрос всей истории, включая смерть леди Ди, требует аргументированного ответа. Но прежде всего необходимо пояснить, кто такой Мохаммед аль-Файед и каким образом он накопил свои несметные богатства.

Мохаммед аль-Файед появился на свет в Египте, в семье, жившей на грани бедности. Его отец преподавал в начальной школе, а мать занималась детьми. В момент рождения Мохаммеда, в 1933 году, Египет еще колебался между монархией восточного типа и робкими шагами в сторону прогрессистского государства. Страна была обескровлена владычеством иностранцев (персы, греки, римляне, арабы, турки, европейцы), пришедшим на смену власти фараонов. В начале тридцатых годов почти тотальный контроль над жизнью Египта осуществляли англичане, державшие там многочисленный гарнизон. Только в 1936 году Великобритания согласилась вывести войска, за исключением зоны Суэцкого канала. Довольно неоднозначная ситуация, если учесть, что, несмотря на заявленный нейтралитет, в годы последней мировой войны Египет был мощной британской базой. (Это испытали на себе итальянские войска в Северной Африке, вовлеченные в изнурительную кампанию, эпической кульминацией которой стало сражение при Эль-Аламейне. Но это другая история.)

Мохаммед аль-Файед учился на курсах экономики в Александрийском университете и одновременно работал представителем европейских компаний. Он был полон воли и инициативы, и это дало свои плоды: в смутные годы экономической анархии, последовавшие за окончанием Второй мировой войны, среди многих денежных состояний родился и его.

В начале пятидесятых двадцатилетний Мохаммед познакомился в Саудовской Аравии с другим предприимчивым юношей по имени Аднан Хашогги, сыном придворного врача. Хашогги торговал оружием в районах, где после 1945 года пока и не пахло миром, — дело опасное, на котором с равной легкостью можно заработать миллиарды и поплатиться жизнью. Подружившись, молодые люди вложили капиталы в общую импортно-экспортную фирму. Сотрудничество было закреплено семейным альянсом: Мохаммед женится на сестре Аднана Самире. Доди — плод этого союза, который, однако, продлился каких-то пару лет, после чего супруги развелись.

Дела Мохаммеда шли бы на всех парусах, не появившись на его горизонте и на горизонтах страны фигура полковника Гамалы Абдель Насера. Провозгласив республику и избавившись от короля-распутника Фарука (который нашел убежище в Риме), Насер стал *раисом*, то есть вождем нового Египта. В планах у него — программы социалистического толка, он осуществляет радикальную аграрную реформу, превратившую тысячи бесправных крестьян в мелких собственников; начинается строительство гигантской Асуанской плотины, которая позволит орошать полмиллиона гектаров земли; национализируются многие частные предприятия... (Об одном из эпизодов его модернизационной политики я рассказал в конце главы «Прах Империи».)

Политика Насера внесла перемены и в жизнь аль-Файеда. Лишившись в результате национализации своей компании, занимавшейся морскими перевозками, Мохаммед, прибавивший тем временем к фамилии аристократическую приставку аль-, счел за лучшее перебраться в Швейцарию. Как человек предусмотрительный, он не испытывал недостатка в средствах. В Женеве аль-Файед создал другую компанию, специализирующуюся на перевозках паломников в Мекку (в исламе тоже можно, оказывается, неплохо подзаработать на вере простых людей). Затем, проявив интерес к строительному делу, он занялся возведением порта Дубаи. Но и это еще не все: отец Доди так вписался в мир больших денег, что вскоре стал

финансовым консультантом султана Брунея, считающегося самым богатым человеком в мире.

К тому времени он благоразумно переселился в Лондон, важнейший финансовый центр Старого Света. Его апартаменты находятся на Парк-Лейн, одной из самых элегантных улиц; ему также принадлежит замок в Шотландии — очень недешевое приобретение.

В 1985 году аль-Файед покупает универмаг «Хэрродс», совершив — то ли по высокомерию, то ли по простодушию — серьезный политический просчет, поскольку «Хэрродс» является одним из оплотов британского стиля, и тот факт, что его владельцем вдруг стала «мелкая восточная лисица», вызвало серьезное недовольство в его адрес. Газета «The Observer» начала против него кампанию в прессе, разоблачив вранье, которое аль-Файед распространял насчет своих родовых корней и происхождения богатств. За ложь в такой стране, как Англия, приходится дорого платить.

И Мохаммед платит. Министерская комиссия установила, что аль-Файед «распространял ложные сведения о своем происхождении, о состоянии, о коммерческих отношениях и экономических ресурсах». Соответственно, корона дважды отказывала ему в гражданстве. По этому поводу Аль-Файед раздраженно заявлял газете «The New York Times»:

«Я плачу 28 миллионов фунтов стерлингов налогов, у меня четверо детей-англичан, я даю работу десяткам тысяч людей. Почему мне отказывают в гражданстве? В этой стране остались следы расизма, который, впрочем, именно англичане изобрели и экспортировали по всему миру».

Заплатив, Мохаммед решает отомстить. Он делает публичное заявление, что давал крупные взятки депутатам-консерваторам, рассчитывая на поддержку запроса о гражданстве. Правительство Джона Мейджора с трудом оправилось от удара, Мохаммед получил удовлетворение, но теперь ему предстояло заплатить и за него.

В противовес британским сложностям, во Франции дела шли прекрасно. В 1979 году аль-Файед купил парижский

отель «Ритц». В реставрацию знаменитого здания были вложены десятки миллиардов франков, и парижская мэрия в знак благодарности выдвинула кандидатуру египтянина на награждение орденом Почетного легиона. Но это Франция, а не холодная Англия.

Несложно понять, откуда берет начало взаимная неприязнь между Виндзорами и аль-Файедом. Это чувство тревожило Елизавету и подпитывало стремление Мохаммеда взять наконец реванш. Он хотел уязвить венценосную семью в самое сердце, используя любовь, и ему почти удалось это.

Осенним днем 1996 года Диана вместе с подругой Синди Кроуфорд отправилась в «Хэрродс». Универмаг в тот день не работал, но аль-Файед распахнул его двери лично для них. Именитых посетительниц встречал Доди. Они с Дианой были знакомы, но, по-видимому, именно эта встреча стала решающей: их роман разгорится вскоре после нее.

Личность Доди не заслуживает особенного внимания. Его отец познал лишения, суровость военного времени, унижения на пути долгого восхождения по социальной лестнице. Чтобы добиться успеха, ему приходилось идти на подкуп, не говоря уже о разного рода восточных хитростях. Доди же родился богатым. Насколько мне известно, единственное серьезное испытание, которое ему выпало, была преждевременная смерть матери (Самира умерла от инфаркта в 1986 году.) Он рос избалованным, утопал в деньгах. Лишь однажды ему довелось испытать подлинное удовлетворение, когда продюсированный им фильм «Огненные колесницы» завоевал четырех Оскаров¹. В остальном же он вел богемную жизнь, переезжая из резиденции в резиденцию: Беверли-Хиллс, Париж, Лондон... Он несколько не огорчился, если его коммерческие начинания терпели крах, — главное, он не получал отказа ни от одной из красоток, на которых ему доводилось положить глаз (как правило, актрисы и модели).

¹ Фильм 1981 года режиссера Хью Хадсона. Победа в номинациях «Лучший фильм», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший саундтрек» и «Лучшие костюмы». — Примеч. ред.

Потом появилась Диана, и нашлись свидетели, утверждавшие, что их отношения отличались от всего, что было у него до этого. К примеру, сестра Доди рассказала самому популярному египетскому еженедельнику, что ее брат никогда не был так влюблен и что он, несомненно, женится на принцессе, если та даст свое согласие. Будь это даже отчасти правдой, это было достаточным основанием для растущей враждебности королевы в отношении экс-невестки.

Разумеется, другие свидетели утверждали обратное. Леди Эльза Боукер, близкая подруга Дианы, утверждала, что Диана была увлечена Доди, но ей и в голову не приходило выйти за него замуж, ведь она знала, что создаст тем самым громадные проблемы своему сыну Уильяму.

* * *

Единственным человеком при дворе, питавшим симпатию к юной Диане, была престарелая королева-мать, *Queen Mum*, как ласково называли ее англичане. Самая обаятельная и самая эксцентричная среди членов семейства, которое унаследовало от немецких предков наиболее отталкивающие черты: холодность, способность вызывать сильную неприязнь.

Ровесница века, Елизавета Боуз-Лайон родилась 4 августа 1900 года и прожила жизнь, в которой нашлось место причудам, храбрости, решительности и легкомыслию. Эта леди, умершая 30 марта 2002 года в возрасте ста одного года, умудрилась оставить двенадцать миллиардов долга, делая ставки на скачках и тратя огромные суммы на содержание личного двора со слугами, пажами, шоферами, поварами и горничными. Но вместе с тем она была женщиной, на которую в трудные минуты обращала с надеждой свой взор вся страна.

Шотландка по происхождению, Елизавета была младшей дочерью графа Стрэтмора, владельца (точнее, сеньора) замка Глзмис, где, по легенде, разыгралась трагедия короля Макбета. До самого конца она сохраняла живость ума, а в молодости была еще и хороша собой и столь жизнерадостна, что привлекала немало ухажеров. Среди них был и принц Аль-

берт, герцог Йоркский, младший брат Дэвида (Эдуарда), который процарствует на троне меньше года. Кстати, Елизавета питала к Уоллис Симпсон глубокое презрение, которое даже не считала нужным скрывать.

Когда Альберт, получив разрешение отца, короля Георга V, признался в своих чувствах, Елизавета ему отказала. Она опасалась холодности Виндзоров, и, возможно, одно воспоминание об этих девических страхах объясняет ее симпатию к Диане. Елизавета также боялась слабости характера Альберта, который, однако, на сей раз проявил упорство и повторял штурм столько раз, сколько было необходимо, чтобы покорить ее. Вот как случилось, что скромная шотландская дворянка стала герцогиней Йоркской и произвела на свет двух девочек, Елизавету и Маргарет, которых ждали разные судьбы. А после отречения Эдуарда VIII Елизавета Боуз-Лайон почти случайно стала королевой-консортом.

Во время войны, когда над столицей кружили бомбардировщики люфтваффе, ее роль приобрела особую значимость. Она дала своим подданным великий урок храбрости, оставшись в Букингемском дворце под немецкими бомбами.

У Елизаветы не было никакого политического чутья, но она обладала качеством, которое королеве (и королю), возможно, требуется в большей степени. Речь идет о чувстве королевского долга, что означает, не пренебрегая ни одной из королевских привилегий, сохранять глубокую связь с чувствами народа. Это тоже роднит ее с Дианой. Когда премьер-министр Блэр скажет, что Диана была народной принцессой, он будет иметь в виду именно этот редкий дар.

Любимый супруг Альберт (Елизавета ласково называла его Берти) скончался в 1952 году в возрасте пятидесяти шести лет. Старшая дочь Елизаветы, тоже Елизавета, в двадцать шесть лет стала королевой Елизаветой II. Вдова Альберта, теперь уже в статусе королевы-матери, оставила Букингемский дворец и переехала в Кларенс-Хаус в Сент-Джеймсе. Но она отнюдь не считала, что «уходит на пенсию». Напротив, сняв с себя прежние обязанности, Елизавета становится еще актив-

нее: ловит лосося в Шотландии, председательствует в десятках благотворительных обществ, посещает скачки, часто ездит с официальными визитами, в том числе за рубеж. Если говорить начистоту, она любит выпить, но с ее взрывным темпераментом небольшое алкогольное возбуждение скорее придает ее образу законченность, нежели очерняет его.

Из всех достоинств своего народа Елизавета больше всего развила в себе глубокое, вплоть до эксцентричности, чувство личной свободы; по большому счету, это не только самая симпатичная черта англичан, но и их противоядие против тоталитаризма любого рода, будь то формы правления или религиозные верования.

По правде говоря, фигура, напоминающая Диану Спенсер, уже была при английском дворе. Я говорю о второй дочери Елизаветы-матери Маргарет Роуз, она младше сестры на четыре года. Когда в феврале 2002 года Маргарет скончалась, один из хроникеров лапидарно написал: «Она была Дианой своего времени».

Родилась она 21 августа 1930 года в суровом шотландском замке ее матери. При родах присутствовал министр двора, подчиняясь давней традиции, установленной во избежание подмены младенца в случае рождения наследника престола. Последний раз эта нелепая традиция была соблюдена именно при появлении на свет второй дочери Елизаветы.

Маргарет была женщиной, которая символом своей бунтарской натуры сделала нонконформизм, доходящий порой до провокации. Когда ей исполнилось восемнадцать, стало ясно: отведенная ей роль «запасного колеса» монархии сведена на нет рождением Чарльза, первенца Елизаветы, — наследника престола. Маргарет переехала в Кенсингтонский дворец, как годы спустя сделает Диана. Она знала, что с ее беспокойным характером обречена на пустую, бездеятельную жизнь в окружении косных персонажей, какими был наполнен двор. Принцесса — умнейшая женщина, и, будь она родом из обычной буржуазной семьи, смогла бы добиться признания в разных сферах. Но она — сестра королевы, и что бы

она ни предпринимала, над ней всегда тяжелым грузом будет довлеть это родство. Возможно, в отместку она решила стать украшением раутов в британской столице, которая именно в этот период начала приобретать славу «свингующего Лондона», с его модными показами, знаменитыми фотографами, летописцами эпохи, самой зрелой в Европе литературой и драматургией и самым ярким кинематографом. Как написал один репортер: «Она пожелала получить свой кусок пирога и съесть его».

Королеве совершенно не нравилось свободное поведение младшей сестры, чьи фото то и дело появлялись на страницах модных журналов: то она курит папиросу в длинном мундштуке, то пьет виски в ночном заведении, то танцует канкан в американском посольстве, то красуется в последних нарядах от Кристиана Диора под руку с представителями интеллигенции и богемы, известными своими вольными нравами.

Маргарет тяжело переживала смерть отца, Георга VI (5 февраля 1952 года), и, возможно, именно в этот период начался ее роман с капитаном кавалерии Питером Таунсендом, который был оруженосцем короля. В день коронации ее сестры (2 июня 1953 года) кто-то заметил, как Маргарет, поджидая карету под портиком Вестминстерского аббатства, фамильярным жестом убрала ворсинку с мундира капитана. С этого момента история стала достоянием общественности. Капитан был старше Маргарет на шестнадцать лет (зато один из ее позднейших любовников будет на восемнадцать лет моложе) и уже успел развестись. Роман развивался до тех пор, пока королева не дала понять сестре, что ей придется выбирать между любовью и привилегиями, включая расходы на содержание. В те годы, как и позже в случае с Дианой, народные симпатии были на стороне Маргарет. Когда принцесса посетила лондонский Ист-Сайд, женщины встретили ее возгласами: «Давай, Мэгги, поступай, как велит сердце!» По данным проведенного «The Daily Mirror» опроса, общественное мнение на 95 процентов благосклонно смотрело на свадьбу. Но королева указала, что, как глава англиканской церкви, она

не может дать согласия на брак сестры с разведенным мужчиной, к тому же имеющим детей.

В ноябре 1955 года Маргарет выступила с заявлением (подписанным просто «Маргарет»), смыслом которого было: «Долг превыше любви»; капитана отправили военным атташе в посольство в Брюсселе, и вопрос о браке был закрыт. Как знать, пожалела ли когда-нибудь Елизавета о собственной непреклонности. Позволив сестре выйти замуж за капитана, пусть и в разводе, пусть и не голубых кровей, возможно, она уберегла бы Маргарет (и саму себя) от многих скандалов и унижений.

Много мужчин, много сигарет (до шестидесяти в день), много виски — и наконец новая любовь: фотограф Энтони Чарльз Роберт Армстронг-Джонс, всего на полгода старше, — блистательная, артистичная натура, представитель самых модных кругов Лондона. В жилах Энтони тоже не было голубой крови, но об этом позаботилась королева, пожаловав ему титул герцога Сноудона и виконта Линли. Шестого мая 1960 года жених с невестой сочетались узами брака в Вестминстерском аббатстве; церемония — в точности, как в случае с Дианой много лет спустя, — будет названа в прессе всего мира «сказочной». Однако долго и счастливо влюбленные живут лишь в сказках. После восемнадцати лет брака, рождения двоих детей, многочисленных взаимных измен и претензий Маргарет и Энтони разведутся. Сказка получила разочаровывающий финал, а династия — первый после Генриха VIII развод члена правящего дома. Для женщины, решившей покончить с традициями, это, несомненно, весомый результат.

В числе свадебных подарков — от лорда Гленконнера — была уютная вилла на карибском острове Мюстик. Дом и остров на долгие годы стали убежищем Маргарет от дождей, тумана и сплина хмурых британских зим. Это и противоядие от все более надоедающего (и удручающего) брака: в самом деле, Маргарет фотографируют там с некоторыми из ее многочисленных влюбленных. В те годы подобные вещи вызывали скандал. Если не считать развязных монашеских прин-

цесс, люди еще не привыкли видеть женщин столь высокого ранга в объятиях мужчин, которые не являлись их законными спутниками. Реакция двора всякий раз была бурной.

В 1998 году принцесса ужинала с друзьями, когда вдруг упала, сраженная сердечным приступом. С этого момента ее публичные появления стали все более редкими, ей пришлось оставить многие почетные посты, которые она занимала, чтобы заполнить образовавшуюся в ее жизни пустоту. Маргарет была председателем многочисленных благотворительных и общественных организаций, от «Английских народных танцев» и «Песенного клуба» до «Национального общества по предотвращению жестокого обращения с детьми» и «Ассоциации девочек-скаутов». Ей также был присвоен титул президента Королевского балета и почетный диплом профессора музыки в Лондонском университете. Если уж перечислять всё, ей также было присвоено звание полковника в паре гвардейских полков (King's Royal Hussars и Royal Highland Fusiliers), а на ее груди по торжественным случаям блистали престижные награды: Большой крест Королевского Викторианского ордена, Императорский орден Индийской Короны, Большой женский Крест ордена Святого Иоанна Иерусалимского...

Но почетные звания и степени, практически всегда лишены реального содержания. В любом случае, их было недостаточно, чтобы вывести Маргарет из глубокой депрессии, поразившей ее в последние годы жизни. Второй сердечный приступ последовал в феврале 2002 года, проблемы с сердцем оказались серьезными. Смерть застала ее во сне ранним утром 9 февраля. Судьба распорядилась так, что даже после смерти она продолжила преступать традиции: Маргарет — первый член королевской семьи, чьи останки были кремированы. Прах погребен в капелле Святого Георгия в Виндзоре.

Подобно Диане, и, возможно, даже в большей степени, Маргарет была живой иллюстрацией любопытных отношений англичан (лучше сказать, подданных Британской империи) с монархией. Но подобно Диане, и, возможно, даже в

большей степени, Маргарет на протяжении семидесяти одного года не уставала задаваться трудным вопросом: что может в жизни сделать принцесса? Она не нашла ответа; Диана, возможно, сумела бы его найти, в том числе благодаря переменившимся нравам, — если бы ей было на то дано время.

Отмечено, что из двух сестер Елизавета унаследовала закрытый и сдержанный характер отца, а Маргарет своей шумной прямоотой, непринужденностью, необычной любовью к развлечениям (и к алкоголю) больше походила на мать. Так каковы же истоки обуржуазивания британского правящего дома? Хаотические любовные связи и подозрительное легкомыслие Эдуарда VIII? Патетическое бунтарство Маргарет? Безумства Дианы? Что превращает легендарную династию в семью тунеядцев, которым непонятно что можно поручить, чтобы хоть как-то заполнить их жизнь? Маргарет стала сестрой без определенной роли, та же судьба довлеет теперь над сыновьями Дианы. Гарри, младший брат Уильяма, в недалеком будущем будет оттеснен от трона детьми старшего брата. Возможно, не виноват ни Эдуард, ни Диана — никто, возможно, просто наше время больше не терпит подобной фикции. Результат — удручающее зрелище безработных аристократов, перебирающихся с яхты на яхту, чтобы заполнить свои дни.

Может быть, я не прояснил все темные моменты в истории гибели принцессы Дианы под Альмским мостом. Но мне бы хотелось напомнить многочисленные вопросы, которые, думаю, навсегда останутся без ответа. Зачем Доди, едва они приземлились, повез Диану на виллу Виндзоров в Булонском лесу? Зачем он купил ей столь обязывающее кольцо, как «Dis-moi oui»? Может быть, они уже поженились, как утверждают некоторые члены семьи аль-Файедов? Была ли Диана беременна, как с убеждением заявляет Мохаммед, отец Доди? Рассмотрели ли французские эксперты все анализы Дианы сразу после поступления в больницу, включая те, которые могли бы подтвердить возможную беременность? Возможно ли, что некоторые результаты были засекречены по диплома-

тическим резонам или из соображений международной безопасности? Диана старалась компенсировать относительный вакуум личной жизни, проводя кампанию по запрету противопехотных мин (смертоносных и практически бесполезных как тактическое оружие). Возможно ли, что заговор против нее организовали торговцы оружием? Или английский двор, чтобы избежать скандала, который члены правящего дома считали недопустимым в столь сложный для династии период? Французские следователи настаивают, что Анри Поль, сидевший за рулем, в тот вечер был пьян. Но Тревор Риз-Джонс, единственный выживший, уверяет, что, если бы он увидел, что тот нетрезв, он бы не позволил ему сесть за руль. Резонное возражение, которое, однако, не убеждает сторонников теории заговора: Риз-Джонс, говорят они, состоял в связи с секретной разведкой MI-6, ему заплатили за молчание, вот почему он утверждает теперь, что страдает амнезией. Впрочем, Риз-Джонс не слишком заслуживает доверия, если в своей книге «История телохранителя» (полтора миллиона евро авторских гонораров) отрицает даже то, что Доди забирал знаменитое кольцо «Dis-moi oui» — один из немногих хорошо документированных фактов того дня.

По мнению криминалиста Вольфа Ульриха (Университет Истбурна), не исключено, что Анри Поль был действительно трезв, а потеря им управления была вызвана действием нанесенного на руль яда — такое уже использовали спецслужбы бывшей Восточной Германии. Кто-то высказывал предположение о небольшом взрывном устройстве, спрятанном в рулевой колонке и взорванном с помощью дистанционного привода.

Не вызывает сомнений одно — после смерти героев этой истории каждый может отстаивать какую угодно точку зрения. Это была абсурдная, трагическая смерть, относительно которой по прошествии стольких лет возможна любая гипотеза. Время работает против расследований, которые стартуют неудачно из-за скудости данных и противодействия заинтересованных сил. А если факты изначально противоречивые,

то временная дистанция равноценна могильному камню, под которым навсегда будет похоронена истина. Есть ли вероятность того, что Диана и Доди были убиты? Да, есть, хотя причины этой смерти, подобно смертям многих других значимых фигур, никогда не будут полностью раскрыты, и самый догадливый судья или проницательный криминолог не в силах что-либо сделать. Детективная история этой ночи еще долгое время будет приносить гонорары всем тем, у кого достаточно изобретательности, чтобы, перетасовав в угоду своей гипотезе, представить составляющие ее противоречивые факты в новом свете. Все до сих пор выходявшие книги и другие, которые, несомненно, еще появятся, основываются на тщательной, порой педантичной, реконструкции данных, на которые из-за их неполноты могут, так или иначе, опираться любые гипотезы.

Все это постепенно угаснет. Скорее всего, Диану со временем забудут. Случится так, как произошло с ее «тетей» Маргарет. Ведь ее именем тоже в свое время пестрили газетные хроники, а затем оно кануло в лету вместе с ними.

* * *

На этом я заканчиваю, мой терпеливый читатель, книгу о Лондоне, потребовавшую двух с половиной лет работы в попытке вычленить и описать определенное число знаковых мест и сюжетов. Краткий перечень «общих мест», приведенный во вступлении, призван был показать, как отягощены взаимным непониманием отношения между нами, итальянцами, и англичанами — отношения, в которых в разной пропорции намешаны кардинально противоположные чувства: уважение и недоверие, восхищение и (взаимное) раздражение, симпатия и безотчетная жалость; но в основе всего лежит непреодолимая дистанция. Слишком различны качества, свойственные нашим народам, начиная со сплоченности вокруг некоторых из тех принципов, или ценностей, которые формируют дух нации. Являясь плодом коллективной культуры, эта сплоченность в значительной степени присуща ан-

гличанам и в гораздо меньшей — итальянцам. Мы, итальянцы, наделены множеством человеческих достоинств, но и имеем характерные для южных народов досадные изъяны, как в политике, так и в частной жизни. На стороне англичан — могучие и суровые корни, от которых ведут начало традиции, стойкость, гордость и, что немаловажно, почти спартанская строгость образа жизни. В мягком средиземноморском климате подобная суровость вызывает если не насмешку, то почти всегда непонимание.

Надеюсь, эта книга помогла понять, как разнятся места Лондона и моменты его истории. Герои, представленные мной, создают портрет не одной только столицы, но и всего народа, который, что ни говори, является одним из самых достойных восхищения за упорство, с которым он отстаивает свои установления, за непререкаемое право отдельного человека на личный выбор, за философскую традицию, культивировавшую идеи человеколюбия и толерантности, за славное культурное прошлое, щедро разделенное с другими народами.

Сближающие нас элементы, сколь бы немногочисленными они ни были, имеют то достоинство, что дополняют друг друга. Достаточное основание для того, чтобы поставить их на службу единому европейскому будущему.

УКАЗАТЕЛЬ

А

Абдул-Хамид II, султан
Османской империи 293
Авиценна 370—371
Аденауэр, Конрад 445
Адорно, Теодор 179
Александр, Хью 464
Александр I, император
всероссийский 356
аль-Файед, Мохаммед 470,
473, 478, 480—481, 491,
492—495, 502
аль-Файед, Эмад (Доди) 471,
472—477, 479—481, 490—
491, 491—492, 493,
495—496, 502, 503
Альберт (Берти), герцог
Йоркский. — См.:
Георг VI
Альберт, герцог Саксен-
Кобург-Готский, принц-
консорт 356, 375, 487
аль-Хусейн ибн-Али 295, 297
Андерс, Владислав 452
Анджелико, Беато (фра
Джованни да Фьезоле)
376
Анна, королева Великобри-
тании и Ирландии,
последняя из династии
Стюартов 403

Аноним 359
Ансело, Франсуа 106
Антисери, Дарио 277
Аппелиус, Марио 16, 17
Аристотель 102
Армстронг-Джонс, Энтони
Чарльз Роберт 500
Арон, Раймон 332—333
Артур Тюдор, принц Уэль-
ский 163, 165, 166
Астор, Нэнси 227
Ауда Абу Тайи 297

Б

Баадер, Андреас 123
Бадольо, Пьетро 442, 443
Байрон, Джордж Гордон 8,
10, 129, 253
Балестраччи, Мария Серена
16
Балморал 478
Бальбо, Итало 443
Барод, нотариус 158—159
Баррелл, Пол 491
Басалья, Франко 92
Батлер, Джозефин 372
Бауэр, Бруно 327, 329
Беделл Смит, Сэлли 490
Бейкер-стрит (Музей Шерло-
ка Холмса) 177—178

Бейли, Дэвид 81
Бейль, Пьер 274
Бекингем, Джордж Вильерс,
герцог 108
Беккариа, Чезаре 36
Бекфорд, Уильям 10
Белл, Ванесса 228—229, 232,
233—239, 241, 244, 245,
246, 247, 253
Белл (Гарнетт), Анжелика
235, 254
Белл, Джозеф 188
Белл, Джулиан 235, 251
Белл, Квентин 235, 237
Белл, Клайв 230, 232, 234,
235, 250
Беллами, Сэмюэл 219
«Белфаст», корабль-музей
195—197
Бельтраме, Акилле 443
Беннетт, Гордон 311
Бентам, Иеремия 19, 36
Беньямин, Вальтер 179
Бергсон, Анри 12
Берджесс, Энтони 86—87
Берк, Уильям 130
Беркет, Джованни 11
Берри, Чарлз 257
Бетховен, Людвиг ван 76, 83,
333
Бёрдслей, Обри 376
Бёрн-Джонс, Джорджиана
376
Бёрн-Джонс, Эдуард Коли 87,
376
Бёрнс, Роберт 197
Биба (Барбара Хуланики) 93

Биг-Бен 256, 466
Бирн, Чарлз 124
Бисмарк, Отто Эдуард
Леопольд фон Шенхаузен
12, 336
Блант, Энтони 85
Блессингтон, Генри 9
Блум, Гарольд 120
Блуменберг, Вернер 348
Блумсбери 224—228
Блэр, Тони (Энтони Чарлз
Линтон) 257—258, 479,
497
Блюхер, Гебхард Леберехт
фон 257
Болейн, Анна 108, 150—176
Болейн, Джордж (лорд
Рошфор) 155, 175
Болейн, Мария 155, 159
Болейн, Томас 155, 168
Бомонт, Фрэнсис 112
Бонни, Энн 219
Босуэлл, Джеймс 39, 210, 379
Боттаи, Джузеппе 442
Боукер, Эльза 496
Бозм, Джозеф Эдгар 376
Брайт, Джон 12
Брантом (Пьер де Бурдейл)
158
Браун, Джон 487
Браун, Исаак Бейкер 362
Брединхем, хирург 220
Брейгель, Питер 390
Брендон, Чарлз, герцог
Саффолк 161
Бреретон, Уильям 174
Брехт, Бертольд 316

Британский музей 292, 345, 460
 Бриттен, Вера 455
 Брук, Питер 87
 Бруно, Джордано 109
 Брэдшоу, Лоуренс 320
 Брюэ д'Эгальер, Франсуа Поль 57
 Букингемский дворец 459, 497
 Бьянки, Бруна 293
 Бэнфилд, Маргарет 227

В

Ван Гог, Винсент 245, 247
 Ван Дейк, Антонис 40
 Вейдемейер, Иосиф (Йозеф) 323
 Веллингтон, Артур Уэлсли, герцог 31, 32—33, 34, 71, 257, 426
 Веллингтона, дом-музей 32—33
 Верди, Джузеппе 339
 Вескер, Арнольд 31
 Вестминстерское аббатство 34—36, 148, 168, 257, 453, 460, 499
 Вестфален, Людвиг 325
 Вестфален, Фердинанд 336
 Вестфален, Филипп 325
 Вест-Энд 367, 368
 Вивес, Хуан Луис 159
 Виктор Иммануил III, король Италии 442

Виктория, королева Англии и Ирландии, императрица Индии 12, 42, 143, 299—300, 319, 351, 356, 375, 379, 381, 431, 469, 487
 Вильгельм I Завоеватель, король Англии 148, 149, 273
 Вильгельм III Оранский, король Англии, статхаудер Нидерландов в 1672—1702 гг., король Англии в 1689—1702 гг. 266—273, 405
 Вильнёв, Пьер де 66, 67, 69
 Вильсон, Гарольд 85
 Виндзор, герцог. — См.: Эдуард VIII
 Висконтини, Челе 94
 Виттгенштейн, Людвиг 232
 Вишарт, Энн 325
 Влад II, князь Валахии 141, 142
 Влад III, князь Валахии 141
 Вламинк, Морис де 245
 Во, Ивлин 90, 455
 Военный кабинет, музей 436—437
 Вольтер (Мари Франсуа Аруэ) 118, 120, 274, 275, 276
 Вольф, Том 80
 Вудвиль, Елизавета 150

Вулф, Вирджиния 225, 228—229, 231—232, 233—244, 247, 255
 Вулф, Леонард 232, 237, 239—240, 243, 244

Г

Гайд-парк 352
 Галифакс, Эдуард Фредерик Линдли Вуд (лорд Ирвин) 305
 Галл, Уильям 146
 Гамильтон, Уильям 52, 60, 61, 64, 65
 Гамильтон, Эмма (урожд. Лайон) 50, 52, 53, 56, 59—62, 64, 65, 66—67, 71
 Ганди, Мохандас Карамчанд 13, 298—305
 Гардинер, Джеральд 90
 Гарибальди, Джузеппе 12, 474
 Гарнетт, Дэвид 235
 Гаррикс, Дэвид 406
 Гарт, Томас 470
 Гассман, Витторио 406
 Гегель, Георг Вильгельм Фридрих 276, 327
 Гей, Джон 392, 404
 Гейнсборо, Томас 40
 Гендель, Георг Фридрих 18
 Генри (Гарри) Чарльз Альберт Дэвис, принц Уэльский 482, 489, 502
 Генриетта Мария, супруга Карла I Стюарта 264
 Генрих IV, король Наварры и Франции 264, 270
 Генрих V Плантагенет, король Англии 451
 Генрих VIII Тюдор, король Англии 40, 107, 109, 149, 154—157, 161, 162—175, 197, 256, 273, 500
 Георг I, король Великобритании и Ирландии 388, 403, 404
 Георг II, король Великобритании и Ирландии 404, 469—470
 Георг III, король Великобритании и Ирландии (с 1803 г. Соединенного королевства Великобритании и Ирландии) 470
 Георг IV, король Соединенного королевства Великобритании и Ирландии, король Ганновера 34
 Георг V, Соединенного королевства Великобритании и Ирландии, император Индии 487, 497
 Георг VI, король Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии, император Индии, глава Содружества 465—466, 496—498, 499
 Герберт, Артур 269

Герберт, Сидней 412, 422,
426, 431, 432—434
Гердвуд, Томас 362
Геринг, Герман 446, 453,
467
Гёте, Иоганн Вольфганг 52
Гилберт, Мари Долорес
Элиза Розана. — См.:
Монтес, Лола
Гилберт, Альфред 25
Гилби, Джеймс 489
Гиллеспы, Диззи 79
Гинзбург, Карло 185, 186
Гиннесс, Алек 291
Гитлер, Адольф 294, 437,
438, 439, 442, 443, 446—
447, 450, 453—454, 460,
466, 467
Гладстон, Уильям Юарт
354—355
«Глобус», театр 96—120
Гоббс, Томас 274, 275
Говард, Екатерина 108
Говард, Генри, граф Суррей
108
Говард, Томас, граф Суррей
155
Говард, Элизабет 155
Гоген, Поль 245, 247
Годар Жан Люк 82
Годвин, Уильям 129
Годзе, Натхурам Винаяк
305
Годкин, Эдвин Л. 431
Голден, Энтони 490
Голль, Шарль де 446
Гольдони, Карло 8

Гонсалес, Гаспар 202
Гордон, Чарльз-Джордж,
генерал 293
Гоффман, Ирвинг 92
Гош, Амитав 305
Грант, Дункан 232, 235, 246,
250
Гревиль, Чарлз 60
Грей, Джейн 108
Греко, Жюльетт 88
Грешем, Томас 202
Грин, Грэм 225
Грин, Роберт 114—115
Гринвич 197—198
Гриффит-Джонс, Мервин
89—91
Гудмен, Бенни 79
Гуно, Шарль 458
Гэмбл, Эллис 384—385
Гэскелл, Питер 366
Гюго, Виктор 117, 118—120
Гюйсманс, Жорис Карл
136—137

Д

Дайер, Реджинальд 303—
304
Дайтон, Лен 84
Д'Аннунцио, Габриэле 137,
383
Данте, Алигьери 120
Дарвин, Чарлз Роберт 19,
133, 135, 252
Даунинг-стрит 437, 438
Дахум (Салим Ахмед) 292

Деверё, Роберто (граф
Эссекс) 106, 108
Дега, Илер Жермен Эдгар
146
Де Гаспери, Альчиде 445
Де Куинси, Томас 191
Дейтон, Лен 448
Демокрит 329
Демут, Генри Фредерик
(Фредди) 347—349
Демут, Хелен (Ленхен)
337, 340, 346, 347—348,
350
Демшуц, Луис 144
Десаи, Анита 305
Дефо, Даниэль 26, 39, 209,
211, 215—218, 219, 274,
393—394, 400, 401
Джаггер, Майкл Филип
(Мик) 40, 78, 80—81,
82, 87
Джевел, епископ 110
Джей, Майкл 478
Джеймс, Генри 128, 237,
249
Джеймс, Томас 357
Джеймс Фрэнсис Эдуард,
принц Уэльский 267,
269
Джек Потрошитель 142—
147, 239
Дженкинс, Элизабет 392
Джервис, Джон, первый
граф Сент-Винсент
55, 68
Джефсон, Патрик 483
Джолитти, Джованни 245

Джон, Элтон 40
Джона Соуна, музей 381—
383, 392, 398
Джонс, Брайан 80
Джонс, Иниго 197
Джонсон, Бен 96, 102,
114
Джонсон, Сэмюэл 38—39
Джужфре, Антонино 43
Диана Спенсер, принцесса
Уэльская 35, 416, 469—
491, 496, 497, 498, 501,
502—504
Диккенс, Кэти 41
Диккенс, Чарлз 10, 38, 41,
259, 321, 322—323, 352,
355, 422
Дикинсон, Вайолет 253
Диор, Кристиан 499
Дир, Эл 448—449
Доджсон, Чарлз Лютвидж. —
См.: Кэрролл, Льюис
Дойл, Артур Конан 18,
177—194, 294
Доницетти, Гаэтано 106
Донн, Джон 35
Доре, Гюстав 321
Дорно, Филипп 472
Дос Пассос, Джон 79
Достоевский Ф. М. 191
Доудинг, Хью 453
Драйден, Анн 362
Дрейк, Джон 203
Дрейк, Фрэнсис 200—209,
313
Дрейк, Томас 209
Дрейк, Эдмунд 201

Дюма, Александр 357
Дягилев, Сергей 236

[

Екатерина Арагонская
155—156, 162, 163,
164—167, 168, 169,
171, 172, 173, 174
Елизавета I Тюдор, королева
Англии 6, 96, 106, 107,
110, 168—169, 197, 207,
208, 299
Елизавета II, королева
Соединенного королев-
ства Великобритании и
Северной Ирландии,
глава Содружества 478—
479, 484, 486, 488, 491,
495, 497, 498, 499, 500,
502
Елизавета Боуз-Лайон,
королева-мать 465—466,
496—498

2

Замбако, Мария 376
Зангвилл, Израэл 31
Зарате, дон Франсиско де
201
Захер-Мазох, Эва, баронес-
са 81
Зелле, Маргарета Гертру-
да. — См.: Мата Хари
Зиглер, Филипп 456, 460

И

Иванов, Евгений 84
Иероним 159
Имлах, Фрэнсис 360
Имперский военный музей
280
Иннокентий XI (Бенедетто
Одескальки), папа Рим-
ский 265, 266
Ирвинг, Вашингтон 9, 209
Ист-Сайд 22—31, 121, 143,
348, 459, 466

Й

Йейтс, Фрэнсис 99

К

Кавур, Камилло Бенсо, граф
12, 245, 415, 416
Каддафи, Муамар 471
Казанова, Джованни Джако-
мо 378
Кальви, Роберто 42—43
Камиллери, Андреа 178
Камминг, Джордж 464
Кампеджо, Лоренцо 163
Кане, Андреа 6
Канова, Антонио 33
Кант, Иммануил 278
Караваджо, Микеланджело
254
Каратоццоло, Виттория 79
Караччоло, Франческо 65

Кардиган, Джеймс Томас
Бруднелл 426—430
Карл I Стюарт, король
Англии, Шотландии и
Ирландии 113, 261, 263,
264, 265, 485
Карл II Стюарт, король
Англии, Шотландии и
Ирландии 197, 260, 261,
264, 485—486
Карл II, король Испании 385
Карл V, император Священ-
ной Римской империи
153, 156, 157, 170, 171,
173
Карл Александр, герцог
Вюртембергский (отец
Одо) 467
Карло, Пиппо 43
Карнаби-стрит 93—94
Каролина Бранденбург-
Ансбах 469
Кастелли, Лео 76
Каутский, Карл 339
Квант, Мэри 40, 93—94
Кейнс, Джон Мейнард 225,
230—231, 232, 233,
234—235, 236, 252—253,
254—255
Келли, Мэри Дженнет (Тем-
ная Мэри, Джинджер)
144, 145, 147
Кендал, герцогиня 387
Кенсингтонский дворец
469—470, 490
Кеппель, Элис 487
Керрингтон, Дора 235—236

Керуак, Джек 79
Кессельринг, Альберт 446
Кечвао, король зулусов 306,
308
Кид, Уильям 219—222
Килер, Кристин 84—85
Кингстон, констебль Тауэра
153, 174
Киндлбергер, Чарльз 388
Киплинг, Редьярд 87, 300,
302
Кириков, генерал 417
Китс, Джон 10
Китченер, Гораций Герберт
293, 294—295
Кларенс, Альберт Виктор
(Эдди), герцог 145, 239
Кларк, Кеннет 375
Клаф, Артур 432
Клеланд, Джон 394
Клемансо, Жорж 342
Климент VII (Джулио Меди-
чи), папа 170, 173
Ковердейл, Майлс 172
Колаякомо, Паола 79
Коллингвуд, Катберт 67
Коллинз, Уилки 10, 41
Коллинз, Чарльз Эльстон 41
Конрад, Джозеф (Теодор
Юзеф Конрад Коженёв-
ский) 312—316
Корнуэлл, Патриция 146—
147
Королевская академия
375
Королевская обсерватория
197

Королевский монетный двор
149—150
Кортес, Эрнан 202
Кракауэр, Зигфрид 179, 180
Кранмер, Томас, архиепи-
скоп Кентерберийский
171, 175
Крим, Томас 145
Кристи, Агата 18
Кромвель, Оливер 264, 265
Кромвель, Томас, граф
Эссекс 153, 173, 174
Кроуфорд, Синди 495
Кроче, Бенедетто 53, 63
Ку Старк (Кэтлин Ди-Энн
Норрис) 473
Кубрик, Стенли 87
Куин, Энтони 291
Кунзру, Хари 305
Куоко, Винченцо 63
Купер, Джеймс Фенимор 209
Курейши, Ханиф 305
Кэрролл, Льюис 376—377

П

Ла Мармора, Алессандро
415
Лавкрафт, Говард Филипс
126, 127
Лайвсей, Джозеф 366
Лампедуза, Джузеппе Томази
ди 258
Ларкин, Филип Артур 76
Лафайет, Мари Жозер
Поль 48

Лафарг, Лаура 342—344, 346,
349
Лафарг, Поль 338, 342—344,
346
Ле Карре, Джон 84
Лейтон, Фредерик 383
Леманн, Джон 243
Леннон, Джон Уинстон
73—74
Лентхолл, Уильям 263
Леонардо да Винчи 156, 185
Леопарди, Джакомо 8, 20
Леопольд II, король Бельгии
311, 312
Либкнехт, Вильгельм 340,
341
Ливингстон, Дэвид 310—
311
Лиз, медиум 145—146
Лин, Дэвид 291
Линдберг, Чарльз 471
Линь Цзэсюй 287, 288, 289
Лиотар, Жан-Франсуа 77
Лиссагарэ, Ипполит Проспер
Оливье 344, 345, 346
Лист, Ференц 357
Листон, Роберт 410
Литтлвуд, Джоан Мауди 87
Лихтенштейн, Рахель (Рей-
чел) 28—29
Ллойд Джордж, Дэвид 248,
249, 261
Ллойд, Эдвард 222
Лозен, граф 270
Локк, Джон 19, 252, 265,
274—275, 275—276
Ломброзо, Чезаре 37, 123

Лонге, Женни (Меме) 342
Лонге, Шарль 341—342,
346
Лонгфелло, Генри Уодсворт
425
Лопокова (Лопухова), Лидия
236
Лоррейн, Перси 444
Лоу, Джон 386—387
Лоу, Эдвард, капитан 215—
216
Лоуренс, Дэвид Герберт
88—91, 250—251
Лоуренс, Томас Эдвард
(Аравийский) 40, 290—
298
Луг Олдэм, Эндрю 80—81
Лукан, Джордж Чарльз Бин-
гэм 427—430
Лукас, Жан 69
Лукач, Дьердь 179
Лэнг, Рональд 91—92
Лэндсир, Эдвин Генри 375
Людвиг I Виттельсбах,
король Баварии 357—
358
Людвик XII, король Фран-
ции 159
Людвик XIV, король Фран-
ции 266, 272, 273
Людвик XVI, король Фран-
ции 50
Людвик XVIII, король
Франции 33, 34
Лютер, Мартин 170, 171
Льюис, Джордж Генри 355
Льюис, Мэтью Грегори 127

М

Магеллан, Фернан 207
Мадзини, Джузеппе 11
Мадониа, Франческо 43
Майнард, капитан 217—
218
Майнхоф, Ульрика 123
Макдональд, Иан 75
Макиавелли, Никколо 112
Макиннес, Колин 87
Маккарти, Десмонд 232,
246
Маккарти, Молли 231, 232
Маккартни, Майк 40
Маккартни, Пол 40, 72—73,
74
Маккормик, Дональд 145
Макмиллан, Гарольд 83
Малкольм, Сара 400
Мальтус, Томас Роберт 133
Мане, Эдуард 245
Манин, Даниеле 254
Маргарет Роуз, принцесса
Йоркская 497, 498—502,
503
Мариас, Хавьер 485
Мария Антуанетта, королева
Франции 52, 60
Мария Беатриса д'Эсте,
супруга Якова II Стюарта
265—267, 268, 270
Мария Каролина, королева
Неаполя 52—53, 60, 65,
71
Мария Стюарт, королева
Шотландии 108

- Мария II Стюарт, супруга
Вильгельма III Оранского
266, 271, 273
- Мария Тюдор, королева
Англии (Мария Кровавая)
156, 165, 168
- Мария Тюдор, сестра Генри-
ха VIII 159
- Маркевич, Констанс 227
- Маркс, Генриетта (урожден-
ная Прессбург) 328
- Маркс, Генрих (Гиршель
Галеви Маркс) 327—328
- Маркс, Женни (урожденная
фон Вестфален, Иоганна
Берта Жюли Женни)
320—321, 323—327,
336—338, 340—341, 346,
347—348
- Маркс, Женни (Женнихен,
дочь Карла и Женни
Маркс) 341—342, 350
- Маркс, Карл 320—350
- Маркс, Карл Генрих Гвидо
323
- Маркс, Лаура. — См.: Ла-
фарг, Лаура
- Маркс, Самуэль 328
- Маркс, Элеанор (Тусси) 341,
344—345, 346—347, 349,
350
- Маркузе, Герберт 277, 278
- Марло, Кристофер 96, 114,
115—118
- Мароккетти, Карло (ба-
рон Во) 45
- Марони, Дж. 383
- Марроу, Эдвард 445
- Марсден, Уильям 70—71
- Марцинкус, Пол, карди-
нал 42
- Марч, Альма Элизабет 179
- Маршалл, Рэйчел Элис 235
- Мата Хари 357, 474
- Матисс, Анри Эмиль Бенуа
245
- Медисон, Джеймс 275
- Мейджор, Джон 494
- Мейнуэринг, Генри 219
- Мейсснер, Отто 339
- Меншиков А. С., адмирал
416
- Мессинджер, Филипп 114
- Мехмед V, султан Османской
империи 293
- Миддлтон, Чарльз, лорд
Бэрхем 70—71
- Милле, Джон Эверетт 244,
355, 377
- Миллинер, Мэри 395
- Милль, Джон Стюарт 19, 252
- Милн, Роберт 42
- Мишле, Жюль 53
- Модена, Густаво 118
- Моктон, Роза 480
- Моне, Клод Оскар 23
- Монро, Мэрилин 77, 471
- Монтгомери, Бернард Лоу 40
- Монтези, Вильма 83
- Монтелеоне, Мария 43
- Монтес, Лола 356—359
- Мор, Томас 109, 152, 171—
172
- Морган, Генри 219

- Морелли, Джованни 185, 186
- Морли, Льюис 84
- Моррис, Уильям 376
- Моррисон, Герберт 459
- Мортон, Эндрю 488
- Моцарт, Вольфганг Амадей
389
- Музей Виктории и Альберта
281, 351
- Музей восковых фигур мадам
Тюссо 72, 460
- Музей естественной истории
460
- Музей Лондона 351—353
- Мунши (Абдуллах бин Абдул
Кадир) 487
- Мур, Джордж Эдвард 232—
233
- Мур, Сэмюэль 348—349
- Мур, Уильям 220, 221
- Мурад II, султан 142
- Муссолини, Бенито 12—13,
14, 15, 16, 17, 439, 440,
441—445
- Мэдден, Сара 291
- Мэнн, Элизабет 397
- Мэнсфилд, Кэтрин 247
- Наполеон I Бонапарт, фран-
цузский император 31, 32,
33, 34, 46, 47, 54, 55—56,
71, 310, 328
- Наполеон III (Шарль Луи
Наполеон Бонапарт),
французский император
12, 415, 416
- Насер, Гамаль Абдель 316—
317, 493
- Национальная портретная
галерея 39—49
- Национальный морской
музей 197—198
- Нейлсон, Найджел 486
- Нельсон, Горацио 31, 32, 36,
44—71, 196, 257
- Нельсон Томпсон, Горация
62, 67
- Нельсон, Уильям 71
- Николай I, император
всероссийский 415
- Николс, Мэри Энн (Полли)
143
- Николсон, Гарольд 238
- Николсон, Найджел 238
- Нисбет, Джошуа 50
- Нисбет, Фрэнсис (Фанни) 50,
61

И

- Ницше, Фридрих 167
- Нолан, Льюис Эдвард 427—
430
- Норбу, Джамьянг 193
- Норман, Филипп 76
- Норрис, Генри 174
- Норт, капитан 211
- Нортвик, Джон Рэшаут 65

Нортумберленд, Джон
Дидли, герцог 108
Ньюмен, Мэри 203
Ньютон, Исаак 150, 276,
388—389
Нэш, Джон 24

О

Оливье, Лоуренс 18
Олоне, Франсуа 219
Оно, Йоко 73
Орсини, Феличе 12
Ортис, Антонио Домингес
203
Оруэлл, Джордж 225—226
Осборн, Джон 87
О'Тул, Питер 291
Отуэй, Томас 79
О'Хир, Энтони 490

П

Павел III, папа Римский 173
Пави, Ален 477
Пагано, Марио 65
Паксман, Джереми 14
Пальмерстон, Генри Джон
Темпл 433
Пальмовый дом (Палм-хаус)
352
Панкхёрст, Кристабель 226
Панкхёрст, Сильвия 226
Панкхёрст, Эммелин Гульден
226—227
Панмюр, Фокс Мол 426

Паркер, адмирал 48
Паркер-Боулз, Камилла 482,
487, 489
Парламент, здание 45,
256—261
Партридж, Ральф 235—236
Партридж, Фрэнсис 231
Партридж, Фрэнсис 235—
236
Пастернак, Анна 489
Пастер, Луи 435
Педашенко, Александр 145
Пейн, Джон Уиллет 59
Перуджини, Карло 41, 185
Перуджино, Пьетро 185
Пибоди, Джордж 26
Пивано, Фернанда 79
Пизакане, Карло 64
Пикассо, Пабло 245
Пиккадилли 24—25, 92
Пинтер, Гарольд 87
Пипс, Сэмюэл 38
Пиранези, Джованни Бати-
ста 42
Пирогов Н. И. 418
Пирс, Чарлз Сандерс 189
Писарро, Франсиско 202
Питт, Уильям 42
Планкет-Грин, Александр 93
Платен, мадам 387
Плейс, Фрэнсис 365
По, Эдгар Алан 180, 189, 191,
209
Пол, Лесли А. 87
Полидори, Джон Уильям 129,
139, 253

Поль, Анри 473—474, 475—
476, 477, 503
Понсэ 444
Поппер, Карл 277—278
Поуп, Александр 404
Прац, Марио 6, 7, 9, 391
Пресли, Элвис 86
Приен, Гюнтер 15—16
Провенцано, Бернардо 43
Профьюмо, Джон Денис
83—85
Пруст, Марсель 6, 23, 355,
474
Пульсен, Мартин 461

Р

Равальи, Анджело 91
Радклиф, Анна 7, 126—127
Распутин, Григорий (Григо-
рий Новых) 145
Рассел, Бертран 232
Рассел, Уильям Говард
(Билли) 431
Рассел, Фрэнсис, герцог
Бедфорд 224
Рафаэль, Санти 245
Реглан, Фицрой Джеймс
Генри 426—430
Рейли, Уолтер 219
Рейнольдс, Джошуа 40, 124
Ремарк, Эрих Мария 79
Рембрант, Харменс ван Рейн
398
Рен, Кристофер 35, 36, 461
Репосси, Альберто 474

Рескин, Джон 17, 254, 355,
377
Риббентроп, Иоахим 467
Рид, Мэри 219
Риз-Джонс, Тревор 475—476,
477, 503
Риина, Тото 43
Ример, Томас 119
Риммель, Георг 367
Ричард I Львиное сердце,
английский король 45
Ричард II Плантагенет,
английский король 270
Ричард III, английский
король (герцог Глостер-
ский) 150—152
Ричардс, Кейт 80, 81
Ричардсон, Сэмюэл 400
Ричардсон, Тони 87, 391
Робертс, Фредерик Слей 294
Робеспьер, Максимилиен
Мари Изидор де 50
Родинский, Давид 27—29
Родс, Сесил Джон 282
Рой, Арундати 305
Россетти, Габриеле 11, 375
Россетти, Данте Габриел
(Габриел Чарлз Данте)
244, 375—376
Росси, Эрнесто 118
Роу, Дик 75
Рошфор, Джейн 175
Рузвельт, Франклин Делано
467
Руи, Бруно 477—478
Рундштедт, Карл Рудольф
Герд 454

Руо, Жорж 245
 Руссо, Жан Жак 131
 Руффо, Фабрицио, кардинал 64—65
 Рушди, Салман 305
 Рэкем, Джон, по прозвищу Калико-Джек 219

(

Саваж, Джордж 239
 Савинио, Альберто 158
 Сады Кью 280—281, 382
 Сайденхем, Элизабет 203
 Саквиль-Уэст, Виктория (Вита) 238
 Сальгари, Эмилио 16—17, 209, 218, 219
 Сантароза, Санторре ди 11
 Санфеличе, Луиза 65
 Сарджент, Джон Сингер 40
 Сассун, Видал 94
 Сатклифф, Стюарт (Стью) 74
 Саффи, Аурелио 11
 Свифт, Джонатан 402—403, 404—405
 Святого Павла, собор 32, 35, 108, 460, 461, 466—467, 482
 Седлей, Екатерина 266
 Сезанн, Поль 245
 Сеймур, Джейн 173, 174, 176
 Семмельвейс, Игнац Филипп 409—410
 Сент-Джеймский дворец 256, 497

Серра ди Кассано, Дженна-ро 65
 Сет, Викрам 305
 Сёра, Жорж Пьер 245
 Сибеек, Томас Альберт 189
 Сиверс, Деннис 351
 Сигизмунд, император Священной Римской Империи 141
 Сикейра, Домингуш Антониу ди 33
 Сикерт, Вальтер 145, 146—147
 Симмонс, Джин 18
 Симпсон, Норман Фредерик 87
 Симпсон, Уоллис Уорфилд 466, 467—468, 473, 487, 497
 Симс, Дж. Мэрион 378
 Синглтон, капитан 219
 Синклер, Иэн 28
 Синьяк, Поль 245
 Сихайо, вождь племени зулусов 306
 Скифано, Марио 82
 Скотт, Вальтер 10
 Смит, Адам 19, 252, 407
 Смит, Перси 429—430
 Смитон, Марк 174, 175
 Содду, Убальдо 440
 Сомерсет, Эдуард Сеймур, граф Хертфорд 108
 Сомерс, Монтагю 141
 Сорчинелли, Паоло 379
 Соун, Джон 381—382

София Матильда Ганновер, принцесса Уэльская 470
 Сохо 94—95
 Спендер, Стивен 251—252
 Спенсер, Герберт 19
 Спиноза, Бенедикт (Барух) 274
 Спозито, Ливио 16
 Спонца, Лучо 5, 11
 Старр, Ринго 73, 74
 Старый анатомический театр 410
 Стед В. Т., журналист «The Pall Mall Gazette» 368
 Стейвесант, Питер 220
 Стерн, Лоуренс 10, 400
 Стивен, Адриан 228, 231—232, 239, 251, 253
 Стивен, Ванесса — см. Белл, Ванесса
 Стивен, Вирджиния — см. Вулф, Вирджиния
 Стивен, Джеймс К. 239
 Стивен, Джеймс 239
 Стивен, Джон 93
 Стивен, Джулия 237
 Стивен, Карен 239
 Стивен, Лаура 229
 Стивен, Лесли 228—229, 237, 239
 Стивен, Тоби 228, 229—230, 253
 Стивенсон, Роберт Льюис 121, 125, 130, 132, 134—135, 209
 Стокер, Брэм 134, 139—142
 Стокман, Элис 361

Стравинский, Игорь 384
 Страйд, Элизабет 144
 Стрейчи, Джеймс 241
 Стрейчи, Литтон 225, 230, 232, 234, 235—236, 250, 251, 420, 425, 432, 433, 434
 Стриано, Энцо 63
 Строу, Джек 283—284
 Стрэтмор, Клод Георг Боуз-Лайон 496
 Стэнли, Генри Мортон (Джон Роулэндс) 310, 311
 Суинберн, Алджернон Чарлз 355
 Сулейман I Великолепный, султан 170

Т

Тайнен, Кеннет 88
 Таунсенд, Питер 449—450, 499—500
 Тауэр 108, 148—152, 168, 171, 174, 175, 460
 Твен, Марк (Сэмюэл Ленгхорн Клеменс) 38
 Тезигер, Фредерик Огастас, лорд Челмсфорд 306
 Тейлор, Алан Джон Персиваль 454
 Тейлор, Элизабет 77
 Тейт, Роберт Лоусон 360—361
 Теккерей, Уильям Мейкпис 229

Теккерей, Харриет Мариен 229
 Теннант, Колин, лорд Глен-коннер 500
 Теннисон, Альфред 430—431
 Терман, Элен 355
 Тескароли, Лука 43
 Тёрнер, Джозеф Мэллорд Уильям 377
 Типу Султан 281
 Тициан Вечеллио 156, 185
 Тич, Эдвард (Черная Борода) 217—218
 Толстой Л. Н. 421—422
 Томас, Гордон 480
 Томпсон, Фрэнк Уильям 468
 Торнхилл, Джейн 389
 Торнхилл, Джеймс 389—390, 400
Трафальгурская площадь 44—45, 71, 458
 Трефусис, Вайолет 238
 Тьер, Адольф 345—346
 Тью, Томас 219
 Тьюринг, Алан Матисон 464—465
 Тэн, Ипполит Адольф 117
 Тэтчер, Маргарет Хильда 227, 310, 437

У

Уайет, Джордж 382
 Уайет, Томас 174
 Уайльд, Джонатан 123, 395—398, 404

Уайльд, Оскар 77, 89, 134, 135—138, 345, 374
 Уайтлок, Уильям 209
 Уилберфорс, Октавия 243
 Уилсон, Эдмунд 41
 Уильям Артур Филипп Луи, принц Уэльский 479, 482, 489, 496, 502
 Уильямс, Стенли 285, 287—288
 Уильямс, Сэмюэл Уэллс 285, 287
 Уистлер, Джеймс Эббот Мак-Нейл 146
 Ульрих, Вольф 503
 Ульянов (Ленин) В. И. 344
 Уолпол, Хорас 7, 10
 Уолпол, Роберт, граф Оксфордский 403—404
 Уолси, Томас, архиепископ Йоркский 165
 Уолстонкрафт, Мэри 129, 362
 Уолш, Сэм 40
 Уорд, Стивен 84—85
 Уортон, актриса 375
 Уорф, Кен 489
 Уорхол, Энди 77
 Уотерс, Мадди 80
 Уэбстер, Джон 114
 Уэллс, Герберт Джордж 129, 134, 138—139, 250
 Уэнамэйкер, Сэм 97
 Уэст, Ребекка 91, 227
 Уэстон, Фрэнсис 174

Ф

Фаллопио, Габриеле 379
 Фарук, король Египта 493
 Фаттори, Джованни 245
 Фаулер, Фредерик 123
 Фейербах, Людвиг 350
 Фейсал I, король Сирии и Ирака из династии Хашимитов 297
 Фейтфул, Марианна 81—82
 Феллини, Федерико 83, 94
 Фердинанд, король обеих Сицилий 53—54, 59, 65
 Фернивелл, Фредерик Джеймс 345
 Феррер, Хосе 291
 Филдинг, Генри 391—392, 400, 402, 404
 Филипп II, король Испании 208—209
 Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский 481—482, 484
 Филипп Орлеанский, регент 386
 Финни, Альберт 391
 Фиркель, Анджела 87
 Фицджеральд, Фрэнсис Скотт 79
 Фишер, Джон, епископ Рочестерский 108—109, 171
 Фишер, Уильям 231
 Флеминг, Ян 464
 Флетчер, Джон 112, 167
 Фо, Джеймс 393

Фокс, Гай 258—259, 323
 Фонсека Пиментель, Элеонора 65
 Фонтенель, Бернар ле Бовье де 276
 Форстер, Эдвард Морган 232, 300, 302
 Фосколо, Уго 11
 Фрай, Роджер 225, 232, 245—249
 Фрайбергер, Луиза 348, 349
 Фракасторо, Джироламо 369—370
 Франко, Франсиско Баамонде 452
 Франклин, Джон 313
 Франц Фердинанд, эрцгерцог Австрийский 248
 Франциск I Валуа, король Франции 156, 157, 159
 Фрейд, Зигмунд 128, 182, 186, 240—241, 278, 372
 Фрер, Бартл 306
 Фут, Эдвард 65
 Фюре, Франсуа 263

Х

Хадсон, Хью 495
Хайгетское кладбище 318—320, 350
 Халл, Патрик 358
 Хан, Хаснат 490—491
 Хант, Уильям Холман 244
 Хантер, Джон 122, 124, 363—363, 398

Хантеровский музей

Королевского хирургического колледжа 122—125, 142

Харди, Томас, капитан 70
Харрис, Роберт 465
Харрисон, Джордж 74
Хашогги, Аднан 493
Хашогги, Самира 493, 495
Хейвуд, Томас 114
Хемингуэй, Эрнест 79, 474
Хэмнетт, Кэтрин 40
Хендрикс, Джимми 73
Хичкок, Альфред 462
Хобсбаум, Эрик 223, 332
Хобхаус, Эмили 294
Хогарт, Уильям 123, 383—385, 389—392, 394, 398—401, 405—407
Хоггарт, Ричард 90—91
Хокинс, Джон 201
Холден, Чарлз 225
Холиншед, Рафаэл 108
Холл, Джон 423—424
Холлис, Роджер 85
Холройд, Чарлз 246
Хольбейн Младший, Ханс 169
Хрустальный дворец 352
Хрущев Н. С. 350
Хуана I Безумная 156
Худ, Сэмюэл 51—52
Хьюз, Ричард 48—49
Хьюитт, Джеймс 489—490

Ц

Чард, Джон Роуз Мерриотт 307
Чарльз, наследный принц Англии 17, 35, 471, 478—479, 481—490, 492, 498
Чатвин, Брюс 46
Чедвик, Джон 464
Челлини, Бенвенуто 33, 156
Челси 87, 94, 324
Чемберлен, лейтенант 429—430
Чемберлен, Невил 439
Чемберс, Уильям 382
Чепмен, Энни 143
Чепмен, Томас 291
Черчилль, Клементин 453
Черчилль, Уинстон Леонард Спенсер 12—13, 14, 15, 17, 35, 40, 261, 305, 438, 439—440, 441, 445—446, 451—453, 458, 459, 465, 466, 468
Черчилль, Фредерик 410
Чиано, Галеаццо 440, 442—445
Чинери, Томас 431
Чиполла, Карло 202, 203
Чирилло, Доменико 65
Чосер, Джеффри 89

Ш

Шамбрюн, Рене 492
Шампионне, Жан Этьен 62
Шанель, Коко 474

Шариф, Омар 291
Шаффер, Питер 87
Шевенеман, Жан-Пьер 478
Шекспир, Уильям 40, 96, 98, 100—101, 102—104, 106—107, 108, 110—111, 112, 114, 117—120, 151—152, 167, 192, 253, 341, 406, 451—452
Шелли, Мэри 129—133, 362
Шелли, Перси Биш 7, 10, 129, 254
Шеллинг, Фридрих Вильгельм 329
Шеппард, Джек 400—401
Шефтсбери, Антони Эшли Купер 25, 120
Ширер, Уильям 302
Ширли, Томас 49
Шомберг, Фридрих Герман, герцог 269
Шон, Ричард 147
Шоу, Джордж Бернард 345
Штибер, Вильгельм 336
Шумпетер, Йозеф Алоиз 333

Э

Эванс, Мэри Энн. — См.:
Элиот, Джордж
Эвелинг, Эдвард 346—347
Эвери, Генри 219
Эддоус, Кэтрин 144, 147
Эджерстон, Роберт Б. 420
Эдуард IV, король Англии 150
Эдуард VII, король Великобритании

и Ирландии и император Индии 487

Эдуард VIII, король Великобритании и Ирландии, император Индии 467—468, 473, 487—488, 497, 502
Эдуард Исповедник, король Англии 149
Эко, Умберто 189
Эктон, Джон (Джованни) 52, 61
Эктон, Уильям 361, 362, 372, 378
Элиот, Джордж 355
Эллис, Сара 355—356
Эллис, Хэвелок 377
Эмберли, Джон Расселл 378
Эммануил Филиберт, по прозвищу Железная Голова, герцог Савойский 45
Энвер-паша 293
Энгельс, Фридрих 329—330, 339, 343, 344, 346, 348—349, 350
Энслин, Гудрун 123
Эпикур 329
Эпстайн, Брайан 74—75, 80
Эразм Роттердамский 274
Эшер, Джейн 72—73

Ю

Юн Чжэн 285
Юм, Дейвид 252

Я

Яков I, король Англии,
Шотландии и Ирландии
261, 283

Яков II Стюарт, король
Англии, Шотландии
и Ирландии 261, 264,
265—273, 278
Янг, Лестер 79

СОДЕРЖАНИЕ

КРАТКИЙ И СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ПРОЛОГ	5
I. ПРОГУЛКА ПО ИСТ-САЙДУ	22
II. АНГЛИЯ ОЖИДАЕТ, ЧТО КАЖДЫЙ ИСПОЛНИТ СВОЙ ДОЛГ... ..	44
III. ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ШЕСТИДЕСЯТЫЕ	72
IV. ЗЕРКАЛО РЕАЛЬНОСТИ	96
V. ПРИЗРАК В НОЧИ	121
VI. КРОВАВОЕ СВЕРШИЛОСЬ ЗЛОДЕЯНЬЕ... ..	148
VII. ЭЛЕМЕНТАРНО, ВАТСОН!	177
VIII. КОРСАРЫ, ПИРАТЫ, БУКАНИРЫ	195
IX. ПРЕКРАСНЫЕ ПРИЗРАКИ С ГОРДОН-СКВЕР	224
X. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПАРЛАМЕНТА	256
XI. ПРАХ ИМПЕРИИ	280
XII. МЕЧТА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА	318
XIII. ЭТО ПОСТЫДНОЕ ЖЕЛАНИЕ	351
XIV. ХУДОЖНИК-БУРЖУА	381
XV. ДАМА СО СВЕТИЛЬНИКОМ	408
XVI. КРОВЬ, ПОТ И СЛЕЗЫ	436
XVII. ПОП-ПРИНЦЕССА	469
Указатель	506

*Литературно-художественное издание
Секреты большого города*

Ауджиас Коррадо

Секреты Лондона

Генеральный директор издательства С. М. Макаренков

Редактор Т. К. Варламова

Ведущий редактор М. Ю. Рожнова

Выпускающий редактор Л. А. Данкова

Художественное оформление:

арт-директор Артемий Лебедев, дизайнер Марьям Назарова,

иллюстратор Яна Москалюк, шрифтовик Таусия Лушенко,

менеджер Катерина Сидоренко

Компьютерная верстка: А. В. Дятлов

Корректор Л. А. Мухина

Подписано в печать 25.09.2012 г.

Формат 60×90/16. Гарнитура «CharterITC».

Усл. печ. л. 33,0. Тираж 3000 экз.

Заказ № 7805.

Адрес электронной почты: info@ripol.ru

Сайт в Интернете: www.ripol.ru

ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик»





109147, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 23

Отпечатано с готовых файлов заказчика

в ОАО «Первая Образцовая типография»,

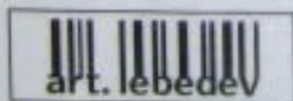
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»

432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

«Секреты Лондона» — необычный
авторский путеводитель по английской
столице. Свернув гасы по Биг-Бену 
и заглянув на Трафальгарскую
площадь,  автор ведет чита-
теля по следу Джека Потрошителя,
по улицам, где доктор Джекил 
превращался в мистера Хайда,
показывает места, связанные 
с прерафаэлитами, Вирджинией
Вульф, и многое другое.



Коррадо Ауджас — итальянский историк, писатель
и критик, автор детективов, авантюрных романов
и научно-популярных исследований в области
искусства и религии, а также скандально известный
журналист.



Обложку оформили
в Студии Артемия Лебедева



ISBN 978-5-386-03481-8



9 785386 034818